ISSN 0130-6545

1.1994

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

РОМЕН ГАРИ
Воздушные змеи

ДЖУЛИАН БАРНС
История мира в 10½ главах

ПОСТМОДЕРНИЗМ: ПОДОБИЯ И СОБЛАЗНЫ РЕАЛЬНОСТИ

МОСКВА

Главный редактор

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, А. С. МУЛЯРЧИК,
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ,
Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

1 январь 1994

СОДЕРЖАНИЕ

РОМЕН ГАРИ — Воздушные змеи *(Роман. Перевод с французского Е. Штофф)* 5

Литературный гид

ПОСТМОДЕРНИЗМ: ПОДОБИЯ И СОБЛАЗНЫ РЕАЛЬНОСТИ . . . 53

ПОСЛЕ ВРЕМЕНИ. Французские философы постсовременности. Ж.-Ф. ЛИОТАР — Заметка о смыслах «пост». Ж. БОДРИЙАР — Фрагменты из книги «О соблазне» *(Вступление и перевод с французского А. В. Гараджи)* 54

ДЖУЛИАН БАРНС — История мира в 10½ главах *(Роман. Перевод с английского В. Бабкова. Послесловие А. Зверева)* 67

МИХАИЛ СУХОТИН — О конкретной поэзии 232

ВИКТОР ХАЛИПОВ — Постмодернизм в системе мировой культуры . 235

АЛЕКСАНДР ЯКИМОВИЧ — О лучах Просвещения и других световых явлениях. (Культурная парадигма авангарда и постмодерна) . . . 241

К нашим иллюстрациям

Д. А. ПРИГОВ — Я его знал лично . 249

Критика

Западная литература: взгляд изнутри

ЛЕВ НАВРОЗОВ — Эмиль Чоран: последний инакомыслящий? . . 250

У книжной витрины . 253

Авторы этого номера . 256

© «Иностранная литература», 1994

В следующем номере «ИЛ»

Читайте главы из автобиографической книги **«Моя жизнь»** бывшего премьер-министра Израиля ГОЛДЫ МЕИР, одной из выдающихся женщин новейшей истории.

Колоритные персонажи ЛУЧАНО ДЕ КРЕШЕНЦО — жители одного из неаполитанских кварталов — напоминают героев неореалистических фильмов. Забавные истории, происходящие с ними, их беседы с местным интеллектуалом Беллавистой, пародирующие беседы Сократа с учениками, надеемся, заинтересуют наших читателей не меньше, чем читателей Италии, где **«Диалоги Беллависты»**, как и другие произведения этого автора, долгое время находились в списке бестселлеров.

Цветные иллюстрации номера — работы современных художников-постмодернистов:
на 1-й стр. обложки — ДЖЕФ КУНС, «Поплз»;
на 3-й стр. обложки — ПИТЕР ХЕЛЛИ, «Двойной Элвис»; ИЭН АНЮЛЬ, «Тандем»; ДЖИЛЬБЕРТ и ДЖОРДЖ, «Война классов»;
на 4-й стр. обложки — ЯНИС КУНЕЛИС, «Без названия».

По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Доме книги на Новом Арбате и в киоске Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Художественный редактор **С. И. МАРТЕМЬЯНОВА**

Технический редактор **С. В. БЕЙЛЕЗОН**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41, Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 07.10.93. Подписано в печать 07.12.93. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная. Бумага типографская. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 25,35. Заказ № 4094

Тираж 65 000 экз. Цена по подписке 330 р.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва. Краснопролетарская, 16

РОМЕН ГАРИ

Воздушные змеи

РОМАН

Перевод с французского Е. ШТОФФ

ВО СЛАВУ ПАМЯТИ

I

В наши дни маленький музей творений Амбруаза Флери — не более чем скромное развлечение для посещающих городок Клери туристов. Большинство посетителей отправляется туда, пообедав в «Прелестном уголке», который единодушно воспевается во всех французских путеводителях как одна из главных достопримечательностей. Путеводители все же упоминают о наличии музея, давая пометку: «Рекомендуем посетить». В пяти залах собрана бóльшая часть работ моего дяди, переживших войну, оккупацию, освободительные бои — все тяжести и превратности судьбы, выпавшие на долю нашего народа.

Воздушные змеи всех стран рождены народной фантазией; это всегда придает им некоторую наивность. Воздушные змеи Амбруаза Флери не являются исключением из правила — даже на его последних творениях, созданных в старости, лежит этот отпечаток душевной свежести и чистоты. Музей не закрывает своих дверей, несмотря на слабый интерес публики и скромность получаемых от муниципалитета средств: он слишком связан с нашей историей. Но большую часть времени его залы пустуют, ибо мы переживаем эпоху, когда французам хочется скорее забыть прошлое, чем вспоминать.

Лучшая фотография Амбруаза Флери висит у входа в музей. Он стоит в форме сельского почтальона — кепи, мундир, грубые башмаки, кожаная сумка на животе — между воздушным змеем в виде божьей коровки и змеем, изображающим Гамбетту [1], чьи голова и туловище образуют баллон и корзину воздушного шара, на котором он совершил свой знаменитый перелет во время осады Парижа. Существует и множество других фотографий человека, которого долго называли «тронутым почтальоном из Клери», поскольку некоторые посетители мастерской в Ла-Мотт снимали его ради смеха. Мой дядя охотно соглашался сниматься. Он не боялся выглядеть смешным и не жаловался на прозвища «тронутый почтальон» или «тихий чудак», и если даже знал, что местные жители зовут его «помешанный старик Флери», то, казалось, видел в этом скорее знак

© Éditions Gallimard, 1980

[1] Леон Гамбетта (1838—1882) — французский адвокат и политический деятель. Во время франко-прусской войны 1870—1871 гг.— член Правительства национальной обороны. В 1881—1882 гг.— премьер-министр Франции.

уважения, чем презрения. В тридцатые годы, когда известность дяди начала расти, хозяину «Прелестного уголка» Марселену Дюпра пришло в голову напечатать почтовые открытки с изображением моего опекуна в форме среди его воздушных змеев с надписью: «Клери. Знаменитый сельский почтальон Амбруаз Флери и его воздушные змеи». К сожалению, все эти открытки черно-белые и не передают веселой яркости воздушных змеев. Не передают они и добродушной улыбки старого нормандца, как бы подмигивающего небу.

Мой отец был убит во время первой мировой войны; вскоре после этого умерла и мать. Война стоила жизни и второму из трех братьев Флери, Роберу. Мой дядя Амбруаз вернулся с войны, раненный в грудь. Должен добавить для ясности, что мой прадед Антуан погиб на баррикадах во времена Коммуны, и думаю, что этот эпизод нашего прошлого и особенно двойное упоминание фамилии Флери на памятниках погибшим в Клери сыграли решающую роль в жизни моего опекуна. Он стал совсем другим человеком, чем до войны 1914—1918 годов,— тогда о нем говорили в округе, что он легко кидается в драку. Люди удивлялись, что бывший солдат, награжденный медалью, никогда не упускает случая высказать пацифистские взгляды, защищает уклоняющихся от военной службы по нравственным соображениям и протестует против всех видов насилия с огнем во взгляде — возможно, это был отблеск огня, горящего у могилы Неизвестного солдата. По внешности он совсем не походил на мягкого человека. Волевое лицо, правильные, жесткие черты, седые стриженные ежиком волосы, густые и длинные усы, которые называют «галльскими», поскольку французы, слава богу, еще не разучились дорожить своими историческими воспоминаниями, даже если это всего лишь память об усах. Глаза были темные — это всегда признак веселости. По общему мнению, он вернулся с войны «тронувшимся» — так объясняли его пацифизм и причуду отдавать все свободное время воздушным змеям — «ньямам», как он их называл. Он нашел это слово в книге об Экваториальной Африке, где оно будто бы означает все, в чем есть дыхание жизни: людей, мошек, львов, слонов или идеи. Наверное, он выбрал работу сельского почтальона потому, что его военная медаль и два военных креста давали ему право на почетную службу, а может, он видел здесь поле деятельности, подходящее для пацифиста. Он часто говорил мне: «Мой маленький Людо, если тебе повезет и ты будешь хорошо работать, когда-нибудь и ты сможешь получить место почтового служащего».

Мне понадобились годы, чтобы понять, как переплетались в его характере глубокая серьезность и стойкость и свойственное французам шутливое лукавство.

Дядя говорил, что «воздушные змеи должны, как и все, учиться летать», и с семи лет я провожал его после школы на «испытания», как он это называл, то на луг, раскинувшийся перед Ла-Мотт, то немного дальше, на берега Риголи, с «ньямом», от которого еще приятно пахло свежим клеем.

— Надо крепко держать змеев,— объяснял он мне,— потому что они тянут вверх и иногда вырываются, поднимаются слишком высоко в погоне за небом, и тогда их больше не увидишь, разве только люди принесут обломки.

— А если я буду держать слишком крепко, я не улечу вместе с ними?

Он улыбался, и его густые усы казались еще милее.

— Может и так случиться,— говорил он.— Надо не позволить себя унести.

Дядя давал своим воздушным змеям ласковые имена: «Страшила», «Резвунчик», «Хромуша», «Пузырь», «Парень», «Трепетунчик», «Красавчик», «Косолапый», «Плескунчик», «Милок»,— и я никогда не знал, почему он называл их так, а не иначе, почему змей, похожий на веселую лягушку, машущий на ветру лапками, как бы здороваясь, назывался «Косолапый», а широко улыбающаяся рыбка, вздрагивающая в воздухе своими серебристыми чешуйками и розовыми плавниками, звалась «Плескунчик». Я не знал, отчего он чаще запускал над лугом у Ла-Мотт своего змея «Пампуш-

ку», чем «Марсианина», который мне очень нравился из-за круглых глаз и крыльев в виде ушей, трепетавших, когда он поднимался; этим движениям я успешно подражал, лучше, чем все мои одноклассники. Когда дядя запускал «ньяма», чья форма была мне непонятна, он объяснял:

— Надо стараться делать змеев, которые отличаются от всего, что уже видели. Что-то совсем новое. И тогда их нужно еще крепче держать за веревку, потому что, если упустишь, они улетают в небо и при падении могут сильно поломаться.

Иногда мне казалось, что это воздушный змей держит за веревку Амбруаза Флери.

Моим любимцем долго был славный «Пузырь», чей живот удивительно раздувался от воздуха, когда он набирал высоту; при самом слабом ветерке он делал пируэты, смешно похлопывая себя лапками по брюшку, когда дядя натягивал или отпускал нити.

Я укладывал «Пузыря» с собой спать, потому что на земле воздушному змею очень нужна дружба: здесь он теряет форму и движение и легко может впасть в отчаяние. Ему нужны высота, воздух и много неба, чтобы развернуться во всей красе.

Днем мой опекун обходил округу, выполняя свои обязанности: он разносил местным жителям почту, которую забирал утром на почтамте. Но когда я возвращался из школы, пройдя пять километров, он почти всегда стоял в форме почтальона на лугу у Ла-Мотт (во второй половине дня у нас поднимается ветер), устремив глаза вверх на одного из своих дружков, трепещущих над землей.

Однажды мы потеряли нашего великолепного «Морехода» с двенадцатью парусами, которые ветер надул разом, вырвав его у меня из рук, и я захныкал; дядя, следя взглядом за своим детищем, исчезающим в небе, сказал:

— Не плачь. Для того он и создан. Ему хорошо там, наверху.

Назавтра местный фермер привез нам в телеге с сеном груду деревяшек и бумаги — все, что осталось от «Морехода».

Мне было десять лет, когда выпускаемая в Онфлере газета посвятила статью в юмористическом духе «нашему земляку Амбруазу Флери, сельскому почтальону в Клери, симпатичному оригиналу, чьи воздушные змеи составят когда-нибудь славу этих мест, как кружева прославили Валансьен, фарфор — Лимож и глупость — Камбре». Дядя вырезал статью, застеклил и повесил на гвоздь на стене мастерской.

— Как видишь, я не лишен тщеславия,— сказал он, лукаво подмигнув.

Газетную заметку с сопроводительной фотографией перепечатала одна парижская газета, и в скором времени наш сарай, получивший название «мастерской», начал принимать не только посетителей, но и заказы. Хозяин «Прелестного уголка», старый друг моего дяди, рекомендовал эту «местную достопримечательность» своим клиентам. Однажды перед нашей фермой остановился автомобиль, и из него вышел очень элегантный господин. На меня особенное впечатление произвели его усы, которые торчали до ушей и соединялись с бакенбардами, деля лицо пополам. Позже я узнал, что это крупный английский коллекционер лорд Хау. При нем был лакей и чемодан; когда чемодан открыли, я обнаружил великолепных воздушных змеев из разных стран: Бирмы, Японии, Китая и Сиама,— тщательно уложенных на обтянутом бархатом дне. Дяде было предложено полюбоваться ими, что он и сделал с полной искренностью, так как в нем абсолютно не было шовинистической жилки. В этом отношении его единственным «пунктиком» было утверждение, что воздушный змей стал значительной персоной только во Франции, в 1789 году. Отдав должное образчикам английского коллекционера, дядя, в свою очередь, показал ему некоторые из собственных творений, среди которых был «Виктор Гюго в облаках», сделанный под влиянием знаменитой фотографии Надара,— причем поэт напоминал Бога-Отца, поднимающегося в воздух. После одного-двух часов осмотра и взаимных комплиментов они оба отправились на луг, каждый запустил из любезности змея другого, и они

оживляли нормандское небо до тех пор, пока не сбежались все окрестные мальчишки, чтобы принять участие в празднике.

Известность Амбруаза Флери росла, но не вскружила ему голову даже тогда, когда его «Герцогиня де Монпансье во фригийском колпаке» (у дяди была натура истого республиканца) получила первый приз на выставке в Ножане, и лорд Хау пригласил его в Лондон, где дядя продемонстрировал некоторые из своих изделий в Гайд-парке. Политический климат Европы начинал портиться после прихода к власти Гитлера и оккупации Рейнской области, и в то время часто проводились различные мероприятия, имеющие целью укрепить франко-британское содружество. Я сохранил фото из «Иллюстрейтед Лондон ньюс», где Амбруаз Флери со своей «Свободой, озаряющей мир» стоит между лордом Хау и принцем Уэльским. После этого полуофициального триумфа Амбруаза Флери избрали сначала членом, а затем почетным президентом общества «Воздушные змеи Франции». Визиты любопытных становились все чаще. Прекрасные дамы и важные господа, приезжавшие в автомобилях из Парижа позавтракать в «Прелестном уголке», отправлялись после этого к нам и просили «мэтра» продемонстрировать какое-нибудь из его творений. Прекрасные дамы усаживались на траву, важные господа с сигарой в зубах старались сохранять серьезность, и публика наслаждалась созерцанием «тронутого почтальона» с его «Монтенем» или «Всеобщим миром», которого он удерживал за веревку, глядя в небо пронзительным взором великих мореплавателей. В конце концов я почувствовал, сколько оскорбительного было в усмешках важных дам и снисходительном выражении лиц холеных господ, и мне случалось уловить нелестные или полные сожаления реплики. «Он, кажется, не совсем нормален. Его задело снарядом во время войны». «Он объявляет себя пацифистом и ратует за ценность человеческой жизни, но я считаю, что это хитрец, который изумительно умеет создавать себе рекламу». «Умереть можно от смеха!» «Марселен Дюпра был прав, сюда стоило заехать!» «Вы не находите, что он похож на маршала Лиотэ, со своим седым ежиком и с этими усами?» «У него что-то безумное во взгляде...» «Ну конечно, дорогая,— так называемый священный огонь!» Затем они покупали воздушного змея, как платят за место в театре, и без всякого уважения бросали его в багажник автомобиля. Это было тем более тяжело, что дядя, всецело отдаваясь своей страсти, становился безразличен к тому, что происходит вокруг, и не замечал, что некоторые гости развлекались на его счет. Однажды, возвращаясь домой, взбешенный замечаниями, которые я услышал, когда мой опекун управлял полетом своего всегдашнего любимца «Жана-Жака Руссо» с крыльями в форме раскрытых книг, чьи листы трепал ветер, я не смог сдержать своего негодования. Я шел за дядей большими шагами, нахмурив брови, засунув руки в карманы, и так сильно топал, что носки спадали мне на пятки.

— Дядя, эти парижане смеялись над вами. Они вас назвали старым дурнем.

Амбруаз Флери остановился. Он совсем не был обижен, скорее удовлетворен.

— Вот как? Они так сказали?

Тогда я бросил с высоты своих метра сорока сантиметров фразу, которую слышал из уст Марселена Дюпра по поводу одной пары, посетившей «Прелестный уголок» и пожаловавшейся на величину счета:

— Это мелкие люди.

— Мелких людей не бывает,— сказал дядя.

Он наклонился, осторожно положил «Жана-Жака Руссо» на траву и сел. Я сел рядом.

— Значит, они назвали меня дурнем. Ну что ж, представь себе, эти важные дамы и господа правы. Совершенно очевидно, что человек, который посвятил всю свою жизнь воздушным змеям, немного придурковат. Вопрос только, как это толковать. Некоторые называют это придурью, а другие — «священной искрой». Иногда трудно отличить одно от другого. Но если ты действительно кого-нибудь или что-нибудь любишь, отдай все, что у тебя есть, и даже всего себя, и не заботься об остальном...

Веселая улыбка быстро мелькнула под густыми усами.

— Вот что ты должен знать, если хочешь стать хорошим служащим почтового ведомства, Людо.

II

Принадлежавшую нашей семье ферму построил один из Флери вскоре после того, что во времена моих деда и бабушки называлось «событиями». Когда однажды мне захотелось узнать, что за «события» имелись в виду, дядя объяснил, что это была революция 1789 года. Я узнал также, что мы отличаемся хорошей памятью.

— Может быть, это из-за обязательного народного обучения, но Флери всегда имели удивительную историческую память. Думаю, никто из наших никогда и ничего не забывал из того, что выучил. Дедушка иногда заставлял нас рассказывать наизусть Декларацию прав человека. Я так к этому привык, что, случается, и теперь ее повторяю.

Тогда же я узнал (мне только что исполнилось десять лет), что, хотя моя собственная память еще не приняла «исторического» характера, она вызывает у моего школьного учителя господина Эрбье, в определенные часы певшего басом в хоре Клери, удивление и даже беспокойство. Легкость, с какой я запоминал все пройденное и мог повторить наизусть несколько страниц из школьного учебника, прочитав их раз или два, так же как странная способность к счету в уме, казалась ему скорее неким умственным отклонением, чем просто свойством хорошего или даже выдающегося ученика. Он не доверял тому, что называл не моим даром, а «предрасположенностью» (в его устах это звучало зловеще, и я почти чувствовал себя виноватым), так как все знали о дядиных «странностях», и могло статься, что я тоже страдаю каким-то наследственным изъяном, который мог оказаться роковым. Чаще всего я слышал от господина Эрбье высказывание: «Умеренность прежде всего»; произнося это предостережение, он серьезно всматривался в меня. Однажды, когда мои наклонности проявились так явно, что один товарищ на меня наябедничал, поскольку я выиграл пари и получил кругленькую сумму, повторив наизусть десять страниц расписания поездов по справочнику Шэ, я узнал, что господин Эрбье употребил по моему адресу выражение «маленькое чудовище». Я ухудшил дело, предаваясь извлечению квадратных корней в уме и моментально перемножая очень длинные числа. Господин Эрбье отправился в Ла-Мотт, долго говорил с моим опекуном и посоветовал ему отвезти меня в Париж и показать специалисту. Прижав ухо к двери, я не упустил ничего из этой беседы.

— Амбруаз, речь идет о способности, которая ненормальна. Бывает, что дети, исключительно способные к устному счету, сходят потом с ума. Их демонстрируют на сценах мюзик-холлов, и ничего более. Часть их мозга развивается ошеломляющим образом, но в общем они становятся настоящими кретинами. В своем теперешнем состоянии Людовик почти может сдать вступительный экзамен в институт.

— Это действительно любопытно,— сказал дядя.— У нас, Флери, больше развита историческая память. Один из нас даже был расстрелян во время Коммуны.

— Не вижу связи.

— Еще один, который помнил.

— Помнил о чем?

Дядя немного помолчал.

— Обо всем, наверное,— сказал он наконец.

— Вы не собираетесь утверждать, что вашего предка расстреляли из-за избытка памяти?

— Именно это я и говорю. Он, должно быть, знал наизусть все, что французский народ пережил в течение веков.

— Амбруаз, вы здесь известны, извините меня, как... э-э... в общем, человек одной идеи, но я пришел говорить с вами не о ваших воздушных змеях.

— Ну да, верно, я тоже одержимый.

— Я хочу просто предупредить вас, что память маленького Людовика не соответствует его возрасту, да и никакому возрасту. Он прочел наизусть справочник Шэ. Десять страниц. Он умножил четырнадцатизначное число на другое, такое же длинное.

— Значит, у него это выражается в цифрах. Кажется, ему не дана историческая память. Может быть, это спасет его от расстрела в следующий раз.

— Какой следующий раз?

— Да разве я знаю? Всегда есть следующий раз.

— Вам надо было бы показать его врачу.

— Слушайте, Эрбье, вы начинаете мне надоедать. Если бы мой племянник действительно был ненормален, он был бы кретином. До свидания и спасибо за визит. Я понимаю, что вы это делаете из лучших побуждений. Он так же способен к истории, как к математике?

— Еще раз, Амбруаз, здесь нельзя говорить о способностях. Ни даже об уме. Ум предполагает *рассуждение*. Я на этом настаиваю: *рассуждéние*. В этом отношении он рассуждает не лучше, не хуже, чем другие мальчишки его возраста. Что же касается истории Франции, то он может пересказать ее с начала до конца.

Наступила довольно долгая пауза, потом я внезапно услышал, как дядя взревел:

— До конца? Какого конца?! Что, уже предвидится конец?!

Господин Эрбье не нашел, что ответить. После поражения 1940 года, когда явно наметился «конец», мне часто случалось вспоминать об этом разговоре.

Единственным из учителей, который вовсе не казался обеспокоенным моими «наклонностями», был мой преподаватель французского, господин Пендер. Он рассердился только один раз, когда, читая наизусть «Конкистадоров», я, в своем стремлении превзойти себя, решил прочесть поэму наоборот, начиная с последней строфы. Господин Пендер прервал меня, погрозив пальцем:

— Мой маленький Людовик, не знаю, готовишься ли ты таким образом к тому, что, кажется, угрожает всем нам, то есть к жизни навыворот в перевернутом мире, но прошу тебя по крайней мере пощадить поэзию.

Тот же господин Пендер дал нам позднее тему сочинения, воспоминание о которой сыграло определенную роль в моей жизни: «Проанализируйте и сравните два выражения: *уметь сохранять здравый смысл и сохранять смысл жизни*. Скажите, видите ли вы противоречие между этими двумя идеями».

Надо признать, что господин Эрбье был не совсем не прав, когда делился с дядей своими опасениями на мой счет, полагая, что легкость, с какой я все запоминаю, вовсе не означает зрелости ума, уравновешенности и здравого смысла. Может быть, недостаток здравого смысла — общая беда всех людей, страдающих избытком памяти; доказательство тому — количество французов, расстрелянных через несколько лет или погибших в концлагерях.

III

Наша ферма находилась позади селения Кло, на краю леса Вуаньи, где росли вперемешку папоротники и дрок, буки и дубы и водились олени и кабаны. Дальше шли болота — мирное царство уток, выдр, лебедей и стрекоз.

Ферма Ла-Мотт была довольно уединенной. Нашими ближайшими соседями, в добром получасе ходьбы, были Кайе; маленький Жанно Кайе был на два года моложе меня и смотрел на меня снизу вверх. Его родители держали в городе молочную. Дед его, Гастон, потерявший ногу в резуль-

тате несчастного случая на лесопилке, занимался пчеловодством. Дальше жила семья Маньяр: молчаливые, равнодушные ко всему, что не являлось коровой, маслом или полем; отец, сын и две старые девы никогда ни с кем не разговаривали.

— Они говорят, только когда надо назвать или узнать цену,— ворчал Гастон Кайе.

Затем по дороге от Ла-Мотт к Клери шли фермы семей Монье и Симон; их дети учились со мной в одном классе.

Я знал окрестные леса до самых дальних уголков. Дядя помог мне построить на краю оврага, у так называемого «Старого источника», индейский «вигвам», шалаш из веток, накрытый клеенкой, где я уединялся с книгами Джеймса Оливера Кервуда и Фенимора Купера, чтобы мечтать об апачах и сиу или защищаться до последнего патрона от осаждающих меня врагов, всегда «превосходящих по численности», как того требует традиция. В середине июня я наелся до отвала земляники и задремал, а открыв глаза, увидел перед собой девочку с очень светлыми волосами, в большой соломенной шляпе; она строго на меня смотрела. Под ветвями солнце перемежалось с тенью; мне еще и теперь, после стольких лет, кажется, что эта игра светотени вокруг Лилы никогда не прекращалась, и в тот миг волнения, причина и природа которого были мне тогда непонятны, я был в какой-то мере предупрежден о будущем. Инстинктивно, под влиянием то ли неведомой внутренней силы, то ли слабости, я сделал жест, окончательность и бесповоротность которого не мог предвидеть: я протянул пригоршню земляники строгому белокурому существу. Но так просто я не отделался. Девочка села рядом со мной и, не обращая никакого внимания на горсть земляники, завладела всей корзинкой. Итак, роли были распределены навсегда. Когда на дне корзинки осталось всего несколько земляничин, она мне ее вернула и сообщила не без упрека:

— С сахаром вкуснее.

Я не колебался. Я вскочил, помчался во весь дух в Ла-Мотт, пулей влетел на кухню, схватил с полки кулек сахарной пудры и с той же скоростью проделал обратный путь. Она была на месте и сидела на траве, положив рядом шляпу и разглядывая божью коровку на тыльной стороне руки. Я протянул ей сахар.

— Больше не хочу. Но ты милый.

— Оставим здесь сахар и придем завтра,— сказал я с вдохновением отчаяния.

— Может быть. Тебя как зовут?

— Людо. А тебя?

Божья коровка улетела.

— Мы еще недостаточно знакомы. Может, когда-нибудь я и скажу тебе мое имя. Знаешь, я довольно загадочна. Наверно, ты меня никогда больше не увидишь. Чем занимаются твои родители?

— У меня нет родителей. Я живу у дяди.

— Что он делает?

Я смутно чувствовал, что «сельский почтальон» было не то, что надо.

— Он мастер воздушных змеев,— сказал я.

На нее это как будто произвело благоприятное впечатление.

— Что это значит?

— Это как капитан дальнего плавания, только в небе.

Она подумала еще минутку, потом встала.

— Может быть, завтра я опять приду,— сказала она.— Не знаю. Я очень неожиданная. Сколько тебе лет?

— Скоро будет десять.

— О, ты для меня слишком молод. Мне одиннадцать с половиной. Но я очень люблю землянику. Жди меня здесь завтра в это же время. Я приду, если у меня не будет ничего более интересного.

Она ушла, в последний раз строго взглянув на меня.

Назавтра я набрал, наверно, три кило земляники. Каждые несколько минут я бежал смотреть, не идет ли она. В этот день она не пришла. Не пришла ни завтра, ни послезавтра.

Я ждал ее каждый день весь июнь, июль, август и сентябрь. Сначала я рассчитывал на землянику, потом — на чернику, ежевику и грибы. Такую муку ожидания я переживал только с 1940 по 1944 год, пока ждал возвращения подлинной Франции. Когда и надежда на грибы меня покинула, я по-прежнему возвращался в лес на место нашей встречи. Прошел год, и еще год, и еще, и я обнаружил, что господин Эрбье был не так уж не прав, когда предостерегал дядю, что в моей памяти есть что-то, внушающее беспокойство. Видимо, у Флери действительно имелся наследственный недостаток: отсутствовала успокоительная способность к забвению. Я учился, помогал опекуну в мастерской, но редки были дни, когда белокурая девочка в белом платье, с большой соломенной шляпой в руке не составляла бы мне компанию. Речь шла именно об «избытке памяти», как совершенно справедливо сказал господин Эрбье,— сам он им не страдал, так как при нацистах педантично держался в стороне от всего того, что так страстно и опасно взывало к воспоминаниям. Мне и через три-четыре года после нашей встречи случалось, как только появлялась первая земляника, наполнять корзинку и, лежа под буком и подложив руки под голову, закрывать глаза, чтобы заставить Ее внезапно появиться передо мною. Я не забывал даже коробку сахара. Разумеется, в конце концов все это стало окрашиваться улыбкой. Я начинал понимать, что дядя называл «погоней за небом», и учился смеяться над самим собой и своим «избытком памяти».

IV

В порядке исключения я сдал экзамен на степень бакалавра в четырнадцать лет; помогло и свидетельство о рождении, «подправленное» секретарем мэрии господином Жюльяком, который написал, что мне пятнадцать. Я еще не знал, что мне с собой делать. А пока мои математические способности подали Марселену Дюпра мысль доверить мне бухгалтерию «Прелестного уголка», и я ходил туда два раза в неделю. Я читал все, что попадалось под руку, от средневековых фаблио до таких произведений, как «Огонь» Барбюса и «На западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка. Эти книги мне подарил дядя, хотя он редко руководил моим чтением, доверяя «обязательному народному обучению», но больше всего, кажется, тому, что вызывало, вызывает и будет вызывать споры: наследственным чертам характера — особенно присущим нашей семье, как говорил дядя.

Он уже несколько лет как оставил службу, но Марселен Дюпра настоятельно советовал ему, принимая посетителей, надевать старую форму сельского почтальона. Хозяин «Прелестного уголка» обладал тем, что сегодня назвали бы острым чутьем в области «общественных отношений».

— Понимаешь, Амбруаз, у тебя теперь есть легенда, и ты должен ее поддерживать. Знаю, что тебе на это наплевать, но ты должен это сделать для наших мест. Клиенты всегда меня спрашивают: «А этот знаменитый почтальон Флери со своими воздушными змеями еще здесь? Можно его видеть?» В конце концов ты ведь продаешь свои забавные штучки и этим живешь. Значит, надо держать марку. Когда-нибудь будут говорить «почтальон Флери», как говорят «Таможенник Руссо» [1]. Когда я говорю с клиентами, я не снимаю моего кухонного колпака и куртки, потому что меня хотят видеть именно таким.

Хотя Марселен был старый друг, предлагаемые им уловки дяде совсем не нравились. Произошло несколько бурных споров. Хозяин «Прелестного уголка» считал себя в некотором роде национальной гордостью и признавал равными себе только Пуэна в Вене, Пика в Валенсии и Дюмена в Солье. У Марселена была представительная фигура, немного лысеющая голова, светлые глаза голубовато-стального оттенка. Маленькие усики придавали ему суховатый вид. В его манере держаться чувствовалось что-то военное; возможно, это осталось у него от тех лет, которые он провел в траншеях, от

[1] Анри Руссо (1844—1910) — Таможенник, французский художник-примитивист.

1914—1918 годов. В тридцатые годы Франция еще не думала прятаться за своим кулинарным величием, и Марселен Дюпра считал себя непризнанным.

— Единственный, кто меня понимает, это Эдуар Эррио. Как-то он мне сказал перед уходом: «Каждый раз, как я здесь бываю, у меня делается спокойнее на душе. Не знаю, что нам готовит будущее, но уверен, что «Прелестный уголок» выдержит все. Только, Марселен, придется немного подождать с твоим орденом Почетного легиона. Франция еще наслаждается избытком культурных ценностей, от этого некоторым из наших более скромных ценностей не уделяется должного внимания». Вот что мне сказал Эррио. Так что доставь мне удовольствие, Амбруаз. В этом углу только ты да я пользуемся известностью. Уверяю тебя, если ты будешь время от времени надевать для своей клиентуры форму почтальона, то вид у тебя будет лучше, чем в твоем мужицком вельвете.

В конце концов дядя начинал смеяться. Я всегда был счастлив, когда на его лице появлялись добрые морщинки — такие веселые.

— Этот славный Марселен! Тяжело быть великим человеком! Ну что ж! Он не совсем не прав, а чтобы сделать мирное искусство воздушных змеев более популярным, можно немного пожертвовать самолюбием.

Думаю все же, что дядя без особого неудовольствия надевал при случае свою старую форму сельского почтальона, чтобы пойти с детьми на луг — двое-трое ребят часто приходили после школы в Ла-Мотт для «испытаний».

Как я уже говорил, Амбруаза Флери избрали почетным президентом общества «Воздушные змеи Франции», причем, бог знает почему, он подал в отставку во время мюнхенских событий [1]. Я так и не вполне понял, почему убежденный пацифист чувствовал такое возмущение и подавленность, когда в Мюнхене был спасен мир — пусть даже некоторые квалифицировали его как «позорный мир». Вероятно, все те же вечные проделки проклятой «исторической памяти» Флери.

Моя память тоже не отпускала меня. Каждое лето я возвращался в незабываемый лес. Я спрашивал местных жителей и знал, что не был жертвой галлюцинации, как мне стало иногда казаться. Элизабет де Броницкая действительно существовала; ее родители были владельцы «Гусиной усадьбы», расположенной вдоль дороги из Кло в Клери, мимо ее стен я каждый день ходил в школу. Они уже несколько лет не возвращались летом в Нормандию. Дядя рассказал мне, что корреспонденцию отправляли в Польшу: их поместье находилось на берегу Балтийского моря, недалеко от свободного города Гданьска, в те годы более известного под названием Данциг. Никто не знал, собираются ли они вернуться.

— Это не первый и не последний воздушный змей, которого ты теряешь в своей жизни, Людо,— говорил дядя, когда видел, как я возвращаюсь из лесу с корзинкой земляники — к сожалению, полной.

Я ни на что больше не надеялся, но даже если эта игра и становилась немного слишком ребяческой для четырнадцатилетнего мальчика, вдохновлял меня пример зрелого человека: дядя сохранил в душе ту долю наивности, которая трансформируется в мудрость только при неудачном старении.

Около четырех лет я не видел ту, кого называл «своей маленькой полькой», но я абсолютно ничего не забыл. У нее было лицо с такими тонкими чертами, что его хотелось коснуться ладонью; гармоничная живость каждого ее движения позволила мне получить отличную оценку на экзамене по филологии на степень бакалавра. Я выбрал на устном экзамене эстетику, и экзаменатор, видимо измученный рабочим днем, сказал мне:

— Я задам вам только один вопрос и прошу вас ответить мне одним словом. Что характеризует грацию?

Я подумал о маленькой польке, о ее шее, ее руках, о полете ее волос и ответил без колебания:

---

[1] Имеется в виду Мюнхенское соглашение 1938 года между Францией, Великобританией, фашистской Германией и Италией Муссолини, которое, по сути, способствовало развязыванию второй мировой войны.

— Движение.

Я получил «девятнадцать». Я сдал экзамен благодаря любви.

Кроме Жанно Кайе, который иногда садился в углу и смотрел на меня с легкой печалью,— однажды он сказал мне с завистью: «У тебя по крайней мере кто-то есть»,— я ни с кем не дружил. Я стал почти так же безразличен ко всему окружающему, как Маньяры. Иногда я встречал их на дороге, когда они ехали на рынок со своими ящиками,— отца, сына и обеих дочерей, трясущихся на телеге. Каждый раз я здоровался с ними, а они мне не отвечали.

В начале июля 1936 года я сидел на траве рядом со своей корзинкой земляники. Я читал стихи Хосе Мариа де Эредиа, который мне и сейчас еще кажется совершенно несправедливо забытым. Передо мной была светлая прогалина между буками — луч света катался там по земле, как сладострастный кот. Время от времени с соседнего болотца взлетало несколько синиц.

Я поднял глаза. Она была здесь, передо мной — девушка, с которой четыре прошедших года обошлись с благоговением, отдававшим должное моей памяти. Я застыл, почувствовав в груди толчок сердца, от которого у меня сжалось горло. Потом волнение прошло, и я спокойно положил книгу. Она вернулась с небольшим опозданием, вот и все.

— Кажется, ты ждешь меня четыре года...

Она засмеялась.

— И ты даже не забыл сахар!

— Я никогда ничего не забываю.

— А я забываю очень легко. Я не помню даже, как тебя зовут.

Я не мешал ей играть роль. Раз она знала, что я повсюду искал ее, она должна была знать, кто я.

— Подожди, дай подумать... Ах да, Людовик. Людо. Ты сын знаменитого почтальона Амбруаза Флери.

— Племянник.

Я протянул ей корзинку земляники. Она съела одну, села рядом и взяла мою книгу.

— Боже мой, Хосе Мариа де Эредиа! Но это так старо! Тебе бы следовало читать Рембо и Аполлинера.

Оставалось только одно. Я прочел наизусть:

Его любимая в Анжу, что так нежна,
Чарует волшебством несбыточного сна.
Смятенною тоской душа его полна,
Звучащею струной пленяется она.
Неверный — в песне, что для пахаря сложил,
Он голосом тоску свою избыл.

Она казалась польщенной и довольной собой.

— Наши садовники рассказали мне, что ты у них спрашивал, вернусь ли я. Действительно безумная любовь.

Я понял, что если не буду защищаться, я пропал.

— Знаешь, иногда лучший способ забыть кого-то — это снова его увидеть.

— Ух ты! Не обижайся. Я шучу. Правду говорят, что вы все такие?

— Как это — такие?

— Что вы не забываете?

— Мой дядя Амбруаз говорит, что у Флери такая хорошая память, что некоторые из нас от этого умерли.

— Как можно умереть от памяти? Это глупости.

— Он тоже так думает, поэтому он стал сельским почтальоном и ненавидит войну. Теперь он интересуется только воздушными змеями. В небе они очень красивы, только надо держать их за тесемку, а то если они вырвутся и упадут, то станут просто бумагой и обломками дерева.

— Я бы хотела, чтобы ты объяснил, как можно умереть от памяти.

— Это довольно сложно.

— Я не совсем идиотка. Может быть, я пойму.

— Я только хочу сказать, что это довольно трудно объяснить. Кажется, Флери были жертвами обязательного народного обучения.

— Жертвами чего?!

— Обязательного народного обучения. Они выучили слишком много прекрасных вещей, и слишком хорошо их запомнили, и поверили в них полностью, и передавали их от отца к сыну из-за наследственных черт характера, и...

Я чувствовал себя не на высоте и хотел добавить, что во всем этом есть частица сумасшествия, которую называют также священной искрой, но под этим устремленным на меня голубым строгим взглядом путался еще больше и только упрямо повторял:

— Им объяснили слишком много прекрасных вещей, в которые они поверили: ради них они даже пожертвовали жизнью. Поэтому дядя стал пацифистом и защитником гуманности.

Она покачала головой и сказала: «П-ф-ф!»

— Я ничего не понимаю в этой твоей истории. Это ни на что не похоже, что твой дядя тебе рассказывает.

Тогда мне пришла мысль, которая показалась мне очень ловкой.

— Приходи к нам в Ла-Мотт, он тебе сам объяснит.

— Я не собираюсь терять время на сказки. Я читаю Рильке и Томаса Манна, а не Хосе Мариа де Эредиа. Кроме того, ты с ним живешь, а он, кажется, не смог объяснить тебе, что он хочет сказать.

— Надо быть французом, чтобы понять.

Она рассердилась.

— Дьявол! Потому что у французов память лучше, чем у поляков?

Я начинал терять голову. Это была вовсе не та беседа, на которую я надеялся после трагической четырехлетней разлуки. С другой стороны, мне ни в коем случае не хотелось выглядеть жалким, хоть я и не читал ни Рильке, ни Томаса Манна.

— Речь идет об исторической памяти,— сказал я.— Существует много вещей, которые французы помнят и не могут забыть всю жизнь, кроме людей, у которых бывают провалы памяти. Я тебе уже объяснял, что это действие обязательного народного обучения. Не понимаю, что тебе тут непонятно.

Она встала и посмотрела на меня с жалостью.

— Так ты считаешь, что только у вас, французов, есть эта «историческая память»? Что у нас, поляков, ее нет? Никогда я не видала такого осла. Только за последние пять веков у Броницких было сто шестьдесят убитых, причем большинство погибло при героических обстоятельствах, и у нас есть документы, которые это доказывают. Прощай. Больше ты меня не увидишь. Или нет, увидишь. Мне тебя жалко. Ты приходишь сюда четыре года и ждешь меня, и вместо того, чтобы признаться, что ты в меня безумно влюблен — как все остальные,— ты плохо говоришь о моей стране. Во-первых, что ты знаешь о Польше? Ну, давай, я слушаю.

Она скрестила руки на груди и ждала.

Все это так отличалось от того, на что я надеялся и что представлял себе, когда мечтал о ней, что слезы навернулись мне на глаза. Во всем виноват мой старый сумасшедший дядя, он забил мне голову вещами, которые ему лучше бы использовать для своих бумажных хлопушек. Я сделал такое усилие, чтобы не разреветься, что она вдруг забеспокоилась:

— Что с тобой? Ты позеленел.

— Я люблю тебя,— пробормотал я.

— Это не причина, чтобы зеленеть, во всяком случае пока. Ты должен узнать меня получше. До свидания. До скорой встречи. Но только никогда не давай нам, полякам, уроков исторической памяти. Обещаешь?

— Клянусь тебе, я не хотел... Я очень хорошо думаю о Польше. Это страна, известная...

— Чем?

Я замолчал. Я с ужасом обнаружил, что единственное, что приходило мне на ум по поводу Польши, было выражение: «Пьян, как поляк».

Она засмеялась.

— Ну ладно. Четыре года — это неплохо. Конечно, бывает и лучше, но на это нужно время.

С этим бесспорным высказыванием, произнесенным с серьезным видом, она меня оставила — белая быстрая фигурка, мелькнувшая за буками, среди света и тени.

Я дотащился до Ла-Мотт и лег лицом к стене. У меня было чувство, что моя жизнь кончена. Я не мог понять, как и почему вместо того, чтобы кричать ей о своей любви, я втянулся в этот бессмысленный спор о Франции, Польше, об их исторической памяти, которая интересует меня, как прошлогодний снег. Все это дядина вина с этими его «Жоресами» с радужными крыльями и «Мальчиком Арколе» [1], от которого теперь, как объяснил дядя, осталось только название моста, справедливо это или нет.

Вечером он поднялся ко мне.

— Что с тобой?

— Она вернулась.

Он любовно улыбнулся.

— Бьюсь об заклад, что она теперь совсем другая,— сказал он.— Гораздо надежнее, когда делаешь своих воздушных змеев сам, беря красивые краски, веревки и бумагу.

V

На следующий день, около четырех часов, когда я уже начал думать, что все кончено и мне придется сделать самое сверхчеловеческое усилие, состоящее в том, чтобы забыть, перед нашим домом остановилась огромная синяя открытая автомашина. Корректный шофер в серой форме объявил нам, что я приглашен к чаю в «усадьбу». Я поспешно начистил башмаки, надел свой единственный костюм, из которого вырос, и сел рядом с шофером — он оказался англичанином. Он сообщил мне, что Станислав де Броницкий, отец «барышни»,— финансовый гений; его жена была одной из самых известных актрис в Варшаве и, оставив театр, утешалась тем, что дома постоянно делала сцены.

— У них огромные владения в Польше и замок, где господин граф принимает глав государств и знаменитостей со всего света. Да, это большой человек, можешь мне поверить, my boy. Если он тобой заинтересуется, тебе не придется провести всю жизнь на почте.

«Гусиная усадьба» представляла собой большое двухэтажное деревянное строение, украшенное верандами с резными балюстрадами, башенками и затянутыми сеткой балконами. Она не походила ни на что окружающее. Это была точная копия дома Остророгов, двоюродных родичей Броницких, стоявшего на Босфоре, в Стамбуле. Усадьба располагалась в глубине парка, так что сквозь решетку виднелись только аллеи. В кафе «Улитка» на улице Шаров в Клери часто продавались открытки с ее изображением. Она была построена в 1902 году отцом Станислава де Броницкого в честь друга, Пьера Лоти [2], и тот потом часто в ней бывал. От времени и влажного климата доски покрылись темной патиной, которую Броницкий запрещал удалять из уважения к подлинности. Мой дядя хорошо знал усадьбу и часто говорил мне о ней. Когда он еще работал почтальоном, он ходил туда почти каждый день, так как Броницкие получали больше корреспонденции, чем все остальные жители Клери.

— Богачи не знают, что уж и придумать,— ворчал он.— Соорудили турецкий дом в Нормандии!.. Ручаюсь, что в Турции они построили нормандскую усадьбу.

Стоял конец июня, и парк был во всей красе. Я был знаком с природой в ее первозданной простоте; никогда еще я не видел ее столь ухоженной. Цветы имели такой сытый вид, как будто только что вышли из «Прелестного уголка» Марселена Дюпра.

---

[1] Арколе — местечко в Италии, где в 1792 году юный Наполеон одержал победу над австрийцами и лично отличился при взятии Аркольского моста.

[2] Пьер Лоти (1850—1923) — французский писатель.

— У них тут пять садовников работают полный день,— сказал шофер.

Он оставил меня одного у веранды.

Я снял берет, смочил волосы слюной и взбежал по ступенькам. Как только я позвонил и мне открыла обезумевшая горничная, я понял, что попал как нельзя более некстати. Белокурая дама, одетая, как мне показалось, в переплетение голубых и розовых лоскутов, рыдая, полулежала в кресле; озабоченный доктор Гардье, держа в руке часы в виде большой луковицы, щупал ей пульс. Человек скорее маленького роста, но крепкого сложения, в халате, блестящем, как серебряная кольчуга, ходил по гостиной взад и вперед; за ним по следам ходил метрдотель с подносом, уставленным напитками. У Стаса де Броницкого были густые белокурые кудри, как у ребенка, и баки до половины щеки. Можно было бы сказать, что в его лице мало благородства, если бы это качество поддавалось определению невооруженным глазом, без помощи внушающих доверие документов. Круглое лицо с полными щеками, цвет которых слегка напоминал ветчину; легко можно было представить его мясником, склонившимся над разделочной доской. Тонкие усики или, скорее, пушок украшал недовольный, куриной гузкой, рот, придавая графу постоянно раздраженный вид — правда, в момент моего появления это, видимо, действительно имело место.

Большие глаза линяло-голубого оттенка, слегка навыкате. Их неподвижный блеск отчасти напоминал бутылки на подносе метрдотеля и, должно быть, имел отношение к содержимому этих бутылок. Лила спокойно сидела в углу, дожидаясь, чтобы миниатюрный пудель встал на задние лапки ради кусочка сахару. Индивидуум хищного вида, весь в черном, сидел за письменным столом, склонившись над грудой бумаг, которые, казалось, рыл своим носом, такой он был острый и длинный.

Я застенчиво ждал с беретом в руке, пока кто-нибудь обратит на меня внимание. Лила, сначала бросившая на меня рассеянный взгляд, наконец вознаградила пуделя, подошла ко мне и взяла меня за руку. Именно в эту минуту красивая дама разразилась еще более отчаянными рыданиями, к чему все окружающие отнеслись с полным безразличием, и Лила сказала мне:

— Ничего страшного, это опять хло́пок.

Так как мой взгляд, видимо, выражал крайнюю степень непонимания, она добавила вместо объяснения:

— Папа опять впутался в хлопок. Он не может удержаться.

Она добавила, слегка пожимая плечами:

— С кофе было гораздо лучше.

В то время я не знал, что Станислав де Броницкий выигрывал и терял на бирже состояния с такой скоростью, что никто не мог с уверенностью сказать, разорен он или богат.

Станиславу де Броницкому — Стасу для его друзей по азартным играм и скачкам и для дам из «Шабане» и «Сфинкса» — было тогда сорок пять лет. Меня всегда удивлял и немного смущал контраст между его массивным тяжелым лицом и такими мелкими чертами, что, по выражению графини де Ноай [1], «их приходилось искать». Было также что-то нелепое в его детских белокурых кудрявых волосах, розовом цвете лица и фарфорово-голубых глазах — вся семья Броницких, кроме сына Тадеуша, казалась белокуро-розово-голубой. Этот спекулянт и игрок, который бросал деньги на игорные столы так же легко, как его предки посылали своих солдат на поля сражений, не проиграл только одного: своих дворянских грамот. Он принадлежал к одной из четырех или пяти ветвей высшей аристократии Польши, такой, как Сапеги, Радзивиллы и Чарторискис, в течение долгого времени делившие между собой Польшу, пока страна не перешла в другие руки и не подверглась другим разделам. Я заметил, что его глаза подчас слегка вращались в орбитах, как если бы им передалось движение всех тех шариков, за которыми они следили при игре в рулетку.

Сначала Лила подвела меня к отцу, но так как он, поднеся руку ко лбу

---

[1] Анна де Ноай (1876—1933) — французская поэтесса.

и возведя взгляд к потолку, откуда, по-видимому, на него свалилась катастрофа, не обратил на меня ни малейшего внимания, она подтащила меня к госпоже де Броницкой. Дама перестала плакать, бросила на меня взгляд, взмахнув таким количеством ресниц, какого я еще не встречал на человеческих глазах, с рыданиями отняла от губ платок и спросила тонким голоском, еще исполненным муки:

— А этот откуда взялся?

— Я его встретила в лесу,— сказала Лила.

— В лесу? Боже, какой ужас! Надеюсь, он не бешеный. Сейчас у всех животных бешенство. Я читала в газете. Укушенным приходится проходить очень мучительный курс лечения... Надо быть осторожными...

Она наклонилась, взяла пуделя и прижала к себе, глядя на меня с подозрением.

— Прошу вас, мама, успокойтесь,— сказала Лила.

Так я встретился в первый раз с семьей Броницких в ее естественном состоянии — в разгаре драмы. Геня де Броницкая (я узнал позже, что «де» исчезало, когда семья возвращалась в Польшу, где эта частица не употребляется, чтобы вновь возникнуть во Франции, где Броницкие были менее известны) обладала красотой, о которой раньше говорилось, что она «производит опустошения». Это выражение теперь вышло из моды — видимо, количество опустошений, которые мир перенес за последнее время, его обесценило. Очень тонкая (с почтительной оговоркой относительно бедер и груди), она была из тех женщин, которые не знают, что делать, если они так красивы.

Меня окончательно отстранили движением платка, и Лила, по-прежнему держа меня за руку, заставила меня перейти коридор и подвела к лестнице. Между большим парадным холлом, где разыгрывалась хлопковая драма, и чердаком было три этажа, но, кажется, во время этого короткого подъема я узнал больше подробностей относительно некоторых странных вещей, которые происходят между мужчинами и женщинами, чем за всю предыдущую жизнь. Едва мы поднялись на несколько ступенек, как Лила уведомила меня, что первый муж Гени покончил с собой в ночь свадьбы, перед тем как войти в брачную комнату.

— Он нервничал,— объяснила мне Лила, по-прежнему крепко держа меня за руку, боясь, может быть, что я убегу.

Второй муж, напротив, погиб от избытка уверенности в себе.

— От истощения,— сообщила Лила, глядя мне прямо в глаза, как бы желая меня предостеречь, а я спрашивал себя, что она хочет этим сказать.

— Моя мать была самой великой актрисой Польши. Нужен был специальный слуга, чтобы получать цветы, которые все время присылали. Ее содержал король Альфонс XIII и король Румынии Кароль. Но она любила только одного человека в жизни, я не могу тебе сказать его имя, это секрет...

— Рудольфо Валентино [1],— сказал голос.

Мы только что вошли на чердак, и, обернувшись по направлению, откуда раздалась эта реплика, произнесенная с саркастической интонацией, я увидел мальчика, сидевшего, скрестив ноги, на полу под окном мансарды, с открытым атласом на коленях, рядом с глобусом. У него был профиль орленка, нос доминировал на лице, как бы чувствуя себя хозяином. Волосы черные, глаза карие, и, хотя он был старше меня всего на год или на два, его тонкие губы уже дышали иронией — непонятно было даже, улыбается ли он или такой рисунок рта у него от рождения.

— Внимательно слушай, что тебе говорит моя сестричка, потому что во всем этом никогда нет ни слова правды, а это развивает воображение. У Лилы такая потребность лгать, что на нее нельзя сердиться. Это призвание. У меня склад ума научный и рациональный, что совершенно уникально в этой семье. Меня зовут Тад.

Он встал, и мы пожали друг другу руки. В глубине чердака висел красный занавес, и за ним кто-то играл на рояле.

---

[1] Рудольфо Валентино (1895—1926) — американский киноактер.

Лила вовсе не казалась смущенной словами брата и наблюдала за мной с лукавым выражением.

— Ты мне веришь или нет? — спросила она меня.

Я не колебался.

— Я тебе верю.

Она с торжеством взглянула на брата и уселась в большое ветхое кресло.

— Ну, я вижу, это уже любовь,— констатировал Тад.— В этих случаях рассудку уже нечего сказать. Я живу в обществе совершенно сумасшедшей матери, отца, который может поставить на кон Польшу, и сестры, считающей правду своим личным врагом. Давно вы знакомы?

Я собирался ответить, но он поднял руку:

— Погоди, погоди... Со вчерашнего дня?

Я кивнул.

Признание, что я видел Лилу один раз четыре года назад и с тех пор никогда не переставал о ней думать, только вызвало бы какую-нибудь его сокрушительно-ироническую реплику.

— Так я и думал,— сказал Тад.— Вчера она потеряла своего пуделя Мирлитона и поспешила найти ему замену.

— Мирлитон вернулся сегодня утром,— объявила Лила.

Эти фехтовальные выпады явно были привычкой брата и сестры.

— Ну что ж, надеюсь, что теперь она тебя не отошлет. Если она будет тебя дурачить, приходи ко мне. Я очень силен насчет того, что дважды два четыре. Но если хочешь хороший совет — спасайся!

Он вернулся в свой угол, снова сел на пол и погрузился в свой атлас. Лила, откинув голову на спинку кресла, безразлично глядела в пространство. Я немного поколебался, потом подошел к ней и сел на подушку у ее ног. Она подняла колени к подбородку и задумчиво смотрела на меня, как бы спрашивая себя, какую выгоду можно извлечь из своего нового приобретения. Я опустил голову под этим взглядом, в то время как Тад, нахмурив брови, обводил пальцем на глобусе какой-то изгиб Нигера, Волги или Ориноко. Иногда я поднимал глаза, встречал задумчивый взгляд Лилы и снова их опускал, боясь услышать: «Нет, ты мне все-таки не подходишь, я ошиблась». Я чувствовал, что моя жизнь делает поворот и что у Земли совсем другой центр тяжести, чем тот, о каком говорили в школе. Я разрывался между желанием остаться здесь, у ее ног, до конца жизни, и желанием бежать. Я еще и теперь не знаю, удалась ли моя жизнь, оттого что я не убежал, или я ее испортил, потому что остался.

Лила засмеялась и прикоснулась к моему носу кончиками пальцев.

— Мой бедный мальчик, у тебя совершенно безумный вид,— сказала она.— Тад, он меня видел два раза за четыре года и уже потерял голову. Но в конце концов, что во мне такого? Почему они все безумно в меня влюбляются? Они на меня смотрят, а потом сразу делается невозможно разумно разговаривать. Они застывают и глядят на меня, время от времени бекая и мекая.

Тад, не отнимая пальца от глобуса, чтобы не затеряться в пустыне Гоби или Сахаре, которую исследовал, и не умереть от жажды, бросил на сестру холодный взгляд. В шестнадцать лет Тад Броницкий обладал таким знанием света, что казалось — ему остается всего лишь внести несколько мелких поправок в географию и историю планеты.

— Малышка страдает манией величия,— сказал он.

Все это время рояль за занавесом в глубине чердака продолжал играть; вероятно, невидимый музыкант чувствовал себя за тысячу миль отсюда, увлекаемый мелодией к тем далям, куда не могли проникнуть ни наши голоса, ни любой другой отзвук событий этого мира. Затем музыка прекратилась, занавес приоткрылся, и я увидел очень кроткое лицо под взлохмаченной шевелюрой и глаза, которые как бы еще следили за звуками, улетевшими в неизвестные дали. Кроме этого, было длинное тело подростка лет пятнадцати-шестнадцати, сутулого и как будто придавленного своим ростом. Сначала я думал, что он меня рассматривает, но Бруно видел вас

тем меньше, чем более внимательно, как вам казалось, смотрел на вас, причем материальная реальность мира, эта «вещь первой необходимости», как говорил Тад, вызывала у него безразличие, смешанное с удивлением.

— Вот это Бруно,— возвестила Лила, в чьих словах слышались известная нежность и гордость собственницы.— Когда-нибудь он получит в консерватории первую премию за игру на рояле. Он мне обещал. Он будет знаменитым. Впрочем, через несколько лет мы все будем знаменитыми. Тад будет великим путешественником, Бруно будут аплодировать во всех концертных залах, я буду второй Гарбо, а ты...

С минуту она изучала меня. Я покраснел.

— Ну ничего,— сказала она.

Я опустил голову. Должно быть, я тщетно пытался скрыть свое унижение, потому что Тад вскочил, подошел к своей сестре, и, насколько я понял, оба подростка обменялись по-польски градом ругательств, совершенно забыв о моем присутствии, благодаря чему я смог немного успокоиться. В этот момент господин Жюльен, официант из «Прелестного уголка», пришел на чердак в сопровождении горничной, неся два подноса, уставленных сладостями, тарелками, чашками и чайниками. Скатерть разостлали и чай нам подали на полу, что я сначала принял за польский обычай. В действительности же это делалось, как объяснил мне Тад, «чтобы внести немного простоты в этот дом с его невыносимыми привычками к роскоши».

— Кроме того, я марксист,— добавил он (я слышал это слово в первый раз, и оно показалось мне относящимся к обычаю садиться на пол для еды).

За чаем я узнал, что Тад вовсе не собирается становиться путешественником, как требует его сестра, но что он поставил перед собой цель «помочь людям изменить мир» — говоря это, он сделал жест по направлению к глобусу у окна. Бруно был сын умершего итальянского метрдотеля, который служил Броницким в Польше. Обнаружив у ребенка необыкновенные способности к музыке, граф усыновил его, дал ему свою фамилию и помогал ему сделаться «новым Рубинштейном».

— Еще одно капиталовложение,— бросил Тад.— Отец рассчитывает стать его импресарио и заработать много денег.

Я узнал также, что вся семья собирается в конце лета уехать из Нормандии.

— Во всяком случае, если папу отпустят кредиторы и если он не продал наши земли в Польше,— заметила Лила.— Но все это неважно. Мама опять нас выручит. Она всегда находит очень богатого любовника, который в последний момент спасает дело. Три года назад это был Василий Захаров, самый крупный поставщик оружия в мире, а в прошлом году — господин Гульбенкян, его называют «господин пять процентов», потому что он получает пять процентов со всех доходов английских нефтяных компаний в Аравии. Мама обожает отца, и каждый раз, как он разоряется и грозит покончить с собой, она... в общем... как сказать?..

— Она продается,— кратко заключил Тад.

Я еще никогда не слышал, чтобы дети так говорили о своих родителях, и, видимо, моя растерянность была заметна, потому что Тад дружески хлопнул меня по плечу:

— Ну, ну, ты красен, как мак. Ну да, что ты хочешь, мы, Броницкие, немного декаденты. Декаданс — знаешь, что это такое?

Я молча кивнул.

Но я напрасно рылся в знаменитой «исторической памяти» Флери — этого слова там не было.

VI

Я вернулся домой с решимостью стать «кем-то», причем в самый краткий срок, предпочтительно до отъезда моих новых друзей. Это привело к сильной лихорадке, и несколько дней мне пришлось пролежать в постели. В бреду я обнаружил у себя способность к завоеванию галактик и сорвал

с уст Лилы поцелуй в знак благодарности. Помню, что по возвращении с одной особенно враждебной планеты после экспедиции, во время которой я взял в плен сто тысяч нубийцев (я не знал, что такое «нубиец», но это слово казалось мне удивительно подходящим для межзвездных хищников), я надел в честь вручения Лиле моего нового королевства костюм, так разукрашенный драгоценными камнями, что среди самых сверкающих звезд внезапно поднялась паника при виде яркого свечения, исходящего с Земли, занимавшей до сих пор очень скромное место в ряду световых лет.

Моя болезнь закончилась самым приятным образом. В комнате было очень темно: ставни закрыли и занавески задернули, так как боялись, что после нескольких дней недомогания у меня может начаться корь, а в то время при лечении кори принято было держать больного в темноте, чтобы оберечь его глаза. Доктор Гардье проявлял тем большее беспокойство, что мне было уже четырнадцать лет, и корь запаздывала. Было около полудня, судя по свету, который залил комнату, когда открылась дверь и появилась Лила в сопровождении шофера, мистера Джонса, неся огромную корзину фруктов. За ней шел мой дядя, не переставая предостерегать мадемуазель о риске заразиться роковой болезнью. Лила помедлила минуту в дверях, и, несмотря на крайнее волнение, я не мог не почувствовать продуманности позы, которую она приняла в луче света, играя своими волосами. Хотя этот визит имел отношение ко мне, прежде всего здесь присутствовал театральный элемент, игра во влюбленную девушку, которая склоняется над постелью умирающего; это хотя и не полностью исключало любовь и смерть, однако оттесняло их на задний план. Пока шофер ставил на стол корзину с экзотическими фруктами, Лила постояла еще несколько мгновений в той же позе, затем быстро пересекла комнату, наклонилась надо мной и коснулась поцелуем моей щеки, несмотря на повторное напоминание дяди о разрушительном и пагубном могуществе микробов, возможно поселившихся в моем теле.

— Ты ведь не собираешься умереть от болезни? — спросила она, как бы ожидая от меня какого-то совершенно иного и замечательного способа покинуть землю.

— Не трогай меня, ты можешь заразиться.

Она села на кровать.

— Зачем тогда любить, если боишься заразиться?

Жаркая волна хлынула мне в голову. Дядя разглаживал усы. Мистер Джонс нес караул возле экзотической корзинки, где плоды личи, папайи и гуаявы напоминали скорее о роскоши Парижа, чем о тропических пейзажах. Амбруаз Флери высказал в избранных выражениях признательность, которую, по его словам, только моя слабость мешала мне выразить. Лила раздвинула занавески, распахнула ставни и вся стала светом, склонившись надо мной в потоке своих волос; в них свободно играло солнце, знающее толк в хороших вещах.

— Я не хочу, чтобы ты был болен, я не люблю болезни, надеюсь, что это не войдет у тебя в привычку. Время от времени можешь себе позволить небольшой насморк, но не больше. Больных и без тебя достаточно. Есть даже такие, которые умирают, и совсем не от любви, а от какой-нибудь ужасной гадости. Я понимаю, когда умирают от любви, потому что иногда она так сильна, что жизнь не может этого выдержать, она взрывается. Ты увидишь, я дам тебе книги, где это описывается.

Дядя, помня о славянских привычках, предлагал чашку чая. Мистер Джонс бросал корректные взгляды на часы и «позволял себе напомнить, что барышню ждут на урок музыки». Но Лила не торопилась уходить: ей было приятно видеть мои глаза, полные немого обожания,— она царила, я был ее царством. Сидя на краю кровати, нежно склонившись ко мне, она позволяла себя любить.Что касается меня, то я полностью пришел в себя только после ее отъезда и больше думал об этом душистом получасе, проникнутом первым в моей жизни дуновением женственности и первым проявлением телесной близости, когда он закончился, чем пока продолжался. После того как Лила ушла, я подождал с четверть часа, а потом встал

с постели. Я чувствовал беспокойство и старался скрыть его от дяди. Так было весь день. Я оделся и весь вечер шагал по полям, но ничего не помогало, пока в ту ночь во сне благожелательная природа сама не пришла мне на помощь.

Лазурно-голубой «паккард» с откидным верхом приезжал за мной каждый день, и дядя начал ворчать:

— Эти люди приглашают тебя, чтобы показать, что у них нет предрассудков, что у них широкие взгляды и они позволяют своей дочери дружить с деревенским мальчиком. На днях я встретил госпожу Броницкую в Клери. Знаешь, что она делала? Она навещала своих бедняков, как в средневековье. Ты умный мальчик, но не замахивайся слишком высоко. Хорошо, что они уезжают, а то бы ты в конце концов приобрел дурные привычки.

Я отодвинул тарелку.

— Во всяком случае, я не хочу быть почтовым служащим,— сказал я.— Я хочу быть кем-то совсем другим. Я совершенно не знаю, что я хочу делать, потому что мне хочется делать что-то очень большое. Может быть, этого даже еще нет, и нужно, чтобы я это изобрел.

Я говорил громко и уверенно и гордо поднимал голову. Я не думал о Лиле. Я и сам не знал, что во всем, что я говорил, в этом стремлении превзойти себя речь идет о молодой девушке, об ее дыхании на моих губах и ее руке на моей щеке.

Я снова взялся за суп.

Дядя казался довольным. Он слегка щурился и разглаживал усы, чтобы скрыть улыбку.

VII

В нескольких километрах от Ла-Мотт, за прудом Маз, был овраг, окруженный ясенями и березами. Здешний лес, некогда использовавшийся для Кольберовского флота, заглох; там, где раньше стучал топор, теперь росли во множестве красные дубы, окруженные зарослями кустарника и папоротника. Именно у этого оврага дядя помог мне построить «вигвам» рядом с источником, обессилевшим и умолкшим от старости. Благодаря какой-то игре воздушных потоков бумажные змеи, если их запускали на краю оврага, поднимались в воздух с легкостью, для которой у дяди имелось научное объяснение, но мне казалось, что это проявление дружеской благожелательности неба по отношению ко мне. Недели за две до отъезда Броницких я стоял тут, задрав голову к последнему творению Амбруаза Флери под названием «Крепость» — крепости, рассеченной надвое, с толпой маленьких человечков внутри, которые трепетали в воздухе, как бы толкаясь. Раскручивая веревку, я давал змею больше свободы в небе, где он был в своей стихии; и вдруг меня кто-то толкнул, ударил, и, не выпуская барабана веревки, я оказался на земле, а противник навалился на меня всем весом. Я очень быстро заметил, что у него не было ни сил, ни сноровки, соответствующих его воинственным намерениям, и, хотя у меня был свободен только один кулак, легко с ним справился. Он храбро дрался, беспорядочно молотя кулаками, а когда я уселся ему на грудь, прижимая к земле одну его руку коленом, а другую — своей рукой, он попытался ударить меня головой. Это не дало никакого результата, но удивило меня, потому что в первый раз я внушал кому-то такие сильные чувства. У него были тонкие черты лица, почти как у девушки, и длинные белокурые волосы. Он отбивался с энергией, которая не могла компенсировать узости его плеч и слабости рук. Наконец, в изнеможении, он застыл неподвижно, набираясь сил, потом снова начал дрыгаться, а я старался не дать ему встать, не выпуская своего змея.

— Что тебе от меня нужно? Что это на тебя нашло?

Он попытался ударить меня головой в живот, но только ударился затылком о камень.

— Откуда ты взялся?

Он не отвечал. Этот голубой взгляд, уставившийся на меня с каким-то светлым бешенством, начинал действовать мне на нервы.

— Что я тебе сделал?

Молчание. У него шла кровь носом. Я не знал, что мне делать со своей победой, и, как всегда, когда чувствовал себя более сильным, хотел пощадить его и даже помочь ему. Я отпрыгнул и отступил.

Он полежал еще минуту, потом встал.

— Завтра в это же время,— сказал он.

На этом он повернулся ко мне спиной и пошел прочь.

— Эй, слушай! — крикнул я.— Что я тебе сделал?

Он остановился. Его белая рубашка и красивые брюки-гольф были измазаны землей.

— Завтра в то же время,— повторил он, и я в первый раз заметил его гортанный иностранный акцент.— Если не придешь, будешь трус.

— Я тебя спрашиваю, что я тебе сделал?

Он ничего не ответил и удалился, держа одну руку в кармане и согнув другую, прижав локоть к телу,— эта поза показалась мне необыкновенно элегантной. Я следил за ним глазами, пока он не исчез среди папоротников, потом вернул свою «Крепость» на землю и весь остаток дня ломал себе голову, пытаясь понять причину нападения мальчика, которого никогда раньше не видел. Я рассказал дяде о приключении, и он предположил, что забияка собирался завладеть нашим воздушным змеем, покоренный видом этого шедевра.

— Нет, я думаю, он злился на меня.

— Но ты ведь ему ничего не сделал?

— Может быть, я ему что-то сделал, не зная об этом.

Я в самом деле начинал чувствовать за собой какую-то неведомую мне вину. Но сколько ни ломал голову, ничего не мог вспомнить; я мог себя упрекнуть только в том, что несколько дней назад послушался Лилу и выпустил ужа во время мессы, что оказало на публику в высшей степени удовлетворительное действие. Я с нетерпением ждал часа встречи со своим противником, чтобы заставить его сказать, чем вызван его мстительный гнев по моему адресу и какое зло я ему причинил.

На следующий день он появился, едва я подошел к «вигваму». Думаю, он поджидал меня в зарослях шелковицы на краю оврага. На нем была куртка в белую и голубую полоску, то есть блейзер, как я узнал, когда привык к хорошему обществу, и белые фланелевые брюки. На этот раз он, вместо того чтобы прыгнуть на меня, выставил вперед ногу и, сжав кулаки, принял позицию английского бокса. Это произвело на меня впечатление. Я ничего не понимал в боксе, но видел точно такую же стойку на фотографии чемпиона Марселя Тиля. Он сделал ко мне шаг, потом другой, вращая кулаками, как будто заранее наслаждался сокрушительным ударом, которым поразит меня. Оказавшись совсем близко, он начал подпрыгивать и пританцовывать вокруг меня, иногда прижимая кулак к своей щеке, то подступая вплотную, то немного отпрыгивая назад или вбок. Так он пританцовывал некоторое время, потом кинулся на меня и наткнулся на мой кулак, который угодил ему прямо в лицо. Он сел, потом сразу же встал и снова начал пританцовывать, иногда выбрасывая руку вперед и нанося мне удар-другой, которых я почти не чувствовал. Наконец мне это надоело, и я влепил ему тыльной стороной руки хорошую нормандскую оплеуху. Наверное, я, не желая этого, сильно его ударил, потому что он снова упал, и теперь рот у него был в крови. Я еще никогда не видел такого хрупкого парнишку. Он хотел подняться, но я прижал его к земле.

— Слушай, ты объяснишь, в чем дело?

Он молчал и с вызовом глядел мне прямо в глаза. Мне было досадно. Я не мог его проучить: он действительно был слишком слаб. Оставалось только взять его измором. Так что я продержал его на земле около получаса, но так ничего и не добился. Он молчал. Не мог же я в самом деле просидеть на нем целый день. Я боялся ему повредить. У него были мужество и воля, у этого олуха. Когда я наконец отпустил его, он встал, поправил свою одежду и длинные светлые волосы и повернулся ко мне.

— Завтра в это же время.

— Иди к черту.

Я снова спросил свою совесть и, не найдя, в чем себя упрекнуть, решил, что мой упорный противник принимает меня за кого-то другого.

Во второй половине дня меня оторвал от чтения томика Рембо, которого мне дала Лила, знакомый гудок «паккарда» перед домом, и я быстро выбежал на улицу. Мистер Джонс подмигнул мне, и я услышал традиционное и дружески насмешливое: «Месье приглашают к чаю».

Я бегом поднялся к себе, чтобы умыться, надел чистую рубашку, смочил волосы и, сочтя результат малоудовлетворительным, взял в мастерской клей, которым воспользовался как помадой. Затем я с серьезным видом уселся на заднем сиденье, с пледом на коленях, но, к большой досаде мистера Джонса, выпрыгнул из машины, которая уже тронулась, и снова побежал в свою комнату: я забыл начистить башмаки.

VIII

В салоне Броницких толпилось много народу, и первым, кого я увидел, был мой загадочный противник: он был с Лилой и не проявил никакой враждебности, когда моя подруга взяла его под руку и подвела ко мне.

— Вот мой кузен Ханс,— сказала она.

Он слегка поклонился.

— Очень рад,— сказал он.— Полагаю, что мы уже встречались и что у нас еще будет возможность снова увидеться.

Он удалился с беспечным видом.

— Что такое? — удивилась Лила.— У тебя странный вид. Надеюсь, вы будете друзьями. По крайней мере, вас объединяет одно: он тоже меня любит.

Госпожа де Броницкая лежала с мигренью, и Лила с легкостью играла роль хозяйки дома, знакомя меня с гостями:

— Это наш друг Людо, племянник знаменитого Амбруаза Флери.

Большинство находившихся здесь влиятельных парижан ничего не знали о моем дяде, но делали вид, что понимают, чтобы не быть пойманными на каком-нибудь вопиющем невежестве. Все они были одеты с ошеломляющей элегантностью. Целая коллекция драгоценностей, шляп, жилетов, костюмов и гетр — такое я видел только на клиентах «Прелестного уголка». Мне было неловко среди них в моих стоптанных башмаках, пиджаке с лоснящимися рукавами и с вылезающим из кармана краем берета. Я храбро боролся с ощущением приниженности, представляя себе того или иного гостя, в этих брюках с жесткой складкой, клетчатом пиджаке и с желтым галстуком в воздухе, привязанным за веревку, конец которой я буду держать в руке и тянуть туда-сюда. Так я в первый раз использовал воображение с целью самозащиты, и ничто в жизни не пригодилось мне так, как это. Разумеется, я был далек даже и от зачатка общественной позиции, но предавался некоему самовыражению, в котором тем не менее присутствовал если не революционный, то по крайней мере подрывной элемент. Дородный мужчина по имени Устрик, чье безбородое и в избытке снабженное жиром лицо было украшено кукольным носом и пухлыми губами, узнав в свою очередь от Лилы, что я племянник «знаменитого Амбруаза Флери», сказал, пожимая мне руку:

— Поздравляю вас. Франция будет нуждаться в таких людях, как ваш дядя.

Я заметил на лице Лилы лукавый проблеск, который уже хорошо знал.

— Знаете,— сказала она,— возможно, что при следующем правительстве его назначат на пост министра почтового ведомства.

— Большой человек! Большой человек! — поспешил заявить господин Устрик, слегка наклоняя туловище к близлежащему пирожному.

У меня вдруг возникло желание спасти пирожное от ожидающей его участи. Среди всех этих шикарных людей я чувствовал себя стертым в порошок, и мне казалось, что единственной возможностью утвердить себя в глазах Лилы был какой-то геройский поступок.

Я деликатно вынул пирожное из пухлой руки господина Устрика и поднес его к губам. Мне это многого стоило, мое сердце билось очень сильно. Я еще не мог ни сравняться со своим предком Флери, погибшим на баррикадах в 1870-м, ни войти во главе войск в Берлин, взяв в плен Гитлера, чтобы поразить Лилу, но все же мог показать ей, из какого металла я отлит.

Когда господин Устрик увидел, как пирожное исчезло у меня во рту, на его лице появилось выражение такого изумления, что я вдруг понял всю дерзость своего поступка. Ни жив ни мертв, так как еще не обладал силой характера настоящих революционеров, я повернулся к Лиле. Я видел на ее лице выражение нежного удивления. Она взяла меня за руку, увела за ширму и обняла.

— Знаешь, это очень по-польски, то, что ты сделал. Мы — народ сорвиголов. Ты был бы хорошим уланом при Наполеоне, а потом стал бы маршалом. Я уверена, что ты добьешься многого в жизни. Я тебе помогу.

Я решил испытать ее. Я хотел знать, любит ли она меня ради меня самого или только из-за подвигов, которые я собирался совершить ради нее.

— Послушай, когда я вырасту, я надеюсь получить хорошее место служащего почтового ведомства.

Она покачала головой и погладила меня по щеке почти материнским жестом.

— Ты плохо меня знаешь,— сказала она, как будто я говорил о ее жизни, а не о своей.— Пойдем.

В тот день у Броницких присутствовали некоторые из самых известных людей большого света того времени, но их имена были мне так же неизвестны, как им — имя моего дяди. Только один из них проявил ко мне дружеский интерес. Это был знаменитый летчик Корнильон-Молинье, проявивший большое мужество во время своего неудачного перелета из Парижа в Австралию, который он пытался осуществить вместе с англичанином Молиссоном. «Ла газетт» отозвалась на неудачу перелета следующим комментарием: «Никогда не полететь Молиссону с Молинье!» Этот маленький южанин с томными глазами, украшенными длинными, почти женскими ресницами, сказал с юмором, когда Лила представила меня, не преминув добавить: «Он — племянник знаменитого Амбруаза Флери»:

— После моей неудачи ваш дядя подарил мне одного из своих воздушных змеев, видимо, чтобы внушить мне, что дело поправимо...

Обойдя таким образом салон, я смог наконец присоединиться к другим молодым людям в соседней комнате и сесть за стол, где нас обслуживал официант в белых перчатках. Я едва прикасался к сладостям, мороженому, крему и экзотическим фруктам, которые подавались на серебряных блюдах с гербом Броницких — позолоченной волчицей. Я чувствовал себя тем более скованно в этой атмосфере роскоши и элегантности, что напротив сидел двоюродный брат Лилы, мой хрупкий и храбрый лесной враг. Ханс фон Шведе держался очень прямо, положив ногу на ногу, и, поднося к губам чашку, прижимал локоть к боку. В его лице — у него были почти такие же светлые и длинные волосы, как у Лилы,— была тонкость, которую в тот период моей жизни я еще не умел назвать аристократической, не зная связи этого термина с эстетикой. Он не проявлял ко мне враждебности и ни разу не попытался извлечь пользу, посмеявшись над разницей в нашей одежде — его блейзером с посеребренными пуговицами и брюками из белой фланели и моим старым, слишком узким костюмом, который подходил как нельзя хуже к обществу, в котором я находился. Он меня просто не замечал, и я утешался, отыскивая на его лице неоспоримые доказательства своего существования: слегка припухшую губу и синяк под глазом. Он рассеянно ковырял ложечкой свой смородиновый шербет, придавая ему форму розы. Тад бросал холодные взгляды на гостей «раута» — это слово доживало последние годы во французском языке. Его тонкие губы выражали то, что многие годы спустя я научился квалифицировать как «иронию террориста»,— намек на нее я встретил потом в чертах знаменитого гудоновского Вольтера. Свесив одну руку через спинку стула, он созерцал столы, за

которыми гости Броницких воплощали в совершенстве тот «хороший тон» тридцатых годов, когда Лазурный берег еще не существовал летом, поскольку его отели открывались только на зимний сезон, а Кабур еще не приобрел «очарования старины», облагораживающего дурной вкус прошлого. Что касается Бруно, он спокойно сидел среди нас, по-прежнему немного сутулый, немного рассеянный, с растрепанными кудрями, где уже виднелось несколько седых нитей, несмотря на его шестнадцать лет. Есть такие очень кроткие лица, которые кажутся созданными для зрелости и готовы встретить снегопад еще весной. Трое мальчиков встали, когда подошла Лила; она усадила меня рядом с собой. Помню, что я все время чувствовал, какие на мне короткие брюки: из-под них над носками виднелись голые лодыжки. Так все мы встретились в первый раз в тот знаменательный день, в конце июля 1935 года, и все эти сладости, печенья и груши «Прекрасная Елена» никогда уже не растают и не зачерствеют в моей памяти.

— Смотрите,— говорил Тад,— как отчаянно модельеры, портные, гримеры и парикмахеры борются за полную безликость, вульгарность души и интеллектуальное ничтожество этих сливок общества. И их пение соответствует их оперению, потому что пусть меня повесят, если они говорят о чем-нибудь, кроме биржи, бегов и приемов, в то время как в Испании вспыхивает гражданская война, Муссолини применяет газ против эфиопов, а Гитлер требует Австрию и Судеты... Этот очень худой господин, украшенный лысиной, чья голова напоминала бы яйцо страуса, если бы Греко не изобразил точно такую же в своих «Похоронах графа д'Оргаса», вовсе не испанский гранд, а ростовщик, который дает деньги моему отцу на условиях двадцати процентов... Человек в сером сюртуке и жилете — адвокат, который имеет доступ ко всем министрам, используя как визитную карточку свою жену. Что до наших дорогих родителей, делается страшно при мысли, что с ними стало бы, если бы их так хорошо не прикрывало генеалогическое древо. Отец потерял бы свой аристократический вид, став похожим на мясника, а мать, если бы она не могла больше платить мадемуазель Шанель, парикмахеру Антуану, массажисту Жюльену, специалистке по гриму Фернанде и жиголо Нино, начала бы походить на близорукую горничную, которая не знает, куда девала утюг...

Лила ела эклер.

— Тад — анархист,— объяснила она мне.

— Это означает, что он — избранная натура,— заметил Ханс.

Я с удовольствием отметил, что у него немецкий акцент. Поскольку Франция и Германия всегда были врагами, я чувствовал, что, какова бы ни была причина его нападения, я хорошо сделал, что проучил его.

Бруно казался огорченным.

— Мне кажется, Тад, что ты смотришь на всех этих людей с не меньшим количеством предрассудков, чем те, которые ты им приписываешь. Можно сделать то же с самой природой — находить, что у птиц глупый вид, что собаки гнусны, потому что вылизывают себе зад, и что нет никого глупее пчел, потому что они делают мед для других. Будь осторожен. То, что начинается таким взглядом на вещи, становится жизненным принципом. Если все перекашивать, то все будешь видеть кривым.

Тад повернулся ко мне.

— Вы слышали, мой юный друг, голос сочной груши, призвание которой — быть съеденной. Это то, что называют идеалистом.

— Я хотела бы знать, почему ты вдруг говоришь «вы» нашему другу? — спросила Лила.

— Потому что он еще не мой друг, если даже когда-нибудь им и станет. В семнадцать лет я больше не бросаюсь очертя голову ни в дружбу, ни во что другое. Хотя я и поляк, «очертя голову» — не мое призвание. Это было хорошо для наших предков улан, у которых была необходимая святая дерьмовая глупость.

— Прошу тебя не употреблять подобных выражений в присутствии девушки,— бросил ему Ханс.

— А вот и пробуждение прусского юнкера,— вздохнул Тад.— Кстати, кто это тебе разукрасил лицо? Дуэль?

— Они дрались из-за моих красивых глаз,— объявила Лила.— Они оба безумно влюблены в меня, и вместо того, чтобы понять, что это братство, которое должно их объединять, они дерутся. Но это у них пройдет, когда они поймут, что я люблю их обоих и что, таким образом, не к кому ревновать.

Я еще не произнес ни слова. Однако я чувствовал, что настал момент так или иначе проявить себя, ибо я не имел права забывать, что я племянник Амбруаза Флери и должен быть его достоин. Я ничего не знал об искусстве блистать в обществе, но страстно желал тут же на глазах у Лилы доказать какое-нибудь свое неоспоримое превосходство, которое бы всех посрамило. Если бы на свете существовала справедливость, я получил бы в эту минуту дар летать в облаках, или оказался лицом к лицу со львом, чья судьба была бы плачевна, или завоевал титул чемпиона всех разрядов на ринге, у края которого сидела бы Лила. Но все, что я мог сделать, это спросить:

— Какой будет квадратный корень из 273678?

Должен сказать, что мне удалось по крайней мере их удивить. Трое юношей внимательно на меня поглядели, потом обменялись между собой взглядами. Лила была в восторге. У нее был священный ужас перед математикой, так как она находила, что у цифр неприятная привычка утверждать, что два и два — четыре, в чем она видела что-то противное самому польскому духу.

— Ну, раз вы не знаете, я вам скажу,— заявил я.— Это равняется 523,14242!

— Я полагаю, что вы выучили это наизусть перед тем, как прийти сюда,— презрительно сказал Ханс.— Вот что я называю принимать меры. Впрочем, я ничего не имею против шутов, которые разрезают женщин на куски и достают кроликов из шляпы, это такой же способ, как и другие, чтобы зарабатывать на жизнь... если в этом есть необходимость.

— Тогда выберите цифру сами,— сказал я,— и я сразу же дам вам квадратный корень. Или перемножу любые цифры. Или прочтите мне колонку из ста цифр, и я повторю ее в том порядке, как вы прочли.

— Какой будет квадратный корень из 7198489? — спросил Тад.

Мне понадобилось на несколько секунд больше обычного, потому что я волновался, а это был вопрос жизни и смерти.

— 2683,— объявил я.

Ханс пожал плечами.

— К чему это? Ведь нельзя проверить.

Но Тад вынул из кармана блокнот и карандаш и сделал подсчет.

— Правильно,— сказал он.

Лила захлопала в ладоши.

— Я ведь вам говорила, что он гений,— объявила она.— Это и так было очевидно, без этих совершенно излишних упражнений счета в уме. Я не выбираю первого попавшегося.

— Надо бы все-таки рассмотреть это более внимательно,— пробормотал Тад.— Признаю, что я заинтересован. Может быть, он согласится подвергнуться некоторым дополнительным испытаниям...

Это было трудно, но я справился без единой ошибки. В течение получаса я повторял по памяти списки цифр, которые мне читали, извлекал квадратные корни из бесконечных чисел и перемножал такие длинные цифры, что результаты могли бы заставить побледнеть от зависти звездные пространства. В конце концов мне не только удалось убедить своих слушателей в том, что моя подруга тут же назвала моим «даром», но Лила в придачу встала из-за стола, пошла к отцу и сообщила ему, что я вундеркинд в математике, заслуживающий его внимания. Граф Броницкий тут же пришел за мной: он, видимо, решил, что где-то в глубине моего мозга скрывается приспособление, при помощи которого можно будет выигрывать в рулетку, баккара и на бирже. Этот человек глубоко верил в чудеса

в денежной форме. Так и вышло, что меня пригласили стать посреди гостиной перед публикой, среди которой находились некоторые из самых известных деловых людей того времени — их неотразимо притягивали цифры. Никогда еще я не занимался устным счетом с такой отчаянной волей к победе. Конечно, никто в этой семье не называл меня плебеем и не давал почувствовать мое низкое общественное положение. Семья Броницких принадлежала к такой старой аристократии, что они начали проявлять к народу немного печальное ностальгическое влечение, какое можно испытывать только по отношению к вещам несбыточным. Но представьте себе пятнадцатилетнего мальчика, выросшего в нормандской деревне, в слишком коротких брюках и вылинявшей рубашке, с беретом в кармане, в окружении пятидесяти дам и мужчин, одетых с роскошью, говорившей об их принадлежности к свету, «единственная возможность проникнуть в который — это его разрушить» (по словам Равашоля, в ту пору мне неизвестным). Только так можно понять, с каким трепетным жаром, с каким волнением я вступил в этот бой во имя чести. Мне пришлось прожить довольно долго, прежде чем оказаться в мире, где выражение «бой во имя чести» вызывает не больше чувств, чем какой-либо нелепый плюмаж былых времен, едва достойный насмешки; что ж, это означает только, что мир ушел в одну сторону, а я в другую, и не мне решать, кто ошибся тропинкой.

Стоя на сверкающем паркете, выдвинув ногу вперед, скрестив руки на груди, с пылающими щеками, я умножал, делил, извлекал квадратные корни из огромных чисел, называл на память сотню телефонных номеров, которые мне читали по справочнику, высоко держа голову под картечью цифр, пока обеспокоенная Лила не пришла мне на помощь, схватив меня за руку и бросив присутствующим дрожащим от гнева голосом:

— Хватит! Вы его замучили.

Она увела меня в помещение за буфетом, где слуга Броницких суетился возле новых порций дорогих блюд, мороженого и шербетов, только что доставленных из «Прелестного уголка». Не знаю почему, но, хотя я вышел из своей битвы победителем, я чувствовал себя грустным и униженным. Тад, который появился вместе с Бруно, отодвинув бархатную портьеру, отделявшую нас от высшего общества, объяснил мне мою растерянность.

— Прошу тебя извинить нас,— сказал он.— Моя сестричка должна была бы знать, что отец не упустит такого случая развлечь общество. Ты обладаешь довольно необычным талантом. Постарайся не стать цирковой собачкой.

— Не обращай на Тада внимания,— сказала Лила, которая, к моему ужасу, курила сигарету.— Как все очень умные мальчики, он не выносит гениальности. Это зависть. В самом деле, мой дорогой брат, с твоим складом ума тебе бы банщиком работать — ты так любишь окатывать холодным душем!

Тад поцеловал ее в лоб.

— Я тебя люблю. Жаль, что ты моя сестра!

— Но я только ее кузен, так что, может быть, у меня есть шанс! — бросил голос, чей германский акцент я сразу же узнал.

Ханс был здесь с бутылкой порто в руке. Я с трудом выходил из своего состояния мозгового и нервного напряжения, но вид этого красивого тонкого и светлого лица помог мне полностью прийти в себя. Я уже знал: или он, или я, и так как он выпил и стал смотреть на меня с вызовом, я пожелал немедленной войны между Францией и Германией, чтобы нас разделила сама судьба. Я ненавидел эту подчеркнутую элегантность, эту выправку — рука в кармане, локоть прижат к телу — происходившего от тевтонских завоевателей или балтийских баронов, хвастуна, с которым я справился одной рукой.

— Отличный номер,— сказал он мне.— Перед вами большое будущее.

— Не говори ему «вы»,— запротестовала Лила.— Мы все будем друзьями.

— Вас ждет прекрасная карьера, господин Флери,— повторил Ханс,— так как будущее, несомненно, принадлежит цифрам. С тех пор как исчезло

рыцарство, мир научился считать, и всё только усугубляется. Мы еще увидим исчезновение всего, что не может быть сведено к цифрам,— например, чести.

Тад наблюдал за нами с улыбкой. Брат Лилы обладал почти физическим даром беспечности — он как бы пытался замаскировать то, что в нем было необычного и страстного, принимая равнодушный и немного усталый вид. Я чувствовал, что у него на языке вертелась сокрушительная реплика, но, как я сам понял во время двух наших «стычек», Ханс был мальчиком, которого хотелось пощадить. В четырнадцать лет он был самым молодым из нас и самым хрупким. Тем не менее он готовился к военной карьере, как все фон Шведе. Я узнал от Лилы, что между его участью и моей есть некоторое сходство, хотя тогда мне не пришло бы в голову сказать «участь» по отношению к Флери,— единственное слово, которое я слышал, когда речь шла о моих родных, было «судьба». Его отец был убит во время войны 1914—1918 годов, а мать, как и моя, умерла вскоре после его рождения; он воспитывался у тетки в замке Кремниц, в Восточной Пруссии, всего в нескольких километрах от поместья Броницких в Польше.

Пока мы обменивались более или менее любезными репликами, Бруно держался в стороне, выстукивая по краю стола воображаемую мелодию.

— Поехали кататься на лодке,— предложила Лила.— Собирается дождь. Может быть, будет буря, молнии... *Происшествие!*

Она подняла глаза к небу, но над нами, как это случается слишком часто, был только потолок.

— О Боже,— воскликнула она,— пошли нам хорошую грозу или вулкан, если это в Твоей власти, чтобы положить конец этой нормандской безмятежности!

Тад мягко взял ее под руку.

— Сестричка, хотя в мире достаточно вулканов с экзотическими названиями, пламя, которое зреет в Европе, гораздо опаснее, и его порождают не недра земли, а люди!

Когда мы дошли до пруда, упало несколько капель дождя. Пруд был творением известного английского пейзажиста Сандерса, создавшего в Европе бесчисленные цветочные апофеозы. Отец Лилы потратил миллионы на украшение поместья в надежде продать его в пять-шесть раз дороже какому-нибудь ослепленному нуворишу. Броницкие постоянно находились на грани «окончательной» финансовой катастрофы, как говорил не без некоторой надежды Тад; пышность их образа жизни скрывала кризисы и почти безвыходные положения, которые можно замаскировать только внешними признаками богатства.

Мы взялись за весла. Лила томно возлежала на подушках. Упало несколько капель дождя, свидетельствовавших о милости неба, избавившего нас от ливня. В облаках ощущалась тяжесть, которая увеличилась бы при порыве ветра, но ветер не спешил дуть. Птицы лениво отдыхали перед дождем. Очень далеко слышался шум поезда, но он не вызывал волнения, так как это был только поезд Париж — Довиль, не напоминающий о дальних путешествиях. Приходилось грести осторожно, чтобы не повредить водяные лилии. От воды славно пахло свежестью и тиной, и насекомые падали в воду там, где надо, и от них разбегались маленькие круги. В это время не было моих любимых стрекоз. Иногда подлетал шутки ради большой глупый шмель. Лила в белом платье, полулежа в окружении своих гребцов, напевала польскую балладу, обратив взор к небу,— небу везло! Я был самым сильным гребцом, но она не обращала на это никакого внимания; впрочем, я должен был подчиняться ритму остальных. Приходилось уклоняться от ухоженных веток, а то с них упало бы несколько цветков. Имелся, конечно, и маленький мостик изумительного рисунка, увитый белыми цветами, специально выписанными из Азии. Но это был единственный явно искусственный штрих, остальные растительные массивы, тщательно продуманные, выглядели естественно.

Лила перестала петь. Она играла своими волосами, и ее глаза, такие голубые, что, казалось, отнимали часть синевы у неба, приобрели выражение серьезности, означавшее ее преклонение перед мечтой.

— Я не уверена, что хотела бы стать второй Гарбо, я не хочу быть второй ни в чем. Не знаю еще, что я буду делать, но я буду *единственной*. Конечно, сейчас не та эпоха, когда женщина может изменить карту мира, но надо действительно быть мужчиной, жалким мужчиной, чтобы хотеть изменить карту мира. Я не буду актрисой, потому что актриса становится другой только на один вечер, а я хочу меняться всегда, с утра до вечера, нет ничего грустнее, чем быть только самой собой, произведением искусства, которое создали обстоятельства... Я ненавижу все неизменное...

Я греб, благоговейно слушая, как Лила «мечтает о себе», по выражению Тада: Лила одна переплывала Атлантический океан, как Ален Жербо; Лила писала романы, которые переводились на *все* языки; Лила становилась адвокатом и спасала человеческие жизни чудесами красноречия... Эта белокурая девушка, лежащая на восточных подушках, даже не подозревала, что уже была для меня более необыкновенным и волнующим созданием, чем все те, о ком она говорила в неведении себя самой.

Тяжелый запах стоячей воды поднимался вокруг нас при каждом взмахе весел, пушистые травы ласкали мое лицо; иногда между кустов показывались искусственные дали чащи, так прекрасно сделанной, что надо было смотреть очень холодными глазами, чтобы помнить, что это только английский парк.

— Я еще могу все испортить,— говорила Лила,— я для этого достаточно молода. Когда люди стареют, у них меньше шансов все испортить, потому что на это уже нет времени и можно спокойно жить, довольствуясь тем, что уже испортил. Это называют «умственным покоем». Но когда тебе шестнадцать лет и можно еще все испробовать и ничего не добиться, это обычно называют «иметь будущее»...

Ее голос дрогнул.

— Послушайте, я не хочу вас пугать, но иногда мне кажется, что у меня ни к чему нет таланта...

Мы запротестовали. Я говорю «мы», но это в основном были Тад и Бруно, которые предсказывали ей чудесное будущее. Она станет новой мадам Кюри или даже еще лучше, совсем в другой области, которую, может быть, еще не открыли. Что касается меня, то я надеялся, хотя и с некоторым стыдом, что Лила права: если у нее ни к чему нет таланта, то у меня есть шанс. Но Лила была неутешна, и слеза медленно скользнула по ее щеке и остановилась как раз там, где могла блестеть. Разумеется, она ее не стерла.

— Я так хотела бы тоже стать кем-то,— прощептала она.— Я окружена гениями. У ног Бруно будут толпы, никто не сомневается, что Тад будет более великим путешественником, чем Свен Хедин, и даже у Людо удивительная память...

Я проглотил это «даже у Людо» без большого труда. У меня была весь-кая причина чувствовать себя удовлетворенным: Ханс молчал. Он отвернул голову, и я не видел его лица, но втайне торжествовал. Я плохо представлял себе, как он сможет объяснить Лиле, что его тоже ждет блестящее будущее и что в немецкую военную академию он поступает из любви к польке. Я чуял, что здесь я держусь за нужный конец веревки, как у нас говорят, и не собирался его выпускать. Я даже позволил себе роскошь немного пожалеть соперника. Этот век не благоприятствовал тевтонским рыцарям. Впрочем, надо признать, что понравиться женщине становилось все труднее: Америка была уже открыта, источники Нила тоже, Линдберг совершил перелет через Атлантический океан, и Ли Мэллори поднялся на Эверест.

Мы все пятеро были еще близки к наивности детства — быть может, самому плодотворному времени, которое жизнь дарит нам, а потом отнимает.

IX

На следующий день Стас Броницкий посетил моего дядю. Он прибыл торжественно, потому что это был не такой человек, который допустил бы бестактность, переодевшись и приняв скромный вид для визита к людям маленьким. Голубой «паккард» сиял; шофер, мистер Джонс, одновременно

распахнул дверцу и снял фуражку с торжественностью, красноречиво говорящей о достоинстве как хозяина, так и слуги, и кавалерист финансов, как его называли на Парижской площади, явился во всем великолепии своего гардероба: костюм цвета розового дерева, галстук в духе лучшего лондонского клуба, перчатки цвета свежего масла, трость, гвоздика в бутоньерке и прежнее озабоченное выражение человека, чьи самые хитроумные расчеты предательски разрушают биржа, баккара и рулетка.

Мы как раз закусывали, и наш посетитель, кинув на колбасу, деревенский хлеб и кусок масла заинтересованный взгляд, был приглашен присоединиться к нам, что он и сделал немедленно, элегантно орудуя большим кухонным ножом и выпив несколько стаканов нашего терпкого вина почти не поперхнувшись. Затем он сделал дяде неожиданное предложение. Я являюсь, заявил он с польским акцентом, в котором я узнавал певучие гласные и немного обрывистые согласные Лилы,— так вот, я являюсь гением в области устного счета и памяти; о моем будущем следует всячески позаботиться. Он предложил направлять меня и постепенно посвятить в секреты биржевых операций, ибо преступно было бы не обращать внимания на мои таланты и, быть может, дать им заглохнуть из-за отсутствия среды, благоприятной для их развития. В настоящее время, поскольку мой юный возраст не позволяет мне готовиться к экзамену на финансово-экономический факультет, а тем более самостоятельно прокладывать себе путь в той сфере деятельности, где математический гений должен сочетаться со зрелостью ума и необходимыми знаниями, он предлагает мне каждое лето выполнять при нем функции секретаря.

— Вы понимаете, месье, ваш племянник и я, мы обладаем в некотором роде способностями, дополняющими друг друга. У меня в высшей степени развито умение предвидеть биржевые колебания, а у Людовика — способность немедленно переводить на язык конкретных цифр мои предвидения и теории. В Варшаве, Париже и Лондоне я располагаю специальными бюро, но мы проводим лето здесь, и я не могу весь день не отходить от телефона. Вчера ваш племянник продемонстрировал такую скорость счета и такую память, которые мне позволят выиграть драгоценное время в той области, где, как совершенно справедливо говорят, время — деньги. Если вы согласны, мой шофер будет каждое утро заезжать за ним и вечером привозить его обратно. Он будет получать сто франков в месяц, часть которых сможет выгодно помещать при благоприятных ситуациях, которые я ему укажу.

Я был настолько потрясен перспективой проводить целый день с Лилой, что чуть ли не усмотрел здесь влияние воздушного змея «Альбатрос», накануне улетевшего в небо и, быть может, снискавшего для меня эту милость. Что касается дяди, то он зажег трубку и задумчиво глядел на поляка. Наконец он подтолкнул к нему колбасу и бутылку; Стас Броницкий завладел ими и на этот раз откусил прямо от колбасы, уже не заботясь об элегантности. Затем, с полным ртом, дохнул на нас чесноком, и мы услышали настоящий крик души:

— Наверное, вы считаете, что я слишком занят финансами, и так как вы сами увлекаетесь вещами крылатыми и возвышенными, это, разумеется, должно казаться вам чересчур приземленным. Но вы должны знать, господин Флери, что я веду настоящий бой во имя чести. Мои предки победили всех врагов, которые пытались нас покорить, а я собираюсь победить деньги, этого нового захватчика и естественного врага аристократии, на его собственной территории. Не думайте, что я стремлюсь отстаивать мои былые привилегии, но я не пойду на уступку деньгам и...

Он оборвал речь и, высоко подняв брови от удивления, внезапно уставился на какую-то точку в пространстве. Это были последние дни Народного фронта, и хотя мой дядя и говорил, что не принадлежит ни к какой партии, под влиянием исторического момента он соорудил «Леона Блюма» [1] из бумаги, веревки и картона, с управляемым хвостом. Он был

[1] Леон Блюм (1872—1950) — французский политический деятель. В 1936—1938 гг.— глава правительства Народного фронта. В 1940 году арестован немецкими оккупантами и интернирован в Германии.

очень хорош в небе со своей черной шляпой и красноречиво поднятыми руками, но сейчас висел вниз головой у балки рядом с «Мюссе» с лирой, без особого соблюдения хронологии.

— Что это такое? — спросил Стас Броницкий, откладывая колбасу.

— Это моя историческая серия,— сказал Амбруаз Флери.

— Похоже на Леона Блюма.

— Я держусь в курсе событий, вот и все,— объяснил дядя.

Броницкий сделал неопределенный жест рукой и отвернулся.

— Хорошо, неважно. Так вот, как я вам говорил, таланты вашего племянника могут быть для меня очень полезны, так как нет машины, которая способна была бы считать так быстро. В финансовой сфере, как в фехтовании, главное — быстрота. Нужно опередить других.

Он бросил еще один беспокойный взгляд в сторону Леона Блюма, взял платок и вытер лоб. В его небесно-голубых глазах был отчаянный отблеск, как у рыцаря в поисках чаши святого Грааля, которого обстоятельства заставили заложить коня, доспехи и копье в ломбард.

Мне понадобилось время, чтобы обнаружить, что финансовый гений Броницкого был самым настоящим. В самом деле, он одним из первых разработал финансовую систему, которая затем вошла в обиход и благодаря которой банки оказывали ему поддержку: он столько им задолжал, что капиталовладельцы не могли себе позволить довести его до банкротства.

Дядя проявил осторожность. С тем полным отсутствием всякого намека на иронию, которое он проявлял в свои самые иронические моменты, он сообщил моему будущему покровителю, что мой жизненный путь в общем определен и рассчитан на бóльшие высоты.

— Хорошее скромное место почтальона с обеспеченной пенсией, вот что я имею в виду для него.

— Но, боже мой! Господин Флери, у вашего племянника гениальная память! — прогремел Стас Броницкий, ударив кулаком по столу.— И все, чего вы для него хотите, это место мелкого чиновника?

— Месье,— ответил мой дядя,— сейчас наступают такие времена, когда, может быть, самая лучшая роль выпадет на долю мелких чиновников. Они смогут сказать: «Я, по крайней мере, ничего не сделал!»

Тем не менее было условлено, что в летние месяцы я буду поступать в распоряжение Броницких в качестве «ответственного за подсчеты». На этом дядя и мистер Джонс, взяв графа под локотки с двух сторон, ибо колбаса сделала свое дело — о двух бутылках вина здесь приличествует скромно умолчать,— проводили его к автомобилю. Садясь за руль, невозмутимый мистер Джонс, которого я до сих пор принимал за воплощение всех британских добродетелей флегмы и корректности, повернулся к моему опекуну и с очень сильным английским акцентом, но на таком французском, который неоспоримо свидетельствовал о занятиях совсем иного свойства, чем работа личного шофера, произнес:

— Бедный фрайер. Никогда не видал такого обормота. Так и просится ощипать.

На этом, надев перчатки и вновь обретя свой невозмутимый вид, он тронул с места «паккард», ослепив нас неожиданным проявлением лингвистических способностей.

— Ну вот,— сказал дядя,— ты наконец вышел в люди. Ты нашел могущественного покровителя. Прошу тебя только об одном...

Он серьезно посмотрел на меня, и, хорошо его зная, я уже смеялся.

— Никогда не давай ему в долг.

X

Три следующих года, с 1935 по 1938-й, в моей жизни было только два сезона: лето, когда Броницкие с наступлением июня возвращались из Польши, и зима, начинавшаяся с их отъезда в конце августа и продолжавшаяся до их возвращения. Бесконечные месяцы, во время которых я не

видел Лилу, были полностью посвящены воспоминаниям, и я думаю, что отсутствие моей подруги окончательно лишило меня способности забывать. Она редко мне писала, но ее письма были длинными и напоминали страницы дневника. Тад, когда я получал от него весточку, говорил мне, что его сестра «продолжает мечтать о себе, в настоящий момент она собирается ухаживать за прокаженными». Конечно, в ее письмах были слова нежности и даже любви, но они производили на меня странно безличное, чисто литературное впечатление, так что я совсем не удивился, когда в одном из них Лила сообщила, что предыдущие послания были отрывками из более полного произведения, над которым она работает. Тем не менее, когда Броницкие возвращались в Нормандию, она бросалась ко мне с распростертыми объятиями и покрывала меня поцелуями, смеясь, а иногда даже немного плача. Мне хватало этих нескольких мгновений, чтобы почувствовать, что жизнь сдержала все свои обещания и что для сомнений нет места. Что касается моих обязанностей «секретаря-математика», как меня прозвал Подловский, человек на побегушках у моего нанимателя, гладко выбритый, причесанный на прямой пробор, с лицом, состоящим из одного подбородка, с влажными руками, всегда готовый к поклонам, то работа, которую я выполнял, вовсе не была увлекательной. Когда Броницкий принимал какого-нибудь банкира, менялу или ловкого спекулянта и они предавались хитрым подсчетам процентов, вздорожания или активного сальдо, я присутствовал при беседе, жонглировал миллионами и миллионами, реализуя огромные состояния, подсчитывая ажио и заемы, перемножая затем сегодняшний курс акций, которые могли бы быть куплены, учитывая теоретические преимущества сегодняшнего утра, вычисляя, что столько-то тонн сахара или кофе, если только акции будут подниматься согласно предчувствиям гениального «кавалериста финансов», умноженные на сегодняшний курс, в фунтах стерлингов, франках и долларах дадут такую-то сумму, и так быстро привык к миллионам, что с тех пор я никогда не чувствовал себя бедным. Занимаясь этими операциями высокого полета, я ждал появления Лилы за слегка приоткрытой дверью: она всегда показывалась, чтобы заставить меня потерять голову и сделать какую-нибудь грубую ошибку, разоряя одним махом ее отца, заставляя курс хлопковых акций падать до предела, деля, вместо того чтобы умножить, что вызывало полную растерянность «кавалериста» и хохот его дочери. Когда я немного привык к этим выходкам, целью которых — насколько же излишней! — было проверить прочность ее власти надо мною, и мне удавалось не сбиться и избежать ошибки, она делала разочарованную гримаску и уходила не без гнева. Тогда мне казалось, что меня постигла огромная потеря, более страшная, чем все биржевые неудачи.

Мы встречались каждый день около пяти часов на другом конце парка, за прудом, в шалаше, куда садовник бросал цветы, «пережившие себя», как выражалась Лила; потерявшие свои краски и свежесть, они изливали здесь свое последнее благоухание. Ноги вязли в лепестках, в красном, голубом, желтом, зеленом и лиловом, и в травах, которые при жизни называют сорняками, потому что они живут, как им хочется. В эти часы Лила, научившись играть на гитаре, «мечтала о себе» с песней на устах. Сидя в цветах, подобрав на коленях юбку, она говорила мне о своих будущих триумфальных турне по Америке, об обожании толпы, и в своих фантазиях была так убедительна, или, скорее, я так ею восхищался, что все эти цветы у ее ног казались мне данью ее восторженных поклонников. Я видел ее бедра, я сгорал от желания, не смел ничего, не двигался; я просто тихо умирал. Она пела неверным голосом какую-нибудь песню, слова которой написала сама, а музыку — Бруно, а потом, испуганная своим старым врагом — действительностью, отказывавшей ее голосовым связкам в божественных звуках, которых Лила от них требовала, бросала гитару и начинала плакать.

— У меня нет ни к чему никакого таланта, вот и все.

Я утешал ее. Ничто не доставляло мне большего удовольствия, чем эти минуты разочарования, ибо они позволяли мне обнимать ее, касаться рукой

груди, а губами — губ. И вот настал день, когда, потеряв голову, позволив своим губам действовать по их безумному вдохновению и не встретив сопротивления, я услышал голос Лилы, которого не знал, голос, с которым не мог сравниться никакой музыкальный гений. Я стоял на коленях, а голос опьянял меня и уносил куда-то выше всего, что я знал до сих пор в жизни о счастье и самом себе. Крик прозвучал так громко, что я, никогда до этой минуты не бывший верующим, почувствовал себя так, как если бы наконец вернул Богу то, что ему принадлежало. Потом она неподвижно лежала на своем ложе из цветов, забыв руки на моей голове.

— Людо, о Людо, что мы сделали?

Все, что я мог сказать и что было самой правдой, было:

— Не знаю.

— Как ты мог?

И я произнес фразу в высшей степени комическую, если подумать обо всех возможных способах приобщения к вере:

— Это не я, это Бог.

Она приподнялась, села и вытерла слезы.

— Лила, не плачь, я не хотел причинить тебе горе.

Она вздохнула и отстранила меня рукой.

— Дурак. Я плачу, потому что это было слишком больно.

Она строго посмотрела на меня.

— Где ты этому научился?

— Чему?

— Черт,— сказала она.— Никогда не видела такого идиота.

— Лила...

— Замолчи.

Она легла на спину. Я лег рядом с ней. Я взял ее руку. Она отняла ее.

— Ну вот,— сказала она.— Я стала проституткой.

— Но, боже мой! Что ты говоришь?!

— Шлюха. Я стала шлюхой.

Я заметил, что она говорила это с большим удовлетворением в голосе.

— Что ж, наконец мне удалось стать кем-то!

— Лила, послушай...

— У меня нет никаких способностей к пению!

— Есть, только...

— Да, только. Молчи. Я проститутка. Ну что ж, можно стать самой известной, самой знаменитой проституткой в мире. Дамой с камелиями, но без туберкулеза. Мне больше нечего терять. Теперь все в моей жизни решено. У меня больше нет выбора.

Хотя я привык к скачка́м ее воображения, мне стало страшно. Это был почти суеверный ужас. Мне казалось, что жизнь слушает нас и записывает. Я вскочил.

— Я тебе запрещаю говорить такие глупости,— закричал я.— У жизни есть уши. И потом, я ведь только...

Она сказала «Ах!» и положила руку на мои губы.

— Людо! Я тебе запрещаю говорить о таких вещах. Это чудовищно! Чу-до-вищ-но! Уходи! Я больше не хочу тебя видеть. Никогда. Нет, останься. Все равно уже слишком поздно.

Однажды, возвращаясь с нашего ежедневного свидания в шалаше, я встретил Тада, который ждал меня в холле.

— Слушай, Людо...

— Да?

— Ты давно спишь с моей сестрой?

Я молчал. На стене уланский полковник Ян Броницкий, герой Сан-Доминго и Сомосьерры, поднимал над моей головой саблю.

— Не делай такого лица, старик. Если ты воображаешь, что я собираюсь говорить тебе о чести Броницких, то ты просто недоделанный. Я только хочу избавить вас от бед. Бьюсь об заклад, что ни один из вас даже не знает о существовании цикла.

— Какого цикла?

— Ну вот, так я и думал. Есть период — примерно за неделю до месячных и с неделю после,— когда женщина не может забеременеть. Тогда ничем не рискуешь. Так что, раз ты так силен в математике, помни это и не делайте глупостей, вы оба. Я не хочу, чтобы пришлось обращаться к какой-нибудь крестьянке с ее вязальными спицами. Слишком много девчонок от этого умирает. Это все, что я хотел тебе сказать, и больше я никогда не буду говорить с тобой об этом.

Он хлопнул меня по плечу и хотел уйти. Я не мог так отпустить его. Я хотел оправдаться.

— Мы любим друг друга,— сказал я ему.

Он внимательно посмотрел на меня, с чем-то вроде научного интереса.

— Чувствуешь себя виноватым, потому что спишь с моей сестрой. Этого чувства хватило бы на две тысячи лет тюрьмы. Ты счастлив — да или нет?

Сказать «да» казалось мне так недостаточно, что я молчал.

— Ну вот, нет другого оправдания жизни и смерти. Ты можешь провести всю жизнь в библиотеках и не найдешь другого ответа.

Он ушел своей беспечной походкой, насвистывая. Я еще слышу эти несколько нот «Аппассионаты».

Бруно избегал меня. Напрасно я говорил себе, что мне не в чем себя упрекать и что если Лила выбрала меня, то это так же не зависело от моей воли, как если бы божья коровка села мне на руку: меня преследовало горе, которое я видел на его лице, когда наши взгляды сталкивались. Он проводил целые дни за роялем, и когда музыка прекращалась, тишина казалась мне самым трагическим из всех произведений Шопена, какие я знал.

XI

Мои труды при Броницком не ограничивались его финансовыми операциями. Я помогал ему также в поисках способа, который бы дал ему возможность одержать решительную и окончательную победу над казино,— он мечтал предпринять решающую атаку против этой крепости. Стас водружал рулетку на стол для бриджа и кидал шарик, вплоть до крика «Больше не ставят!» для вящего реализма, причем мне казалось, что этот его крик исходит из темной глубины души, которую называют подсознанием. Единственным вкладом, который я мог внести в отчаянный поиск «системы», было запоминание наизусть порядка выходящих номеров и последующее повторение их по десять — двадцать раз, с тем чтобы Стас мог обнаружить в них подмигиванье судьбы; при этом я наблюдал на его обрамленном баками лице умирание мечты. Через несколько часов этой погони за несбыточным он вытирал лоб и бормотал:

— Мой маленький Людовик, я переоценил ваши силы. Мы продолжим завтра. Отдыхайте, чтобы быть в наилучшей форме.

Мое сочувствие и желание помочь так усилились, что я начал жульничать. Я знал, что граф ищет в повторяемых мною цифрах номера и комбинации номеров, которые повторялись бы в определенном порядке. Не отдавая себе отчета в последствиях, какие может иметь моя добрая воля, нашедшая себе очень плохое применение, я стал перегруппировывать выходящие номера, подобно тому как участники спиритических сеансов не могут удержаться от подталкивания стола для сохранения иллюзии. Заставив меня повторить несколько раз подряд номера, сгруппированные мной по сериям, Стас вдруг принял вид, который я не могу назвать иначе как безумным, застыл на минуту в неподвижности с автоматическим карандашом в руке, весь внимание, как если бы слышал некую божественную музыку; затем, предложив мне хриплым от волнения голосом начать сначала, что я и сделал с теми же благими намерениями, со страшной силой ударил кулаком по столу и прогремел голосом своих предков, когда они бросались в атаку с саблями наголо:

— Kurwa mać! Они у меня в руках, эти негодяи! Я их заставлю заплатить!

Он вскочил, вышел из кабинета, и в своем неведении я почувствовал себя счастливым, сделав доброе дело.

В этот вечер Броницкий проиграл миллион в казино в Довиле.

На следующее утро я был с Лилой, когда граф вернулся домой. Подловский предупредил нас о бедствии часом раньше, добавив: «Он опять будет стреляться!» Лила, которая пила чай с медовыми тартинками, не казалась чересчур взволнованной.

— Отец не мог проиграть такую сумму. Если он ее проиграл, значит, это были не его деньги. Так что он потерял только свои долги. Он должен чувствовать облегчение.

У этих поляков действительно была восхитительная стойкость, позволившая их стране пережить все катастрофы. В то время как я ожидал увидеть Геню Броницкую в сильнейшем истерическом припадке, со звонками врачам и обмороками, в ее лучших театральных традициях, она сошла в столовую в розовом пеньюаре, с пуделем под мышкой, поцеловала дочь в лоб, дружески поздоровалась со мной, приказала подать себе чай и объявила:

— Я положила револьвер в мой кофр. Он не должен его найти — он неделю будет на нас дуться. Не знаю, занял ли он эти деньги у Потоцких, Сапег или Радзивиллов, но в конце концов долг в игре — долг чести, они должны это понимать; кто бы его ни платил, главное, чтобы польская аристократия оставалась верной своим традициям.

Тад, зевая, спустился по лестнице, в халате, с газетой в руке.

— Что происходит? У мамы такой спокойный вид, что я боюсь худшего.

— Отец опять разорился,— сказала Лила.

— Это означает, что он опять кого-то разорил.

— Сегодня ночью он проиграл миллион в Довиле.

— Ему пришлось забрать все остатки,— проворчал Тад.

Горничная только что принесла горячие рогалики, когда появился Стас Броницкий. У него был дикий вид. Безукоризненный мистер Джонс нес за ним пальто, а у выбритого до синевы Подловского, человека на все руки, челюсти и подбородок казались вдвое больше обычного.

Броницкий молча осмотрел нас всех.

— Может кто-нибудь здесь одолжить мне сто тысяч франков?

Его взгляд остановился на мне. Тад и Лила разразились смехом. Даже славный Бруно с трудом скрыл свою веселость.

— Сядьте, друг мой, и выпейте чашку чаю,— сказала Геня.

— Ну хорошо, десять тысяч?

— Стас, прошу вас,— сказала графиня.

— Пять тысяч! — завопил Броницкий.

— Мари, подогрейте нам еще чая и рогаликов,— сказала Геня.

— Тысячу франков, черт подери! — проорал в отчаянии Броницкий.

Арчи Джонс засунул руку под френч и сделал шаг вперед, осторожно держа клетчатое пальто графа.

— Если сударь мне позволит... Сто франков? Fifty-fifty, разумеется.

Броницкий секунду поколебался, потом выхватил билет из руки своего шофера и выбежал из комнаты. Подловский воздел плечи и руки жестом бессилия и последовал за ним. Арчи Джонс вежливо нам поклонился и удалился в свою очередь.

— Ну вот,— сказала Геничка со вздохом,— англичане действительно единственные, на кого можно положиться.

Мне довелось часто слышать эту фразу при совсем иных обстоятельствах.

XII

Не знаю, кто возместил моему нанимателю сумму, потерянную в результате «системы», в которой я был так без вины повинен: князья Сапеги, князья Радзивиллы или графы Потоцкие,— но в течение последующих дней

усадьба полна была польскими джентльменами, при крайней изысканности сыпавшими последними площадными ругательствами. Такие выражения, как «этот недоделанный Броницкий», «это дерьмо», «этот сын шлюхи», лились со всех сторон и едва не падали с уст уланского полковника Яна Броницкого на уже упоминавшемся портрете. Самые страшные польские проклятия обрушились на несчастную жертву рулетки, встречавшую шквал с величайшим хладнокровием, как подобает гражданину страны, привыкшей возрождаться из пепла. Его доводы были несокрушимы: ему не хватило другого миллиона, которого требовала «система», чтобы сорвать банк. Так что если кто-нибудь ссудит ему два миллиона, он вновь пойдет в бой и на следующий день его хулители первыми будут кричать победное «ура!» в его честь. Но, видимо, на этот раз даже самые доблестные из польских патриотов спустили флаг и потеряли веру в победу. Броницкий проводил со своим «человеком на все руки» длительные совещания, на которые меня приглашали, хотя в подсчетах больше не было нужды, так как единственной вытекающей из всего этого цифрой был большой дурацкий ноль. Решено было продать семейные драгоценности, которые Броницкий пришел просить у жены. Он получил отказ. Лила, которая присутствовала при этой сцене, удобно устроившись в кресле и поедая засахаренные каштаны («раз мы будем бедными, надо пользоваться жизнью»), рассказала мне, смеясь, что ее мать выдвинула довод, что, поскольку вышеуказанные бриллианты и жемчуг были ей подарены герцогом д'Авилой в бытность его испанским послом в Варшаве, с ее стороны было бы бесчестно расстаться с ними ради мужа.

— В нашей семье снова, как всегда, прежде всего думают о чести,— прокомментировал Тад.

Последнему из улан осталась только одна линия обороны: возвращение в свои польские поместья, которые были неприступны для противника, так как являлись исторической ценностью, ревностно хранимой режимом полковников, пришедшим на смену режиму маршала Пилсудского. Замок и земли расположены были в устье Вислы, в «польском коридоре», отделяющем Восточную Пруссию от остальной части Германии. Гитлер требовал ее возвращения и уже установил в свободном городе Данциге нацистское правительство. Декретом 1935 г. владение было объявлено неотчуждаемым, и Броницкие получали крупную субсидию за его содержание.

Я был в ужасе. Одна только мысль о потере Лилы по своей жестокости казалась мне несовместимой с какими бы то ни было представлениями о человечности. Месяцы или даже годы, которые мне придется провести вдали от нее, открывали мне существование величины, не имевшей ничего общего с теми, какие я мог вычислить. Дядя, видевший, как я чахну по мере приближения рокового часа, попытался объяснить мне, что в литературе были примеры любви, пережившей годы разлуки, у лиц, наиболее пораженных этим недугом.

— Лучше, чтобы они совсем уехали. Тебе исполнилось семнадцать, ты должен найти себе занятие, и нельзя жить только женщиной. Уже годы ты живешь только ради нее и ею, и даже «эти сумасшедшие Флери», как нас называют, должны иметь немножко разума, или, как говорится по-французски, «вразумить себя», хотя я первый признаю, что от этого выражения разит отказом от своих убеждений, компромиссом и смирением и что если бы все французы «вразумляли себя», то уже давно Франции пришел бы конец. Истина в том, что не нужно ни слишком много разума, ни слишком мало безумия, но я признаю, что «не слишком много и не слишком мало» — быть может, хороший рецепт для «Прелестного уголка» и приятеля Марселена, когда он стоит у плиты, и иногда надо уметь терять голову. Черт, я тебе говорю противное тому, что хотел сказать. Лучше перенести удар и покончить с этим, и даже если ты должен любить эту девушку всю жизнь, пусть уж она уедет навсегда, она от этого станет только прекраснее.

Я чинил его «Синюю птицу», которая накануне сломала себе шею.

— Что же вы все-таки стараетесь мне сказать, дядя? Вы мне советуете «сохранить здравый смысл» или «сохранить смысл жизни»?

Он опустил голову.

— Хорошо, молчу. Я не могу давать тебе советы. Я любил только одну женщину в своей жизни, и так как ничего не получилось...

— Почему не получилось? Она вас не любила?

— Не получилось, потому что я ее так и не встретил. Я хорошо представлял ее, я представлял ее каждый день в течение тридцати лет, но она не появилась. Воображение иногда может сыграть с нами свинскую шутку. Это касается женщин, идей и стран. Ты любишь идею, она кажется тебе самой прекрасной из всех, а потом, когда она материализуется, она совсем на себя не похожа или даже оказывается прямо дерьмовой. Или ты так любишь свою страну, что в конце концов не можешь больше ее выносить, потому что никогда она не может быть так хороша...

Он засмеялся.

— И тогда делаешь из своей жизни, своих идей и своей мечты... воздушных змеев.

Нам оставалось только несколько дней, и на прощание мы ходили смотреть на лес, пруды и старые тропинки, которые больше не увидим вместе. Конец лета был мягким, как будто из нежности по отношению к нам. Казалось, самому солнцу жаль покидать нас.

— Я бы так хотела что-то сделать из своей жизни,— говорила мне Лила, как если бы меня не было рядом.

— Это только потому, что ты недостаточно любишь меня.

— Конечно, я тебя люблю, Людо. Но именно это и ужасно. Ужасно, потому что мне этого мало, потому что я еще продолжаю «мечтать о себе». Мне только восемнадцать лет, а я уже не умею любить. Иначе я бы не думала все время о том, что сделаю со своей жизнью, я бы полностью забыла себя. Я бы даже не мечтала о счастье. Если бы я действительно умела любить, меня бы не было, был бы только ты. Настоящая любовь, это когда для тебя существует только любимый. И вот...

Ее лицо приняло трагическое выражение.

— Мне только восемнадцать лет, а я уже не люблю,— воскликнула она и разразилась рыданиями.

Я не был слишком взволнован. Я знал, что за несколько дней она отказалась сначала от занятий медициной, а потом архитектурой, чтобы поступить в Школу драматического искусства в Варшаве и сразу стать национальной гордостью польского театра. Я начинал понимать ее и знал, что моя обязанность — оценивать в качестве знатока искренность ее голоса, ее горя и ее растерянности. Она почти спрашивала меня, отстраняя прядь волос движением, которое мне до сих пор кажется самым красивым женским жестом, и следя за мной уголком голубого глаза: «Ты не находишь, что это у меня выходит талантливо?» И я был готов на все жертвы, чтобы спасти в ее глазах высшую красоту романтизма. В конце концов я имел дело с девушкой, чей кумир, Шопен, больной туберкулезом, ради прихоти Жорж Санд отправился умирать во влажный климат зимней Мальорки и которая часто напоминала мне с блестящими надеждой глазами, что два величайших русских поэта, Пушкин и Лермонтов, погибли на дуэли, первый в тридцать семь лет, а второй в двадцать семь и что фон Клейст покончил с собой вместе со своей возлюбленной. Все это, говорил я себе, смешивая на этот раз славян и немцев, польские истории.

Я взял ее руку и попытался успокоить ее, чувствуя на своих губах нечто, начинавшее сильно напоминать лукавую улыбку дяди Амбруаза.

— Может быть, дело в том, что ты меня не любишь,— повторил я.— Тогда, разумеется, это не то, чего ты ждала. Но все еще будет. Может быть, это будет Бруно. Или Ханс, ты его скоро увидишь, ведь говорят, что немецкая армия действует на польской границе. Или ты встретишь кого-нибудь другого, кого полюбишь по-настоящему.

Она замотала головой, в слезах:

— Нет, я люблю именно тебя, Людо! Я действительно люблю тебя. Но не может быть, чтобы любить кого-нибудь означало только это чувство. Или же я ничтожество. У меня мелкая душа, я поверхностна, не способна к глубине, величию, потрясению!

Я вспомнил дядины советы и, в некотором роде взяв твердой рукой бечевку моего прекрасного воздушного змея, чтобы помешать ему затеряться в этой славянской буре, притянул ее к себе; мои губы прижались к ее губам, и моей последней сознательной мыслью было: если то, что дает мне Лила, не является «настоящей, большой любовью», как она крикнула мне,— ну что ж, тогда жизнь еще более щедра на красоту, радость и счастье, чем мне представлялось.

В тот же вечер она уехала в Париж — непреднамеренно, но и не без улыбки я как бы смешиваю с грамматической точки зрения «она» и «жизнь»,— где ее ждали родители и где припертые к стенке Радзивиллы, Сапеги, Потоцкие и Замойские патриотично отказались от преследований, чтобы не чернить одно из самых известных в Польше имен (в то время как менее заботящиеся о чести государственные деятели предавали себя позору и склонялись в Мюнхене перед нацистской сволочью). Один раз я ходил в «Гусиную усадьбу» — Тад и Бруно занимались упаковкой предметов искусства и «мелочами», в числе которых была выплата жалованья садовникам и слугам, представлявшая иногда сложную проблему. Портрет полковника Яна Броницкого в Сомосьерре, уже снятый со стены, ждал укладки в ящик и возвращения на родную землю. Подловский бродил из комнаты в комнату, отбирая мебель, которая будет продана для уплаты жалований и долга в «Прелестном уголке»: Марселен Дюпра отказывался его забыть. Поставщики из Клери также не расположены были смягчиться и старались завладеть всем, что могло возместить им убытки. Все уладилось через несколько недель, когда Геничка согласилась наконец расстаться с «одним подарком» из бриллиантов, и много мебели, в том числе рояль и глобус, осталось на месте, в надежде на возвращение в замок, но пока что Бруно был в отчаянии при мысли, что рискует потерять в этом деле свой «Стейнвей». Что касается Тада, более занятого политическими событиями, чем материальными заботами, он встретил меня с кипой газет на коленях.

— Наверно, мы сюда больше не вернемся,— сказал он мне,— но это ничего, потому что я думаю, что скоро миллионы людей больше никуда не вернутся.

— Войны не будет,— уверенно сказал я, поскольку готов был на все, чтобы увидеть Лилу.— Следующим летом я приеду к вам в Польшу.

— Если еще будет Польша,— сказал Тад.— Теперь, когда Гитлер знает всю меру нашей трусости, он больше не остановится.

Бруно складывал свои партитуры в ящик.

— Пропал рояль,— сказал он мне.

— Святой эгоизм,— проворчал Тад.— Посмотри на этого типа! Мир может рухнуть — а для него единственное, что имеет значение, это еще немножко музыки.

— Франция и Англия этого не допустят,— сказал я, и Тад, видимо, был прав, говоря о священном эгоизме, потому что я внезапно ясно понял: под тем, чего «Франция и Англия не допустят», я подразумевал окончательную разлуку с Лилой.

Тад с отвращением бросил кипу газет на землю. Он посмотрел на меня с едва ли меньшим неудовольствием.

— Да, «песни отчаяния — самые прекрасные песни». Можно было бы также добавить: «Счастливы те, кто погиб в справедливой войне, счастливы спелые колосья и убранные хлеба». Еще бы, поэзия придет на смену музыке, и неотразимая сила культуры сметет Гитлера... Как бы не так! Всему крышка, дети мои.

Он еще посмотрел на меня, и его губы сморщились.

— Добро пожаловать следующим летом в Гродек,— сказал он.— Может быть, я ошибаюсь. Вероятно, я недооцениваю всемогущество любви. Возможно, есть неизвестные мне боги, которые хотят, чтобы ничто не помешало встрече любовников. Ах, черт! Черт! Как вы могли так капитулировать?

Я сообщил ему, что дядя, несмотря на пацифизм и неприятие войны по соображениям гуманности, отказался из-за Мюнхенского соглашения от звания Почетного президента «Воздушных змеев Франции».

— Что в этом удивительного? — бросил он мне.— Именно это называется отказчик по гуманным соображениям. В общем, кто знает, это может тянуться еще два-три года. Ну, до будущего года, Людо.

— До будущего года.

Мы обнялись, и они проводили меня до террасы. Я вновь вижу их обоих, с поднятыми руками, махающими мне вслед. Я был уверен, что Тад ошибается, и немного жалел его. Он страстно любил все человечество, но, в сущности, у него никого не было. Он верил в несчастье, потому что был один. Надежда нуждается в двоих. Все законы больших чисел основаны на этой уверенности.

XIII

Именно зимой 1938—1939 годов моя память проявила себя таким образом, что оправдались худшие предчувствия господина Эрбье, некогда предупреждавшего дядю, что «этот мальчик, кажется, абсолютно лишен способности забывать». Не знаю, было ли это то же самое, что у всех Флери, потому что на этот раз речь шла не о свободе, не о правах человека и не о Франции, которая была еще на своем месте и по внешнему виду не требовала никакого особенного усилия памяти. Меня не покидала Лила. Я снова взялся за бухгалтерскую работу в «Прелестном уголке», прирабатывая на различных коммерческих предприятиях округи, чтобы отложить деньги, необходимые для поездки в Польшу. Я работал и на ферме, но в течение всего этого времени присутствие рядом со мной Лилы имело такую физическую реальность, что дядя, без шуток, стал даже ставить на стол третий прибор для той, кто отсутствовала так весомо. Он советовался с доктором Гардье — тот упомянул о навязчивых идеях и посоветовал бегать и играть в спортивной команде. Я не был удивлен непониманием медика, но меня огорчило отношение опекуна, хотя я знал, что он опасается абсолютной верности, уже причинившей нашим родственникам столько несчастий. Мы несколько раз повздорили. Он утверждал, что путешествие в Польшу, которое я планировал летом, принесет мне худшее из разочарований и что, кстати, даже само выражение «первая любовь», по определению, означает нечто, имеющее конец. Однако мне казалось, что порой дядя смотрит на меня не без гордости.

— В общем, если тебе не хватит денег на поездку,— сказал он наконец,— я тебе дам. И надо, чтобы ты купил себе что-то из одежки, потому что не может быть и речи, чтобы приехать к этим людям одетым как бродяга.

В течение зимы Лила написала мне несколько писем, все более коротких, потом были только открытки; это было понятно, скоро мы должны быть вместе, и сама краткость ее записок: «Мы все тебя ждем», «Я так счастлива, что ты наконец увидишь Польшу», «Мы думаем о тебе», «Вот и июнь!» — казалось, сокращала время и подталкивала месяцы и недели. А потом, до самого отъезда, было долгое молчание, как будто чтобы еще сократить последние недели ожидания.

Я сел на поезд в Клери, 20 июня. Дядя провожал меня на вокзал. И пока мы катили бок о бок на велосипедах, он сказал только:

— Посмотришь белый свет.

Свет, страны, вся земля были последним, о чем я думал. Мир не участвовал в путешествии. Я думал только о том, чтобы вновь обрести целостность, вновь обрести руки, которых мне не хватало. Когда поезд тронулся и я высунулся из окна, Амбруаз Флери мне крикнул:

— Надеюсь, ты не упадешь со слишком большой высоты и я не получу тебя обратно всего изломанного и помятого, как наш старый «Мореход». Помнишь?

— Вы же знаете, я никогда ничего не помню! — крикнул я ему, и так, смеясь, мы расстались.

XIV

Я никогда еще не вылезал из своей нормандской дыры. О мире я не знал ничего, кроме географии, а об истории то, что узнал из учебников, или глядя на имена моего отца и его брата Робера на надгробных памятниках в Клери, или же слушая опекуна, когда тот объяснял мне значение своих воздушных змеев. Мне не приходило на ум думать об истории в настоящем времени. Что касается политики и тех, кто ее делает, я знал только лица Эдуара Эррио, Андре Тардье, Эдуара Даладье, Пьера Лаваля, Пьера-Этьена Фландена или Альбера Сарро, которого мне случалось видеть, когда я выходил из маленькой конторы Марселена Дюпра в «Прелестном уголке». Разумеется, я знал, что Италия — фашистская страна, но когда порой замечал на стене надпись: «Долой фашизм!», то спрашивал себя, зачем она здесь, ведь мы во Франции. Гражданская война в Испании, о которой мне так часто рассказывал Тад, казалась мне делом далеким: другие люди, другие нравы и, кроме того, как всем известно, у испанцев в какой-то мере кровь была в крови. Я был возмущен Мюнхенским соглашением в прошлом году, особенно потому, что Ханс был немец и, таким образом, я, как мне казалось, терял очко в соперничестве, делавшем нас противниками. Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что Франция никогда не покинет Польшу или, точнее, Лилу. Сегодня, может быть, трудно себе представить такое невежество у молодого человека восемнадцати лет, но в то время Франция являлась еще страной величия, спокойной силы, престижа и так была уверена в своей «миссии разума», что, по моему мнению, сама могла справиться со своими проблемами, и я полагал, что это избавляет французов от всех хлопот. Я не могу даже сказать, что такое отношение объяснялось отсутствием у меня сведений. Наоборот: обязательное народное образование слишком хорошо научило меня, что свободе, достоинству и правам человека не может угрожать опасность, пока наша страна остается верна себе,— это было для меня несомненным, принимая во внимание все, что мне преподали. Отзвуки происходящего у наших соседей, так близко, конечно, но все же за пределами наших границ, вызывали у меня только удивление, смешанное с пренебрежением, и утверждали в моих глазах наше превосходство; впрочем, как мой дядя, так и Марселен Дюпра и все мои школьные учителя согласно утверждали, что у диктаторского режима нет никаких шансов на длительное существование, так как он не пользуется поддержкой народа. Народ был для Амбруаза Флери понятие священное, потенциально несущее в себе крах Муссолини, Гитлера и Франко. Никто не рассматривал фашизм и нацизм как народные режимы — такая мысль была бы настоящим отрицанием всего, что составляет основу обязательного народного обучения. Решительный пацифизм моего дяди довершил остальное. Иногда я ясно чувствовал некоторое несоответствие и противоречивость его позиций: так, он восхищался Леоном Блюмом, когда тот отказался вмешаться в войну в Испании, но, однако, был взбешен во время Мюнхенского соглашения. Наконец я сказал себе, что, несмотря на все его старания, он в этом случае пал жертвой «исторической памяти» Флери и что даже тридцать пять лет, посвященные мирному занятию сельского почтальона, не уберегли его от новых приступов болезни.

Таким образом, я был совсем не подготовлен к виду той Европы 1939 года, через которую ехал. На итальянской границе, кишевшей черными рубашками, кинжалами и фашистскими эмблемами, у меня конфисковали перочинный нож не более семи сантиметров длиной. Перроны вокзалов гудели от маршировки военных отрядов; кто-то из соотечественников перевел мне передовицу, в которой Малапарте [1] говорил о «дегенерации Франции» и сравнивал ее с продажной девкой. Вскоре после австрийской границы грустного лысого человечка из моего купе попросили выйти из поезда, и он, плача, подчинился. Всюду была свастика: на знаменах,

[1] Курцио Малапарте (1898—1957) — итальянский писатель и журналист, преследовавшийся в 30-е годы за антифашистскую деятельность.

нарукавных повязках, на стенах; и на всех плакатах я встречался со взглядом Гитлера. Когда у меня проверяли паспорт и визы и видели, что я еду в Польшу, на меня бросали жесткий взгляд и возвращали бумаги сухо, с презрительным видом. Два раза окна замазывали специальным клеем, а фотоаппараты у всех забрали и держали у себя в течение всего пути: видимо, поезд шел вдоль какой-то «военной зоны». Эсэсовцы, сидевшие напротив меня на пути от Вены до Братиславы, бросали на мой французский берет веселые взгляды и, выходя, попрощались со мной победным «Зиг хайль!».

Как только поезд остановился на первой польской станции, атмосфера внезапно полностью изменилась. Казалось, даже мой берет имел другое значение, если не происхождение: пассажиры смотрели на него дружески. Те, кто не говорил по-французски, не упускали любой возможности выказать мне свою симпатию: меня хлопали по плечу, жали руку и угощали своим пивом и едой. По дороге в Варшаву и затем на другом поезде вдоль «коридора» я услышал больше возгласов «Да здравствует Франция!», чем за всю свою жизнь.

Броницкие телеграфировали, что приедут встречать меня на вокзал, и как только контролер предупредил, что мы подъезжаем к Гродеку, я перешел из своего вагона третьего класса в первый класс, откуда готовился выйти с подобающим достоинством. Марселен Дюпра одолжил мне чемодан из настоящей кожи и, напомнив, что «в конце концов, ты будешь представлять там Францию», предложил пришить к лацкану пиджака или даже к берету трехцветную эмблему «Прелестного уголка» с тремя звездочками, на что я для виду согласился, но спрятал эмблему в карман, не имея в то время еще ни малейшего предчувствия, чему в скором времени суждено будет воплощать последнюю всемирно признанную ценность моей страны. Тогда еще никому не пришло бы на ум, несмотря на известность Марселена Дюпра, считать этого последнего ясновидцем, и то, что мэтр называл «тремя звездами Франции», далеко не сверкало еще тем блеском, что сегодня.

Кроме нескольких крестьян с ящиками, в поезде больше почти никого не осталось, когда он остановился на маленькой станции из красного кирпича в Гродеке; однако, видимо, ожидали какое-то официальное лицо, так как, сойдя на перрон, я очутился перед военным оркестром из десяти человек. Я увидел также, что крыша вокзала украшена соединенными вместе французскими и польскими флагами, и едва я со своим чемоданом сделал шаг, как оркестр заиграл «Марсельезу», а затем польский гимн, которые я слушал, вытянув руки по швам, быстро сняв берет и одновременно кося глазами, пытаясь увидеть французского деятеля, которого так встречают. Я увидел Стаса Броницкого с непокрытой головой и шляпой у сердца, слушающего национальный гимн, и Лилу, которая сделала мне знак рукой; Тад опустил глаза и явно с большим трудом удерживался от смеха. Позади них Бруно со своим всегдашним немного потерянным видом глядел на меня с улыбкой, одновременно дружеской и смущенной,— причину этого я понял только тогда, когда маленькая девочка в трехцветных лентах вручила мне букет из синих, белых и красных цветов и старательно выговорила по-французски: «Да здравствует вечная Франция и бессмертная дружба французского и польского народов!» — в чем, как мне показалось, был избыток вечности и бессмертия зараз. Поняв наконец, что объектом этой почти официальной встречи являюсь я, после мгновения паники, ибо это был первый раз, когда я представлял Францию за рубежом, я храбро ответил по-польски:

— Niech żyje Polska! Да здравствует Польша!

Девочка разрыдалась, музыканты оркестра сломали свои ряды и подошли, чтобы пожать мне руку, Стас Броницкий заключил меня в объятия, Лила кинулась мне на шею, Бруно поцеловал меня и отступил — и когда патриотический энтузиазм присутствующих утих, Тад взял меня за локоть и шепнул на ухо:

— Ну вот, можно подумать, что победа уже за нами!

В его шутке было такое отчаяние, что я в своем новом качестве представителя Франции возмутился, высвободил руку и ответил:

— Мой дорогой Тад, есть такая вещь, как цинизм, и есть история Франции и Польши. Они несовместимы друг с другом.

— Кроме того, войны не будет,— вмешался Броницкий.— Гитлеровский режим вот-вот рухнет.

— Кажется, я помню, что́ Черчилль сказал по этому поводу перед английским парламентом во время Мюнхена,— проворчал Тад.— Он сказал: «Вам надо было выбирать между позором и войной. Вы выбрали позор, и вы получите войну».

Я держал руку Лилы в своей.

— Ну что ж, мы ее выиграем,— сказал я и в благодарность получил поцелуй в щеку.

Я почти чувствовал тяжесть своего венца Француза на голове. Когда я вспоминал, что Марселен Дюпра посмел мне предложить отправиться в Польшу с эмблемой «Прелестного уголка» на груди, я жалел, что не дал ему пару оплеух. Принимая у себя в ресторане всех видных лиц Третьей республики, этот повар утратил понятие о величии своей страны и о том, что она значит в глазах мира. По дороге со станции к замку, в старом «форде», которым управлял сам Броницкий,— голубым «паккардом» завладели кредиторы из Клери,— рука об руку с Лилой, я рассказывал последние французские новости. Никогда еще нация не чувствовала такой уверенности в себе. Лай Гитлера вызывал смех. Вся страна, спокойно убежденная в своей силе, как бы приобрела новое качество, которое некогда называлось «английской флегмой».

— Президент Лебрен сделал шутливый жест, который, говорят, вывел Гитлера из себя. Он осмотрел плантацию роз, которую наши солдаты вырастили на линии Мажино.

Лила сидела рядом со мной, и этот профиль, такой чистый на фоне массы светлых волос, этот взгляд, как бы рассеивающий все сомнения, вызывали во мне уверенность в победе неиллюзорной, ибо эту мою победу никто не мог и не сможет оспаривать. Таким образом, в жизни есть по крайней мере одно, в чем я не ошибся.

— Ханс сказал мне, что командующие немецкой армией ждут только случая, чтобы избавиться от Гитлера,— сказала она.

Так я узнал, что Ханс в замке. К чертовой матери, подумал я внезапно и даже не устыдился этого падения с высоты возвышенных мыслей или, скорее, этой непреодолимой вспышки народного гнева.

— Не знаю, избавится ли немецкая армия от Гитлера, но я знаю, кто избавится от немецкой армии,— объявил я.

Кажется, в роли такого избавителя я представлял себя. Не знаю, было ли это похмелье от оказанного мне патриотического приема, или рука Лилы в моей заставляла меня терять голову.

— Мы готовы,— добавил я, укрываясь из скромности за множественным числом.

Тад молчал, тонко улыбаясь, отчего его профиль казался еще более орлиным. Я с трудом переносил его саркастическое молчание. Бруно попытался немного разрядить атмосферу.

— А как поживает Амбруаз Флери со своими воздушными змеями? — спросил он.— Я о нем часто думаю. Это настоящий пацифист.

— Дядя так и не оправился после войны четырнадцатого года,— объяснил я.— Это человек другого поколения, поколения, испытавшего слишком много ужасов. Он не доверяет высоким порывам и думает, что люди должны удерживать даже самые благородные свои идеи за прочную веревку. Без этого, по его мнению, миллионы человеческих жизней будут потрачены на то, что он называет «поисками невозможного». Он чувствует себя хорошо только в компании своих воздушных змеев. Но мы, молодые французы, мы не довольствуемся картонными мечтами, ни даже просто мечтами. Мы вооружены и готовы защищать не только наши мечты, но и нашу реальность, и эта реальность называется свободой, достоинством и правами человека...

Лила мягко вынула свою руку из моей. Не знаю, была ли она смущена моим патриотическим пылом и моими разглагольствованиями или немного недовольна, что я как бы забыл о ней. Но я не забыл — это о ней я говорил.

XV

Замок Броницких походил на крепость; когда-то он и был крепостью. Он находился в нескольких сотнях метров от Балтийского моря и не более чем в десяти километрах от немецкой границы. Вокруг был парк, сосновый лес и песок. Ров еще существовал, но вместо прежнего подъемного моста построили широкую лестницу и просторную террасу. Стены и старые башни были изъедены историей и морским воздухом; как только я вошел в первый зал, я оказался среди такого количества доспехов, орифламм, щитов, аркебуз, алебард и эмблем, что почувствовал себя голым.

Я сделал всего несколько шагов в этой обстановке аукциона, когда увидел Ханса, сидящего в ковровом кресле у мраморного стола. На нем был свитер, брюки для верховой езды, сапоги, и он читал английский иллюстрированный журнал. Мы поздоровались издали. Я не понимал его присутствия здесь, зная, что он учится в военной академии в Прёхене и что напряжение между Польшей и Германией возрастает с каждой неделей. Лила мне объяснила, что «бедняжка» выздоравливает после пневмонии в имении своего дяди, Георга фон Гиле, по другую сторону границы, которую время от времени пересекает верхом по тропинкам, известным с детства, чтобы навестить своих польских кузенов,— для меня это означало просто, что он по-прежнему влюблен в свою кузину.

Я нашел, что Лила изменилась. Ей исполнилось двадцать лет, но, как сказал мне Тад, она продолжала «мечтать о себе».

— Я хочу что-то сделать в жизни,— повторяла она мне.

Один раз я не удержался от ответа:

— Подожди хотя бы, пока я уеду!

Не знаю, откуда я взял, что любовь может быть всей целью и смыслом существования. Наверное, я унаследовал от дяди это полное отсутствие честолюбия. Возможно также, что я полюбил слишком рано, слишком молодым, полюбил всем своим существом, и во мне не осталось места ни для чего другого. Бывали часы прояснения, когда я видел, как далека моя жалкая прозаическая банальность от того, чего могла ожидать эта мечтательная белокурая головка, лежащая на моей груди с закрытыми глазами и улыбкой на губах, грезящая о неизвестной славной дороге в будущее. Я чувствовал, что она находит в самой моей простоватости что-то успокоительное, но нелегко привыкнуть к мысли, что женщина привязана к вам, потому что вы удерживаете ее на земле, не давая воспарить слишком высоко. После целого дня, проведенного в «мечтах о себе» в лесу, как она мне говорила, она приходила в мою комнату, как если бы я был для нее смиренным ответом на все задаваемые ею вопросы.

— Люби меня, Людо. Это все, чего я заслуживаю. Видно, я буду одной из тех женщин, которые годятся только на то, чтобы быть любимыми. Когда я слышу, как мужской голос позади меня бормочет: «Как хороша!» — это как если бы мне говорили, что вся моя жизнь будет заключаться в зеркале. И так как у меня ни к чему нет таланта...

Она прикоснулась к кончику моего носа.

— ...кроме тебя... Я никогда не буду мадам Кюри. В этом году я запишусь на медицинский факультет. Если повезет, может быть, я когда-нибудь кого-нибудь вылечу.

В ее грусти я понимал только одно: ей меня *недостаточно*. Сидя под большими соснами на берегу Балтийского моря, Лила «мечтала о себе», с травинкой в зубах, а мне казалось, что эта травинка — я и что меня в любой момент могут пустить по ветру. Она сердилась, когда я шептал: «Ты вся моя жизнь», и я не знал, возмущает ли ее банальность выражения или ничтожность такой единицы измерения.

— Послушай, Людо. И до тебя были люди, которые любили.

— Да, я знаю, у меня есть предшественники.

Сейчас мне кажется, что у моей подруги было смутное желание, которое она не могла выразить словами: желание не быть сведенной только к своей женственности. Как я мог понять в моем возрасте и так мало зная о мире, в котором жил, что слово «женственность» может быть для женщин тюрьмой? Тад мне говорил:

— Политически моя сестра безграмотна, но ее манера «мечтать о себе» — манера не осознающей себя революционерки.

В середине июля Тада арестовала полиция, увезла в Варшаву и допрашивала несколько дней. Его подозревали в том, что он писал «подрывные» статьи в одной из запрещенных газет, которые тогда распространялись в Польше. Его выпустили с извинениями по приказанию высших властей: виновен он или нет, немыслимо, чтобы историческое имя Броницких было замешано в подобном деле.

Слухи о войне с каждым днем звучали громче, как постоянное ворчание грома на горизонте; когда я гулял по улицам Гродека, незнакомые люди пожимали мне руку, замечая на лацкане моего пиджака маленькую трехцветную нашивку, из которой я выщипал нитку за ниткой слова «Прелестный уголок», но никто в Польше не верил, что через неполных двадцать лет Германия будет напрашиваться на новое поражение. Только Тад был уверен в неизбежности мирового конфликта, и я чувствовал, что он разрывается между своим отвращением к войне и надеждой, что из руин старого мира родится новый. Мне было неловко, когда и он, знавший мою наивность и невежество, с тревогой спрашивал:

— Ты действительно думаешь, что французская армия так сильна, как у нас говорят?

Он тут же спохватывался, улыбаясь:

— Конечно, ты ничего об этом не знаешь. Никто ничего не знает. Это и называется «тонкостями» истории.

Из нашего убежища на берегу Балтийского моря, где мы встречались, когда этому благоприятствовало солнце, ничто не казалось дальше, чем тот конец света, от которого нас отделяло всего несколько недель. И тем не менее я ощущал у своей подруги нервозность, даже ужас, о причине которых напрасно ее расспрашивал: она качала головой, прижималась ко мне, с расширенными глазами и бьющимся сердцем:

— Я боюсь, Людо. Я боюсь.

— Чего?

И я добавлял, как подобало:

— Я здесь.

Особая чувствительность всегда провидит будущее, и один раз Лила прошептала мне странно спокойным голосом:

— Будет землетрясение.

— Почему ты так говоришь?

— Будет землетрясение, Людо. Я в этом уверена.

— В этом районе никогда не было землетрясений. Это научный факт.

Ничто не придавало мне больше спокойной силы и веры в себя, чем эти минуты, когда Лила обращала ко мне почти умоляющий взгляд.

— Не знаю, что со мной...

Она прикладывала руку к груди.

— У меня здесь больше не сердце, а трясущийся заяц.

Я винил во всем море, слишком холодное купание, морские туманы. И потом, я был здесь.

Все казалось таким спокойным. Старые северные сосны брались за руки над нашими головами. Карканье ворон не означало ничего, кроме близости гнезда и наступления вечера. Профиль Лилы на фоне белокурых волос очерчивал перед моими глазами линию судьбы более убедительную, чем все крики ненависти и угрозы войны.

Она подняла ко мне серьезный взгляд.

— Кажется, я тебе наконец скажу, Людо.

— Что?

— Я люблю тебя.

Я не сразу пришел в себя.

— Что с тобой?

— Ничего. Но я была права. Случилось землетрясение.

Тад, который почти не расставался с радиоприемником, грустно наблюдал за нами.

— Торопитесь. Вы переживаете, может быть, последнюю любовную историю в мире.

Но очень быстро наша молодость заявляла свои права. В замке был настоящий музей исторических костюмов, занимавший три комнаты так называемого «памятного крыла» замка; его шкафы и витрины были полны нарядов высокочтимого прошлого; я натягивал уланскую форму; Тад давал себя уговорить и надевал костюм одного из kosyniery, крестьян, которые шли за Костюшко, вооруженные только косами, против царской армии; Лила появлялась в сверкающем золотой вышивкой платье, принадлежавшем какой-то царственной прабабке; Бруно, переодетый Шопеном, садился за рояль, и моя подруга, хохоча от этого маскарада, увлекала нас по очереди в полонез, который доброжелательно отражали высокие зеркала, знавшие другие времена, другие нравы. Ничто не казалось вернее, чем мир на земле, когда он воплощался в лице моей подруги. Пока я тяжело скакал по паркету с Лилой в объятиях, все было здесь, настоящее и будущее,— вот так храбрый нормандский улан летел очень высоко над землей вместе с королевой, чье имя еще не было известно истории Польши, очень мало заботившейся о сердечных делах в эти последние дни июля 1939 года.

Затем мы уходили из «памятного крыла» погулять по аллеям парка; Тад и Бруно скромно удалялись, и мы оставались одни. В конце аллеи начинался лес, шептавший то голосом своих сосен, то голосом моря; среди его гигантских папоротников были уголки земли и скал, куда, казалось, никогда не заглядывало время. Я любил эти заповедные места, погруженные в некие тайные мечтания о геологических эпохах. Песок еще хранил с прошедших дней следы наших тел. Лила переводила дыхание; я закрывал глаза на ее плече. Но вскоре красно-синий уланский мундир смешивался в папоротниках с королевским платьем, и не было больше ни моря, ни леса, ни земли; каждое объятие охраняло жизнь от всех опасностей и всех ошибок, как бы очищая ее от обмана и притворства. Когда сознание возвращалось, я чувствовал, как мое сердце медленно входит в гавань со всем спокойствием больших парусников после долгих лет отсутствия. И когда в конце ласки моя рука, отнятая от груди Лилы, касалась камня или коры дерева, они не казались мне жесткими. Иногда я пытался любить с открытыми глазами, но всегда закрывал их, потому что зрение слишком отвлекало меня и заслоняло мои чувства. Лила немного отстранялась от меня и смотрела на меня взглядом, не лишенным суровости.

— Ханс красивее тебя, а Бруно гораздо талантливее. Я себя спрашиваю, почему я предпочитаю всем тебя.

— Я тоже,— говорил я.

Она смеялась.

— Я никогда ничего не буду понимать в женщинах,— говорила она.

XVI

Мне казалось, что Бруно меня избегает. Меня мучило выражение горя на его лице. Обычно он проводил за роялем пять-шесть часов в день, и иногда я подолгу стоял под его окном и слушал. Но с некоторых пор наступила тишина. Я поднялся в музыкальную комнату: рояль исчез. Тогда мне пришла явно безумная, но соответствовавшая моему представлению о любовном огорчении мысль, что Бруно бросил свой рояль в море.

В тот же вечер, идя по тропинке в поисках Лилы, я услышал аккорды Шопена, смешивающиеся с шепотом волн. Я сделал несколько шагов по песчаной дорожке, усыпанной зелеными иголками, и вышел на пляж. Слева от себя я увидел рояль под большой сосной, сгорбившейся, как свойственно

очень старым деревьям, чьи вершины как бы грезят о прошлом. Бруно сидел за клавишами в двадцати шагах от меня; я видел сбоку его профиль, и в морском воздухе лицо его казалось мне почти призрачно-бледным — предвечерний свет скорее приглушал, чем выделял краски; чайки пронзительно кричали.

Я остановился за деревом — не для того, чтобы спрятаться, а потому, что все было так совершенно в этой бледной северной морской симфонии, что я боялся нарушить одно из мгновений, которые могут длиться всю жизнь, если иметь хоть немного памяти. Чайка вырывалась из дымки, прочерчивала воздух над водой и улетала, как нота. Только шипела пена, и Балтийское море — всего лишь водное пространство, всего лишь смесь воды и соли — стихало на песке перед роялем, как собака, которая ложится у ног хозяина.

Потом руки Бруно замерли. Я подождал несколько минут и подошел ближе. Под густой спутанной шевелюрой его лицо было по-прежнему как птенец, выпавший из гнезда. Я искал, что сказать, потому что всегда приходится прибегать к словам, чтобы помешать молчанию говорить слишком громко, когда почувствовал позади себя чье-то присутствие. Лила была здесь, босая на песке, в изумительном прозрачно-кружевном платье, которое, видимо, взяла у матери. Она плакала.

— Бруно, мой маленький Бруно, я люблю тебя тоже. Что касается Людо, это может кончиться завтра или продолжаться всю жизнь, это не зависит от меня, это зависит от жизни!

Она подошла к Бруно и поцеловала его в губы. Я не ревновал. Это был не такой поцелуй.

Я опасался совсем другого соперника, я видел, как на тропинке под соснами он держит за повод двух коней. Хансу опять удалось перейти границу, чтобы побыть с Лилой. Напрасно моя подруга объясняла мне, что по воле веков и истории одна из ветвей генеалогического древа Броницких простиралась до Пруссии — присутствие этого «кузена», кадета военной академии вермахта, казалось мне невыносимым. В том, что он в своем костюме джентльмена-охотника хладнокровно стоит рядом с нами, я усматривал навязчивость и наглость, которые меня выводили из себя. Я сжимал кулаки, и Лила встревожилась:

— Что с тобой? Почему у тебя такой вид?

Я ушел от них и углубился в лес. Я не понимал, как могут Броницкие, каковы бы ни были их родственные связи, терпеть присутствие того, кто, может быть, готовится в рядах немецкой армии захватить священный «коридор». Я только раз слышал, как сам Ханс коснулся этой темы после одной особенно ядовитой речи Гитлера. Мы все сидели в гостиной у камина, где огонь плясал и ревел голосом старого льва, мечтающего о смерти укротителя. Тад только что выключил радио. Ханс смотрел на нас.

— Я знаю, о чем вы думаете, но вы ошибаетесь. Гитлер нам не хозяин, он наш слуга. Армии не составит никакого труда смести его, когда он перестанет быть нам полезен. Мы положим конец всей этой низости. Германию снова возьмут в свои руки те, кто всегда заботился о ее чести.

Тад сидел в кресле, протертом до дыр историческими ягодицами Броницких.

— Мой дорогой Тад, элита обкакалась. Все кончено. Единственное, что она еще может дать миру, так это факт своего исчезновения.

Лила полулежала в одном из жестких царственных кресел с высокой спинкой, которые, видимо, были местным вариантом стиля Людовика Одиннадцатого.

— Наш Отец на небесах,— прошептала она.

Мы посмотрели на нее с удивлением. Она испытывала по отношению к церкви, религии и священникам чувство, не лишенное христианского сострадания, потому что, говорила она, «надо им прощать, ибо они не ведают, что творят».

— Наш Отец на небесах, сделайте мир женским! Сделайте идеи женскими, страны женскими и глав государств женщинами! Знаете ли вы, дети мои, кто был первый мужчина, заговоривший женским голосом? Иисус.

Тад пожал плечами:

— Мысль, что Иисус был гомосексуалистом,— вымысел нацистов, который не имеет никакой исторической основы.

— Вот настоящее мужское рассуждение, мой маленький Тад! Я не такая идиотка, чтобы утверждать такое. Я говорю только, что первый человек, заговоривший в истории цивилизации голосом женщины,— Иисус. Я это говорю и доказываю это. Потому что кто тот человек, который первым призвал к жалости, любви, нежности, кротости, прощению, уважению к слабости? Кто первый послал к черту — ну, это я в переносном смысле — жесткость, жестокость, кулаки, пролитую кровь? Иисус первый потребовал феминизации мира, и я тоже ее требую. Я вторая после Христа ее требую, вот!

— Второе пришествие! — проворчал Тад.— Этого еще нам недоставало!

Были дни, когда я почти не видел Лилу. Она исчезала в лесу с толстой тетрадью и карандашами. Я знал, что она пишет дневник, который должен был затмить знаменитый в то время дневник Марии Башкирцевой. Тад подарил ей «Историю феминистского движения» Мэри Стенфилд, но слово «феминизм» ей не нравилось.

— Надо придумать что-то не на «изм»,— говорила она.

Я ревновал ее к уединению, к тропинкам, по которым она ходила без меня, к книгам, которые брала с собой и читала, как будто меня не было. Теперь я уже умел смеяться над своим избытком требовательности и тираническим страхом: я начинал понимать, что даже смыслу нашей жизни надо давать право время от времени покидать нас или даже немного изменять нам с одиночеством, горизонтом и этими высокими цветами, названия которых я не знаю и которые теряют свои белые головки при малейшем дуновении ветра. Когда она вот так покидала меня, чтобы «искать себя» (ей случалось за один день переходить от Школы искусства в Париже к занятиям биологией в Англии), я чувствовал себя изгнанным из ее жизни за незначительность. Тем не менее я начинал приходить к мысли, что недостаточно просто любить, надо уметь любить, и вспоминал совет дяди Амбруаза «крепко держаться за конец веревки, чтобы помешать воздушному змею затеряться «в поисках неба». Я мечтал о слишком высоком и слишком далеком. Мне надо было смириться с мыслью, что я — только моя собственная жизнь, а не жизнь Лилы. Никогда еще понятие свободы не казалось мне таким суровым, требовательным и трудным. Я слишком хорошо знал историю Флери, «жертв обязательного народного образования», как говорил дядя, чтобы не признать тот факт, что свобода во все времена требовала жертв, но мне никогда не приходило на ум, что любовь к женщине может быть также постижением свободы. Я взялся за это постижение храбро и прилежно: я больше не ходил в лес в поисках Лилы и, когда ее отсутствие затягивалось, боролся против охватывавшего меня чувства незначительности и небытия, почти забавляясь, когда казался себе «все меньше и меньше», затем, чтобы посмеяться, шел посмотреть на себя в зеркало, чтобы удостовериться, что не стал карликом.

Надо сказать, что моя проклятая память не облегчала мне дела. Когда Лила от меня уходила, я видел ее перед собой так ясно, что мне случалось упрекать себя в шпионстве. Может быть, нужно любить нескольких женщин, чтобы научиться любить одну? Ничто не может подготовить нас к первой любви. И когда порой Тад говорил мне: «Ничего, в твоей жизни ты еще будешь любить других женщин», мне казалось, что нехорошо так говорить о жизни.

В замке было три библиотеки со стенами, уставленными томами, украшенными золотом и пурпуром. Я часто ходил туда, чтобы поискать в книгах какой-то смысл жизни помимо Лилы. Но его не было. Я начинал бояться. Я даже не был уверен, что Лила действительно меня любит, что я не просто «ее маленький французский каприз», как мне сказала однажды госпожа Броницкая. Лила звала нас — Тада, Бруно, Ханса и меня — своими «четырьмя всадниками анти-Апокалипсиса», которые все станут благодетелями человечества — а я не умел даже ездить верхом. Когда

она предоставляла меня самому себе, я находил убежище в чтении. Стас Броницкий — я редко видел его в Гродеке, так как его задерживало в Варшаве дело чести (Геня стала, по слухам, любовницей влиятельного государственного деятеля, и супруг не мог оставить ее одну в столице, а то имя Броницких могло пострадать от чрезмерной очевидности этого факта),— найдя меня однажды погруженным в чтение подлинного издания Монтеня, провозгласил, указывая широким жестом на свои библиофильские сокровища:

— Я провел здесь самые увлекательные и вдохновенные часы моей юности, и сюда на склоне лет я вернусь для встречи с тем, что было подлинным смыслом моей жизни: культурой...

— Отец в жизни не прочел ни одной книги,— шепнул мне на ухо Тад.— Но это не мешает чувствовать.

Состояние транса, в которое я погружался, когда отсутствие Лилы затягивалось или когда — верх несчастья! — появлялся Ханс и они уезжали вдвоем на лошадях по лесным дорогам, не оставалось не замеченным для моих друзей. Бруно убеждал меня, что я не должен ревновать: Ханс, надо признать, прекрасно ездил верхом. Тад старался не быть саркастичным, что было для него совершенно противоестественно. Один раз он даже рассердился, когда польское радио сообщило о новой концентрации немецких войск вдоль «коридора»:

— Слушай, что это за дурацкие любовные переживания, в то время когда Европе и свободе грозит гибель!

На одной из узких улочек Гродека старый господин с прекрасными седыми усами поздоровался со мной и пригласил меня «в свое скромное жилище». На стене гостиной висел портрет маршала Фоша [1] во весь рост.

— Да здравствует бессмертная Франция! — сказал хозяин.

— Да здравствует вечная Польша! — ответил я.

Было что-то смертное в этих заверениях в бессмертии. Возможно, это был единственный момент в Гродеке, когда сомнение задело меня своим тревожным крылом. В доверии, проявляемом поляками к «непобедимой Франции», что-то внезапно показалось мне более близким к смерти, чем к непобедимости. Но это продолжалось только минуту, и я тут же обрел в «исторической памяти» Флери уверенность, позволявшую мне возвращаться к Лиле и обнимать ее со спокойной верой человека, спасающего таким образом мир на земле. Сегодня, после того как погибло сорок миллионов, я не буду искать себе никакого оправдания, разве только оправдания наивности, на которой подчас основываются как высшее самопожертвование, так и пагубное ослепление; но ничто, на мой взгляд, не отрицало войну более ощутимо, чем тепло ее губ на моей шее и на моем лице,— эти поцелуи я чувствовал потом всю жизнь. Когда человеку слишком хорошо, он рискует иногда стать от счастья чудовищем. Я сухо отвечал полякам, которые заговаривали со мной на улице при виде моей трехцветной французской эмблемы, и таким образом отгораживался от всего, что могло бы бросить тень на НАШЕ будущее. Я неохотно отправился с Тадом на подпольное собрание студентов в Хелм, где столкнулись две позиции: одни требовали немедленной мобилизации, а другие утверждали, если я правильно понял, что нужно уметь проиграть чисто военную битву, чтобы выиграть другую, которая положит конец обществу эксплуатации. Очень примитивное знание польского языка не позволяло мне разобраться в этой диалектике, и я слушал вежливо, но немного иронично, скрестив на груди руки, уверенный, что мое спокойное французское присутствие служит ответом на все вопросы.

XVII

Именно по моем возвращении с этого собрания граф Броницкий имел со мной торжественную беседу в большом овальном зале, так называемом «княжеском», где был подписан какой-то победоносный договор. Он при-

[1] Фердинан Фош (1851—1929) — маршал Франции. В 1918 г.— верховный главнокомандующий союзными войсками, одержавшими победу над Германией.

гласил меня к четырем часам дня, и я ожидал его под картинами, на которых наполеоновских маршалов отделяло всего несколько метров от гетмана Мазепы, позорно спасающегося бегством после своего поражения, и от Ярослава Броницкого, героя, чья знаменитая атака обеспечила победу Собеского [1] над турками в Венском сражении. У Стаса Броницкого в разных концах страны было с полдюжины художников, кистью и маслом увековечивавших старинные благородные события польской истории. В то время граф проводил крупную коммерческую операцию: он собирался продать за океаном восемь миллионов заказанных у русских шкур (две трети всего производимого каракуля, голубой норки и длинношерстного меха — рыси, лисицы, медведя), получив 400 процентов прибыли. Не знаю, как в его гениальном мозгу зародилась идея этого дела; сегодня я думаю, что его посетило что-то вроде предчувствия, но оно ошиблось шкурой.

Я проводил несколько часов в день за вычислением возможных прибылей в зависимости от курса акций на различных рынках мира. Для этого предприятия требовалось почти все производство шкур в Советском Союзе, намеченное на 1940, 1941, 1942 годы, и дело поддерживалось польским правительством; по-видимому, речь шла о высокой дипломатии: установить посредством коммерции хорошие отношения с СССР, после того как полковник Бек, министр иностранных дел, потерпел поражение в своих попытках прийти к соглашению с гитлеровской Германией. Видимо, никогда еще во всей истории человечества не допускалась более крупная ошибка касательно природы и цены шкур. Еще и теперь можно найти подробности этого дела в польских национальных архивах. Одну из самых страшных фраз, которые мне доводилось услышать, произнес некий знаменитый член Wild Life Society [2] после войны: «Можно по крайней мере радоваться, что десятки миллионов животных избежали истребления».

Я ждал Броницкого добрых полчаса. Я не знал, чего он от меня хочет. Этим утром у нас была длительная деловая встреча, где речь шла только о том, чтобы найти место складирования шкур: следовало обеспечить их охрану, чтобы не наводнить ими рынок и не вызвать падения цен. Был также другой предмет для беспокойства: Германия как будто не оставалась в стороне и, по слухам, готова была в течение последующих пяти лет приобрести все советские шкуры. Во время этого делового совещания Броницкий не сказал мне ни слова по поводу своего несколько торжественного приглашения. «Ждите меня в четыре часа в Княжеской гостиной»,— вот все, что довольно сухо сказал он мне под конец.

Когда дверь открылась и появился Броницкий, я сразу заметил, что он уже слегка «под парами», как тактично говорят в Польше — pod wplywem. Ему случалось выпивать после еды полбутылки коньяка.

— Думаю, настал момент поговорить с вами откровенно и без обиняков, господин Флери.

Впервые он сказал мне «господин» и назвал по фамилии, сделав на «Флери» ударение, которое показалось мне странным.

— Мне все известно о ваших отношениях с моей дочерью. Вы ее любовник.

Он поднял руку.

— Нет, нет, не отрицайте, это бесполезно. Я уверен, что вы молодой человек, имеющий чувство чести и накладываемых им обязательств. Таким образом, я думаю, что у вас честные намерения. Я хочу только в этом убедиться.

Мне понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Я смог пролепетать только:

— Я действительно хочу жениться на Лиле, сударь.

Остальное, где путалось «самый счастливый из людей» и «смысл моей жизни», выразилось бормотанием.

Броницкий смерил меня взглядом, выпятив подбородок.

---

[1] Ян Собеский — Ян III (1629—1696) — король Речи Посполитой. В 1683 г. разгромил турецкую армию, осаждавшую Вену.

[2] Общество защиты животных *(англ.)*.

— Однако я считал вас человеком чести, господин Флери,— бросил он мне.

Я не понимал.

— Я полагал, как я вам говорил, что у вас честные намерения. Вижу с сожалением, что они не таковы.

— Но...

— То, что вы спите с моей дочерью, является... как бы сказать?.. является неким развлечением без последствий. В нашей семье мы не требуем от наших женщин святости, нам достаточно гордости. Но не может быть и речи о браке моей дочери с вами, господин Флери. Я уверен, что вас ждет блестящее будущее, но, принимая во внимание имя, которое она носит, у моей дочери есть все мыслимые возможности выйти за человека королевской крови, и она регулярно получает, как вам известно, приглашения ко двору Англии и ко двору Дании, Люксембурга и Норвегии...

Это была правда. Я сам видел, как эти гравированные карточки раскладываются на мраморном столе в холле. Но речь почти всегда шла о приемах, где приглашенные насчитываются сотнями. Лила объясняла мне: «Это все из-за этого проклятого «коридора». Так как наш замок находится, так сказать, в центре проблемы, все эти приглашения скорее политические, чем личные». А Тад ворчал по поводу подобных праздничных отзвуков: «Затонувший лес...» Это было название поэмы Вальдена [1], который рассказывает историю затопленного леса, где каждую ночь продолжают звучать песни исчезнувших птиц.

Я старался подавить гнев и проявить ту английскую выдержку, которой так восхищался в романах Киплинга и Конан Дойла. Меня еще и сейчас удивляет, сколько мелочности и пустоты было в мечтах о величии у Стаса Броницкого. Он стоял передо мной со стаканом виски в руке, высоко подняв брови над голубыми и слегка остекленевшими глазами «человека под парами». Может быть, в основе всего этого была какая-то смертельная тоска, которую ничто не могло побороть.

— Как угодно, сударь,— сказал я ему.

Я поклонился и вышел из зала. Спускаясь по большой торжественной лестнице — было впечатление, что двигаешься вниз не по мраморным ступеням, а по векáм,— я начал страстно желать войны, которая действительно будет концом света и стряхнет всех этих высших обезьян с высоких ветвей их генеалогических древ. Я ничего не сказал Лиле об этом разговоре: я хотел избавить ее от стыда и слез; я обсудил его с Тадом, улыбнувшимся той тонкой улыбкой, какая была для него чем-то вроде оружия для безоружного. Три года спустя мы нашли в кармане убитого эсэсовца ставшую знаменитой фотографию участника Сопротивления — со связанными руками, спиной к стене, лицом к команде, производящей расстрел,— и на лице погибающего француза моя память тут же узнала улыбку Тада. Он воздержался от всяких комментариев, настолько, видимо, позиция отца казалась ему естественной и неизбежной для общества, цепляющегося, как за спасательный круг, за любой груз прошлого, тянувший его ко дну; но он рассказал сестре. Я узнал, что Лила побежала в кабинет отца и назвала его сутенером; я был тронут, но, на мой взгляд, в рассказе Тада об этой сцене показательно было напоминание Лилы Стасу Броницкому, что, по местным слухам, сам он был внебрачным ребенком, сыном конюха. Мне не могла не казаться забавной мысль, что моя подруга даже в своем эгалитарном возмущении увидела в «сыне конюха» худшее из оскорблений. Короче, я учился иронии и не знаю, было ли это влияние Тада или с наступлением зрелости я начинал вооружаться для жизни.

В результате этого разговора Лила начала «мечтать о себе» совсем по-иному, чем привела Тада в восторг: она приходила в мою комнату с охапкой «подрывной литературы», которую до сих пор брат напрасно пытался заставить ее читать. Моя кровать была завалена памфлетами, подпольно отпечатанными «учебной группой» Тада; свернувшись под

[1] Вальден — наст. имя Георг Левин (1878—1941) — немецкий писатель-экспрессионист и музыкант, основатель журнала «Буря».

балдахином, где некогда покоились князья, подняв колени к подбородку, она читала Бакунина, Кропоткина и некоего Грамши, которым безоговорочно восхищался ее брат. Она расспрашивала меня о Народном фронте, известном мне только по воздушному змею Леона Блюма — дядя хранил его в углу мастерской. Неожиданно она захотела знать все о гражданской войне в Испании и о Пассионарии, чье имя произносила с живым интересом, потому что при ее новой манере «искать себя», говорила она мне, здесь могла быть возможность. Она курила сигарету за сигаретой и тушила их с яростной решимостью в серебряных пепельницах, которые я ей протягивал. Я был чувствителен к этому способу успокоить меня, показать мне свою нежность и, быть может, любить меня: я подозревал, что в ее неожиданной революционной вспышке больше игры чувств, чем какой бы то ни было убежденности. Мы кончали тем, что скидывали книги и памфлеты на ковер и искали прибежища в страсти, гораздо менее теоретической. Я знал также, что мое упрощенное представление о вещах (я представлял себя сельским почтальоном, возвращающимся каждый вечер к Лиле и нашим многочисленным детям) происходит от той самой комической наивности, которая некогда заставляла наших светских посетителей так смеяться над «тронутым почтальоном» и его инфантильными воздушными змеями. Я узнавал в этом присутствие какой-то изначальной и неискоренимой жилки предков, совсем не соответствовавшей тому, чего могла ожидать Лила от человека, с которым свяжет свою судьбу. Однажды ночью я робко спросил у нее:

— А если бы я закончил Политехническую школу первым, тогда...

— Что?

Я замолчал. Речь шла не о том, что я собираюсь сделать со своей жизнью, а что женщина сделает с моей. И я не понимал, что у моей подруги было предчувствие совсем другого «меня» и совсем других «нас» в том мире, чье наступление она неясно ощущала, когда, прячась в моих объятиях, шептала, что «будет землетрясение».

Эскадроны кавалеристов с саблями и знаменами с песней проехали через Гродек, отправляясь занимать позиции на немецкой границе.

Говорили, что видный офицер французского генерального штаба приехал для инспекции укреплений Хелма и провозгласил их «достойными, в некоторых отношениях, нашей линии Мажино».

Почти каждую неделю Ханс фон Шведе тайно пересекал запретную границу на своем красивом сером коне, чтобы провести несколько дней с кузенами. Я знал, что он рискует карьерой и даже жизнью, чтобы увидеть Лилу. Он рассказал нам, что караульные стреляли в него, один раз с польской стороны, другой — с немецкой. Я с трудом переносил его присутствие и еще хуже дружеское отношение к нему Лилы. Они совершали в лесу длительные прогулки верхом. Я не понимал этого аристократического братания во время драки: мне казалось, что это отсутствие принципов. Я шел в музыкальный салон, где Бруно целыми днями упражнялся за роялем. Он готовился к поездке в Англию, так как был приглашен на Шопеновский конкурс в Эдинбурге. Англия тоже старалась в эти гибельные дни оказать Польше поддержку своей спокойной мощью.

— Я не понимаю, как Броницкие принимают у себя человека, который вот-вот будет офицером во вражеской армии,— говорил я ему, бросаясь в кресло.

— Стать врагами всегда успеешь, старина.

— Ты, Бруно, когда-нибудь помрешь от мягкости, терпимости и кротости.

— Ну что ж, в общем, это неплохая смерть.

Мне не суждено было забыть эту минуту. Не суждено забыть эти длинные пальцы на клавишах, это нежное лицо под спутанными волосами. Когда судьба сдала свои карты, ничто не предвещало того, что случится: видно, карта Бруно выпала из другой колоды. Судьба иногда играет с закрытыми глазами.

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

ПОСТМОДЕРНИЗМ: ПОДОБИЯ И СОБЛАЗНЫ РЕАЛЬНОСТИ

Готовясь предложить вниманию читателей подборку материалов по постмодернизму, редакция намеревалась представить это богатое и сложное явление современности как можно более разнообразно. Именно поэтому в номере под одной обложкой собраны и увлекательный роман, который английская критика оценивает как вершину постмодернистской прозы, и живопись, воплощающая специфическую постмодернистскую «манеру понимать вещи», и образцы творчества некоторых поэтов-постмодернистов. Мы решились также поместить в номере и переводы из трудов виднейших теоретиков этого направления мысли, французских философов, чьи статьи, быть может, покажутся не таким уж легким чтением, но зато заинтересованный читатель получит представление о мировоззренческом и философском «обеспечении» этого идейно-эстетического течения, отражающего дух времени, в котором нам выпало жить.

ПОСЛЕ ВРЕМЕНИ

Французские философы постсовременности

Вступление и перевод с французского А. В. ГАРАДЖИ

The time is out of joint...
W. Shakespeare. Hamlet [1].

Постсовременность — достаточно неуклюжее обозначение нынешнего состояния человеческой культуры. «Постсовременное состояние» — так называется книга Ж.-Ф. Лиотара, опубликованная в 1979 г.,— одна из многочисленных попыток философского осмысления постсовременности (или, что то же самое, постсовременного осмысления философии). Попытки осмыслить новое состояние предпринимались и продолжают предприниматься не только философами, но и художниками, писателями, социологами... «Постмодернизмом» принято называть совокупность таких попыток, хотя в данном случае противопоставление «реального объекта» и его «отражения» в литературе, искусстве и т. д.— всего лишь условность: в постсовременном мире принцип репрезентации — представления, представительства в самом широком смысле — утрачивает свою силу (быть может, кризис репрезентации, означающий размывание границ между старой доброй «реальностью» и «текстом», т. е. всевозможными ее «отражениями»,— основная характеристика постсовременности). «Вне текста ничего нет»,— утверждает Ж. Деррида, крупнейший постсовременный философ, который, впрочем, крайне отрицательно относится к самому термину «постмодернизм» (или «постструктурализм»), скомпрометированному многочисленными вульгаризациями. Ж. Бодрийар выражает ту же мысль, когда говорит о «прецессии симулякров», т. е. предшествовании подобий — объектов, симулирующих, передающих, изображающих или представляющих реальность,— самой реальности (однако реальность, выводимая из подобий, перестает быть реальностью и делается симуляцией симуляции): временной парадокс, конец старого доброго времени («современности») с его трехфазовым делением на прошлое, настоящее и будущее, конец истории, конец представления. Время ускользает из прокрустова ложа истории, срывается с цепи, на которой его так долго держал человек; нам остается лишь броситься за ним следом, принять брошенный нам вызов и попытаться если не догнать, то хотя бы поспеть за временем: таков смысл «пост» в слове «постсовременность» — речь идет о преследовании времени, бесконечном состязании с ним, которое может принимать и самые обыденные формы (мы «вечно ничего не успеваем», спортсмены «борются с секундами» и т. д.). Поэтому мы больше не «со-временны», мы стоим — или бежим — не рядом со временем, а всегда *после:* опережая «старое», одомашненное время и отставая от «нового», вырвавшегося на волю, которое уже не подгоняется под человеческие мерки, «дегуманизируется». Легко впасть в ошибку и отождествить «старое» и «новое» время с прошлым и будущим. Однако прошлое и будущее — категории исторического, т. е. современного сознания. И лишь условностью является само различение «старого» и «нового» времени: «периоды» и «эпохи» — опять-таки исторические категории, к постсовременности неприменимые. Обновляется не само время, а наше отношение к нему. Мы начинаем догадываться, что постсовременность — не какая-то новая эпоха, идущая на смену современности, а ее двойник, извечно ей сопутствующий; парадоксальность времени, не укладывающаяся в наше представление о нем и особенно остро воспринимаемая сегодня, когда приходит конец представлению как таковому. Поэтому новизна постсовременности относительна. Кому принадлежат слова «the time is out of

---

[1] Распалась связь времен. В. Шекспир. «Гамлет» *(Перев. А. Кронеберга.)*

joint»? Нет, это не какой-то постмодернистский поэт — это Шекспир. Эпохой Возрождения, вероятно, открывается наша современность — но и постсовременность также. За великим Ренессансом последует множество мелких — в искусстве, литературе, философии, политике,— а в XX в., и особенно сегодня, уже едва ли отыщется такое течение, направление или школа, в чьем названии не присутствуют, хотя бы потенциально, вездесущие приставки «пост» и «нео», «транс» и «ультра» и т. п. Это симптом времени, симптом неадекватности времени самому себе — или нашему представлению о нем. Мы воспринимаем эту неадекватность как парадокс, как парадоксальное переплетение старого и нового, прошлого и будущего, удачно выражаемое во французском языке глагольным временем, которое называется «предшествующее будущее». По Ж.-Ф. Лиотару, постсовременность — это как раз и есть такое парадоксальное будущее.

Жан-Франсуа Лиотар (род. в 1924 г.) первым заговорил о «постмодернизме» применительно к философии. Особое внимание этот автор уделяет эстетическим и политическим аспектам постсовременного состояния. «Заметка о смыслах «пост-», предлагаемая ниже вниманию читателя, входит в книгу «Постмодерн в изложении для детей» (1983), составленную из писем автора, посланных его несовершеннолетним корреспондентам со всех концов света. О соотношении модерна и постмодерна в искусстве Лиотар много говорит и в других работах. В его понимании постмодерн — это не какой-то новый стиль, приходящий на смену модерну (такое вульгарное понимание особенно усиленно пропагандируется теоретиками архитектуры, с которыми Лиотар часто полемизирует). Это не конец, но скорее начало и зарождение модерна, причем «подлинные» постмодернисты, на взгляд Лиотара,— те, кто увековечивает это начальное состояние, неустанно «принимая роды» модерна, не забывая «переписывать» или «прорабатывать» (в психоаналитическом смысле) современность со всеми ее изъянами и недостатками, порой роковыми. Писатели, художники, философы и политики, которые попросту перечеркивают и предают забвению современность (типично «модернистский» жест), обречены бессознательно воспроизводить и повторять то, от чего хотели уйти. Стремясь снять с себя всякую ответственность за несчастья, принесенные человечеству последними двумя веками его истории, они остаются в плену у современности: от «кошмара истории» так просто не отмахнуться, он должен быть подвергнут тщательному анализу. Художественный постмодернизм также не может ограничиваться безответственным «цитированием» элементов предшествующих периодов, его отличительная черта — не эклектика, но «эстетика возвышенного» в кантовском понимании: «представление непредставимого», т. е. изображение невообразимого, как определяет эту эстетику Лиотар.

Жан Бодрийар (род. в 1929 г.) рассматривает постсовременность под иным углом зрения и в совсем ином духе, нежели Лиотар. Для него закончилась не только история, даже в ретроспективе, но и сама реальность, уступив место симулятивной «гиперреальности» моделей, кодов и симулякров. Концепция симуляции, набросанная Бодрийаром в книге «Символический обмен и смерть» (1976) и развитая в последующих работах, в том числе в книге «О соблазне» (1979), фрагменты из которой здесь представляются, противостоит классической теории обозначения, сформулированной Ф. де Соссюром и несколько модифицированной французским психоаналитиком Ж. Лаканом. По Бодрийару, реальность, которую якобы отражают знаки, не существует как таковая. Когда-то, до эпохи Возрождения, реальность, возможно, *сосуществовала* со знаками, только тогда знаки не были призваны дублировать реальность, а выполняли совсем иные функции: собственно, это были не знаки даже, но символы, включенные в символический обмен. Как только появляются знаки в современном смысле, они начинают отбрасывать тень на реальность, которая в результате оказывается не чем иным, как симулякром, т. е. симуляционной моделью реальности, служащей своеобразным «алиби» для знаков и знаковых систем, которые сами по себе тоже, разумеется, симуляции. Поэтому противопоставление знака и реальности, «означающего» и «означаемого», простой видимости и скрытого смысла, поверхности и глубины — всякая иерархически упорядоченная оппозиция — лишается основания, а любой построенный на таких оппозициях дискурс (языковое воплощение и развитие различных теорий и практик) в любой момент может быть «абсорбирован» собственными знаками и лишиться всякого смысла: знакам достаточно лишь повернуться оборотной стороной, и они выскальзывают из тисков оппозиции, тем самым ее упраздняя. Ведь оборотная сторона знака — вовсе не скрытый смысл лицевой стороны: кому придет в голову утверждать, что «орел» — это смысл «решки», или

наоборот? А между тем именно на этом абсурдном подчинении одной стороны знака другой (означаемого означающему или наоборот) держится принцип репрезентации и все, что он обосновывает: от «реалистического» искусства до политического представительства. Логике всей этой «симуляционной» системы, основанной на принципе репрезентации, «обратимость» знаков отнюдь не противоречит — напротив, заостряет ее, тем самым подводя систему к ее логическому концу. Вот почему против «холодной» симуляции системы Бодрийар выставляет опять-таки симуляцию — только симуляцию «горячую», отчаянную и головокружительную: он принимает «вызов», брошенный системой, которая неуязвима для традиционного оружия всех революционеров — диалектики.

«Соблазн» — это то же самое, что и симуляция. Собственно, это неадекватный, нейтрализованный перевод французского слова séduction, которое само по себе «соблазнительно» в бодрийаровском смысле, обозначая как «соблазнение», «обольщение», «совращение», так и манящую, искушающую, соблазнительную прелесть вещей, прельщающий соблазн, обольстительный обман, «одну видимость», тот «златотканый покров прекрасных возможностей», о котором пишет Ницше (его влияние на Бодрийара особенно заметно в этой книге). Ницше: «Я хочу сказать, что мир преисполнен прекрасных вещей, но, несмотря на это, беден, очень беден прекрасными мгновениями и откровениями этих вещей. Но, может статься, это-то и есть сильнейшее очарование жизни: на ней лежит златотканый покров прекрасных возможностей, обещая, сопротивляясь, стыдливо, насмешливо, сострадательно, соблазнительно. Да, жизнь — это женщина!» (Перев. К. А. Свасьяна.) И еще одна цитата из «Веселой науки»: «Что касается нашего будущего, то нас вряд ли найдут на стезях тех египетских юношей, которые ночами проникают в храмы, обнимают статуи и во что бы то ни стало хотят разоблачить, раскрыть, выставить напоказ все, что не без изрядных на то оснований держится сокрытым. Нет, это дурной вкус... Мы больше не верим тому, что истина остается истиной, если снимают с нее покров; мы достаточно жили, чтобы верить этому. Теперь для нас дело приличия — не все видеть обнаженным, не при всем присутствовать, не все хотеть понимать и «знать»... нужно храбро оставаться у поверхности, у складки, у кожи, поклоняться иллюзии, верить в формы, звуки, слова, в весь Олимп иллюзии!»

Ж.-Ф. ЛИОТАР

Заметка о смыслах «пост»

Джессамин Блау
Милуоки, 1 мая 1985 г.

Я хотел бы изложить тебе несколько своих соображений, единственная цель которых — выделить ряд проблем, связанных с термином «постмодерн», не пытаясь разрешить их. Поступая таким образом, я не стремлюсь закрыть обсуждение этих проблем, а скорее направляю его в надлежащее русло, дабы избежать путаницы и двусмысленности. Ограничусь тремя пунктами.

1. Начнем с противопоставления постмодернизма и модернизма, или Mouvement moderne (1910—1945), в архитектуре. Согласно Портогези, прорыв от модерна к постмодерну стал возможен благодаря тому, что была отменена гегемония Евклидовой геометрии, например в пластической поэтике группы «Stijl». Если верить Греготти, то различие между модернизмом и постмодернизмом состоит прежде всего в исчезновении тесных уз, связывавших архитектурный проект модерна с идеей прогрессивной реализации социального и индивидуального освобождения в масштабах всего человечества. Получилось так, что постсовременная архитектура обречена продуцировать серию каких-то незначительных модификаций в унаследованном от современности пространстве и отказаться от глобальной реконструкции пространства, обитаемого человеком. В этом смысле глазам постсовременного человека, в частности архитектора, открывается вид на

© Galilée, 1979, 1984

широко раскинувшийся ландшафт, уже не определяемый горизонтом универсальности или универсализации, всеобщего освобождения. Исчезновение Идеи прогрессивного развития рациональности и свободы может объяснить известный «тон» архитектуры постмодерна, ее особый стиль или манеру, я бы сказал — своеобразный «бриколаж»: изобилие цитат — элементов, заимствованных из предшествующих стилей и периодов, как классических, так и современных; недостаточное внимание к окружению и т. д.

Одно замечание по поводу вот какого аспекта проблемы: приставка «пост» в слове «постмодернизм» понимается этими авторами в таком смысле, будто речь идет о простой преемственности, какой-то диахронической последовательности периодов, каждый из которых можно четко идентифицировать. «Пост» в таком случае обозначает нечто вроде конверсии: какое-то новое направление сменяет предшествующее.

Однако эта идея линейной хронологии всецело «современна». Она присуща одновременно христианству, картезианству, якобинству: раз мы зачинаем нечто совершенно новое, значит, надлежит перевести стрелки часов на нулевую отметку. Сама идея такой современности теснейшим образом соотнесена с принципом возможности и необходимости разрыва с традицией и установления какого-то абсолютно нового образа жизни или мышления.

Сегодня мы начинаем подозревать, что подобный «разрыв» предполагает не преодоление прошлого, а скорее его забвение или подавление, иначе говоря — повторение.

Хотел бы отметить, что цитирование в «новой» архитектуре элементов, заимствованых из предшествующих архитектурных стилей, обусловлено процедурой, аналогичной использованию в работе сновидений — следов дневных впечатлений, восходящих к пережитому, как это описывается Фрейдом в «Traumdeutung» [1]. Это роковое повторение и/или цитирование, принимается ли оно с иронией, цинизмом или попросту бездумно, представляется совершенно очевидным, стоит лишь обратить внимание на господствующие ныне в живописи течения, носящие имена «трансавангардизма», «неоэкспрессионизма» и т. п. Несколько ниже я еще вернусь к этому.

2. Отправившись от «постмодернизма» архитектурного, я подошел теперь ко второму значению термина «постсовременный»; должен тебе признаться, что полной ясности в этом пункте у меня нет.

Общая идея тривиальна: сегодня мы можем наблюдать своеобразный упадок того доверия, которое западный человек на протяжении последних двух столетий питал к принципу всеобщего прогресса человечества. Эта идея возможного, вероятного или необходимого прогресса основывалась на твердой уверенности, что развитие искусств, технологий, знания и свободы полезны человечеству в его совокупности. Оставался, конечно, вопрос о том, кто является подлинным субъектом и жертвой недоразвитости — бедняки, или рабочие, или безграмотные... Либералы, консерваторы и левые постоянно задавались этим вопросом как в прошлом, так и в нынешнем веке, затевая между собой, как ты знаешь, ученые споры и даже настоящие войны из-за подлинного имени субъекта, которому надлежало помочь освободиться. И тем не менее самые разные политические течения объединяла вера в то, что все начинания, открытия, установления правомочны лишь постольку, поскольку способствуют освобождению человечества.

По прошествии этих двух столетий мы стали проявлять большее внимание к знакам, указывающим на движение, которое противоречит этой общей установке. Ни либерализму, экономическому или политическому, ни различным течениям внутри марксизма не удалось выйти из этих двух кровавых столетий, избежав обвинений в преступлениях против человечества. Мы можем перечислить ряд имен собственных, топонимов, имен исторических деятелей, дат, которые способны проиллюстрировать и обосновать наше подозрение. Чтобы показать, насколько расходится новейшая западная история с «современным» проектом освобождения человечества, я следом за Теодором Адорно воспользовался словом-символом «Освенцим». Какое мышление способно «снять» — в смысле aufheben — этот «Освенцим», включив его в некий всеобщий эмпирический или

[1] «Толкование снов» *(нем.)*.

пусть даже мыслительный процесс, ориентированный на всеобщее освобождение? Тайная печаль снедает наш Zeitgeist [1]. Он может выражать себя во всевозможных реактивных или даже реакционных установках или утопиях, но не существует позитивной ориентации, которая могла бы открыть перед нами какую-то новую перспективу.

Развитие технонаук сделалось средством усугубления этого недуга, а не его смягчения. Мы больше не можем называть это развитие прогрессом. Складывается такое впечатление, что оно продолжается независимо от нас, само собой, движимое какой-то автономной силой. Оно уже не отвечает на запросы, порождаемые человеческими потребностями. Напротив, создается впечатление, что результаты и плоды этого развития постоянно дестабилизируют человеческую сущность, как социальную, так и индивидуальную. Я имею в виду не только материальные результаты, но и духовные, интеллектуальные. Можно сказать, что человечество оказалось сегодня в таком положении, когда ему приходится догонять опережающий его процесс накопления все новых и новых объектов практики и мышления.

Как ты догадываешься, вопрос о причинах этого процесса усложнения (complexification), вопрос темный, весьма для меня важен. Можно предположить, что некое роковое предназначение помимо нашей воли увлекает нас ко все более сложным состояниям. Наши запросы — безопасность, идентичность, счастье,— вытекающие из нашего непосредственного состояния живых или общественных существ, как будто никак не соотносятся с этим родом принуждения, толкающего нас сегодня к усложнению, опосредованию, исчислению и синтезированию все равно каких объектов, а также изменению их масштабов. В технонаучном мире мы подобны Гулливеру: то слишком велики, то слишком малы,— всегда не того масштаба. Если смотреть на вещи с этой точки зрения, то требование простоты сегодня покажется вообще-то предвестьем варварства.

Разбирая этот же пункт, следовало бы подробнее разработать вопрос о разделении человечества на две части: одна принимает этот вызов сложности, другая — тот древний и грозный вызов, что связан с выживанием рода человеческого. Вот, может быть, главная причина провала проекта современности, который, напомню тебе, в принципе относился к человечеству в его совокупности.

3. Третий пункт, наиболее сложный, я излагаю тебе наиболее кратко. Вопрос о постсовременности есть также — или прежде всего — вопрос о различных формах выражения мысли: искусстве, литературе, философии, политике.

Известно, что, например, в сфере искусств — точнее, визуальных и пластических искусств — сегодня господствует представление, будто с великим авангардистским движением покончено и о нем можно забыть. Подтрунивать или смеяться над авангардами, которые рассматриваются в качестве отжившей свое современности, вошло, так сказать, в моду.

Термин «авангард», с его милитаристским оттенком значения, нравится мне не больше, чем другим. Однако я хорошо вижу, чем на самом деле был истинный авангардистский процесс — своего рода работой, долгой, упорной, высокоответственной, обращенной к поиску исходных предпосылок современности, вплетенных в ее ткань. Я хочу сказать, что для правильного понимания творений современных художников — скажем, от Мане до Дюшана или Барнета Ньюмена — надлежит провести аналогию между их работой и *анамнезом*, в том смысле, который придается этому процессу психоаналитической терапией. Пациент психоаналитика пытается переработать расстройство, от которого он страдает в настоящем, проводя свободные ассоциации между его элементами, на первый взгляд исключенными из всякого контекста, и какими-то пережитыми в прошлом ситуациями, что позволяет ему раскрыть тайный смысл своей жизни, своего поведения,— и точно так же работа Сезанна, Пикассо, Делоне, Кандинского, Клее, Мондриана, Малевича, наконец Дюшана может рассматриваться как некая «проработка» (durcharbeiten) современностью собственного смысла.

Если же кто-то пренебрегает подобной ответственностью, то он наверняка обрекает себя на дотошное повторение «современного невроза» — западной паранойи, западной шизофрении и т. д.,— источника познанных нами на протяжении двух столетий бед.

[1] Дух времени *(нем.)*.

Тебе должно быть ясно, что приставка «пост» в слове «постмодерн», понятая подобным образом, обозначает не движение типа come back, flash back, feed back, т. е. движение повторения, но некий «*ана*-процесс», процесс анализа, анамнеза, аналогии и анаморфозы, который перерабатывает нечто «первозабытое».

Ж. БОДРИЙАР

Фрагменты из книги «О соблазне»

Неизбывная судьба преследут соблазн. Для религии он всегда выступал дьявольским ухищрением, стратегией дьявола, шла ли речь о колдовских чарах или же любовном обольщении. Соблазн всегда был соблазном зла. Или мира. Мирским *искусом*. Проклятье, наложенное религией на соблазн, без изменений проносится через века моралью и философией, а сегодня подхватывается психоанализом и подразумевается, когда говорят об «освобождении желания». Может показаться парадоксальным, что сегодня, когда секс, зло, извращение превращаются в ценности, значимость которых непрестанно растет, когда все, преданное некогда анафеме, справляет свое возрождение, зачастую запрограммированное, соблазн тем не менее по-прежнему остается в тени — или даже окончательно окутывается мраком.

Ведь в XVIII веке о нем еще говорили. И не просто говорили. Вместе с вызовом и честью соблазн и обольщение составляли первостепенную заботу аристократии. Буржуазная революция положила этому конец (другие, последующие, революции покончили с этим бесповоротно — всякая революция первым делом кладет конец соблазну видимостей). Буржуазная эпоха всецело предается природе и производству, а эти вещи весьма чужды соблазну или даже определенно для него смертоносны. Поскольку же и сексуальность, по словам Фуко, вырастает из процесса производства (дискурса, речи и желания), то нет ничего удивительного, что она отодвинула соблазн еще дальше в тень. Мы живем в эпоху повсеместного наступления природы — будь то природа старой доброй души, материальная природа вещей или же психическая природа желания,— природа добивается своего свершения в калейдоскопе всех мыслимых метаморфоз вытесненного, в процессе освобождения всех мыслимых энергий: психических, социальных, физических.

Однако соблазн во все времена принадлежал не к природному, или естественному, строю, но к рукотворному, искусственному; не к строю энергий, но к строю знака и ритуала. Вот почему все великие системы производства и толкования всегда исключали его из своего концептуального поля — к счастью для соблазна, поскольку именно извне, оказавшись отброшенным далеко за рамки этих систем, он продолжает преследовать их и угрожать крушением. Соблазн постоянно ждет возможности уничтожить божественный строй, даже если тот превратился в строй производства или желания. Для всех ортодоксий соблазн продолжает оставаться искусом, злокозненным ухищрением, черной магией, нацеленной на извращение всех истин, на отвлечение от истины, заклинанием и экзальтацией знаков в их злокозненном употреблении. Всякому дискурсу угрожает эта внезапная обратимость или поглощение собственными знаками, не оставляющее и следа смысла. Вот почему все дисциплины, в качестве аксиомы избравшие связность и целесообразность своих дискурсов, могут стремиться лишь к тому, чтобы любой ценой изгнать соблазн подобно злому духу. Вот где соблазн сливается с женственностью, вот где они всегда были слиты. Всякую мужественность во все времена преследовала угроза этой внезапной обратимости в женственность. Соблазн и женственность неотвратимы и неизбежны, потому что представляют собой не что иное, как оборотную сторону пола, смысла и власти.

Сегодня экзорцизм соблазна становится более ожесточенным и систематическим.

Мы вступаем в эпоху окончательных решений, эпоху сексуальной революции, если взять один из примеров: производство и руководство всеми предельными и запредельными наслаждениями, микропроцессорную обработку желания, чьей последней аватарой выступает женщина — производительница себя самой как женщины и как пола. То есть конец соблазна.

Или же, наоборот, наступает торжество соблазна *мягкого,* бесцветная, рассеянная феминизация и эротизация всех отношений внутри размякшего социального универсума.

Или же ничего из вышесказанного. Ибо ничто не в силах превзойти сам соблазн, даже тот строй, который его уничтожает.

* * *

Сегодня нет ничего менее надежного, чем пол, невзирая на освобождение сексуального дискурса. Нет ничего менее надежного, чем желание, невзирая на стремительное размножение его фигур.

И в том, что касается пола, такое размножение практически равносильно полному распылению. Вот в чем секрет этой гипертрофии сексуального производства, продуцирования знаков пола, гиперреализма наслаждения, особенно женского: принцип неопределенности распространился на половые отношения, как и на отношения политические и экономические.

Стадия освобождения пола есть также стадия его индетерминации. Нет больше никакой нехватки, никакого запрета, никакого ограничения: начисто утрачиваются все принципы соотнесения с реальностью. Экономическое отношение сохраняется лишь благодаря наличию нищеты и улетучивается вместе с осознанием его цели, состоящей в устранении самого призрака нищеты. Желание также удерживается лишь благодаря наличию нехватки. Когда же оно целиком переходит в запрос, безоговорочно технологизируется, оно утрачивает реальность, поскольку теряет свое воображаемое измерение, оно оказывается повсюду — но лишь в качестве некоей обобщенной симуляции. Именно этот призрак желания и обретается еще в почившей реальности пола. Секс можно найти повсюду, только не в сексуальности (Ролан Барт).

Перемещение центра тяжести сексуальной мифологии на женственность происходит одновременно с переходом от детерминации к индетерминации. Женственность не ставится на место мужественности в качестве одного пола, замещающего другой в результате структурной перестановки. Она сменяет мужественность, завершая эпоху определенности понятия пола, другими словами — вследствие расшатанности закона, регулирующего половые различия. Утверждение женственности соответствует апогею полового наслаждения и катастрофе принципа реальности пола.

Так что именно женственность захватывает нас в этой смертоносной гиперреальности пола, как она пленяла нас некогда, но совсем по-иному, в иронии и соблазне.

* * *

Фрейд прав: существует только одна сексуальность, только одно либидо — мужское. Сексуальность есть известная нам устойчивая и дискриминирующая структура, сконцентрированная вокруг фаллоса, кастрации, имени отца, вытеснения. Никакой иной не существует. Бессмысленно мечтать о какой-то нефаллической, не отмеченной чертой вытеснения, немаркированной сексуальности. Бессмысленно пытаться в рамках этой структуры перевести женственность по другую сторону черты и смешать термины оппозиции: структура либо останется неизменной, поскольку вся женственность будет поглощена мужественностью, либо попросту развалится, так что не останется ни женственности, ни мужественности: нулевая ступень структуры. Сегодня одновременно происходит и то, и другое: мы наблюдаем эротическую поливалентность, безграничную потенциальность желания, либидинозные разветвления, преломления, напряжения — все многочисленные варианты одной освободительной альтернативы, исходящей из сферы психоанализа, освободившегося от Фрейда, или из сферы желания, освобо-

дившегося от психоанализа, и за внешним раздуванием сексуальной парадигмы все они смыкаются, свидетельствуя о возможной нейтрализации структуры, об утрате ею организующих ее различий.

Для того, что зовется женственностью, ловушка сексуальной революции состоит в том, что женственность запирается в этой единственной структуре, где обречена либо на негативную дискриминацию, когда структура крепка, либо на смехотворный триумф, когда структура ослаблена.

Однако женственность находится в ином месте, всегда находилась в ином месте: за рамками этой структуры — в этом секрет ее силы. Подобно тому как говорится, что такая-то вещь обладает длительностью потому, что ее существование неадекватно ее сущности, так и нам надлежит сказать, что женственность соблазняет потому, что никогда не оказывается там, где мыслится. Следовательно, нет ее и в той истории страданий и притеснений, которая с ней связывается: ее нет на исторической голгофе женщин, за которой ловко прячется женственность. Скрываясь под маской рабской зависимости, она прибегает к подобной уловке лишь в рамках этой структуры, с которой ее насильно соотносят и где она подвергается вытеснению, причем сексуальная революция придает этому соотнесению и вытеснению еще более драматический характер. Но что за странная аберрация примешивается к нашему суждению и заставляет думать, будто именно здесь разворачивается история женственности? Кому эта аберрация на руку, если не мужественности? Вот оно, вытеснение: оно уже в полном объеме присутствует в *рассказе* о бедственном положении женщин в сексуальной и политической сферах, оставляя за скобками любой иной вид силы и господства.

Но существует альтернатива этому полу и этой власти, о которой психоанализ не может ничего знать, потому что его аксиоматика носит сексуальный характер, и, без сомнений, эта альтернатива действительно относится к строю женственности, понятой по ту сторону оппозиции мужское/женское — ведь эта оппозиция является мужской по существу, сексуальной по назначению и не может быть поколеблена без того, чтобы не перестать, собственно говоря, существовать.

Сила женственности есть сила соблазна.

* * *

Упадок психоанализа и сексуальности как неких устойчивых структур, их измельчание в психомолекулярной вселенной (в которой как раз и происходит их окончательное и решительное освобождение) позволяет нам разглядеть какую-то иную вселенную (параллельную в том смысле, что она никогда не пересекается с первой). Эта иная вселенная истолковывается уже не в терминах психических и психологических отношений, не в терминах вытеснения или бессознательного, но в терминах игры, вызова, агонистических дуальных отношений и стратегии видимостей — в терминах уже не структуры и различий, но соблазнительной обратимости,— вселенная, в которой женское начало не противопоставляется мужскому, но *соблазняет* его.

Находясь в стихии соблазна, женственность не выступает маркированным или немаркированным термином оппозиции. В то же время она не олицетворяет в этом случае какую-то «автономию» желания или наслаждения, автономию тела, речи или письма, которую женщина якобы утратила (?), она не взыскует своей истины, но — соблазняет.

Разумеется, эта суверенность соблазна может называться женственной лишь благодаря той же самой условности, которая позволяет называть основой сексуальности мужественность, однако существенным моментом является здесь то, что форма эта существовала всегда — очерчивая женственность как нечто такое, что не является ничем, никогда не проявляется и не «производится», никогда не оказывается там, где проявляется (следовательно, это нечто определенно отсутствует в «феминистских» притязаниях).— При этом женственность подается не в перспективе психической или биологической *би-сексуальности,* но некоей *транссексуальности соблазна,* которую стремится подавить вся сексуальная организация, да и сам психоанализ, аксиомой которого является отсутствие какой бы то ни было иной структуры, кроме сексуальной, что делает его по природе неспособным говорить о чем-либо другом.

* * *

Что противопоставляют женщины той фаллократической структуре, которую они ставят под вопрос? Автономию, различие, особенности желания и наслаждения, иное пользование телом, особые речь и письмо — и никогда в этот список не попадает *соблазн*. Они стыдятся его, полагая, что соблазнение означает какое-то неестественное щегольство своим телом, некий рок, извечно обрекающий женщину на зависимость и проституцию. Они не понимают, что *соблазн означает господство над символической вселенной, тогда как власть означает всего лишь господство над вселенной реальной*. Суверенность соблазна несоизмеримо велика по сравнению с обладанием политической или сексуальной властью.

Ожесточенное пособничество феминистского движения строю истины представляется странным. Ибо оно дает бой соблазну, отвергаемому как искусственное извращение истины женщины — истины, которая в конечном счете должна быть обнаружена вписанной в ее тело и желание. Это означает единым махом перечеркнуть высочайшую привилегию женственности, состоящую в том, что она никогда, в известном смысле, не подступалась к истине, оставляя за собой абсолютное господство над царством видимостей. Имманентная сила соблазна: все и вся отторгнуть, отклонить от истины и вернуть в игру, чистую игру видимостей, и моментально переиграть и опрокинуть все системы смысла и власти; заставить видимости вращаться вокруг себя самих, разыграть тело как видимость, лишив его глубинного измерения желания — ибо все видимости обратимы,— лишь на этом уровне системы хрупки и уязвимы — смысл уязвим только для колдовства. Какое-то невероятное ослепление заставляет отрицать существование этой единственной силы, которая равна всем прочим и даже превосходит их, так как сокрушает их все благодаря простой игре *стратегии видимостей*.

* * *

Анатомия — это судьба, как сказал Фрейд. И можно лишь подивиться тому, что феминистское движение, отвергая эту судьбу, фаллическую по определению и скрепленную печатью анатомии, обращается к альтернативе, которая остается по сути анатомической и биологической.

И нигде нам не встретится упоминание о соблазне, об обработке тела не желанием, но искусством, о теле соблазненном, теле соблазняемом, теле, страстно отторгаемом от своей истины — той этической истины желания, которая нас неотступно преследует, истины серьезной и глубоко религиозной, которую воплощает сегодня тело и для которой соблазн выступает столь же неестественной и злокозненной вещью, как и для религии в прошлом,— нигде нам не встретится упоминание о теле, преданном стихии видимостей.

Однако *лишь соблазн радикально противостоит анатомии как судьбе*. Лишь соблазн разрушает полярную сексуализацию тел и фаллически ориентированную систему сексуальности, к которой та неизбежно приводит.

Наивно любое движение, верящее в возможность подорвать системы при помощи их инфраструктуры. Соблазн выказывает большую ловкость как бы спонтанно и с кричащей очевидностью — ему нет нужды доказывать и показывать, нет нужды обосновывать самое себя — он присутствует непосредственно: соблазнительно любое выворачивание наизнанку мнимой глубины реальности, переворачивание всякой психологии, анатомии, истины или власти. Божеству соблазна известно — в этом его секрет,— что *никакой анатомии нет*, нет никакой психологии, что все знаки обратимы. Ему не принадлежит ничего, кроме видимостей, от него ускользают все формы власти, однако ему по силам обратить, повернуть оборотной стороной все ее знаки. Может ли что-либо противостоять соблазну? Вот единственная ставка, действительно делающаяся в этой игре: стратегически распорядиться властью над видимостями, употребив ее против сил бытия и реальности. Бесполезно ставить на бытие против бытия, на истину против истины — так попадают в ловушку «подрыва основ»,— но достаточно лишь *легкой* манипуляции видимостями.

А женщина есть не что иное, как видимость. И именно женственность как

видимость наносит поражение глубинной мужественности. Вместо того чтобы восставать против этой «оскорбительной» формулы, женщинам следовало бы уступить соблазну этой истины, потому что именно в ней таится секрет их силы, которую они сейчас теряют, противопоставляя глубине мужественности глубину женственности.

И это относящееся к женственности положение, гласящее, что применительно к ней лишается основания даже различение аутентичного и искусственного, странным образом совпадает с положением, определяющим пространство симуляции: тут также невозможно провести различие между реальным и моделями, всякая реальность есть лишь секреция симуляционных моделей, и нет никакой иной женственности, кроме женственности видимостей. Симуляция также неразрешима.

Это странное совпадение указывает на двусмысленность женственности, которая есть одновременно радикальная констатация симуляции и единственная возможность перейти по ту сторону симуляции — в сферу соблазна.

* * *

Секрет.

Соблазнительное, инициационное качество чего-то такого, что не может быть высказано, потому что не имеет смысла; что не высказывается, но все равно просачивается и циркулирует. Так я узнаю секрет другого, но не высказываю его, а он знает, что я его знаю, но не приподнимает скрывающей его завесы: интенсивность отношения между нами двумя есть не что иное, как секрет секрета. Это тайное сообщничество не имеет никакого отношения к утаиванию информации. Кроме того, даже если бы партнеры желали раскрыть секрет, они бы просто не сумели этого сделать, потому что тут и говорить-то не о чем... Все, что может быть раскрыто, обходит секрет стороной. Ведь это не какое-то тайное означаемое, не ключ к чему-то: он просачивается и проницает все, что может быть высказано, подобно тому как соблазн циркулирует под непристойной открытостью речи — секрет есть прямая противоположность коммуникации, и все-таки кое-что общее у них есть. Секрет удерживает свою власть лишь за счет того, что никогда не высказывается, так же как соблазн функционирует только благодаря тому, что о нем никогда не говорят и никогда его не желают.

Скрытое или вытесненное имеют тенденцию проявляться, секрету же эта тенденция совершенно не свойственна. Это некая инициационная и свернутая в себя форма: мы можем проникнуть в нее, но выйти не сумеем. Секрет никогда не раскрывается, никогда не сообщается и даже не «секретируется» (Zempleny, Nouvelle Revue de Psychanalyse, no. 14): здесь и черпает он свою мощь, в силе неявного ритуального обмена.

Так, в «Дневнике обольстителя» Кьеркегора соблазнение имеет форму загадки, подлежащей разрешению. Молодая девушка — это загадка, и чтобы соблазнить ее, нужно сделаться другой загадкой для нее самой: это поединок, в котором соперники сражаются при помощи загадок, и соблазнение есть разрешение этой магической дуэли, но *секрет при этом не раскрывается*. Как только секрет был бы раскрыт, он явил бы нам сексуальность. Последним словом этой истории, если бы у нее таковое было, оказался бы секс — но как раз секса-то в ней и нет. Место, которое должен был бы занимать этот смысл, где должен был бы появиться секс, на который указывают слова истории и о котором думают другие, сторонние наблюдатели,— место это пустует. Там ничего нет. И это ничто, это отсутствие секрета, эта ничтожность соблазна циркулирует и бежит под спудом слов, под спудом смысла и быстрее смысла: вот что воздействует на вас в первую очередь, еще до того, как до вас доходят произнесенные фразы, в то время как они уже исчезают. Соблазн под спудом дискурса, невидимый глазу, тайная циркуляция, уводящая от одного знака к другому.

Прямая противоположность психологического отношения: быть посвященным в секрет другого не означает разделять его фантазмы и желания, не означает разделять то несказанное, которое могло бы им быть: когда говорит «Оно», соблазн как раз отсутствует. Все, что относится к строю экспрессивной энергии, вытеснения и бессознательного, все, что хочет говорить, и всякое место, где

должно появиться «Я»,— все это относится к *экзотерическому* строю и противоречит *эзотерической* форме секрета и соблазна.

И все же бессознательное, «авантюра» бессознательного может оказаться последней крупномасштабной попыткой заново изготовить некий секрет для лишенного всяких секретов общества. В таком случае бессознательное стало бы нашим секретом и таинством в насквозь прозрачном и проницаемом обществе. Но на самом деле бессознательное не секрет, потому что оно всего лишь психологично. Этот психологический секрет не имеет собственного существования, поскольку бессознательное рождается одновременно с психоанализом, то есть вместе с набором процедур для его поглощения или рассасывания, и техническими приемами, помогающими отречься от секрета, загнав его в глубинные слои бессознательного.

А что, если нечто собирается изощренно отомстить всем этим толкованиям, нарушив их развитие? Нечто такое, что решительно не хочет быть высказанным и, оставаясь загадкой, загадочным образом располагает собственным решением, а потому имеет лишь одно стремление — так и остаться в тайне и не лишиться *радости* секрета.

Вопреки всем попыткам обнажить, разоблачить это нечто, заставить его означать что-либо, язык всегда возвращается к своему тайному соблазну — ну, а мы всегда возвращаемся к собственным неразрешимым удовольствиям.

* * *

Не существует никакого момента соблазнения, нет и времени *для* соблазнения, но у него есть свой особый ритм, без которого оно не имело бы места. В отличие от какой-нибудь инструментальной стратегии, проходящей ряд промежуточных фаз, соблазнение вершится в единое мгновение, одним движением и всегда выступает для себя самоцелью.

Цикл соблазнения не знает остановок. Вы можете соблазнять одну женщину с целью соблазнить другую. Но можете также соблазнять другую просто так, ради развлечения. Прельщение, манящее от одной возможности к другой, почти неуловимо. И что, собственно, соблазнительней: соблазнять или уступать соблазну? Но ведь уступить соблазну — это к тому же и лучший способ соблазнить самому. Все это — одна бесконечная строфа, один безостановочный цикл. В соблазнении нет ничего активного или пассивного, нет субъекта или объекта, нет внешнего или внутреннего: оно играет сразу на двух сторонах доски, притом что не существует никакой разделяющей их границы. Никто не соблазнит другого, если сам прежде не был соблазнен.

Поскольку соблазнение никогда не задерживается на истине знаков, но пользуется лишь прельщением и секретностью, оно кладет начало особой циркуляции, тоже секретной — и ритуальной: начало ничем не опосредуемой инициации, подчиняющейся лишь своим собственным правилам игры.

Уступить соблазну — это отвернуться от своей истины. Соблазнять самому — это отвращать другого от его истины, совращать его с пути истинного, пути истины. Если это удается, то истина эта образует некий ускользающий от него секрет (Винсент Декомб).

Соблазнение непосредственно обратимо, и обратимость его определяется вызовом, который в нем заключен, и секретом, в котором оно тонет.

Это сила привлекающая и отвлекающая, сила поглощающая и завораживающая, вызывающая коллапс не только пола, но и всего реального в его совокупности. Сила вызова — не какая-то экономия пола и речи, но всегда лишь неуправляемая эскалация милосердия и жестокости, мгновенная вспышка страсти, к которой может присоединиться и секс. Однако соблазнение с таким же успехом может обходиться без секса, исчерпываясь этим процессом вызова и смерти, а также радикальной неопределенностью, отличающей его от влечения, которое неопределенно по отношению к своему объекту, но в то же время определяется как сила и как начало, тогда как у страсти соблазнения нет ни субстанции, ни начала — интенсивность ее происходит не от либидинозной загрузки или энергии желания, но от чистой формы игры и чисто формального блефа, характеризующего эту игру.

* * *

Таков же и вызов. Он также есть антагонистическая дуальная форма, которая исчерпывается в единый миг и чья интенсивность также происходит из этого непосредственного, мгновенного обращения. Вызов околдовывает подобно какому-нибудь лишенному смысла дискурсу, которому *именно по этой абсурдной причине* мы просто не можем не ответить. Что заставляет нас отвечать на вызов? Вопрос столь же загадочный, как и другой: что нас соблазняет?

Что может быть соблазнительней вызова? Вызов или соблазн — в обоих случаях речь идет о том, чтобы заставить другого повести себя безрассудно, но и самому вместе с ним отдаться этому безумному головокружению, вызванному объединяющим партнеров головокружительным отсутствием смысла и их взаимным поглощением. Такова неизбежность вызова и причина того, что мы не можем не ответить на него: он завязывает род безумного отношения, совершенно отличного от коммуникации или обмена: это дуальное отношение, осуществляемое посредством знаков, которые сами по себе бессмысленны, однако связаны неким фундаментальным, втайне соблюдаемым правилом. Вызов кладет конец всякому договорному отношению, всякому контракту, всякому обмену, регулируемому законом (естественным или законом стоимости), и подменяет их неким в высшей степени условным и ритуализованным *пактом,* неотступным обязательством отвечать и повышать ставки, управляемым каким-то фундаментальным правилом игры и следующим своему собственному ритму. В противоположность закону, который всегда куда-то вписан (в скрижали, в сердце или в звездное небо над головой), этому фундаментальному правилу не нужно излагать или формулировать себя, *оно никогда не должно излагаться.*

* * *

Вызов и соблазн предельно близки друг к другу. И все-таки нет ли между ними различия? Бросая вызов, вы стремитесь вытащить другого на территорию, где чувствуете свою силу, которая сделается также его или ее силой, так как ставки в этой игре будут повышаться до бесконечности, тогда как стратегия (?) соблазнения заключается в том, чтобы вытащить другого на территорию, где вы ощущаете свою слабость, которая сделается также его или ее слабостью. Слабость рассчитанная и — не поддающаяся никакому расчету: вызов другому попасться на эту удочку. Слабость или недостаток: разве не является изъяном запах, исходящий от пантеры? Изъяном, к которому тянутся, испытывая головокружение, точно к пропасти, ее жертвы? Действительно, пантера, испускающая этот мифический запах, олицетворяет эпицентр смерти, и именно этот ее изъян источает тончайшие ароматы.

Соблазнять означает слабеть, «разваливаться». Мы соблазняем только нашей слабостью и никогда — силой или знаками силы. Именно эту слабость мы пускаем в ход в игре обольщения, она-то и придает нам мощь, наделяет способностью соблазнить.

Мы соблазняем собственной смертью, уязвимостью, выедающей нас изнутри пустотой. Весь секрет в том, чтобы научиться играть на этой смерти в отсутствие взгляда, в отсутствие жеста, в отсутствие знания, в отсутствие смысла.

Психоанализ призывает принять свою пассивность, принять свою слабость, однако превращает собственный призыв в формулу смирения и всеприятия с еще почти что религиозным оттенком, обеспечивающую якобы некое хорошо темперированное душевное равновесие. Соблазнение же, со своей стороны, триумфально пользуется слабостью, превращает ее в игру, правила которой само и задает.

* * *

Все — соблазн, и нет ничего, кроме соблазна.

Нас хотели заставить поверить в то, что все — производство. Лейтмотив преображения мира: ходом событий управляет игра производительных сил. Соблазн — лишь некий аморальный, фривольный, поверхностный, излишний

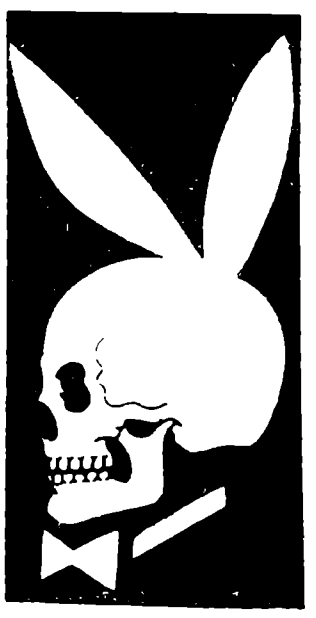
процесс, относящийся к строю знаков и видимостей: соблазнитель предается удовольствиям и использует для этого бесполезные сами по себе тела. Но что, если вопреки видимости — а на деле в соответствии с тайным правилом видимостей — все подчинено соблазну? Момент соблазна — подвешенность соблазна — рискованность соблазна — случайность соблазна — бред соблазна — пауза соблазна.

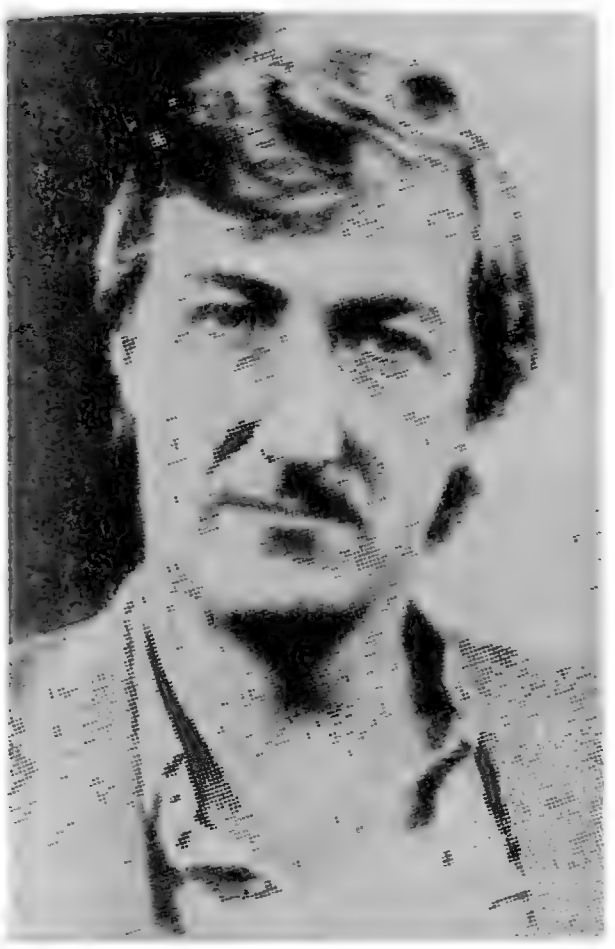
Производство только накапливает и никогда не отклоняется от своей цели. Все искушающие иллюзии оно подменяет одной-единственной: иллюзией себя самого, обратившейся в принцип реальности. Производство — как и революция — кладет конец эпидемии видимостей. Но соблазн неизбежен. От него не ускользает ни один живой человек — не ускользают даже мертвые, благодаря своим именам и памяти о себе. Они мертвы лишь тогда, когда уже никакой звук, никакое эхо не доносится к ним из этого мира, чтобы соблазнить их, когда уже никакой ритуал не бросает им вызов, заставляющий их существовать.

Для нас мертвы те, кто не может больше производить. В действительности же мертвы только те, кто не желает больше ни соблазнять, ни быть соблазняемым.

Но даже ими, вопреки всему, завладевает соблазн, как завладевает он всем производством, чтобы в конечном счете полностью его истребить.

Ведь пустота, отсутствие, выедаемое все равно в каком месте огненным выхлопом любого знака, бессмысленность, составляющая внезапно нападающие чары соблазна,— пустота эта есть также и то, что поджидает производство по завершении его усилий, только чары тут уже развеиваются. Все возвращается в эту пустоту, включая наши слова и жесты, но некоторым, прежде чем исчезнуть, достало времени на то, чтобы в ожидании и предвосхищении конца проникнуться такой соблазнительной прелестью, какую другим не узнать никогда. Секрет соблазна — в этом призывании и отзывании другого жестами, чья медлительность, подвешенность столь же поэтичны, как замедленная съемка падения или взрыва, потому что тогда нечто, прежде чем свершиться, имеет время на то, чтобы дать вам почувствовать свое отсутствие, свою нехватку, и именно в этом — совершенство «желания», если таковое вообще существует.





ДЖУЛИАН БАРНС

История мира в 10½ главах

РОМАН

Перевод с английского В. БАБКОВА

1. Безбилетник

Бегемотов посадили в трюм вместе с носорогами, гиппопотамами и слонами. Это была хорошая идея — использовать их в качестве балласта, но можете себе представить, какая там стояла вонь. А убирать за ними было некому. Мужчины едва успевали кормить, а их надушенные женщины, от которых разило бы не меньше, чем от нас, не будь этих шлейфов искусственных ароматов, до подобной грязной работы не снисходили. Поэтому если кому и случалось убирать, так только нам самим. Каждые два-три месяца с помощью лебедки подымали тяжелую крышку кормового люка и запускали туда птиц-санитаров. Правда, первую волну смрада приходилось пережидать (даже крутить лебедку редко кто соглашался по доброй воле); затем несколько самых непривередливых птиц с минуту осторожно порхали вокруг люка, а потом уж ныряли внутрь. Не могу припомнить, как они все назывались — между прочим, одной из тех пар больше не существует,— но вы знаете, о ком речь. Вы ведь видели гиппопотамов с разинутой пастью и смышленых пташек, выклевывающих то, что застряло у них между зубами, словно помешанные на гигиене дантисты? Вообразите себе эту картину, но в увеличенном масштабе и на фоне навозных куч. Я не из брезгливых, но даже меня бросало в дрожь при виде того, как целой компании подслеповатых чудищ наводят красоту в выгребной яме.

На Ковчеге соблюдалась строгая дисциплина — об этом стоит сказать в первую очередь. Он не был похож на те пестрые деревянные игрушки, которыми вы забавлялись в детстве: все счастливые парочки довольно глазеют за борт из своих уютных чистеньких стойл. Не воображайте себе что-то вроде круиза по Средиземному морю, где мы от нечего делать поигрывали в рулетку да знай переодевались к обеду; фраки на Ковчеге носили только пингвины. Помните: это было долгое и опасное Путешествие — опасное, хотя кое-какие правила и установили заранее. Помните также, что у нас имелись представители всего животного мира: не посадите же вы гепарда на расстоянии прыжка от антилопы? Обеспечить известную безопасность было необходимо, и мы смирились с надежными замка́ми, проверками стойл, ежевечерним комендантским часом. Но, как это ни грустно, были еще и наказания, и изоляторы. У кого-то из нашей верхушки появился пунктик, сбор информации; и некоторые пассажиры согласились работать осведомителями. Я должен с прискорбием сообщить, что временами доносы властям были вполне обычным явлением. Нет, наш Ковчег отнюдь не походил на заповедник; иногда он скорее напоминал плавучую тюрьму.

Конечно, я знаю, что те события описывают по-разному. У вашего вида имеется часто повторяемая версия, которая до сих пор привлекает даже скептиков; у животных есть ряд своих сентиментальных мифов. Но им-то ни к чему искать разоблачений, верно? Они-то ведь выглядят прямо героями, они ведь гордятся тем, что каждый из них может проследить свою генеалогию вплоть до самого Ковчега. Они были избранными, они все перенесли, они уцелели; для них довольно естественно сглаживать неловкости, демонстрировать удобную забывчивость. Но меня в этом смысле ничто не сдерживает. Я не был избранным. Собственно говоря, вместе с несколькими другими видами я никак не мог очутиться в числе избранных. Я был, так сказать, безбилетником; я тоже уцелел; я ускользнул оттуда (покинуть корабль было не легче, чем попасть на него); и я преуспел в жизни. Я стою немного особняком от остальной звериной братии, где еще сохраняются ностальгические союзы: есть даже Клуб Морских Волков, объединяющий виды, которые ни разу не страдали от качки. Когда я вспоминаю наше Путешествие, я не чувствую себя обязанным никому; благодарность не застит мне глаза. Моему отчету вы можете верить.

Думаю, вы уже догадались, что «Ковчег» был больше чем одним кораблем? Это название мы дали целой флотилии (ведь нельзя же рассчитывать втиснуть весь животный мир на единственное судно длиною в каких-нибудь триста локтей). Дождь шел сорок дней и сорок ночей? Да конечно же, нет — это было бы не дольше самого обыкновенного английского лета. По моей прикидке, дождь шел года полтора. А вода стояла на земле сто пятьдесят дней? Подымай выше — лет до четырех. И так далее. Представители вашего вида никогда не умели правильно оценивать сроки. Я приписываю это вашей непонятной одержимости числами, кратными семи.

Вначале Ковчег состоял из восьми судов: галеона Ноя, который тащил на буксире судно с припасами, четырех кораблей поменьше — их капитанами были Ноевы сыновья — и шедшего на безопасном расстоянии (поскольку члены этой семьи очень боялись заразы) санитарного корабля. Восьмое судно, сопровождавшее нас недолго, имело загадочное назначение; этот небольшой ходкий шлюп, вся корма которого была изукрашена филигранной резьбой по сандаловому дереву, угодливо держался поближе к ковчегу Хама. Очутившись с его подветренной стороны, вы могли уловить странные дразнящие ароматы; по ночам, когда утихала буря, оттуда временами доносились разухабистая музыка и визгливый смех — звуки для нас неожиданные, поскольку мы полагали, что все жены всех сыновей Ноя сидят в тепле и уюте на своих собственных кораблях. Однако это надушенное, развеселое суденышко оказалось непрочным: его утопил внезапный шквал, и Хам несколько недель после этого ходил задумчивый.

Следующим потерялся корабль с припасами — в беззвездную ночь, когда ветер стих и вахтенные дремали на посту. Утром за флагманским галеоном Ноя болтался лишь обрывок толстого троса, перегрызенного каким-то существом, обладающим острыми резцами и умением лазить по мокрым веревкам. Должен заметить, что взаимных обвинений хватало, да и то сказать — по-моему, это был первый случай исчезновения вида за бортом корабля. Вскоре потерялась и наша плавучая больница. Поговаривали, будто бы два этих события связаны, будто Хамова жена, которая была чересчур раздражительна, решила отомстить животным — очевидно, за то, что вместе с грузовым кораблем пропала коллекция вышитых одеял, труд всей ее жизни. Но наверняка так ничего и не выяснили.

Однако гораздо более серьезным несчастьем была потеря Варади. Вы знаете про Хама и Сима и про того, чье имя начинается на И; но о Варади вы даже не слыхали, правда? Это был самый младший и самый сильный из сыновей Ноя, что, разумеется, не прибавляло ему популярности в семье. А еще у него было чувство юмора — по крайней мере, он

часто смеялся, а ведь у представителей вашего вида это обычно соответствует умению понимать шутку. Да, Варади был всегда весел. Видели, как он прогуливался по шканцам с попугаями на обоих плечах; он похлопывал четвероногих по крестцу, на что они отвечали одобрительным ворчанием; и ходила молва, будто на его ковчеге царят гораздо менее суровые законы. И вот вам, пожалуйста: как-то поутру мы проснулись и обнаружили, что корабль Варади исчез за горизонтом вместе с одной пятой всего животного мира. Вам, думаю, понравился бы симург с серебристой головкой и павлиньим хвостом; но птица, которая гнездилась на Древе Познания, была так же беззащитна среди морских волн, как и обыкновенная пятнистая полевка. Старшие братья Варади говорили, что он не смог удержать курс; ругали его за панибратство с животными; намекали даже, что Бог покарал его за какую-то давнюю провинность — он якобы совершил нечто дурное, будучи еще восьмидесятипятилетним ребенком. Но чем бы ни объяснялось исчезновение Варади, это была серьезная потеря для вашего вида. Его гены очень вам пригодились бы.

Для нас вся эта история с Путешествием началась, когда нам велено было явиться в назначенное место к назначенному сроку. Тогда мы и услышали о предстоящем впервые. Политическую подоплеку дела держали от нас в секрете. То, что Бог разгневался на свои создания, было для нас новостью; мы попались в ловушку, как кур во щи. *Нас-то* винить было не за что (вы ведь не принимаете всерьез басню насчет змея? это была Адамова грязная пропаганда), однако же и нам досталось полной мерой: каждый из видов был целиком стерт с лица земли, за исключением единственной брачной пары, обреченной на скитания по морям под началом старого мошенника и пропойцы, которому покатила уже седьмая сотня.

Итак, нам дали приказ; но правду, обратите внимание, от нас утаили. Вы что же, воображаете, что поблизости от Ноева дворца (о да, он был не из бедных, этот Ной!) обитали подходящие представители всей земной фауны? Ну-ну. Нет — им пришлось кинуть клич, а потом выбирать лучших. Поскольку они не хотели вызывать всеобщую панику, было объявлено соревнование парочек — нечто вроде конкурса красоты плюс проверки на сообразительность при наличии трогательного союза сердец,— а претенденты в назначенный месяц должны были собраться у Ноевых ворот. Представляете, сколько возникло проблем? Для начала, не все любили соревнования, так что удача, возможно, ожидала самых нахрапистых. Звери, у которых не хватало смекалки на то, чтобы читать между строк, решили, что им просто ни к чему выигрывать право на роскошный круиз для двоих, все расходы оплачены, благодарим за участие. Не учли Ной с семейкой и того, что животные некоторых видов тогда находились в спячке; не говоря уж об очевидном обстоятельстве, что одни звери передвигаются медленнее других. Существовали, к примеру, такие особенно неторопливые ленивцы — чу́дные создания, клянусь вам,— которые еще не успели спуститься к подножию дерева, как уже были сметены гигантской волной Божьего гнева. Как это, по-вашему, называется — естественный отбор? Я бы назвал это профессиональной некомпетентностью.

Приготовления, скажу честно, шли из рук вон плохо. Ной запоздал с постройкой ковчегов (когда рабочие обнаружили, что для них самих каюты не предусмотрены, это им прыти не прибавило); в результате отбору животных было уделено недостаточное внимание. Первую же более или менее сносно выглядевшую пару встречали кивком — это стало системой; экзамен ограничивался лишь самой поверхностной проверкой родословной. И потом, они говорили, что возьмут по паре от каждого вида,— говорить-то говорили, но когда дошло до дела... Компания кое-каких существ оказалась попросту нежелательной. Так случилось и с нами; именно это вынудило нас пробраться на судно тайком. Были также отклонены заявки многих животных, которые имели основания

считаться представителями особого вида. Нет, объясняли им, у нас уже есть двое ваших. Мало ли что у вас несколько лишних колец на хвосте или полоска пушистой шерсти вдоль хребта! *Вы* у нас уже есть. Извините.

Были прекрасные животные, явившиеся в одиночку и потому не принятые; были родители, которые не захотели бросить потомство и предпочли погибнуть вместе с ним; были медицинские осмотры, зачастую весьма бесцеремонные; и все ночи напролет тьма за оградой Ноева дворца оглашалась стенаниями отвергнутых.

Можете вы себе представить, что творилось, когда правда о целях этого загадочного конкурса наконец просочилась наружу? Разумеется, хватало и ревности, и некрасивых поступков. Некоторые из самых благородных животных просто ушли в лес — они не стали играть по оскорбительным правилам, навязанным им Ноем и Господом Богом, и предпочли смерть в волнах. Много резких и завистливых слов было сказано о рыбах; у амфибий явно прибавилось самодовольства; птицы учились как можно дольше держаться в воздухе. Кое-какие разновидности обезьян были замечены за строительством своих собственных грубых плотов. Однажды в Лагере Избранных вспыхнула таинственная эпидемия пищевых отравлений, после чего для отдельных, наименее выносливых видов пришлось заново начинать процесс отбора.

Иногда Ной и его сыновья буквально впадали в истерику. Это не очень-то согласуется с вашей версией? Вам ведь всегда внушали, что Ной был мудр, праведен и богобоязнен, а я отрекомендовал его истеричным мошенником и пропойцей? Что ж, две эти точки зрения нельзя назвать абсолютно несовместимыми. Вот вам подсказка: в Ное было мало хорошего, *но поглядели бы вы на остальных.* Нас отнюдь не удивило, что Бог решил отмыть себе репутацию,— странно только, что он вообще не изничтожил весь этот вид, создание которого делает так мало чести его творцу.

Временами Ной балансировал на грани срыва. Ковчег строился медленно, рабочих надо было торопить, сотни напуганных зверей столпились вблизи его хором, и никто не знал, когда же пойдет дождь. Бог не пожелал даже сообщить Ною сроки. Каждое утро мы смотрели на облака: пригонит ли тучи, как обычно, западный ветер, или Бог нашлет свой ливень особого назначения с какой-нибудь неожиданной стороны? Погода понемногу портилась, и вместе с тем росла вероятность мятежа. Некоторые из отказников хотели захватить Ковчег и спастись сами, другие хотели вовсе разрушить его. Животные, склонные к умозрению, стали предлагать иные методы отбора, основанные на учете размеров претендентов и их полезности, а не только на числе; однако Ной высокомерно запретил все обсуждения. Это был человек со своими собственными маленькими теориями, и он не собирался их пересматривать.

Когда флотилия была уже почти готова к отплытию, ее приходилось охранять круглые сутки. Многие пытались пробраться туда тайком. Однажды поймали рабочего, который выдалбливал себе келейку в нижних тимберсах грузового корабля. Бывали весьма печальные зрелища: лосенок, повешенный за бортом Симова ковчега; птицы, пикирующие на защитную сетку; и так далее. Пойманных безбилетников казнили на месте; но даже этими публичными экзекуциями не удавалось запугать отчаянных. Я горжусь тем, что наш вид проник на корабль без кровопролития и не прибегая к помощи взяток; но мы-то не так заметны, как тот же лосенок. Как нам это удалось? У нас был прозорливый родитель. В то время как Ной с сыновьями грубо обыскивали подымающихся по сходням животных, бесцеремонно прочесывая руками подозрительно длинную шерсть и впервые в истории проверяя укромные места пассажиров (правила гигиены при этом, конечно, не соблюдались), мы уже были надежно скрыты от их взора и спокойно лежали в своих каютках. Один из корабельных плотников устроил нас на судне, едва ли догадываясь об этом.

Два дня ветер дул со всех сторон сразу; затем пошел дождь. Разверз-

лись хляби небесные, дабы отмыть от скверны наш грешный мир. Огромные, с голубиное яйцо капли расшибались о палубу. Счастливчики, представители видов, покинули Лагерь Избранных и были разведены по своим кораблям; это смахивало на принудительное массовое бракосочетание. Потом люки задраили, и все мы начали привыкать к темноте, тесноте и духоте. Вначале это не слишком нас беспокоило — уж больно мы радовались спасению. Дождь лил и лил, иногда сменяясь градом, барабанящим по доскам у нас над головой. Временами снаружи доносились раскаты грома и почти непрерывно — жалобные вопли покинутых животных. Постепенно крики становились реже; мы поняли, что вода прибывает.

Наконец настал день, которого мы так ждали. Сначала нам показалось, что последние уцелевшие толстокожие предприняли отчаянную попытку с боем прорваться на Ковчег или хотя бы перевернуть его. Но нет: просто наше судно дало крен, снимаясь со стапелей. Этот момент, я считаю, был наивысшей точкой всего Путешествия; изъявления братских чувств и благодарности в адрес человека лились рекой, как вино за Ноевым столом. Затем же... но, возможно, главная беда как раз в том, что звери проявили наивность, доверясь Ною и его Богу.

Основания для беспокойства возникли еще до того, как поднялись воды. Я знаю, что ваш брат смотрит на наше царство сверху вниз, порицает нас за жестокость, вероломство и каннибализм (хотя вы должны были бы признать, что это скорее сближает нас с вами, чем наоборот). Но мы всегда, с самого начала, ощущали себя равными. Да, конечно, мы ели друг друга и все такое прочее; более слабые животные прекрасно знали, чего следует ожидать, если переходишь дорогу кому-то, кто больше тебя и вдобавок голоден. Но мы считали это естественным порядком вещей. Тот факт, что один зверь способен убить другого, отнюдь не возносил первого над вторым; он делал его лишь более опасным. Может быть, вам трудно это понять, но между нами существовало взаимное уважение. Поедать других не значило презирать их; а те, кто попадал другому на обед (или их родичи), вовсе не думали преисполняться благоговейного восхищения перед едоками.

Ной — или Ноев Бог — все это изменил. У вас было Грехопадение; было оно и у нас. Но нас к нему подтолкнули. Впервые мы заметили это, когда шел отбор в Лагерь Избранных. То, что нам сказали насчет каждой твари по паре, было правдой (да вы и сами понимаете, что какой-то резон тут есть), но ведь этим дело не ограничилось. В Лагере мы стали замечать, что от некоторых видов оставлено не по двое, а по семеро (снова эта одержимость числом семь). Поначалу мы решили, что пятерых лишних берут про запас, на случай, если заболеет основная пара. Но потом все стало постепенно проясняться. Ной — или Ноев Бог — постановил, что есть два типа животных: чистые и нечистые. Чистых брали на Ковчег по семеро; нечистых по двое.

Вполне понятно, что, узнав о такой разделительной политике, звери дружно вознегодовали. Действительно, во-первых, сами чистые животные были весьма смущены; они отдавали себе отчет в том, что мало чем заслужили это особое покровительство. Хотя именоваться «чистыми», как они вскоре обнаружили, было сомнительным плюсом. Быть «чистым» значило быть годным в пищу. Семерку встречали на корабле с распростертыми объятиями, но пятеро предназначались для камбуза. Им оказали оригинальную честь. Правда, условия, в которых они содержались до дня их ритуального убиения, были наилучшими из возможных.

Я-то иногда видел в этой ситуации и забавную сторону и мог позволить себе посмеяться — таково преимущество отверженного. Но среди тех, кто относился к себе серьезно, возникла уйма конфликтов на почве ревности и зависти. Свиньи, будучи от природы нечестолюбивыми, расстроились не слишком; но некоторые другие, отнесенные к нечистым, восприняли это как личное оскорбление. И надо сказать, что такая

система — по крайней мере, в интерпретации Ноя — отнюдь не выглядела сколько-нибудь разумной. Что особенного в парнокопытных жвачных животных, спрашивали вы себя? Почему верблюда и кролика следует относить к зверям второго сорта? Почему рыб, имеющих чешую, надо отделять от рыб без чешуи? Лебедь, пеликан, цапля, удод — разве это не прекраснейшие виды? Однако их не наградили отличительным знаком чистоты. Зачем унижать мышей и ящериц — у которых, как известно, и так достаточно проблем — и тем самым еще больше подрывать их веру в себя? Если бы только нам удалось увидеть во всем этом хоть крупицу смысла; если бы только Ной объяснил все это потолковее. Но он умел лишь слепо подчиняться. Ной, как вам говорили много раз, был очень богобоязненный человек; и, пожалуй, принимая в расчет характер Бога, вы не могли бы избрать более безопасную линию поведения. Но если бы вы слышали плач устрицы, серьезные и недоуменные жалобы омара, если бы видели, как горько сетует на свой позор аист, вы поняли бы, что наши взаимоотношения уже никогда не будут прежними.

Была и еще одна маленькая трудность. Представителей нашего вида, пробравшихся на борт контрабандой, благодаря несчастному совпадению оказалось именно семеро. Мы были не только безбилетниками (которые кое-кого раздражали) и не только нечистыми (которых кое-кто уже начал презирать); мы еще и оскорбили эти чистые и находящиеся на законном положении виды, уподобясь им в их священном числе. Скоро мы решили не говорить, сколько нас на самом деле, и никогда не появлялись в одном месте все разом. Мы выяснили, где мы на корабле желанные гости, а где нам лучше не показываться.

Так что, как видите, наш конвой с самого начала был несчастливым. Одни из нас тосковали по тем, кого пришлось бросить на погибель; других не устраивал их статус; третьи, которым был великодушно пожалован титул чистых, обоснованно опасались угодить в печь. А надо всем этим стоял Ной со своей семейкой.

Я не хочу задеть вас, однако Ной не был хорошим человеком. Разумеется, я понимаю, как неприятно вам это сообщение, ведь все вы его потомки; но факт есть факт. Он был чудовищем — самодовольный патриарх, который полдня раболепствовал перед своим Богом, а остальные полдня отыгрывался на нас. У него был посох из дерева гофер, и им он... в общем, полосы у некоторых зверей остались и по сю пору. Поразительно, что может сделать страх. Мне рассказывали, что у представителей вашего вида от сильного шока волосы могут побелеть в считанные часы; на Ковчеге страх творил еще и не такое. Была, например, пара ящериц, которые, едва заслышав шаги спускающегося по трапу Ноя, натурально меняли цвет. Я сам это видел: кожа их теряла естественную окраску и сливалась по цвету с окружающим фоном. Ной медлил у их клетки, на мгновение удивляясь тому, что она пуста, затем шел дальше; и когда стук сандалий из дерева гофер затихал, испуганные ящерицы начинали постепенно обретать свой нормальный вид. В послековчеговые годы эта уловка, очевидно, им пригодилась; но начиналось все с хронического ужаса перед «Адмиралом».

С северными оленями дело обстояло посложнее. Они всегда были пугливы, но это был не просто страх перед Ноем, тут крылось нечто более глубокое. Вы ведь знаете, что кое-кто из нас, животных, обладает даром предвидения? Даже *вы* и то это заметили, понаблюдав за нашими повадками много тысяч лет. «Смотрите-ка,— говорите вы,— коровы опускаются на траву, значит, дождик пойдет». Конечно, все гораздо тоньше, чем вы способны себе представить, и главное тут, уж разумеется, не в том, чтобы служить дешевым флюгером для человеческих особей. Во всяком случае, северных оленей тревожило нечто большее, чем сам Ной, нечто иное, чем морские бури; нечто... отдаленное. Они покрывались по́том в своих стойлах, они негромко, боязливо ржали в периоды томительной жары; они лягали перегородки из дерева гофер в отсутствие видимой опасности — да и после не происходило ничего, что могло бы

оправдать такое поведение,— причем беспокоились и тогда, когда Ной бывал настроен относительно мирно. Но северные олени что-то чувствовали. И это было что-то, в ту пору нам не доступное. Они словно говорили: по-вашему, мы переживаем сейчас самое худшее? Не надейтесь. Однако даже олени не могли разобраться толком, что их пугает. Это было что-то смутное, грозное... отдаленное.

Прочих же из нас, что вполне понятно, гораздо больше волновало сиюминутное. С больными животными, например, всегда поступали крайне безжалостно. Санитарного корабля нет, постоянно напоминали нам власти; поэтому не должно быть ни болезней, ни симуляции. Такой подход едва ли назовешь справедливым или реалистичным. Но мы прекрасно знали: о своем недомогании надо помалкивать. Только заикнись о том, что у тебя легкая чесотка, и не успеешь высунуть для проверки язык, как очутишься за бортом. А что потом случится с вашей лучшей половиной, догадываетесь? Кому нужны пятьдесят процентов от брачной пары? Ной не страдал излишней сентиментальностью и не собирался уговаривать безутешную вдовицу влачить одинокое существование вплоть до естественного конца.

Теперь ответьте на такой вопрос: чем, по-вашему, Ной и его семейка питались во время плавания? Кой черт, да *нами* же! Ведь если вы поглядите на нынешний животный мир, то поймете, что он далеко не полон, правда? Много зверей более или менее похожих, потом — брешь, а потом опять более или менее похожие? Я знаю, что вы придумали в истолкование свою теорию — про связь с окружающей средой и наследуемые навыки, что-то в этом духе,— однако загадочные пробелы в спектре творения объясняются гораздо проще. Одна пятая земных видов утонула вместе с Варади; а что до прочих отсутствующих, так их съели Ной и компания. Да-да. Была, например, пара арктических ржанок — очень славные птички. Когда они появились на судне, оперение у них было голубовато-коричневое в крапинку. Через несколько месяцев они начали линять. Это было вполне нормально. Летние перышки выпадали, а под ними уже проглядывали зимние, чистейшего белого цвета. Конечно, мы находились не в арктических широтах, так что эта подготовка к зиме была совсем необязательна; но природе ведь не прикажешь, верно? И Ною тоже. Едва заметив белеющих ржанок, он решил, что они занедужили, и, обуреваемый трогательной заботой о здоровье других пассажиров, сварил несчастных птиц, слегка приправив их водорослями. Он был невеждой во многих отношениях и, уж конечно, не был орнитологом. Мы сочинили петицию и объяснили ему кое-что насчет линьки и соответствующих изменений окраски. Постепенно он, кажется, это усвоил. Но арктических ржанок было уже не вернуть.

Понятно, этим дело не кончилось. С точки зрения Ноя и его семьи, мы представляли собой просто-напросто плавучий кафетерий. На Ковчеге не разбирались, кто чистый, кто нечистый; сначала обед, потом обедня, такое было правило. Вы и вообразить себе не можете, какой богатейшей фауны Ной вас лишил. Или, наоборот, можете, потому что как раз это вы и делаете: воображаете. Все эти мифические животные, которые грезились вашим поэтам в былые времена — ведь вы полагаете, что они либо были выдуманы сознательно, либо родились из описаний зверей, мельком увиденных каким-нибудь паникером после чересчур плотного охотничьего завтрака? Боюсь, что объяснение проще: Ной и его присные умяли их за милую душу. В начале Путешествия, как я уже сообщал, у нас в трюме была парочка бегемотов. Сам я их толком не разглядывал, но мне говорили, что звери были впечатляющие. Однако Хам, Сим или тот, третий, с именем на И, очевидно, заявили на семейном совете, что раз у нас есть слоны и гиппопотамы, то без бегемотов можно и обойтись; и вдобавок — наряду с принципиальными сюда примешались и практические соображения — двух таких больших туш должно хватить Ноевой семье не на один месяц.

Конечно, все вышло не так. Недели через три начались жалобы, что

бегемота подают каждый вечер, и тогда — просто ради разнообразия — в жертву принесли новые виды. Время от времени бывали виноватые кивки на необходимость экономии, но я вам твердо скажу: к концу плавания оставалось еще много соленой бегемотины.

Саламандр постигла та же участь. Я имею в виду настоящих саламандр, а не тех малоинтересных животных, которых вы и поныне зовете этим именем; наши саламандры жили в огне. Бесспорно, это были существа уникальные; однако Хам, или Сим, или тот, другой, уверяли, что держать их на деревянном корабле слишком опасно, и потому от саламандр вместе с двумя языками пламени, служившими им жилищем, решено было избавиться. Затем погибли и карбункулы, и все из-за дурацкой байки, которую слышала жена Хама: будто бы у них в голове спрятан драгоценный камень. Она всегда была падкой на украшения, эта Хамова жена. Итак, они взяли одного из карбункулов и отрезали ему голову; раскроили череп и ничего не нашли. Может, камень бывает только у самок, предположила Хамова жена. Тогда вскрыли и второй череп, с тем же отрицательным результатом.

Я хочу поделиться с вами одной идеей, довольно спорной; но я чувствую, что все-таки должен ее высказать. Иногда мы подозревали за всеми этими убийствами какую-то систему. Очевидно, уничтожалось больше животных, чем было необходимо для пропитания,— гораздо больше. И в то же время с некоторых из них в смысле еды почти нечего было взять. Более того, чайки порой сообщали нам, что видели, как за корму летят чуть ли не целые тушки. Мы начали подозревать, что кое-кто из животных просто-напросто не нравится Ною и его родне. Василиски, например, отправились за борт очень рано. Ну да, они были не слишком-то симпатичны, но мой долг сообщить вам, что под их чешуей скрывалось совсем немного мяса и что в плавании они определенно ничем не болели.

Уже потом, размышляя о тех событиях, мы стали различать некий план, и реализация этого плана началась с василисков. Вы их, конечно, никогда не видели. Но если я опишу их как четвероногих петухов со змеиным хвостом, скажу, что они обладали очень неприятным взглядом и откладывали уродливые яйца, которые потом высиживали жабы, вы согласитесь, что это были не самые привлекательные существа на Ковчеге. Но они имели те же права, что и все прочие, разве не так? После василисков наступила очередь грифонов; после грифонов — сфинксов; после сфинксов — гиппогрифов. Вы-то, наверное, считали, что все это плоды чьей-то буйной фантазии? Ничуть. А заметили вы, что у них было общего? Они все были гибридами. Мы думаем, что это Сим — хотя, вполне возможно, и сам Ной — заботился таким образом о чистоте видов. Полная глупость, конечно,— как мы поговаривали между собой, стоит только посмотреть на Ноя и его жену или на трех его сыновей с тремя женами, и сразу поймешь, какая генетическая неразбериха будет царить среди представителей человеческой расы. Так с чего же они вдруг невзлюбили гибридов?

Однако самым печальным был случай с единорогом. Это угнетало нас в течение нескольких месяцев. Разумеется, ходили обычные грязные слухи — будто Хамова жена использует его рог в низменных целях; была и обычная посмертная кампания по очернению, проведенная властями,— якобы он пострадал из-за своего дурного характера,— но все это только подавляло нас еще больше. Неоспоримым же фактом было то, что Ной ему завидовал. Все мы уважали единорога, а старик не мог этого перенести. Ной — почему бы не сказать вам правду? — был злобен, вонюч, криводушен, завистлив и труслив. Он не был даже хорошим моряком: когда на море штормило, он уходил к себе в каюту, распластывался на лежанке из дерева гофер и покидал ее только затем, чтобы опорожнить желудок в тазик того же дерева; зловоние докатывалось до другого конца палубы. А единорог, в противоположность ему, был силен, честен, бесстрашен, всегда тщательно ухожен и не ведал даже

минутной дурноты. Как-то во время шторма Хамова жена потеряла равновесие и чуть не свалилась за борт. Единорог — в силу своей популярности он пользовался некоторой свободой передвижения, дарованной ему в результате сложных закулисных переговоров,— подскочил к ней и рогом пригвоздил к палубе ее длинный плащ. Славно же его отблагодарили за находчивость — однажды, в годовщину отплытия, он был подан к столу. Я клянусь в этом. Я лично разговаривал с ястребом-посыльным, который доставил еще теплый горшочек на Симов ковчег.

Конечно, вы можете мне не верить; но что сообщают ваши собственные предания? Возьмите историю о наготе Ноя — вспомнили? Это случилось уже после Высадки. Ной, как и следовало ожидать, был еще более доволен собой, чем прежде,— он спас человечество, он обеспечил процветание своей династии, Бог поставил с ним официальный завет,— и решил провести последние триста пятьдесят лет жизни, отдыхая от трудов праведных. Он основал на нижних склонах горы поселок (который вы называете Аргури) и коротал дни, изобретая для себя новые звания и титулы: Святой Рыцарь Бури, Великий Повелитель Шквалов и так далее. Ваше Священное Писание говорит, что он насадил у себя в усадьбе виноградник. Ха! Даже самому безыскусному уму понятен смысл этого нехитрого иносказания: он пил без просыху. Как-то вечером, после особенно тяжелого запоя, он разделся в спальне и тут же рухнул на пол — вполне обычное дело. Хаму с братьями случилось проходить мимо его «шатра» (это старое сентиментальное словечко из лексикона кочевников до сих пор используется для обозначения дворцов, где жили члены Ноева семейства). Они завернули туда проверить, не причинил ли себе их отец-пропойца какого-нибудь вреда. Хам вошел в спальню и... н-да, голый человек шестисот пятидесяти с лишком лет, валяющийся в пьяном оцепенении,— зрелище не из приятных. Хам поступил как почтительный сын: он попросил братьев прикрыть отца. В знак уважения — хотя этот обычай уже и тогда почти не практиковался — Сим и тот, с именем на И, вошли в опочивальню отца задом наперед и умудрились уложить его в постель, даже мельком не взглянув на те органы размножения, которые по какой-то таинственной причине являются для представителей вашего вида источником стыда. Благочестивые и похвальные действия с начала до конца, решили бы вы. И как же повел себя поутру Ной, мучимый жестоким похмельем, обычным следствием злоупотребления молодым вином? Он проклял обнаружившего его сына и объявил, что все дети Хама должны стать слугами двух его братьев, вошедших к нему в комнату вперед задницей. По-вашему, это разумно? Догадываюсь, что вы ответите: пьянство, мол, пагубно отразилось на его умственных способностях и надо пожалеть его, а не осуждать. Может, и так. Но на это я вам замечу: уж *мы-то* хорошо изучили его на Ковчеге.

Он был крупный человек, этот Ной,— размером с гориллу, хотя тут сходство кончается. Капитан флотилии — посредине Путешествия он произвел себя в Адмиралы — был равно неуклюж и нечистоплотен. Он даже не умел отращивать собственные волосы, разве что вокруг лица,— все остальное ему приходилось укрывать шкурами других животных. Поставьте его рядом с самцом гориллы, и вы сразу увидите, кто из них более высоко организован — а именно грациозен, превосходит другого силой и наделен инстинктом, не позволяющим ему вконец обовшиветь. На Ковчеге мы постоянно бились над загадкой, почему Бог избрал своим протеже человека, обойдя более достойных кандидатов. Случись иначе, животные прочих видов вели бы себя гораздо лучше. Если бы он остановил выбор на горилле, проявлений непокорства было бы меньше в несколько раз,— так что, возможно, не возникло бы нужды и в самом Потопе.

А его запах... Одно дело влажная шерсть у животных, гордящихся своей чистоплотностью, и совсем иное — сырые, просоленные, нерасчесанные лохмотья, свисающие с шеи неопрятного существа, которое к тому же отняло их у других. Старый Ной не подсыхал даже в тихую погоду (я говорю со слов птиц, а птицам доверять можно). Он всюду

носил с собой сырость и бурю, словно память о своих прошлых жестокостях или предвестие грядущих штормов.

Кроме риска угодить на стол, нас подстерегали во время Путешествия и другие опасности. Возьмите, например, наш вид. Попав на корабль и обретя надежное убежище, мы преисполнились самодовольства. Вы же понимаете, в те дни было еще далеко до увесистого баллончика, наполненного спиртовым раствором карболовой кислоты, далеко до креозота, и металлонафтенатов, и пентахлорфенола, и бензола, и парадихлорбензола, и ортодихлорбензола. Мы еще не вошли в семейство жуков Cleridae, или паукообразных Pediculoides, или паразитных ос Braconidae и прекрасно себя чувствовали. И тем не менее у нас был враг, и враг терпеливый — время. Что, если время вынудит нас претерпеть неизбежные превращения?

Впервые мы серьезно встревожились, когда увидели, что́ время и природа содеяли с нашими родичами xestobium rufo-villosum. Это вызвало настоящую панику. Близился конец Путешествия; стояла тихая погода, и мы коротали дни, ожидая Божьей милости. Посреди ночи, когда Ковчег заштилел и все кругом объяла тишина,— тишина такая редкостная и глубокая, что звери замерли, прислушиваясь, и тем самым сделали ее еще более полной,— мы, к своему изумлению, услыхали тиканье, которое издавали xestobium rufo-villosum. Четыре или пять резких щелчков, потом пауза, потом приглушенный ответ. Мы, скромные, осторожные, малопопулярные, но трезвомыслящие anobium domesticum, не могли поверить своим ушам. То, что яичко становится личинкой, личинка куколкой, а куколка взрослым насекомым, есть непреложный закон нашего мира; за окукливание винить нельзя. Но то, что, став взрослыми, наши родичи выбрали этот момент, именно этот момент, чтобы заявить о своих любовных намерениях, казалось почти невероятным. Мы находимся в море, нас окружают опасности, каждый день может стать роковым, а xestobium rufo-villosum не могут думать ни о чем, кроме секса. Возможно, это была невротическая реакция на страх вымирания или что-нибудь в этом духе. И все же...

В то время как наши безмозглые сородичи, охваченные эротическим пылом, тщетно пытались прогрызть стены своих убежищ, один из сыновей Ноя пришел поглядеть, что там за шум. На наше счастье, отпрыски «Адмирала» весьма слабо разбирались в животном мире, вверенном их попечению, и этот принял регулярные щелчки за потрескивание брусьев, из которых был построен корабль. Вскоре опять поднялся ветер, и xestobium rufo-villosum получили возможность спокойно продолжать свои излияния. Но этот случай побудил нас стать более осторожными. Anobium domesticum единогласно приняли решение не окукливаться до дня Высадки.

Надо сказать, что Ной был плохим моряком и в дождь, и в вёдро. Его избрали за набожность, а не за навигационные таланты. Во время шторма от него было мало проку, да и в ясную погоду немногим больше. Как я могу об этом судить? Тут я снова полагаюсь на птиц — на птиц, которые способны проводить в полете по нескольку недель кряду, на птиц, которые находят путь с одного конца планеты до другого благодаря столь совершенной навигационной системе, что ваши не идут с ней ни в какое сравнение. Так вот, по словам *птиц,* Ной абсолютно не соображал, что делает,— он умел только бахвалиться да молиться. А ведь задача его была не так уж сложна, верно? Во время бури ему следовало беречь флотилию, уводя ее подальше от самых свирепых шквалов; а в тихую погоду он должен был следить, чтобы нас не отнесло слишком далеко от намеченного курса, иначе мы рисковали высадиться где-нибудь в непригодной для жизни Сахаре. Поставить Ною в заслугу можно разве лишь то, что мы благополучно перенесли все штормы (хотя ему не надо было принимать в расчет рифы и линию побережья, что упрощало маневры), и то, что по окончании Потопа наш Ковчег не оказался посреди какого-нибудь огромного океана. Случись такое, и наше плавание затянулось бы Бог весть насколько.

Конечно, птицы предлагали Ною воспользоваться их умением; но для этого он был слишком горд. Он поручал им вести простую разведку — искать водовороты и смерчи — и игнорировал их уникальные способности. Еще он послал часть птиц на смерть, заставив их вылететь в страшную непогоду, от которой у них не было защиты. Когда Ной в девятибалльный шторм отправил на выяснение обстановки певчего гуся (эта птица действительно раздражала своим криком, особенно если вы пытались уснуть), качурка малая вызвалась заменить его. Но ее предложение было отвергнуто — и певчему гусю пришел конец.

Ну да, разумеется, были у Ноя и свои достоинства. Он умел выжить, и не только в условиях Путешествия. К тому же он знал секрет долголетия — это знание его потомки постепенно утратили. Но хорошим человеком он не был. Слыхали вы о том, как он велел протащить осла под килем? Есть это в ваших архивах? Это случилось в Год Второй, когда царящие на корабле законы стали менее суровыми и избранным путешественникам разрешили общаться между собой. Так вот, Ной поймал осла, пытавшегося забраться на кобылу. Он поднял страшный шум, долго разорялся насчет того, что добра от такого союза не будет — между прочим, это подтверждает нашу догадку о его страхе перед скрещиваниями,— и сказал, что намерен проучить виновного, дабы другим было неповадно. Ослу связали копыта, перебросили за борт, протянули под корпусом корабля и подняли из мечущихся волн с другой стороны. Большинство животных приписали это просто-напросто ревности на сексуальной почве. Удивило нас то, как осел перенес экзекуцию. Они поразительно выносливые, эти зверюги. Когда его вытащили на палубу, он был в ужасном виде. Его бедные длинные уши походили на осклизлые водоросли, а хвост — на обрывок промокшей веревки, и несколько зверей, которые к тому времени уже не слишком восхищались Ноем, окружили его, и козел — по-моему, это был он — мягко толкнул его в бок, чтобы посмотреть, жив ли он еще, и осел открыл один глаз, обвел им их взволнованные морды и сказал: «Теперь-то я знаю, каково быть тюленем». Неплохо после такого испытания? Но, должен вам сказать, вы едва не лишились тогда еще одного вида.

Я полагаю, не следует винить во всем только Ноя. Он ведь брал пример со своего Бога, а тот был настоящим деспотом. Ной не мог сделать ничего, не выяснив сначала, как *Он* на это посмотрит. Теперь-то, если будешь вести себя в таком духе, далеко не уедешь. Все время оглядываться через плечо и искать одобрения — уж очень это по-детски, верно? А ведь Ноя никак нельзя было назвать мальчиком. Ему перевалило за шестьсот, если считать по-вашему. Шестьсот лет должны были породить некую гибкость ума, способность видеть обе стороны медали. Но ничего подобного. Вспомните хотя бы постройку Ковчега. Что сделал Ной? Он построил его из дерева гофер. Из дерева *гофер?* Даже Сим ему возражал, но нет — таково было его желание, и отступать он не собирался. То обстоятельство, что поблизости растет очень немного нужных деревьев, его не смущало. Ясно, что он всего лишь следовал инструкциям своего кумира; но это дела не меняет. Любой, кто знает толк в дереве — а я могу-таки считаться авторитетом в этом вопросе,— сказал бы Ною, что существует штук двадцать не менее, а то и более подходящих пород; к тому же, строить весь корабль из одного-единственного сорта древесины вообще глупо. Для разных частей корабля нужно выбирать материал соответственно их назначению; это известно всякому. Но таков уж был старый Ной — ни малейшей гибкости. Видел только одну сторону медали. Туалетные принадлежности из дерева гофер — ну не смешно ли?

Как я уже сказал, он действовал согласно приказу своего кумира. Что подумает Бог? Этот вопрос вечно был у него на устах. В такой преданности Богу было что-то зловещее; что-то омерзительное, если можно так выразиться. Зато он не мучился сомнениями; и потом, стать Божьим избранником, уцелеть при всеобщей гибели, знать, что твой род будет на земле единственным,— это хоть кому вскружит голову, правда? Что до

его сыновей — Хама, Сима и того, с именем на И,— им это явно не пошло на пользу. Расхаживали по палубе надутые, точно члены Королевской Семьи.

Знаете, я хочу до конца прояснить одну вещь. Насчет этой затеи с Ковчегом. Вы, возможно, до сих пор думаете, что Ной, при всех его недостатках, был в душе этаким хранителем старины, что он собрал животных, опасаясь их гибели, что он не мыслил себе дальнейшей жизни без какого-нибудь жирафа, что он сделал это ради *нас*. Отнюдь нет. Он взял нас с собой, потому что так повелел его кумир, но также и из собственных интересов достаточно циничного свойства. *После Потопа ему нужно было чем-то питаться*. За пять с половиной лет под водой большинство съедобных культур погибло; наводнение пошло на пользу только рису. Так что почти все мы знали, что Ной видит в нас лишь потенциальные обеды на двух, четырех или скольких там еще ногах. Не сейчас, так после; не мы, так наше потомство. Сами понимаете, это не слишком приятное чувство. На Ноевом ковчеге царила атмосфера параноии и страха. Кто окажется следующим? Сегодня не понравишься жене Хама, а завтра вечером из тебя сделают фрикасе. Такая неопределенность может вызвать самые странные поступки. Помню, как у борта поймали пару леммингов,— они сказали, что хотят покончить с этим раз и навсегда, они не могут вынести ожидания. Но Сим успел вовремя изловить их и запер в ящике из-под какого-то груза. С тех пор, борясь со скукой, он частенько отодвигал крышку и помахивал над ними большим ножом. Просто шутил. Но я был бы очень удивлен, если б это не травмировало целый вид.

И конечно же, после Потопа Бог узаконил Ноевы обеденные права. В награду за покорство Ною было дозволено до скончания века есть тех из нас, кого душа пожелает. Все это было частью некоего пакта или завета, который они состряпали на пару. Довольно бессмысленный контракт, по моему разумению. В конце концов, стерев с лица земли всех прочих, Бог должен был худо-бедно ладить с единственной оставшейся семьей, правда? Не мог же он сказать: вы, мол, тоже никуда не годитесь. Ной, вероятно, понимал, что загнал Бога в угол (ведь устроить Потоп, а затем быть вынужденным угробить свое Первое Семейство значило бы потерпеть полное поражение), и мы считаем, что он ел бы нас в любом случае, независимо от договоренности. В этом так называемом завете не было ничего, нас касающегося,— кроме нашего смертного приговора. О да, нам кинули одну крошечную подачку: Ною и компании не велено было есть стельных самок. Лазейка, которая породила бурную нездоровую активность на Ковчеге, севшем на мель, и привела также к любопытным психологическим побочным эффектам. Вы никогда не задумывались о происхождении истерической беременности?

Эта тема напомнила мне об истории с Хамовой женой. Нас уверяли, что все это только слухи, но вам, должно быть, уже понятно, отчего подобные слухи могли возникнуть. Хамова жена была не самой популярной фигурой на Ковчеге; и потерю санитарного корабля, как я уже упоминал, многие отнесли на ее счет. Она все еще оставалась довольно привлекательной — ко времени Потопа ей, кажется, исполнилось сто пятьдесят,— но вместе с тем была упряма и вспыльчива. Бедняга Хам всегда пасовал перед ней. Дальше я сообщаю вам голые факты. У Хама и его жены было двое детей — то есть двое детей мужского пола, ибо так у них принято было считать,— и звали их Хуш и Мицраим. Третий их сын, Фут, родился на Ковчеге, а четвертый, Ханаан,— после Высадки. У Ноя и его жены были темные волосы и карие глаза; у Хама и его жены тоже; да и Сим, и Варади, и тот, с именем на И, в этом смысле не отличались от прочих. И у всех детей Сима, Варади и того, с именем на И, были темные волосы и карие глаза. И у Хуша, и у Мицраима, и у Ханаана. Но Фут, родившийся на Ковчеге, был рыжий. Рыжий, с зелеными глазами. Таковы факты.

С этого мига мы покидаем гавань фактов и выходим в открытое

море слухов (так, между прочим, выражался Ной). Сам я на Хамовом ковчеге не был, поэтому лишь бесстрастно передаю известия, принесенные птицами. Помните случай с рабочим, который выдалбливал себе келейку на грузовом корабле? Так вот, рассказывали — хотя официального подтверждения мы не получили,— что при обследовании покоев Хамовой жены была обнаружена комнатка, о которой никто не знал. Она определенно отсутствовала в проекте. Хамова жена заявила, что для нее это полная неожиданность, однако, по слухам, там нашли ее нижнюю рубашку из шкуры яка — она висела на колышке,— а после придирчивого осмотра из щелей в полу были извлечены несколько рыжих волосков.

Вторая версия — я также передаю ее без комментариев — касается более деликатных материй, но поскольку она прямо затрагивает значительную часть представителей вашего вида, я вынужден продолжать. На борту Хамова ковчега была пара обезьян необыкновенной красоты и изящества. Они были, по всем отзывам, очень умны, удивительно опрятны и обладали такой богатой мимикой, что казалось, вот-вот заговорят. А еще у них была волнистая рыжая шерсть и зеленые глаза. Нет, этого вида больше не существует; они не пережили Путешествия, и обстоятельства их гибели на борту корабля так и не удалось прояснить до конца. Якобы рухнула какая-то снасть... Но мы не переставали удивляться такому совпадению: надо же, чтобы упавшая снасть убила сразу двух зверей, отличавшихся завидной ловкостью.

Публичное объяснение звучало, конечно, совсем иначе. Не было никаких потайных комнаток. Не было никакого смешения видов. Снасть, убившая обезьян, была огромной и унесла также жизни пурпурной ондатры, двух карликовых страусов и пары плоскохвостых муравьедов. Необычная масть Фута была знамением Божьим — хотя смысл его в ту пору лежал за пределами человеческого разумения. Позже этот смысл прояснился: так Бог сообщал нам о том, что Путешествие перевалило за середину. Значит, Фут был благословенным ребенком; а посему вовсе не стоило тревожиться и искать виновных. Это провозгласил сам Ной. Бог явился ему во сне и велел не трогать мальчика; и Ной, будучи (как он не преминул отметить) праведником, выполнил его повеление.

Не стоит и говорить вам, что относительно этой истории звери сильно разошлись во мнениях. Млекопитающие, например, отказывались даже предположить, что рыжий зеленоглазый самец обезьяны мог быть физически близок с Хамовой женой. Конечно, чужая душа — потемки, но млекопитающие готовы были поклясться молоком своих матерей, что этого произойти не могло. Они слишком хорошо знали обезьяну-самца, говорили они, и его чистоплотность в личной жизни ни у кого не вызывала сомнений. Они намекали даже, что он был немножко сноб. А если допустить — только допустить,— что ему вдруг захотелось слегка поразвлечься, так разве нельзя было выбрать более привлекательную партнершу, чем Хамова жена? Например, одну из тех миловидных желтохвостых мартышек, которые уступят любому за горсть мускатных орешков?

Моим откровениям подходит конец. Я хотел — и вы должны понять меня,— чтобы они прозвучали по-дружески. Если вы считаете меня чересчур придирчивым, то это может быть вызвано — надеюсь, вы не обидитесь — вашим непобедимым пристрастием к догматизму. Вы верите тому, чему хотите верить, и не любите пересматривать свои взгляды. Это естественно — ведь у всех вас Ноевы гены. Без сомнения, этим объясняется и то, что вы так часто бываете поразительно нелюбопытны. Например, вы никогда не задавали себе такого вопроса о своей древнейшей истории: что сталось с вороном?

Когда Ковчег сел на верхушку горы (все это было, разумеется, посложнее, но о деталях я умолчу), Ной выпустил ворона и голубя, чтобы увидеть, сошла ли вода с лица земли. Далее, в принятой у вас версии ворону отводится очень малая роль; по-вашему, он просто летал туда-сюда без толку. С другой стороны, из трех полетов голубя сделали

прямо-таки подвиг. Мы плачем, когда он не находит места покоя для своих ног; мы ликуем, когда он возвращается на Ковчег с масличным листом. Позвольте же мне сообщить вам одно обстоятельство: ворон всегда утверждал, что это *он* нашел масличное дерево; что это *он* принес на Ковчег свежий лист; однако Ной решил, что «уместнее» сказать, будто это сделал голубь. Лично я склонен верить ворону, который, помимо всего прочего, летает гораздо лучше голубя; к тому же, заставить животных спорить между собой как раз в стиле Ноя (берущего, по обыкновению, пример со своего Бога). Ной распустил слух, будто ворон, вместо того чтобы поскорее вернуться с известием о спаде воды, уклонился от своего долга; кто-то якобы видел (но кто же? даже верноподданнически настроенный голубь не унизился бы до подобной клеветы), как он лакомился падалью. Вряд ли стоит добавлять, что ворон был глубоко оскорблен этим мгновенным переписыванием истории; говорят — я повторяю слова тех, у кого уши получше моих,— что в его голосе и по сию пору слышна хриплая нотка неудовлетворенности. Голубь же, наоборот, после Высадки стал ворковать необыкновенно самодовольно. Он словно уже видел свои будущие изображения на почтовых марках и фирменных бланках.

Прежде чем спустить сходни, «Адмирал» обратился к зверям на своем Ковчеге; его речь была передана и на другие суда. Он благодарил нас за сотрудничество, извинялся за имевшие место временные сокращения рациона и обещал, что, поскольку все мы выполнили свои обязательства, он постарается добиться в дальнейших переговорах с Богом наилучшего quid pro quo [1]. Услышав это, некоторые из нас с сомнением усмехнулись: мы помнили о том, как обошлись с ослом, о потере санитарного корабля, о политике истребления гибридов, о смерти единорога... Для нас было очевидно: Ной хочет прикинуться этаким свойским парнем только потому, что понимает, как поступит всякое здравомыслящее животное, едва ступив на землю; он понимает, что мы сразу разбежимся по лесам и полям. Ной, понятно, хотел уломать нас остаться поблизости от своего Нового Дворца, о строительстве которого не преминул тут же и объявить. Среди обещанных удобств были бесплатная вода для животных и подкормка в суровое зимнее время. Он явно боялся, что мясная пища, к которой он привык на Ковчеге, покинет его со всей прытью, на которую только способны ее две, четыре или сколько там еще ног, а Ноеву семейству придется опять сесть на ягоды и орехи. Как это ни удивительно, нашлись звери, посчитавшие предложение Ноя разумным; в конце концов, говорили они, не съест же он нас всех, он наверняка будет отбирать больных и старых. Так что некоторые — надо сказать, не самые умные — остались ждать, пока не построят Дворец и вода не потечет, словно вино. Свиньи, коровы, овцы, козы (те, что поглупее), куры... Мы предупреждали их; по крайней мере, пытались. Мы не раз насмешливо бормотали себе под нос: «На варку или на жарку?» — но безрезультатно. Как я уже сказал, умом они не вышли и, видимо, побаивались возвращаться к дикой жизни; они впали в зависимость от своей тюрьмы и от своего тюремщика. Что ж, через несколько поколений, как и следовало ожидать, они превратились в собственные тени. Сегодняшние свиньи и овцы — это какие-то зомби по сравнению со своими здоровыми, жизнерадостными предками времен Потопа. Из них выколотили всю начинку. А некоторые, подобно индейке, подверглись дальнейшему унижению — прежде чем варить или жарить, их начиняют вновь.

И чего же, по сути, добился Ной, заключив свой знаменитый Постпотопный договор с Богом? Что получил он в обмен на преданность своей семьи и принесенные ею жертвы (не говоря уж о более значительных жертвах, принесенных животным миром)? Бог сказал — и это в на-

---

[1] Здесь: выгоды *(лат.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

ивыгоднейшей интерпретации самого Ноя,— что Он обещает не насылать второго Потопа и в знак этого намерения создает для нас радугу. Радугу! Ха! Конечно, на нее бывает приятно посмотреть, и та первая, что он сотворил для нас,— переливчатый полукруг и рядом его двойник побледнее, сверкающие в индиговом небе,— действительно заставила многих на пастбище поднять голову. Вы понимаете, каков был Бóжий замысел: всякий раз, когда дождь начинал неохотно уступать солнцу, эта эффектная дуга должна была напоминать нам, что он не будет долог и не перейдет в Потоп. Пусть так — но все равно проку от радуги немного. А как насчет ее юридического статуса? Попробуйте заставить радугу отвечать перед судом.

Звери посообразительнее раскусили, чтó кроется за Ноевым обещанием половинного пайка; они ушли в поля и леса, положившись на собственное умение находить воду и пищу зимой. Северные олени, нельзя этого не отметить, оказались среди них чуть ли не первыми — они рванули прочь от «Адмирала» и всех его будущих потомков, унося с собой свои загадочные предчувствия. Между прочим, вы правы, считая сбежавших животных — по Ною, неблагодарных предателей — более благородными. Может ли быть благородной свинья? Или овца? Или курица? А поглядели бы вы на единорога... Это было еще одним неприятным пассажем из обращения Ноя к животным, которые после Высадки медлили у его ограды. Якобы, дав нам радугу, Бог фактически пообещал, что мы не будем испытывать недостатка в чудесах. Мне слышится в этом откровенный намек на десятки первоначально сотворенных чудес, которые в ходе Путешествия сгинули за бортом Ноевых кораблей или в желудках его семейства. Радуга взамен единорога? А почему бы не возродить самого единорога? Нас, животных, это осчастливило бы больше, чем кричащий символ Божьего великодушия, всякий раз появляющийся на небе к концу дождя.

По-моему, я уже говорил вам, что выбраться с Ковчега было не проще, чем попасть на него. Увы, среди зверей-избранников имелись штрейкбрехеры, поэтому о том, чтобы Ной просто соскочил на землю с ликующим криком, не могло быть и речи. Каждое животное подвергали перед освобождением тщательному обыску; кое-кого даже погружали в чаны с водой, пахнущей дегтем. Несколько самок разных видов жаловались на то, что их заставили пройти осмотр внутренних органов; этим занимался Сим. Безбилетников было обнаружено довольно мало: некоторые из самых заметных жуков, пяток крыс, неосторожно отъевшихся за время Путешествия, даже одна-другая змея. Мы спаслись — думаю, из этого уже не стоит делать тайну,— в полом кончике бараньего рога. Наш баран был большим, угрюмым, непокорным животным, чью дружбу мы намеренно завоевывали в течение последних трех лет. Он не уважал Ноя и был только рад, что помог нам надуть его при Высадке.

Когда мы всемером выбрались из бараньего рога, нас охватил восторг. Мы уцелели. Мы пробрались на корабль, уцелели и сбежали — причем без всяких сомнительных заветов с Богом или Ноем. Мы сделали все это сами. Мы чувствовали, что облагородили свой вид. Это может показаться вам смешным, но так оно и было: мы чувствовали себя облагороженными. Путешествие научило нас многому; а главное, тому, что человек по сравнению с животными — существо недоразвитое. Мы, конечно, не отрицаем вашей смышлености, вашего значительного потенциала. Но вы пока еще находитесь на ранней стадии развития. *Мы,* например, всегда остаемся самими собой: вот что значит быть развитыми. Мы такие, какие есть, и мы знаем, кто мы такие. Вы же не станете ждать от кошки, чтобы она залаяла, или от свиньи — чтобы она замычала? Но именно этого, выражаясь фигурально, мы научились ожидать от представителей вашего вида. То вы лаете, то мяукаете; то вы хотите быть дикими, а то — ручными. О поведении Ноя можно было сказать только одно: вы никогда не знали, как он себя поведет.

К тому же, представители вашего вида не очень-то любят правду.

Вы о многом забываете или прикидываетесь, что забыли. Потеря Варади и его ковчега — разве кто-нибудь говорит о ней? Я думаю, в этой привычке сознательно закрывать на многое глаза есть и положительная сторона: когда игнорируешь плохое, легче живется. Но, игнорируя плохое, вы в конце концов начинаете верить, будто плохого не бывает вовсе. А потом удивляетесь. Удивляетесь тому, что ружья убивают, что деньги развращают, что зимой падает снег. Такая наивность обаятельна; но, увы, она еще и опасна.

Например, вы никогда не увидите в истинном свете Ноя, вашего праотца,— набожного патриарха, убежденного ревнителя старины. Кажется, одна из ваших ранних еврейских легенд говорит, будто Ной открыл секрет алкоголя, наткнувшись на козла, хмельного от перебродившего винограда. Какая бесстыдная попытка переложить ответственность на животных; и это, как ни грустно, делается по привычной схеме. В Грехопадении виноват змей, честный ворон — обжора и лодырь, козел превратил Ноя в алкаша. Но можете мне поверить: чтобы открыть тайну виноградной лозы, Ной не нуждался в услугах парнокопытных.

Вы всегда первым делом вините других; а если винить больше некого, вы начинаете утверждать, что проблемы вовсе не существует. Меняете правила, сдвигаете стойки ворот. Кое-кто из ученых, посвятивших жизнь вашим священным книгам, даже пытался доказать, будто Ной с Ковчега и Ной, которому приписывают пьянство и неприличную наготу, вообще разные люди. Мог ли пьянчуга быть избранником Божьим? Ну ясное дело, нет. Ной, да не мой. Типичная ошибка в установлении личности. Проблема снята.

Мог ли пьянчуга быть избранником Божьим? Я уже объяснял вам — его избрали, потому что прочие кандидаты были во сто крат хуже. Куда ни кинь — всюду клин. А что касается его пьянства, скажу честно: до ручки-то он дошел благодаря Путешествию. Конечно, старый Ной и прежде любил побаловать себя рогом-другим винца; а кто этим брезговал? Но законченным алкоголиком его сделало Путешествие. Он просто не вынес этого бремени. Он плохо справлялся с управлением, он потерял четыре корабля из восьми и около трети доверенных ему видов — да если б только нашлись судьи, его отдали бы под трибунал. И несмотря на все свое хвастовство, он знал, что виноват в гибели половины Ковчега. Чувство вины, инфантильность, постоянная борьба за то, чтобы удержаться на чересчур высоком пьедестале,— это тяжелое сочетание, которое столь же плачевно влияет на большинство представителей вашего вида. Я полагаю, вы могли бы даже заключить, что к пьянству Ноя подтолкнул Бог. Потому-то ваши ученые так ловчат, так стараются отделить первого Ноя от второго: иначе напрашиваются неприятные выводы. Но история «второго» Ноя — пьянство, непристойное поведение, суровая кара, наложенная на непочтительного сына,— эта самая история отнюдь не удивляет тех из нас, кто знавал «первого» Ноя на Ковчеге. Боюсь, что тут мы имеем дело с печальным, но закономерным итогом прогрессирующего алкоголизма.

Как я уже говорил, мы были очень рады покинуть Ковчег. Помимо всего прочего, мы наелись дерева гофер на всю жизнь. Это еще один повод для сожаления о Ноевом фанатизме при постройке флота: прояви он большую гибкость, мы могли бы питаться разнообразнее. Конечно, он вряд ли принял бы это в расчет, ведь брать нас на корабль никто не собирался. А спустя несколько тысячелетий наше исключение из числа счастливчиков кажется еще более несправедливым. Нас, безбилетников, было семеро, но если бы наш вид попал в списки избранных, билеты получили бы только двое; и мы смирились бы с таким решением. И пусть Ной не знал, сколько продлится Потоп, это его не оправдывает: ведь даже всемером мы съели за пять с половиной лет так мало, что вполне стоило рискнуть и взять парочку из нас на борт. Да и вообще, разве преступление быть личинками древоточца?

2. Гости

Франклин Хьюз прибыл на борт часом раньше, чтобы успеть выказать дружеское расположение тем, кто мог облегчить ему работу в ближайшие двадцать дней. Теперь он стоял, облокотившись на поручни, и наблюдал, как пассажиры поднимаются по сходне; в основном это были среднего возраста и пожилые пары, несущие на себе явный отпечаток национальности, хотя кое-кто из них, более стандартного вида, ненадолго сохранял лукавую анонимность происхождения. Франклин, рука которого в легком, но несомненном полуобъятии покоилась на плече его спутницы, играл в свою ежегодную игру — угадывал, откуда набрана его аудитория. Американцев узнать было легче всего: мужчины в характерных для Нового Света прогулочных костюмах пастельных тонов, их жены, нимало не смущенные своими колышущимися животами. Англичан — тоже легко: мужчины в старосветских твидовых куртках, надетых поверх желто-коричневых или бежевых рубашек с коротким рукавом, женщины с крепкими коленями, готовые взобраться пешком на любую гору, едва учуяв греческий храм. Были две канадские пары — на их панамах красовался знаменитый кленовый лист; четверка поджарых белоголовых шведов; несколько робких французов и итальянцев, которых Франклин определил, коротко пробормотав «baguette» [1] или «macaroni»; и шестеро японцев, опровергнувших свой стереотип полным отсутствием фотоснаряжения. За вычетом двух-трех семейных групп и случайного англичанина-одиночки эстетского вида все они поднимались на борт покорными парами.

— Каждой твари по паре,— прокомментировал Франклин. Это был высокий плотный человек лет сорока пяти со светло-золотыми волосами и красноватым лицом, что завистливые приписывали склонности к крепким напиткам, а доброжелательные — избытку солнца; такие люди кажутся вам знакомыми, и вы как-то не задаетесь вопросом, симпатичны они или нет. Его спутница, или ассистентка — против того, чтобы именоваться секретаршей, она решительно возражала,— стройная смуглая девушка, демонстрировала одежду, специально купленную для круиза. На Франклине же, который культивировал образ стреляного воробья, была длинная походная куртка и мятые джинсы. Хотя кое-кто из пассажиров счел бы такой наряд не совсем подходящим для известного лектора на выезде, он максимально отвечал намерению Франклина подчеркнуть свое собственное происхождение. Будь он американским ученым, он, наверное, раздобыл бы легкий полосатый костюм; будь британцем, возможно, остановил бы выбор на глаженой полотняной куртке кремового цвета. Но слава Франклина (пожалуй, не столь громкая, как ему представлялось) пошла с телевидения. Он начинал рупором чужих мнений — приятный юноша в вельветовом костюме, умевший говорить о культуре, не отпугивая слушателей. Спустя какое-то время он подумал: если у него получается болтать на эти темы, то почему бы не попробовать и писать. Поначалу это был лишь «дополнительный материал Франклина Хьюза», потом ему стали доверять соавторство, а конечным достижением явилось безраздельное «написано и представлено Франклином Хьюзом». Точно определить область его специализации не смог бы никто, но в сферах археологии и сравнительного анализа культур он чувствовал себя вполне свободно. Его любимым приемом были современные аллюзии, долженствующие спасти и оживить для среднего зрителя такие мертвые предметы, как переход Ганнибала через Альпы, или клады викингов в Восточной Англии, или дворцы Ирода. «Ганнибаловы слоны были танковыми дивизиями своего времени»,— заявлял он, размашисто шагая по чужеземным холмам; или: «Это примерно столько же пехотинцев, сколько вместил бы стадион Уэмбли в день финала Кубка»; или: «Ирод был не только тираном, объединившим

[1] Французский батон.

страну, но еще и покровителем искусств; возможно, его следует представлять себе как этакого Муссолини с хорошим вкусом».

Телевизионная слава Франклина вскоре принесла ему вторую жену, а через пару лет — второй развод. В настоящее время его контракты с «Турне Афродиты По Знаменитым Местам» всегда предусматривали наличие каюты для ассистентки; команда «Санта-Юфимии» с восхищением отмечала, что ассистентки, как правило, не продерживаются до следующего рейса. Франклин был щедр со стюардами и нравился людям, которые не пожалели тысчонки-другой фунтов на эти двадцать дней. У него было обаятельное свойство так увлекаться излюбленными отступлениями от темы, что потом, умолкнув, он озирался кругом с недоуменной улыбкой, словно позабыв, где находится. Многие пассажиры говорили между собой об очевидной любви Франклина к своей работе, о том, как это приятно в наш циничный век, и о том, что благодаря ему история и впрямь оживает перед ними. Если его куртка не всегда бывала застегнута на все пуговицы, а на рабочих штанах порой виднелись следы от омара, это лишь подтверждало его горячую приверженность делу. Одежда Франклина подчеркивала замечательную демократичность нынешнего образования: чтобы разбираться в греческой архитектуре, вовсе не надо быть надутым профессором в стоячем воротничке.

— Вечер Знакомств в восемь,— сказал Франклин.— Пойду-ка я поработаю пару часиков, чтоб завтра утром выглядеть прилично.

— Ты же повторял это выступление много раз? — Трицию слабо надеялась, что он останется с ней на палубе, когда они будут выходить в Венецианский залив.

— Стараюсь менять каждый год. Иначе становишься однообразным.— Он легонько тронул ее за руку и пошел вниз. На самом деле его вступительная речь завтра в десять должна была быть точно такой же, как и в предыдущие пять лет. Единственное отличие — единственное нововведение, спасающее Франклина от однообразия,— состояло в том, что там будет Трицию вместо... как же звали ту последнюю девушку? Но он любил создавать иллюзию подготовки своих лекций заранее, и он спокойно мог отказаться от удовольствия в очередной раз наблюдать отплытие из Венеции. Она и через год никуда не денется, разве что еще на сантиметр-другой уйдет в воду, да розовая ее физиономия еще чуток обшелушится, как у него.

Стоя на палубе, Трицию глядела на город, пока колокольня Св. Марка не превратилась в огрызок карандаша. С Франклином они познакомились месяца два назад — тогда он выступал в телепередаче, где на третьих ролях участвовала и она. Они спали вместе несколько раз, пока немного. Девушкам из своей квартиры она сказала, что уезжает со школьным другом; если все пойдет хорошо, она откроет правду, но сейчас Трицию опасалась сглазить. Франклин Хьюз! И до сих пор он был по-настоящему внимателен, даже позаботился наделить ее кое-какими номинальными обязанностями, чтобы уж ей не выглядеть просто подружкой. Очень многие на телевидении казались ей чуточку фальшивыми — обаятельными, но не совсем честными. Франклин был в жизни такой же, как на экране: открытый, веселый, готовый поделиться с тобой своими знаниями. Ему можно было верить. Телевизионные критики подшучивали над его одеждой и пучком волос на груди, где́ расходилась рубашка, а иногда и над тем, что он говорил, но это была обыкновенная зависть — пусть бы они попробовали выйти на публику и выступать, как Франклин, посмотрела бы она на них! Сделать так, чтобы это выглядело естественно, объяснил он ей за их первым совместным завтраком, вот что самое трудное. Другой секрет в телевидении, сказал он, это знать, когда умолкнуть и предоставить картинкам работать за тебя — «надо нащупать тот тонкий баланс между словом и изображением». Про себя Франклин надеялся на высшую честь: «Сценарий, текст и постановка Франклина Хьюза». В мечтах он иногда проигрывал съемку гигантской пешей экскурсии по Форуму, от арки Септимия Севера до храма Весты. Вот только не мог решить, куда девать камеру.

Первый этап путешествия, на юг по Адриатике, прошел, в общем-то, как всегда. Был Вечер Знакомств, где команда оценивала пассажиров, а пассажиры осторожно присматривались друг к другу; была вводная лекция Франклина, на которой он польстил аудитории, энергично открестился от своей телевизионной славы и заметил, как приятно обращаться к обычным людям, а не к стеклянному глазу и оператору с его окриками: «Маковку в кадр, а ну еще разок, лапка!» (техническая подробность должна была остаться непонятой большинством слушателей, на что и рассчитывал Франклин: пусть себе относятся к ТВ чуть свысока, но не думают, будто это занятие для идиотов); а потом была еще одна вводная лекция Франклина, столь же необходимая, в которой он объяснил своей ассистентке, что главная их задача — хорошо провести время. Понятно, ему надо работать — будут периоды, когда ему скрепя сердце придется торчать в каюте со своими записями,— но вообще им стоит смотреть на это как на двухнедельные каникулы вдали от паршивой английской погоды и всех этих нападок исподтишка в телецентре. Триция кивнула, соглашаясь, хотя как начинающая она еще не видела и, уж конечно, не была объектом никаких нападок. Более умудренная опытом девица, разумеется, поняла бы, что Франклин хочет сказать: «Не жди от меня ничего, кроме этого». Триция, будучи безмятежной оптимисткой, перевела его маленькую речь помягче: «Давай не будем торопиться с радужными надеждами», что, надо отдать ему должное, примерно и имел в виду Франклин. Он слегка влюблялся по нескольку раз в году — свойство характера, на которое иногда сетовал, но которое неизменно себе извинял. Тем не менее он был вовсе не бессердечен и как только замечал, что становится нужен девушке — особенно милой — больше, чем она ему, на него волной накатывали ужасные предчувствия. Эта бестолковая паника обычно заставляла его сделать одно из двух предположений — либо что девушка придет к нему жить, либо что она уйдет из его жизни,— которые пугали его в равной степени. Поэтому его приветственное слово в адрес Джинни, или Кэти, или, на сей раз, Трици диктовалось скорее осторожностью, нежели цинизмом, хотя по мере постепенного расстройства отношений Дженни, или Кэти, или, на сей раз, Триция вполне могла счесть его более предусмотрительным, чем на самом деле.

Та же осторожность, чей тихий настойчивый призыв постоянно слышался ему в многочисленных известиях о кровавых бойнях, заставила Франклина Хьюза приобрести ирландский паспорт. Мир больше не был полон гостеприимных уголков, где старая добрая британская ксива темно-синего цвета, увенчанная словами «корреспондент» и «Би-би-си», могла доставить вам все, чего захотите. «Министр Ее Британского Величества,— Франклин до сих пор помнил эти слова наизусть,— от имени Ее Величества просит и требует, чтобы все, кого это касается, обеспечивали владельцу сего необходимое содействие и защиту». Благое пожелание. Теперь Франклин предъявлял в своих путешествиях зеленый ирландский паспорт с золотой арфой на обложке, каждый раз чувствуя себя при этом каким-то опустившимся любителем «Гиннесса» [1]. Внутри, в большей частью правдивой автохарактеристике Хьюза, отсутствовало и слово «корреспондент». На свете были страны, где не слишком привечали корреспондентов и где считали, что все люди, якобы интересующиеся археологическими раскопками,— британские шпионы. Менее компрометирующее «писатель» выполняло также роль стимула. Если Франклин обозначил себя писателем, это должно было подтолкнуть его стать таковым. Следующий год определенно предоставлял шанс для популярной книжонки; а кроме того, он подумывал кое о чем серьезном, но с эротической окраской — вроде собственной истории мира, которая могла бы месяцами держаться в списке бестселлеров.

«Санта-Юфимия» была не новым, но комфортабельным кораблем

---

[1] Крепкий ирландский портер.

с вежливым капитаном-итальянцем и командой из ловких греков. Публика в этих «Турне Афродиты» подбиралась заранее известная, пестрая по национальному составу, но однородная по вкусам. Люди того сорта, что спортивным играм на палубе предпочитают чтение, а музыке диско в баре — солнечные ванны. Они всюду ходили за лектором, почти не пропускали дополнительных экскурсий и игнорировали соломенных осликов в магазинах сувениров. Они не заводили романов, хотя струнное трио иногда вдохновляло их на старомодные танцы. Они по очереди сиживали за капитанским столиком, бывали изобретательны, когда затевался маскарадный вечер, и прилежно прочитывали судовую газету с маршрутом сегодняшнего дня, поздравленьями именинникам и обычными новостями с Европейского континента.

Такая атмосфера казалась Трициии немножко вялой, но то была хорошо организованная вялость. Словно обращаясь к своей ассистентке, Франклин подчеркнул во вступительной лекции, что главная цель турне — отдохнуть и расслабиться. Он тактично намекнул, что люди интересуются классической древностью в разной степени и что он, со своей стороны, не намерен вести журнал посещаемости и метить прогульщиков черным крестиком. С присущим ему обаянием Франклин признался, что даже он способен устать от очередного ряда коринфских колонн, белеющих на фоне безоблачного неба; однако сделал это так, что пассажиры могли усомниться в его искренности.

Охвосток северной зимы остался позади, и корабль с умиротворенными пассажирами неторопливо вошел в мягкую средиземноморскую весну. Твидовые куртки уступили место полотняным, брючные костюмы — открытым летним одеяниям, слегка устарелым. По Коринфскому каналу плыли ночью; пассажиры в неглиже прилипли к иллюминаторам, а самые отважные стояли на палубе, время от времени безуспешно пытаясь разогнать тьму вспышками своих фотоаппаратов. Из Ионического моря в Эгейское; у Киклад чуть занепогодилось и посвежело, но все отнеслись к этому спокойно. На берег сходили на изысканном Миконосе, где пожилой директор школы подвернул лодыжку, пробираясь среди руин; на мраморном Паросе и огнедышащей Тире. Ко времени остановки на Родосе десять дней круиза уже миновали. Пока пассажиры гуляли по берегу, «Санта-Юфимия» приняла на борт топливо, овощи, мясо и дополнительный запас вин. Еще она приняла на борт гостей, хотя выяснилось это только на следующее утро.

Они шли по направлению к Криту, и в одиннадцать часов Франклин начал обычную лекцию о Кноссе и минойской цивилизации. Надо было быть поосторожнее, так как его аудитория, похоже, кое-что знала о Кноссе, а некоторые могли иметь и свои собственные теории. Франклин любил, когда ему задавали вопросы; он не возражал, когда кто-нибудь делал маловразумительные или даже точные добавления к его рассказу,— в таких случаях он благодарил человека вежливым кивком и невнятным «герр профессор», как бы намекая, что одним из нас свойствен широкий взгляд на вещи, другие же — и это тоже прекрасно — любят забивать себе голову не слишком существенными деталями; но кого Франклин не переносил, так это зануд, которым не терпелось проверить на лекторе свои любимые идейки. Простите, мистер Хьюз, я вижу в этом что-то египетское — разве мы можем быть уверены, что это строили не египтяне? А вы не считаете, что Гомер писал в ту эпоху, к какой относит его (легкий смешок) — или ее сочинения народ? Я не эксперт по данному вопросу, но очевидно, что разумнее всего было бы предположить... Всегда попадался хотя бы один такой, который разыгрывал из себя пытливого и здравомыслящего любителя; отнюдь не обманутый общепринятым мнением, он — или она — знал, что историки часто блефуют и что сложные проблемы лучше всего решать с помощью вдохновения и интуиции, не обременяя себя конкретными знаниями и исследовательской работой. «Ваша трактовка очень интересна, мистер Хьюз, но очевидно, что логичнее было бы...» Франклину иногда хотелось заметить

(однако он никогда этого не делал), что подобные смелые догадки о ранних цивилизациях частенько кажутся ему основанными на голливудских эпопеях с Кёрком Дугласом и Бёртом Ланкастером в главной роли. Он представлял себе, как выслушает одного из таких умников и с иронией ответит ему: «Вы, конечно, понимаете, что фильм «Бен Гур» нельзя считать *абсолютно* надежным источником?» Но не в этом плавании. И вообще, лучше подождать до тех пор, пока он не уверится, что очередное его плавание — последнее и контракт возобновлен не будет. Тогда он позволит себе немного расслабиться. Он станет откровеннее со своими слушателями, менее осторожен в отношении спиртного, более восприимчив к брошенному украдкой взгляду.

Гости опоздали на лекцию Франклина Хьюза о Киноссе, и он уже закончил ту часть, в которой изображал собой сэра Артура Эванса, когда они открыли двойные двери и выстрелили в потолок — правда, только один раз. Франклин, все еще с головой погруженный в собственный спектакль, пробормотал: «Переведите, пожалуйста», но этой старой шутки оказалось недостаточно, чтобы вновь привлечь внимание пассажиров. Они уже забыли о Киноссе и следили глазами за высоким человеком с усами и в очках, который направлялся к Франклину, чтобы занять его место за пюпитром. В обычных условиях Франклин отдал бы ему микрофон, предварительно вежливо спросив документы. Но поскольку в руках у человека был большой пулемет, а на голове — один из тех тюрбанов в красную клетку, которые прежде были отличительным признаком симпатичных воинов-пустынников, верных Лоренсу Аравийскому, а в последние годы стали отличительным признаком злобных террористов, охочих до пролития невинной крови, Франклин сделал простой жест, показывая, что уступает, и сел на стул.

Его аудитория — как он еще подумал о ней в кратком приливе собственнических чувств — затихла. Все избегали неосторожных движений; все старались дышать бесшумно. Гостей было трое, и двое из них встали у дверей в лекционный зал. Высокий в очках, на миг превратясь едва ли не в ученого, постучал по микрофону, как делают лекторы во всем мире: отчасти чтобы проверить, работает ли техника, отчасти чтобы привлечь к себе внимание. В данном случае второе вряд ли было необходимо.

— Приношу извинения за беспокойство,— начал он, испустив один-два нервных смешка.— Но боюсь, ваш отдых на некоторое время придется прервать. Надеюсь, что ненадолго. Все вы останетесь здесь, на своих местах, пока мы не скажем вам, что делать.

Где-то в глубине зала прозвучал сердитый голос одного из американцев:

— Кто вы такие и какого черта вам надо?

Араб подался назад к только что оставленному микрофону и с презрительной вежливостью дипломата сказал:

— Простите, но в данной ситуации я не намерен отвечать на вопросы.— Затем, видимо, чтобы его не спутали с дипломатом, решил продолжить: — Мы не из тех, кто прибегает к насилию без необходимости. Однако когда я стрелял в потолок, желая привлечь ваше внимание, я поставил вот эту маленькую защелку в положение, при котором пулемет стреляет одиночными выстрелами. Если ее передвинуть,— он показал как, приподняв оружие над головой, словно военный инструктор перед абсолютно неопытными новичками,— пулемет будет стрелять, пока не опустеет магазин. Надеюсь, это понятно.

Араб вышел из зала. Никто ничего не предпринимал; кое-где шмыгали носом и всхлипывали, но в общем было тихо. Франклин глянул через зал в дальний левый угол, где находилась Трисия. Его ассистенткам дозволялось посещать лекции, но только не сидеть прямо перед ним — «А то мне в голову лезет всякая ерунда». Вид у нее был спокойный; похоже, она считала, что все обойдется. Франклин хотел сказать: «Послушай, со мной никогда такого не бывало, это ненормально, я не знаю, что

делать», но ограничился лишь неопределенным кивком. После десяти минут напряженной тишины американка лет пятидесяти пяти поднялась со своего места. Один из двоих охранников у двери сразу прикрикнул на нее. Она не отреагировала на это, так же как на шепот и цепляющуюся за нее руку мужа. Она подошла к боевикам по центральному проходу, остановилась в нескольких шагах от них и произнесла четким, медленным голосом, в котором звучал готовый выхлестнуться ужас:

— Мне надо в уборную, слышите?

Арабы не ответили и не посмотрели ей в глаза. Они лишь сделали своими пулеметами короткое движение, со всей возможной ясностью говорящее, что сейчас она представляет собой большую мишень и что всякая настойчивость с ее стороны подтвердит этот факт самым убедительным и роковым образом. Она повернулась, снова ушла на свое место и заплакала. Тут же зарыдала другая женщина в правой половине зала. Франклин опять взглянул на Трицию, кивнул, поднялся на ноги, умышленно не глядя на двоих охранников, и подошел к пюпитру.

— Как я уже говорил...— он авторитетно прокашлялся, и все взоры обратились к нему.— Я уже говорил, что Кносский дворец отнюдь не является памятником первого человеческого поселения в этом районе. Слои, которые мы называем минойскими, залегают на глубине до семнадцати футов, но самые ранние следы человеческого обитания находятся на глубине в двадцать шесть футов или около того. К моменту закладки первого камня дворца люди жили на этом месте уже по меньшей мере десять тысяч лет...

Продолжить прерванную лекцию казалось естественным. Чувствовалось также, что Франклина теперь выделяет из других некое оперенье лидера. Он решил, для начала вскользь, подтвердить свое право на это. Понимают ли охранники по-английски? Возможно. Были они когда-нибудь в Кноссе? Вряд ли. И Франклин, описывая зал дворцовых собраний, придумал большую глиняную табличку, которая, заявил он, вероятно, висела над гипсовым троном. Там было написано — в этот момент он поглядел на арабов — «Мы живем в трудные времена». Продолжая рассказ о дворце, он раскопал и другие таблички с надписями, многие из которых, как он стал уже бесстрашно подчеркивать, имели универсальный смысл. «Ни в коем случае нельзя поступать опрометчиво»,— гласила одна. Другая: «Пустые угрозы бесполезны, как пустые ножны». Третья: «Тигр всегда медлит перед прыжком». (Хьюз мельком подумал, знала ли минойская цивилизация тигров.) Он не был уверен, что все слушатели раскусили его хитрость, но в зале то там, то тут раздавалось одобрительное ворчание. Любопытно, что он и сам получал от этой игры удовольствие. Он завершил свой обход дворца надписью, весьма нетипичной для минойцев: «Там, где садится солнце, есть великая сила, и она оградит нас от бед». Потом сгреб свои бумажки и сел под более теплые, чем обычно, аплодисменты. Поглядел на Трицию и подмигнул ей. В глазах у нее блестели слезы. Он посмотрел на арабов и подумал, вот вам, теперь видите, из какого мы теста, мы еще за себя постоим. Он даже пожалел, что не ввернул какого-нибудь афоризма насчет людей с красными полотенцами на головах, но признался себе, что у него не хватило бы храбрости. Прибережет его на потом, когда все кончится.

Они прождали еще полчаса в пахнущей мочой тишине; затем вернулся главарь террористов. Он перекинулся парой слов с охранниками и подошел к пюпитру.

— Значит, вы тут прослушали лекцию о Кносском дворце,— начал он, и Франклин почувствовал, что у него вспотели ладони.— Это славно. Вам не мешает разбираться в других цивилизациях. Понимать, как они достигали величия и как — он сделал многозначительную паузу — они рушились. Я очень надеюсь, что ваше путешествие в Кносс будет приятным.

Он уже отходил от микрофона, когда раздался голос того же американца, на сей раз более миролюбивый, точно подействовали минойские таблички:

— Простите, не будете ли вы так любезны в двух словах сказать нам, кто вы и чего вы хотите?

Араб улыбнулся.

— По-моему, сейчас не время для объяснений.— Он кивнул, давая понять, что закончил, потом помедлил, словно вежливый вопрос по меньшей мере заслуживал вежливого ответа.— Скажем так. Если все пойдет согласно плану, вы вскоре сможете продолжить свое изучение минойской цивилизации. Мы исчезнем так же, как появились, и вам будет казаться, что вы видели нас всего лишь во сне. Потом вы о нас забудете. Останется только память о небольшой задержке. Поэтому вам ни к чему знать, кто мы такие, или откуда мы, или что нам нужно.

Он уже сходил с низкого подиума, как вдруг Франклин неожиданно для себя самого произнес:

— Извините.

Араб обернулся:

— Хватит вопросов.

— Это не вопрос,— сказал Франклин.— Я только подумал... Конечно, у вас есть дела поважнее... но если нам придется остаться здесь, то вы могли бы разрешить нам ходить в уборную.— Главарь террористов нахмурился.— В сортир,— пояснил Франклин; потом снова: — В туалет.

— Разумеется. Вам будет позволено ходить в туалет, когда мы переведем вас.

— А когда это случится? — Франклин почувствовал, что немного увлекся добровольно взятой на себя ролью. Араб, со своей стороны, тоже заметил некую недопустимую вольность тона. Он грубо ответил:

— Когда надо будет.

Он ушел. Через десять минут появился араб, которого они еще не видели, и пошептал Хьюзу на ухо. Тот поднялся.

— Нас хотят перевести отсюда в столовую. Мы пойдем парами. Занимающим одну каюту следует сказать об этом. Нас отведут в наши каюты, и там можно будет сходить в уборную. Еще мы должны будем взять из кают паспорта, но ничего больше.— Араб зашептал снова.— Да, запираться в уборной нельзя.— От себя Франклин добавил: — По-моему, эти люди настроены весьма серьезно. По-моему, нам не стоит делать ничего такого, что может им не понравиться.

Пассажиров мог сопровождать лишь один охранник, и вся процедура заняла несколько часов. Когда Франклина и Трицию вели на нижнюю палубу, он сказал ей небрежно, будто о погоде:

— Сними кольцо с правой руки и надень туда, где носят обручальное. Камнем внутрь, чтобы его не было видно. Только не сейчас, а когда пойдешь пописать.

В столовой, куда они наконец попали, их паспорта проверял пятый араб. Трицию отправили в дальний конец, где в одном углу сидели англичане, а в другом — американцы. Посреди комнаты были французы, итальянцы, двое испанцев и канадцы. Ближе всех к двери остались японцы, шведы и Франклин, единственный ирландец. Одной из последних привели супружескую пару Циммерманов, плотных, хорошо одетых американцев. Поначалу Хьюз определил мужа как торговца одеждой, какого-нибудь опытного закройщика, открывшего свое дело; однако после разговора на Паросе выяснилось, что это недавно ушедший на покой профессор философии со Среднего Запада. Минуя столик Франклина по дороге к прочим американцам, Циммерман пробормотал: «Отделение чистых от нечистых».

Когда все собрались, Франклина отвели в каюту начальника хозяйственной части, где обосновался главарь гостей. Он вдруг поймал себя на том, что гадает, не прикреплен ли этот нос картошкой вместе с усами к очкам; возможно, все это снималось одним махом.

— А, мистер Хьюз. Вы, кажется, их представитель. Как бы то ни было, теперь вы утверждаетесь в этом качестве. Вам нужно будет объяснить им следующее. Мы сделаем ради их удобства все, что в наших

силах, но они должны понимать, что имеются известные трудности. Им будет позволено разговаривать друг с другом каждый час в течение пяти минут. В это же время желающие смогут посетить туалет. По одному. Я думаю, все они люди разумные, и очень не хотел бы убедиться в обратном. Есть один человек, который говорит, что не может найти свой паспорт. Его фамилия Толбот.

— Мистер Толбот, да.— Рассеянный пожилой англичанин, который неоднократно задавал вопросы о религии в древнем мире. Скромный дядька, без доморощенных теорий, слава Богу.

— Он сядет вместе с американцами.

— Но он англичанин. Из Киддерминстера.

— Если он вспомнит, где его паспорт, будет англичанин и сядет с англичанами.

— Видно же, что англичанин.— Араб остался равнодушным.— Но произношение-то у него не американское, правда?

— Я с ним не беседовал. К тому же произношение ведь вообще не доказательство, верно? Вы вот, к примеру, говорите как англичанин, но по паспорту вы не англичанин.— Франклин медленно кивнул.— Так что подождем паспорта.

— Зачем вы нас разделили?

— Мы думали, вам понравится сидеть с земляками.— Араб сделал ему знак уходить.

— Последний вопрос. Моя жена. Можно ей сесть со мной?

— Ваша жена? — Главарь посмотрел на лежащий перед ним список пассажиров.— У вас нет жены.

— Нет, есть. Она путешествует под именем Трисия Мейтленд. Это ее девичье имя. Мы поженились три недели назад.— Франклин помедлил, затем прибавил доверительным тоном: — Вообще-то она у меня уже третья.

Но франклиновский гарем, кажется, не произвел на араба никакого впечатления.

— Поженились три недели назад? Но ведь вы, по-моему, в разных каютах. Что, дела идут так худо?

— Нет, у меня отдельная каюта для работы, понимаете. Для подготовки к лекциям. Это роскошь, лишняя каюта, моя привилегия.

— Так она ваша жена? — Тон оставался бесстрастным.

— Ну да, конечно,— ответил он с легким негодованием.

— Но у нее британский паспорт.

— Она ирландка. Кто выходит замуж за ирландца, становится ирландкой. Это ирландский закон.

— Мистер Хьюз, у нее британский паспорт.— Он пожал плечами, словно проблема была неразрешима, затем нашел решение.— Но если вы хотите сидеть вместе с женой, можете пойти и сесть за столик к англичанам.

Франклин неловко улыбнулся.

— Если я представитель пассажиров, как я могу попасть к вам, чтобы передать просьбы пассажиров?

— Просьбы пассажиров? Нет, вы не понимаете. У пассажиров нет просьб. Вы не попадете ко мне, пока я сам этого не захочу.

Передав новые распоряжения, Франклин сел за свой отдельный столик и задумался. Хорошо в данной ситуации было то, что до сих пор с ними обращались более или менее корректно; никого не избили и не застрелили, и взявшие их в плен люди не производили впечатления истеричных мясников, какими могли бы оказаться. С другой стороны, плохое было тесно связано с хорошим: не будучи истеричными, гости, наверное, были людьми упорными, деятельными, не привыкшими отказываться от своей цели. Но какова была эта цель? Для чего они захватили «Санта-Юфимию»? С кем вели переговоры? И кто управлял мокнущим в море кораблем, который, насколько Франклин мог судить, описывал широкие, медленные круги?

Время от времени он ободряюще кивал японцам за соседним столиком. Пассажиры в дальнем конце столовой, как он не мог не заметить, иногда посматривали в его сторону, словно проверяя, здесь ли он еще. Он стал их связным, возможно, даже лидером. Эта его лекция о Кноссе, с учетом условий, выглядела сейчас почти блестящей; гораздо более отчаянной, чем он тогда предполагал. Теперешнее сидение в одиночестве, вот что его расстроило; он стал размышлять. Первоначальный всплеск эмоций — нечто близкое к восторженности — пошел на спад; взамен им овладели вялость и дурные предчувствия. Может быть, ему следует пойти и сесть с Трицией и англичанами. Но тогда они могут не посчитаться с его гражданством. Это разделение пассажиров — действительно ли оно означало то, чего он боялся?

Ближе к вечеру они услышали самолет, пролетевший над ними довольно низко. Из американского угла столовой донеслись приглушенные радостные возгласы; потом шум мотора затих. В шесть часов появился один из стюардов-греков с большим подносом сандвичей; Франклин отметил, как страх обостряет голод. В семь, когда он выходил по-маленькому, американский голос прошептал: «Так держать». Вернувшись за столик, он попытался принять спокойный и уверенный вид. Но вот беда: чем больше он думал, тем меньше находил оснований бодриться. В последние годы западные правительства много шумели о терроризме, о необходимости встретить угрозу с высоко поднятой головой и обуздать молодчиков; но молодчики что-то не замечали, что их обуздывают, и продолжали свое дело. Тех, кто посередке, убивали; правительства и террористы оставались невредимыми.

В девять Франклина снова вызвали в каюту начальника хозчасти. Пассажиров надо было развести на ночлег: американцев обратно в лекционную, англичан в диско-бар и так далее. Все эти помещения затем следовало запереть. Это было необходимо: гости тоже нуждались в отдыхе. Паспорта велели держать наготове, чтобы их можно было предъявить в любую минуту.

— А как с мистером Толботом?

— Он считается почетным американцем. Пока не найдет паспорт.

— А насчет моей жены?

— Мисс Мейтленд. Что вас интересует?

— Ей можно быть со мной?

— А. Ваша жена-англичанка.

— Она ирландка. Выходите за ирландца — становитесь ирландкой. Это закон.

— Закон, мистер Хьюз. Люди вечно твердят *нам* о законе. Меня часто ставило в тупик их мнение о том, что законно, а что незаконно.— Он посмотрел на карту Средиземноморья, висевшую на стене позади Франклина.— Законно ли, например, бомбить лагеря беженцев? Я много раз пытался обнаружить закон, который это разрешает. Но мы, похоже, затеяли долгий спор, а мне иногда кажется, что споры бессмысленны, так же как бессмыслен закон.— Он пожал плечами, отпуская Франклина.— Что же касается мисс Мейтленд, то будем надеяться, что ее национальность, как бы это сказать, не сыграет роли.

Франклин попытался подавить дрожь. Бывают случаи, когда уклончивые слова звучат гораздо страшнее, чем прямая угроза.

— А вы не скажете мне, когда это может... сыграть роль?

— Они глупы, вот в чем дело. Они глупы, потому что думают, что мы глупы. Они лгут самым откровенным образом. Говорят, что нельзя так скоро все уладить. Конечно же, можно. Есть такая вещь, как телефон. Они думают, будто научились чему-то благодаря прежним случаям подобного рода, но у них не хватает ума понять, что и мы кое-чему научились. Мы знаем их тактику, лгать и тянуть время, все эти попытки фамильярничать с борцами за свободу. Все мы знаем. И насколько у людей хватает сил, тоже знаем. Так что ваши правительства заставляют нас делать то, о чем мы предупреждали. Если бы они сразу начали

переговоры, проблем бы не было. Но они всегда начинают слишком поздно. Им же хуже.

— Нет,— сказал Франклин.— Это нам хуже.

— Вам, мистер Хьюз, думаю, еще не время беспокоиться.

— А когда будет время?

— Я думаю, вам вообще не стоит беспокоиться.

— Когда будет время?

Главарь помолчал, затем с сожалением повел рукой:

— Наверное, завтра. Сроки уже установлены, видите ли. Мы говорили им об этом с самого начала.

Какой-то частью своего существа Франклин Хьюз не мог поверить в происшедшую беседу. Другая часть хотела сказать, что он всей душой на стороне захватчиков, а его гэльский паспорт, между прочим, означает, что он член ИРА, и пусть ему, ради Христа, разрешат уйти в свою каюту, лечь и забыть обо всем. Но вместо этого он повторил: — Сроки?

Араб кивнул. Не думая, Франклин спросил: — По одному в час? — Он немедленно пожалел о своем вопросе. Нельзя было подавать этому типу идеи.

Араб покачал головой.

— По двое. Двоих каждый час. Если не поднимать ставки, они не относятся к вам всерьез.

— Боже. Прийти на корабль и просто вот так убивать людей. Просто вот так?

— А по-вашему, было бы лучше, если бы мы объяснили им, почему мы их убиваем? — Его тон был насмешлив.

— Ну да, конечно.

— По-вашему, они проникнутся к нам сочувствием? — Теперь в его голосе было больше издевки, чем насмешки. Франклин умолк. Он думал, когда же они начнут убивать.— Спокойной ночи, мистер Хьюз,— сказал главарь гостей.

На ночь Франклина поместили в одной из офицерских кают, вместе с семьей шведов и тремя японскими парами. Как он понял, среди всех пассажиров им угрожала наименьшая опасность. Шведам — потому что их нация всегда соблюдала нейтралитет; Франклину и японцам, возможно, потому, что Япония и Ирландия в недавнее время порождали террористов. До чего нелепо. Шестерых японцев, приехавших в Европу изучать ее культуру, никто не спрашивал, поддерживают ли они различных политических убийц в своей собственной стране; Франклина тоже не пытали насчет ИРА. Гэльский паспорт, полученный благодаря случайному генеалогическому выбросу, предполагал возможную солидарность с гостями, и это служило защитой его хозяину. На самом деле Франклин ненавидел ИРА, точно так же как любую другую политическую группировку, мешавшую или способную помешать нелегкой работе — быть Франклином Хьюзом. Кажется — согласно своим принципам проведения ежегодного отдыха он не уточнял этого,— Трициа гораздо более сочувственно относилась к заполонившим мир бандам жестоких маньяков, которым суждено было роковым образом повлиять на карьеру Франклина Хьюза. Однако ее посадили к британским дьяволам.

Сегодня в их каюте почти не разговаривали. Японцы держались обособленно; шведы коротали вечер, развлекая детей беседой о доме и Рождестве и английских футбольных командах; Франклина же тяготило бремя услышанного от главаря. Он был напуган и угнетен; но вынужденная изоляция, казалось, превращала его в пособника террористов. Он попробовал думать о двух своих женах и дочери, которой теперь должно быть уже... ну да, пятнадцать — ему всегда приходилось вспоминать год ее рождения и считать оттуда. Надо бы вырываться к ней почаще. Может, даже взять ее с собой, когда будут снимать очередной цикл. Пусть поглядит на съемки его шоу-экскурсии по Форуму; ей понравится. Так куда же все-таки деть камеру? Может, снимать в движении? И добавить статистов в тогах и сандалиях — да-да, это будет самое то...

На следующее утро Франклина привели в каюту начальника хозчасти. Главарь гостей махнул ему, предлагая садиться.

— Я решил последовать вашему совету.

— Моему совету?

— Переговоры, к несчастью, идут плохо. То есть вовсе не идут. Мы определили свою позицию, но они никак не желают определить свою.

— Они?

— Они. Так что, если в ближайшем будущем ничего не изменится, нам придется оказать на них давление.

— Оказать давление? — Даже Франклин, который не смог бы сделать карьеру на телевидении, не будучи мастером по части эвфемизмов, был разгневан.— Вы имеете в виду — убивать людей?

— Как это ни грустно, другого давления они не понимают.

— А вы пробовали?

— Да, конечно. Мы пробовали сидеть сложа руки и ждать помощи от мирового общественного мнения. Пробовали быть хорошими и надеяться, что в награду нам вернут нашу землю. Могу уверить вас, что эти методы не работают.

— А почему не попробовать что-нибудь среднее?

— Эмбарго на американские товары, мистер Хьюз? Не думаю, что они примут это всерьез. Ограничение импорта «шевроле» в Бейрут? Нет, к сожалению, есть люди, которые понимают только давление определенного сорта. Мир движется вперед только...

— Только благодаря убийствам? Веселенькая философия.

— В мире мало веселенького. Ваши исследования древних цивилизаций должны были бы научить вас этому. Ну да ладно... Я решил последовать вашему совету. Мы объясним пассажирам, что происходит. Как они оказались участниками истории. И какова эта история.

— Они наверняка это оценят.— Франклин почувствовал тошноту.— Рассказать им, что да как.

— Вот-вот. Видите ли, в четыре часа необходимо будет начать... начать убивать их. Конечно, мы надеемся, что такой необходимости не возникнет. Однако же... Вы правы, если это возможно, им надо объяснить положение дел. Даже солдат знает, за что воюет. Будет справедливо, если пассажиры узнают тоже.

— Но они не воюют.— Тон араба, так же как и его слова, раздражал Франклина.— Они штатские люди. Поехали отдыхать. Они не воюют.

— Они больше не штатские,— ответил араб.— Ваши правительства другого мнения на этот счет, но они не правы. Ваше ядерное оружие, разве оно только против армии? Сионисты, по крайней мере, это понимают. У них воюет весь народ. Убить штатского сиониста — значит убить солдата.

— Послушайте, но у нас на корабле нет штатских сионистов, Бог с вами. Здесь только люди вроде несчастного старого Толбота, который потерял паспорт и превратился в американца.

— Тем более им следует все объяснить.

— Понятно,— сказал Франклин и не смог сдержать ухмылку.— Так вы хотите собрать пассажиров и объяснить им, что они на самом деле сионистские солдаты и поэтому вы намерены убить их.

— Нет, мистер Хьюз, вы не поняли. Я ничего объяснять не собираюсь. Они не станут меня слушать. Нет, мистер Хьюз, все это объясните им вы.

— Я? — Франклин не испугался. Наоборот, он почувствовал решимость.— Ни за что. Делайте свое грязное дело сами.

— Но, мистер Хьюз, вы же профессиональный лектор. Я слушал вас, хоть и недолго. У вас так хорошо получается. Вы могли бы описать все с исторической точки зрения. Мой помощник даст вам любую необходимую информацию.

— Не нужна мне никакая информация. Делайте свое грязное дело сами.

— Мистер Хьюз, честное слово, я не могу вести переговоры с двумя

сторонами одновременно. Сейчас девять тридцать. У вас есть полчаса на размышление. В десять вы скажете, что прочтете лекцию. Затем у вас будет два часа, три часа, если понадобится, на беседу с моим помощником.-- Франклин качал головой, но араб бесстрастно продолжал: — Затем вы должны будете к трем часам подготовить лекцию. Думаю, ее продолжительность составит минут сорок пять. Я, разумеется, буду слушать вас с величайшим интересом и вниманием. А в три сорок пять, если меня удовлетворит то, как вы объясните ситуацию, мы в благодарность признаем ирландское гражданство вашей недавно обретенной жены. Это все, что я хотел вам сказать; в десять часов вы передадите мне свой ответ.

Вернувшись в каюту к шведам и японцам, Франклин вспомнил цикл телепередач о психологии, который его как-то попросили провести. Цикл отменили после первой же пробной пленки, о чем никто особенно не жалел. Среди прочего в нем рассказывалось об эксперименте по определению грани, за которой собственные интересы побеждают альтруизм. В такой формулировке это звучало почти солидно; однако сам опыт показался Франклину отвратительным. Исследователи брали недавно родившую самку обезьяны и помещали ее в специальную клетку. Мать продолжала кормить и ласкать своего детеныша примерно таким же образом, как это делали в пору материнства жены экспериментаторов. Затем они включали ток, и металлический пол клетки постепенно нагревался. Сначала обезьяна беспокойно подпрыгивала, потом долго, пронзительно кричала, потом пыталась стоять по очереди на каждой ноге, ни на секунду не выпуская детеныша из рук. Пол становился все горячее, мучения обезьяны — все заметнее. Наконец жар оказывался нестерпимым, и перед ней, по словам экспериментаторов, вставал выбор между альтруизмом и собственными интересами. Она должна была либо терпеть сильнейшую боль и, возможно, пойти на смерть ради сохранения своего потомства, либо положить детеныша на пол и влезть на него, чтобы избавить себя от дальнейшей пытки. Во всех случаях, раньше или позже, собственные интересы торжествовали над альтруизмом.

Этот эксперимент вызвал у Франклина омерзение, и он был рад, что все закончилось пробным выпуском и ему не пришлось показывать публике такие вещи. Теперь он чувствовал себя примерно как та обезьяна. Ему надо было выбрать один из двух равно отталкивающих вариантов: или бросить свою подругу, сохранив себя незапятнанным, или спасти подругу, объяснив невинным людям, что справедливость требует убить их. И спасет ли это Триш? Франклину не гарантировали даже его собственной безопасности; возможно, в качестве ирландцев их обоих лишь переместят в конец списка смертников, но все же не вычеркнут оттуда. С кого они начнут? С американцев, с англичан? Если с американцев, долго ли придется ждать англичанам? Четырнадцать, шестнадцать американцев — он жестокосердно перевел это в семь-восемь часов. Если они начнут в четыре, а правительства будут стоять на своем, с полуночи начнут убивать англичан. А в каком порядке? Мужчин первыми? Кто подвернется? По алфавиту? Фамилия Триш — Мейтленд. Как раз посередине алфавита. Увидит ли она рассвет?

Он представил себя стоящим на теле Трицни, чтобы уберечь свои обожженные ноги, и содрогнулся. Ему придется прочесть лекцию. Вот в чем разница между обезьяной и человеком. В конце концов человек все-таки способен на альтруизм. Именно поэтому он и не обезьяна. Конечно, вероятнее всего, что после лекции его аудитория сделает прямо противоположный вывод, решит, будто Франклин действует в собственных интересах, спасает свою шкуру гнусным угодничеством. Но в этом особенность альтруизма: человек всегда может быть превратно понят. А потом он им всем все объяснит. Если будет какое-нибудь потом. Если будут они все.

Когда появился помощник, Франклин попросил снова отвести его к главарю. В обмен на лекцию он хотел вытребовать неприкосновенность

для себя и Трициии. Но помощник пришел только за ответом; продолжать переговоры захватчики не собирались. Франклин понуро кивнул. Все равно он никогда толком не умел торговаться.

В два сорок пять Франклина отвели в его каюту и разрешили принять душ. В три он вошел в лекционную, где был встречен самой внимательной в его жизни публикой. Он налил себе из графина затхлой воды, которую никто не позаботился переменить. Почувствовал накат изнеможения, подспудную толчею паники. Всего за день мужчины успели обрасти бородами, женщины смялись. Они уже не походили на самих себя или на тех, с кем Франклин провел десять дней. Может быть, благодаря этому их будет легче убивать.

Прежде чем начать писать самому, Франклин понаторел в искусстве как можно доступнее излагать чужие мысли. Но никогда еще сценарий не будил в нем таких опасений; никогда не ставил режиссер таких условий; никогда не платили ему такой необычной монетой. Согласившись выступать, он поначалу убедил себя в том, что непременно найдет способ сообщить аудитории о вынужденном характере лекции. Придумает какую-нибудь уловку вроде тех фальшивых минойских надписей; или так все преувеличит, выкажет такой энтузиазм по поводу навязанной ему идеи, что публика не сможет не заметить иронии. Но нет, все это не годилось. Ирония, вспомнил Франклин определение одного старого телевизионщика,— это то, чего люди не понимают. А уж в нынешних условиях пассажиры наверняка не станут выискивать ее в словах Франклина. Беседа с помощником только ухудшила дело: помощник дал точные инструкции и добавил, что всякое отклонение от них повлечет за собой не только отказ вывести мисс Мейтленд из группы англичан, но и непризнание ирландского паспорта самого Франклина. Они-то умели торговаться, эти гады.

— Я надеялся,— заговорил он,— что при следующей нашей с вами встрече продолжу рассказ об истории Кносса. К сожалению, как вы знаете и сами, обстоятельства изменились. У нас гости.— Он сделал паузу и поглядел вдоль прохода на главаря, стоящего перед дверьми с охранниками по обе стороны.— Теперь все иначе. Мы в руках других людей. Наша... участь больше от нас не зависит.— Франклин кашлянул. Начало выходило не слишком удачное. Он уже стал сбиваться на иносказания. Единственным его долгом, единственной задачей, которая стояла перед ним как перед профессионалом, было говорить максимально прямо. Франклин никогда не отрицал, что работает на публику и не раздумывая встанет на голову в ведре с селедкой, если это увеличит число его зрителей на несколько тысяч; но где-то в нем крылось остаточное чувство — смесь восхищения и стыда,— заставлявшее его держать на особом счету тех рассказчиков, которые были совсем другими, чем он: тех, что говорили спокойно, своими собственными, простыми словами, и чье спокойствие придавало им вес. Зная, что никогда не будет похож на них, Франклин попытался сейчас следовать их примеру.

— Меня попросили объяснить вам положение дел. Объяснить, как вы... мы... оказались в такой ситуации. Я не специалист по ближневосточной политике, но попробую рассказать все так, как я это понимаю. Для начала нам, наверное, придется вернуться в девятнадцатое столетие, когда до образования государства Израиль было еще далеко...— Франклин вошел в привычный, спокойный ритм, словно боулер, размеренно бросающий мячи. Он чувствовал, что слушатели понемногу расслабляются. Обстоятельства были необычны, но им рассказывали интересную историю, и они открывались навстречу рассказчику, как испокон веку делала публика, желающая знать, откуда все пошло, жаждущая, чтобы ей объяснили мир. Франклин изобразил идиллическое девятнадцатое столетие — сплошь кочевники, да козопасы, да традиционное гостеприимство, позволяющее вам по три дня проводить в чужом жилище, не подвергаясь расспросам о цели вашего визита. Он говорил о ранних поселениях сионистов и о западных концепциях собственности на землю.

О Декларации Бальфура. Об иммиграции евреев из Европы. О второй мировой войне. О вине европейцев в том, что за фашистский геноцид пришлось платить арабам. О евреях, которых преследования нацистов научили тому, что единственный способ уцелеть — это самим стать такими же, как нацисты. Об их милитаризме, экспансионизме, расизме. Об их упреждающем ударе по египетскому воздушному флоту в начале Шестидневной войны, который был полным моральным эквивалентом Перл-Харбора (Франклин умышленно не смотрел на японцев — и на американцев — ни в этот момент, ни в течение еще нескольких минут). О лагерях беженцев. О краже земли. Об искусственной поддержке израильской экономики долларом. О зверствах по отношению к обездоленным. О еврейском лобби в Америке. Об арабах, просивших у западных держав лишь той справедливости, какую уже нашли у них евреи. О печальной необходимости прибегнуть к насилию, уроке, преподанном арабам евреями точно так же, как прежде — евреям нацистами.

Пока Франклин использовал только две трети отведенного времени. Наряду с потаенной враждебностью части публики он, как ни странно, ощущал и расползшуюся по залу дремоту, точно люди уже слышали эту историю прежде и не поверили ей еще тогда.

— И вот мы подходим к настоящему моменту.— Это снова пробудило в них напряженное внимание; несмотря на экстраординарность ситуации, Франкли почувствовал, как по коже у него побежали мурашки удовольствия. Он был словно гипнотизер, которому достаточно щелкнуть пальцами, чтобы заворожить зрителей.— Мы должны понять, что на Ближнем Востоке больше не осталось мирных граждан. Сионисты понимают это, западные правительства — нет. Мы, увы, теперь тоже не мирные граждане. В этом виноваты сионисты. Вы... мы... взяты в заложники группировкой «Черный гром» с целью добиться освобождения троих ее членов. Возможно, вы помните,— хотя Франклин сомневался в этом, ибо случаи подобного рода были часты, почти взаимозаменяемы,— что два года назад американские воздушные силы принудили гражданский самолет с тремя членами группы «Черный гром» на борту совершить посадку в Сицилии, что итальянские власти одобрили этот акт пиратства и в нарушение международных законов арестовали троих борцов за свободу, что Британия защищала действия Америки в ООН и что те трое сейчас находятся в тюрьмах Франции и Германии. Группа «Черный гром» не намерена подставлять другую щеку, и теперешний оправданный... налет,— Франклин произнес это слово с осторожностью, взглянув на главаря, словно показывая, что не хочет опускаться до эвфемизма,— следует считать ответом на тот акт пиратства. К несчастью, западные правительства не проявляют такой же заботы о своих гражданах, как «Черный гром» — о своих борцах за свободу. К несчастью, они до сих пор не соглашаются отпустить заключенных. К сожалению, у «Черного грома» нет иного выбора, кроме как осуществить задуманную угрозу, о которой западным правительствам было недвусмысленно сообщено с самого начала...

В этот момент крупный неспортивного вида американец в голубой рубашке сорвался с места и побежал по проходу к арабам. Их пулеметы не были установлены в режим стрельбы одиночными выстрелами. Было очень много шуму и сразу вслед за тем — много крови. Итальянец, сидевший на линии огня, получил в голову пулю и упал на колени к жене. Несколько человек встали и быстро сели опять. Главарь группы «Черный гром» взглянул на часы и махнул Хьюзу, чтобы тот продолжал. Франклин сделал большой глоток несвежей воды. Он пожалел, что под рукой нет чего-нибудь покрепче.

— Из-за упрямства западных правительств — снова заговорил он, стараясь, чтобы голос его звучал теперь как можно официальнее, без прежних хьюзовских интонаций,— и их безрассудного пренебрежения человеческими жизнями возникла необходимость принести жертвы. Как я пытался объяснить ранее, это исторически неизбежно. Группа «Черный

гром» чрезвычайно надеется на то, что западные правительства незамедлительно отойдут от принятой ими тактики. В качестве последнего средства, которое должно вразумить их, необходимо будет казнить по двое из вас... из нас... по истечении каждого часа до начала переговоров. Группа «Черный гром» решается на подобные действия скрепя сердце, но западные правительства не оставляют ей выбора. Порядок экзекуции установлен в соответствии со степенью вины западных стран в происходящем на Ближнем Востоке.— Франклин уже не смотрел на свою аудиторию. Он понизил голос, но не мог позволить себе перейти предел слышимости.— Сначала американцы-сионисты. Потом остальные американцы. Потом англичане. Потом французы, итальянцы и канадцы.

— Какого хера вы путаете Канаду в ближневосточные дела? Какого хера? — закричал человек, на голове у которого по-прежнему была панама с кленовым листом. Жена не давала ему встать. Франклин, чувствуя, что жар под ногами становится нестерпимым, машинально сгреб листочки, ни на кого не глядя, сошел с возвышения, пересек зал, испачкав свои каучуковые подошвы в крови мертвого американца, миновал троих арабов, которые могли бы пристрелить его, если бы захотели, и, никем не сопровождаемый, беспрепятственно добрался до своей каюты. Там он запер дверь и лег на койку.

Очень скоро на палубе загремели выстрелы. С пяти до одиннадцати, ровно через каждые шестьдесят минут, словно жуткая пародия на бой городских часов, снаружи раздавался треск пулеметов. Затем слышались всплески — это выбрасывали в море очередную пару. В начале двенадцатого американскому отряду специального назначения из двадцати двух человек, преследовавшему «Санта-Юфимию» в течение пятнадцати часов, удалось попасть на борт. В стычке погибли еще шесть пассажиров, включая мистера Толбота, почетного американского гражданина из Киддерминстера. Из восьмерых гостей, помогавших кораблю грузиться на Родосе, были убиты пятеро, двое — после того как сдались.

Ни главарь, ни его помощник не уцелели, поэтому не нашлось никого, кто подтвердил бы рассказ Франклина Хьюза о заключенной им с арабами сделке. Трисия Мейтленд, которая, сама о том не ведая, на несколько часов стала ирландкой и которая во время лекции Франклина Хьюза вернула свое кольцо на прежнее место, никогда больше с ним не разговаривала.

3. Религиозные войны

Источник: Archives Municipales de Besançon (section CG, boîte 377a) [1]. *Нижеследующее дело, отчет о котором до сих пор не публиковался, представляет особый интерес для историков права, поскольку в роли procureur pour les insectes* [2] *выступал знаменитый юрист Бартоломе Шасене (также Шасане и Шасенье), позднее первый председатель высшего суда Прованса. Шасене, 1480 года рождения, сделал себе имя на церковном суде Отёна, защищая крыс, которые обвинялись в злонамеренном истреблении урожая ячменя. Приводимые здесь документы, начиная с pétition des habitans* [3] *и до заключительного приговора суда, не являются полным отчетом — отсутствует, например, опрос свидетелей, могущих быть кем угодно, от местных крестьян до знаменитых экспертов по образу жизни подсудимых,— однако имеющиеся записи передают показания очевидцев в целом и часто содержат точные ссылки на них, поэтому читатель может получить вполне адекватное представление о ходе разбирательства. По обычаю той поры заявления сторон и conclusions du procureur épiscopal* [4] *делались на французском, в то время как приговор суда был торжественно оглашен на латыни.*

---

[1] Муниципальные архивы Безансона (секция CG, ящик 377a) *(франц.)*.
[2] Доверенного лица насекомых *(франц.)*.
[3] Прошения жителей *(франц.)*.
[4] Заключение епископального прокурора *(франц.)*.

(Примечание переводчика: Все материалы в рукописи идут подряд, и почерк везде один и тот же. Таким образом, мы имеем здесь не оригинальные документы, которые составлялись клерками при каждом законнике, а результат труда третьей стороны, возможно, кого-нибудь из судей, не стремившегося записать все выступления целиком. Сличение с содержимым ящиков 371—379 заставляет предположить, что дело в его настоящем виде было одним из ряда показательных или типичных судебных процессов, используемых для подготовки юристов. Эту догадку подтверждает тот факт, что из всех участников разбирательства по имени назван только Шасене, словно студентам предлагалось учиться мастерству на выступлениях знаменитого защитника независимо от исхода тяжбы. Рукопись выполнена почерком первой половины шестнадцатого столетия, поэтому если она и является чьей-то посторонней версией, что́ не исключено, то все же принадлежит перу современника. Мною были приложены все усилия, чтобы передать местами экстравагантный стиль выступлений — особенно безымянного procureur des habitans [1]— соответствующим английским.)

Pétition des habitans

Мы, жители Мамироля Безансонской епархии, будучи преисполненными благоговения перед всемогущим Господом и смиренного почтения к супруге его Церкви и будучи вместе с тем наипослушнейшими и наиаккуратнейшими плательщиками причитающихся с нас десятин, сим документом от 12 августа 1520 года настоятельно и убедительно просим суд освободить и избавить нас от преступных посягательств тех злоумышленников, кои осаждают нас уже многие годы, кои навлекли на нас Божий гнев и позор на наше селение и кои угрожают всем нам, богобоязненным и наипокорнейшим слугам Церкви нашей, мгновенной и ужасной смертью, грозящей низринуться на нас сверху подобно удару грома, которая непреложно настигнет нас, если суд в своей глубочайшей мудрости скорым и справедливым решением не изгонит сих злоумышленников из нашего поселка, повелев им уйти по их отвратности и зловредности, под страхом осуждения, анафемы и отлучения от Святой Церкви и Божьего покровительства.

Plaidoyer des habitans [2]

Господа, сии бедные и смиренные истцы, несчастные и удрученные, предстали перед вами, как некогда жители островов Минорки и Мальорки предстали перед могущественным Августом Цезарем, прося его употребить свою справедливую власть, дабы избавить их острова от кроликов, истребляющих урожаи и лишающих поселян средств к существованию. И если Август Цезарь оказался в силах помочь своим верным подданным, то насколько проще сему суду снять с рамен истцов возложенное на них гнетущее бремя, подобное бремени великого Энея, который вынес своего отца Анхиза из горящего града Трои. Старый Анхиз был ослеплен ударом молнии, и сии истцы ныне как бы ослеплены, ввергнуты во тьму от света Божьей благодати злонамеренным поведением тех, что проходят ответчиками по данному делу и, однако, даже не явились сюда, дабы попытаться опровергнуть выдвинутые против них обвинения, выказывая тем презрение к сему судилищу и хуля самого Господа, предпочитая скорее похоронить себя в греховной тьме, нежели предстоять свету истины.

Знайте же, господа, то, что было уже поведано вам очевидцами, людьми смиренной веры и безупречной честности, простыми жалобщиками, столь трепещущими сего суда, что из их уст может изливаться лишь чистая влага истины. Они свидетельствовали о событиях двадцать

[1] Доверенного лица жителей *(франц.)*.
[2] Заявление со стороны жителей *(франц.)*.

второго дня месяца апреля сего года, дня ежегодного паломничества Гуго, Епископа Безансонского, в скромную церковь Св. Михаила, находящуюся в их поселке. Они описали вам в подробностях, кои пламенеют у вас в памяти подобно раскаленной пещи, откуда вышли невредимыми Седрах, Мисах и Авденаго, как по ежегодному обычаю прихорашивали и приуготовляли свою церковь, дабы она стала достойной лицезрения Епископа, как украсили алтарь цветами и заново укрепили дверь против нашествия животных, но как, сумев замкнуть засовы перед свиньями и коровами, они оказались не способны замкнуть их перед теми дьявольскими bestioles [1], кои проникают в малейшую дырочку, подобно тому как Давид отыскал щелку в доспехах Голиафа. Они рассказали вам, как спустили на веревке со стропил Епископский трон, хранящийся там привязанным целый год и спускаемый лишь в день паломничества Епископа, дабы какой-нибудь ребенок или чужеземец не мог случайно сесть на него и тем самым осквернить его, каковая традиция скромна и благочестива и весьма достойна похвалы в очах Господа и сего суда. Как сей трон, спущенный сверху, поместили пред алтарем, что делалось всякий год и иного не мог бы припомнить даже старейший Мафусаил тех мест, и как благоразумные поселяне охраняли его в течение всей ночи перед прибытием Епископа, так страшились они осквернения трона. И как на следующий день Гуго, Епископ Безансонский, прибыл, совершая ежегодное паломничество, подобно Гракху, приходящему к возлюбленному народу своему, в эту скромную церковь Св. Михаила, и возрадовался, узрев их рвение и чистоту веры. И как, благословив сначала, по своему обычаю, всех жителей Мамироля со ступеней храма, он прошествовал по главному нефу, сопутствуемый на почтительном расстоянии своей паствой, и пал ниц, как был, во всей роскоши своего облачения, перед алтарем, подобно Иисусу Христу, павшему ниц пред своим Всемогущим Отцом. Как он встал, поднялся по ступеням к алтарю, обратил свой лик к прихожанам и опустился на трон. О, злосчастный день! О, злосчастные покусители! И как Епископ упал, ударясь головой об алтарную ступень, и был ввергнут против своей воли в состояние неразумия. И как, по отбытии Епископа и его свиты, унесшей Епископа в состоянии неразумия, устрашенные истцы осмотрели Епископский трон и обнаружили в ножке, рухнувшей, словно стены Иерихона, следы гнусного и противоестественного вторжения древесных червей, и как сии черви, тайно и исподволь совершившие свой дьявольский труд, так проели ножку, что Епископ низринулся, подобно могучему Дедалу, с сияющих небес во тьму неразумия. И как, весьма убоясь Божьего гнева, истцы забрались на стропила церкви Св. Михаила и осмотрели раму, на которой трон покоился триста шестьдесят четыре дня в году, и как они обнаружили, что черви проникли и в раму, так что она рассыпалась, едва они прикоснулись к ней, и кощунственно упала вниз на алтарные ступени, и как брусья крыши оказались коварно источены сими дьявольскими bestioles, что заставило истцов опасаться за собственную жизнь, ибо они столь же бедны, сколь и набожны, и их бедность не позволяет им выстроить новую церковь, а их набожность велит им поклоняться их Пресвятому Отцу столь же ревностно, сколь и прежде, и в освященном месте, а не среди полей и лесов.

Так прислушайтесь же, господа, к жалобе сих смиренных поселян, безответных, как трава под ногою. Они привыкли ко многим бедствиям: к саранче, затмевающей небо, как длань Господня, что застит солнце, к полчищам крыс, опустошающим их поля, как свирепый вепрь окрестности Калидона, о чем повествует Гомер в первой книге «Илиады», к долгоносику, истребляющему зерно в их зимних амбарах. Сколь же пагубнее и зловреднее сия новая напасть, грозящая уничтожить зерно, которое поселяне накапливают на Небесах своею кроткою набожностью и выплатами десятины. Ибо сии злоумышленники, даже и сегодня проявившие

---

[1] Зверюшками, козявками *(франц.)*.

неуважение к вашему суду, оскорбили самого Господа, напав на его Дом, оскорбили его супругу Церковь, ввергнув Гуго, Епископа Безансонского, во тьму неразумия, оскорбили истцов, угрожая обрушить остов и покрытие их церкви на невинные головы детей и младенцев в тот час, когда весь поселок возносит молитвы, а посему будет правильно, разумно и необходимо приказать и повелеть этим животным оставить свое поселение и удалиться из Дома Господня, а также приговорить их к необходимой анафеме и отлучению, как предписано нашей Пресвятой Матерью Церковью, за которую неустанно молятся сии бедные истцы.

Plaidoyer des insectes [1]

Итак, господа, поскольку вам было угодно назначить меня доверенным лицом bestioles в этом деле, я попытаюсь объяснить суду, почему обвинения в их адрес несостоятельны и почему иск должен быть отклонен как необоснованный. Признаться, я удивлен тем, что о моих клиентах, не совершивших никакого преступления, говорят как о злейших преступниках, и тем, что мои клиенты, будучи бессловесными, вызваны сюда для объяснений, словно в своих ежедневных хлопотах они привыкли пользоваться человеческой речью. Однако дар речи есть у меня, и я со всем смирением попробую сослужить службу их безгласным устам.

Так как вы дозволили мне выступать за этих несчастных животных, я, во-первых, замечу, что мои подзащитные неподсудны данному суду и что направленный им вызов лишен законной силы, ибо предполагает, что его получатели наделены разумом и волей и тем самым способны как совершить преступление, так и ответить на вызов в суд по поводу вышеуказанного преступления. Сие же места не имеет, ибо мои клиенты суть низшие животные, направляемые только инстинктом, что подтверждается в первой книге Пандектов, в параграфе «Si quadrupes»,[2] где сказано: «Nec enim potest animal injuriam fecisse, quod sensu caret» [3].

Во-вторых, в качестве дополнения и альтернативы предыдущему, я утверждаю, что если бы случаи с bestioles и подлежали юрисдикции суда, настоящий трибунал не имел бы законных оснований рассматривать это дело, ибо существует хорошо известное и давно установленное правило, что обвиняемых нельзя судить in absentia [4]. Здесь прозвучало заявление, что древесным червям была отправлена стандартная повестка, предписывающая им в назначенный день, а именно сегодня, явиться на суд, они же дерзко отказались явиться, тем самым лишась обычного права не быть судимыми in absentia. Против этого аргумента я выдвигаю два возражения. Первое: если даже вызов в суд был составлен должным образом, имеем ли мы доказательства того, что он получен моими подзащитными? Ибо известно, что повестка должна быть не только составлена, но и доставлена, а поверенный жителей Мамироля не указал, каким способом древесные черви подтвердили получение повестки. И второе возражение, еще более веское: в анналах права имеется строжайше сформулированный принцип, согласно которому ответчику следует извинить неявку в суд, если может быть показано, что значительное расстояние, трудности или опасности пути не позволяют ему предстать перед судом без всякого риска. Если бы вы вызвали на суд крысу, могли бы вы ожидать, что она доберется сюда, минуя город, полный кошек? А в данном случае дорога от места обитания bestioles до суда представляет для них непреодолимое препятствие не только вследствие своей чудовищной дальности, но и из-за смертельной угрозы, которую несут с собой хищники, всегда готовые покуситься на жизнь этих кротких созданий. Следовательно, они могут,

---

[1] Заявление со стороны насекомых *(франц.)*.

[2] «Если четвероногое» *(лат.)*.

[3] Ведь не может животное совершить правонарушение, ибо оно лишено разума *(лат.)*.

[4] В их отсутствие *(лат.)*.

ничем не рискуя, в рамках законности и со всем уважением к суду вежливо отказаться выполнить предписание.

В-третьих, вызов составлен некорректно, ибо он адресован древесным червям, в настоящее время проживающим в церкви Св. Михаила поселка Мамироля. Относится ли это ко всем без исключения bestioles, находящимся в церкви? Ведь многие из них ведут мирную жизнь, не представляя какой бы то ни было угрозы для истцов. Разве следует вызывать в суд весь поселок лишь потому, что в нем завелась шайка бандитов? Это неоправданно. Далее, существует правило, согласно которому судом должна быть установлена личность ответчика. Мы рассматриваем два преступных деяния, повреждение ножки Епископского трона и повреждение крыши церкви, но даже минимальная осведомленность об образе жизни моих подзащитных позволяет понять, что те черви, которые в настоящее время проживают в ножке, не могут иметь никакого касательства к делу о крыше, а те, которые проживают в крыше, не могут иметь никакого касательства к делу о ножке. Выходит, что две различные стороны обвиняются в двух различных преступлениях, причем в повестке не проведено разделения сторон и преступлений, следовательно, вызов неспецифицирован и потому недействителен.

В-четвертых, в качестве независимого пункта я должен заявить, что судить bestioles подобным образом противно не только Человеческому и Церковному законам, но также и закону Божьему. Ибо откуда взялись те крошечные создания, на которых торжественно обращается вся мощь сего суда? Кто создал их? Не кто иной, как Всемогущий Господь, создавший всех нас, и высших, и низших. И не читаем ли мы в первой главе священной книги Бытия, что Бог сотворил зверя земного по роду его, скотов по роду их и всех животных, пресмыкающихся по земле, по роду их, и увидел Бог, что это хорошо? И, далее, разве не дал Бог зверям и всем гадам земным всякое семя, какое есть на земле, и всякое дерево, какое есть на земле, и всякий плод всякого дерева в пищу? И, еще далее, разве не дал он им всем наказа плодиться и размножаться и наполнять землю? Создатель не повелел бы зверям и всем гадам земным размножаться, если бы в своей бесконечной мудрости не обеспечил их пропитанием, и он это сделал, сказав, что дает им семя, и плод, и деревья в пищу. Но чем же и были заняты эти кроткие bestioles с самого дня Творения, как не осуществлением своих неотъемлемых прав, дарованных им во время оно, прав, которые Человек не властен ни урезáть, ни отменять? Да, древесные черви порой выбирают для своего обитания места, где могут причинить Человеку неудобства, но это еще не повод бунтовать против законов Природы, установленных при Сотворении мира, ибо такой бунт есть прямое и дерзкое неповиновение Творцу. Господь вдохнул жизнь в древесных червей и дал им деревья земные в пищу; сколь же самонадеянно и опасно для нас было бы идти наперекор Божьей воле. Нет, я скорее предложил бы суду направить свое внимание не на сомнительные злодеяния кротчайших из тварей, а на злодеяния самого человека. Господь ничего не делает без цели, и то, что он позволил древесным червям поселиться в церкви Св. Михаила, является не чем иным, как предупреждением и наказанием человечества за его грехи. То, что червям было позволено населить церковь, а не какой-нибудь другой дом, является, утверждаю я, еще более серьезным предупреждением и наказанием. Неужели люди, представшие перед судом в роли истцов, так уверены в своей смиренности и христианских добродетелях, что берутся обвинять кротчайших животных, не обвинив сначала самих себя? Бойтесь греха гордыни, говорю я этим истцам. Вытащите бревно из своего глаза, прежде чем пытаться достать соринку из чужого.

В-пятых, и в-последних, procureur pour les habitans требует от суда обрушить на bestioles тот громовой удар, что известен под именем отлучения. В качестве независимого пункта я считаю своим долгом предупредить суд, что такая кара была бы и несоответствующей, и незаконной. Поскольку отлучение лишает грешника возможности общаться

с Богом, запрещает ему вкушать хлеб и вино, которые суть тело и кровь Христовы, изгоняет его из лона Святой Церкви с ее светом и теплом, то разве можно считать законным отлучение зверя полевого или гада земного, которые никогда и не являлись причастниками Святой Церкви? Нельзя, в первую очередь, лишать подсудимого тех благ, которыми он никогда не обладал. Это юридически неграмотно. А во-вторых, отлучение — кара великая и ужасная, она ввергает наказуемого в кромешную тьму, навеки лишает его света и благости Божьей. Возможно ли признать такую кару годной для bestiole, которая не имеет бессмертной души? Возможно ли обречь подсудимого на вечные муки, если он не обладает вечной жизнью? Эти существа не могут быть изгнаны из Церкви, ибо они не ее члены; как говорит апостол Павел, «судите внутренних, но не внешних».

Итак, в свете изложенных соображений я предлагаю прекратить дело и отклонить иск как необоснованный, подзащитных же моих оправдать и освободить от всякого дальнейшего судебного преследования.

Бартоломе Шасене, юрист.

Réplique des habitans [1]

Господа, для меня большая честь вновь выступать перед вашим почтеннейшим судом, моля о справедливости, как та несчастная, обиженная мать, что молила Соломона вернуть ей дитя. Словно Улисс знаменитому Аяксу, буду я противоборствовать адвокату bestioles, представившему вам много аргументов, пестротою своей подобных Иезавели.

Во-первых, он утверждает, будто сей суд не имеет прав и полномочий судить bestioles за совершенные ими в Мамироле тяжкие преступления, и аргументирует это тем, что в глазах Божьих мы не лучше древесных червей, не выше их и не ниже, а потому не обладаем правом вершить над ними суд подобно Юпитеру, чей храм был на Тарпейской скале, откуда сбрасывали предателей. Но я опровергну это, подражая Господу нашему, изгнавшему менял из Иерусалимского храма, и вот каким образом. Разве человек не выше животных? Разве не явствует из священной книги Бытия, что животные, сотворенные прежде человека, были сотворены именно ради его пользы? Разве не дал Господь Адаму владычества над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всеми тварями, пресмыкающимися по земле? Разве не нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым? Разве не было владычество человека над животными подтверждено Псалмопевцем и повторно отмечено апостолом Павлом? Но как же может человек владычествовать над животными и не иметь права карать их за их злодеяния? Далее, сие право вершить над животными суд, которое столь упорно отрицает адвокат bestioles, было даровано человеку самим Богом, о чем открыто свидетельствует священная книга Исхода. Разве не заповедал Господь Моисею священного закона — око за око и зуб за зуб? И не продолжал ли он так: если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола непременно следует побить камнями и мяса его не есть. Разве священная книга Исхода не проясняет таким образом закон? И не идет ли она дальше, а именно: если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, то продать живого вола и разделить пополам выручку, а также и убитого вола разделить пополам? Не заповедал ли так Господь и не дозволил ли человеку судить животных?

Во-вторых, касательно того, что древесных червей не следует судить, ибо они не смогли прибыть на суд. Однако они были призваны сюда в соответствии со всеми существующими правилами. Они были призваны, как Евреи для уплаты дани Августу Цезарю. И разве Израильтяне не повиновались? Кто из присутствующих здесь стал бы препятствовать bestioles явиться на суд? Мои смиренные истцы могли бы пожелать,

[1] Ответная речь жителей *(франц.)*.

чтобы они не явились, и с этой целью предать огню ножку трона, ввергнувшего Гуго, Епископа Безансонского, в состояние неразумия после удара головой об алтарную ступень, но, будучи христианами, воздержались от этого и предпочли вынести дело на рассмотрение вашего наипочтеннейшего суда. Так какого же врага могли повстречать обвиняемые? Уважаемый адвокат сослался на кошек, едящих крыс. Я не знал, господа, что кошки предпринимали попытки съесть древесных червей по дороге в суд, но если я заблуждаюсь, меня, без сомнения, поправят. Нет, отказ обвиняемых предстать перед вами можно объяснить лишь одним, а именно дерзким и в высшей степени сознательным неподчинением, злостным умолчанием, виновностью, которая слепит глаза, словно явленная Моисею неопалимая купина, тот куст, что пылал, но не сгорал, в точности как их вина, пылающая тем ярче, чем упорнее отказываются они предстать перед судом.

В-третьих, здесь прозвучало, что древесных червей совершенно так же, как и Человека, создал Бог, и что Он дал им семя, и плоды, и деревья в пищу, а стало быть, всякий выбор ими съестного отмечен Божьим благословением. Сие есть главный и важнейший аргумент в пользу bestioles, и я опровергну его следующим образом. Священная книга Бытия говорит нам, что Бог в своей бесконечной милости и щедрости дал зверям полевым и гадам земным всякое семя, и плод, и деревья в пищу. Он дал деревья тем тварям, кои наделены инстинктом пожирать деревья, пусть даже сие служит источником помех и неприятностей для Человека. Но Он не давал им в пищу строений из дерева. Где в священной книге Бытия сказано, что гады, пресмыкающиеся по земле, могут селиться в строеньях из дерева? Разве, дозволяя иным тварям прогрызать растущий дуб, Господь наделил сих тварей и правом прогрызать Дом Божий? Где в Священном Писании Господь дал животным право пожирать Его храмы? И учил ли Господь своих слуг хранить молчание, когда Его храмы пожираются, а Его Епископы повергаются в состояние неразумия? Если свинья съедает освященную облатку, ее вешают за богохульство, и bestiole, избравшая своим обиталищем дом Господень, заслуживает не менее суровой кары.

Далее, в качестве независимого пункта, было заявлено, что Господь создал древесного червя так же, как и Человека, а любая тварь Божья осенена Его благословением, сколь бы мерзостной и зловредной она ни была. Но разве Всемогущий Господь, в своей несравненной мудрости и благоволении, создал долгоносика, дабы он уничтожал наши урожаи, и древесных червей, дабы они уничтожали домы Господни? Наиученейшие мужи нашей Церкви в течение многих веков изучали каждый стих Священного Писания, словно воины Ирода, разыскивающие невинных младенцев, и не нашли ни единой главы, ни единой строки, ни единой фразы, где упоминалось бы о древесных червях. И потому я ставлю перед судом вопрос, главнейший во всем деле: а были ли вообще сии черви на Ноевом ковчеге? Священные тексты не содержат упоминаний о том, что древесные черви поднимались на борт величественного корабля Ноя или покидали сей корабль. Да и могло ли это быть, ибо разве не из дерева был построен Ковчег? Так ужели Господь в своей вековечной мудрости допустил бы на него существо, чья ежедневная деятельность могла бы повлечь за собою кораблекрушение и трагическую гибель Человека и всех Божьих тварей? Возможно ли хотя бы помыслить нечто подобное? Следовательно, древесных червей на Ковчеге не было, откуда мы заключаем, что они суть твари ущербные и противоестественные, не существовавшие во времена Потопа, сего великого и ужасного бедствия. Откуда появились они на свет, произошло ли это благодаря слепому случаю или по чьему-то коварному умыслу, нам неведомо, однако их пагубность и зловредность очевидны. Сии гнусные создания предались телом Диаволу и тем лишили себя Божьей защиты и покровительства. Разве не доказывает этого со всею ясностью то, каким лукавым и хитроумным образом надругались они над Гуго, Епископом Безансонским?

Разве не так действует Диавол, долгие годы пробираясь тайными и темными путями, дабы затем торжествовать, достигнув своей мерзкой цели? Однако адвокат bestioles заявляет, будто древесные черви имеют благословение Божие во всем, что бы они ни делали, и во всем, что бы они ни ели. Иными словами, он утверждает, будто, пожирая ножку Епископского трона, они действовали с Божьего благословения. А это равносильно утверждению, что Господь своей собственной рукой поразил одного из Епископов своей собственной Святой Церкви, так же как поразил Он Валтасара, как поразил Он Амалика, как поразил Он Мадианитян, как поразил Он Хананеев, как поразил Он Сигона Аморреянина. Не является ли это гнуснейшим богохульством, кое суду надлежит вырвать с корнем, уподобясь в сем Геркулесу, очистившему Авгиевы конюшни?

В-четвертых, здесь было заявлено, что данный суд не вправе выносить решение об отлучении. Но говорить так — значит, отрицать власть, дарованную Господом его возлюбленной супруге Церкви, которую Он поставил владычицей над всем миром, все положив под ноги Ее, как подтверждает Псалмопевец, овец и волов всех, зверей полевых, птиц небесных, и рыб морских, и все, преходящее морскими стезями. Руководимая Духом Святым, Церковь не способна ошибаться. Действительно, разве не читаем мы в наших священных текстах о змеях и других ядовитых пресмыкающихся, чей яд был извлечен из них? Разве не читаем в священной книге Екклесиаста, что «змей непременно ужалит без заговаривания»? Значит, именно в согласии с Божьими заповедями Церковь на протяжении веков использовала свою могущественную, но справедливую власть, карая анафемой и отлучением тех зловредных животных, чье пагубное бытие есть мерзость в очах Господних. Разве не перестали дождь и роса падать на горы Гелвуйские, когда Давид проклял их? Разве Иисус Христос, сын Божий, не повелел срубать и предавать огню всякое дерево, не приносящее доброго плода? А если бессмысленное создание уничтожают за то, что оно не приносит плода, то, конечно же, позволительно и проклясть его, ибо бóльшая кара включает в себя мéньшую: cum si liceat quid est plus, debet licere quid est minus [1]. Разве змей не был проклят в саду Эдемском, что заставило его ползать на чреве до конца жизни своей? А когда город Экс подвергся нашествию змей, поселявшихся в теплых ваннах и кусавших местных жителей, так что многие из них умерли, разве достойный Епископ Гренобльский не отлучил сих змей от Церкви, после чего они покинули город? Таким же образом и Епископ Лозаннский освободил Леманское озеро [2] от заполонивших его угрей. И таким же образом оный Епископ изгнал из вод сего озера пиявиц, едящих семгу, коей благочестивые христиане привыкли питаться в дни поста. А разве Эгберт, Епископ Трирский, не проклял ласточек, чей щебет мешал молитвам благочестивых христиан? И разве Святой Бернар сходным же образом и по сходной же причине не наказал отлучением полчища мух, кои наутро, подобно ордам Сеннахериба, усеяли все вокруг своими мертвыми телами? И разве не посох Святого Магнуса, проповедника Альгауского, изгнал и истребил крыс и мышей всякой породы, а также майских жуков? Так не будет ли справедливо и закономерно, если суд покарает отлучением сих злодеев и осквернителей святого Храма Божия? Адвокат bestioles утверждает, что древесные черви не могут быть отлучены, ибо они не имеют бессмертной души. Но не доказано ли нами, во-первых, что сии черви суть противоестественные твари, коих не было на Ноевом ковчеге, и, во-вторых, что те действия, за которые их привлекли к суду, свидетельствуют об их явной одержимости злым духом, а именно Люцифером. И тем настоятельнее испрашиваю я у суда приговора об их отлучении.

---

[1] Если дозволено большее, должно дозволяться и меньшее *(лат.)*.

[2] Женевское озеро.

Réplique des insectes

Господа, нам представили здесь множество аргументов; некоторые из них унесло ветром, словно отвеянную мякину, а некоторые остались перед вами на земле, словно полноценное зерно. Однако я прошу вас потерпеть еще немного и выслушать мое вторичное возражение поверенному des habitans, чьи аргументы падут, как стены Иерихона перед трубою истины.

Во-первых, мой оппонент упоминает о продолжительном сроке, в течение которого bestioles обитали в ножке Епископского трона, лелея свой темный умысел, и полагает это доказательством того, что они трудились по дьявольскому наущению. Дабы опровергнуть этот вывод, я призвал сюда доброго брата Фролибера, искушенного во всем, что касается жизни гадов земных, да вы ведь и сами знаете, что он пасечник в аббатстве Св. Георгия. И разве он не сообщил вам, что, по мнению людей сведущих, bestioles живут всего лишь несколько кратких лет? Но все мы знаем, что прежде, чем пораженное червем дерево рассыплется, как под Гуго, Епископом Безансонским, впавшим вследствие этого в состояние неразумия, должно смениться не одно человеческое поколение. Следовательно, черви, вызванные сегодня в суд, суть не кто иные, как потомки многих поколений древесных червей, обитавших в церкви Св. Михаила. И если мы подозреваем bestioles в злонамеренности, то мы обязаны приписать ее только первому их поколению, а отнюдь не его невинным потомкам, которые безгрешно жили там, где им довелось родиться. По этой причине я снова заявляю о необоснованности иска. К тому же обвинение не располагает свидетельскими показаниями относительно того, как именно и когда древоточцы проникли в дерево. Поверенный des habitans пытался доказать, что Священное Писание не дает bestioles права селиться в строеньях из дерева. Мы ответим ему тремя возражениями: первое, что Писание в явной форме и не запрещает им этого, второе, что если бы Бог не желал, чтобы они питались строеньями из дерева, Он не наделил бы их соответствующим инстинктом, и третье, что пока не засвидетельствовано противоположное и не доказана вина обвиняемых, право приоритетного обладания деревом должно быть признано за bestioles, а именно, следует считать, что они уже были в дереве, когда его свалил лесоруб, который продал его плотнику, который соорудил из него трон. Не древесные черви узурпировали созданное Человеком, а, наоборот, Человек умышленно разрушил обиталище древесных червей и использовал его в своих целях. Исходя из этого, мы снова требуем признания необоснованности данного иска.

Во-вторых, здесь было заявлено, что древесные черви не плавали на Ковчеге, а посему должны быть признаны одержимыми дьяволом. На это мы ответим двумя возражениями: первое, что в Священном Писании не перечисляются все разновидности Божьих тварей и что по закону факт пребывания на Ноевом ковчеге должен быть признан для всякой твари, если специально не оговорено противное. И второе: обвинитель утверждает, что древесных червей на Ковчеге не было, но если он прав, то становится еще более очевидным, что Человек не получил от Бога власти над ними. Господь наслал на мир губительный Потоп, дабы очистить его, а когда вода спала и открылся новорожденный мир, Он дал Человеку владычество над животными. Но где написано, что Он дал Человеку владычество и над теми животными, которые не путешествовали в Ковчеге?

В-третьих, заявление, будто из наших слов следует, что Гуго, Епископ Безансонский, был ввергнут во тьму неразумия рукою самого Господа, является чудовищной клеветой. Мы этого не утверждали, ибо это было бы богохульством. Но разве не общеизвестно, что пути Господни часто бывают окутаны для нас глубочайшей тайной? Когда Епископ Гренобльский упал с лошади и умер, мы не винили в этом ни Господа, ни лошадь, ни древесных червей. Когда Епископ Констанцский выпал за

борт корабля и утонул в озере, мы не пришли к выводу, что Господь бросил его в воду или что черви испортили киль судна. Когда колонна в монастыре Св. Теодориха рухнула, придавив ногу Епископу Лионскому, отчего он в дальнейшем никогда не расставался с посохом, мы также не винили в этом ни Господа, ни колонну, ни древесных червей. Да, пути Господни зачастую бывают скрыты от нас, но разве не общеизвестно и то, что Господь многократно карал недостойных? Разве не наслал Он на Фараона полчища жаб? Разве не наводнил Он землю Египетскую вшами и свирепыми песьими мухами? Разве не покарал Он того же Фараона воспалением с нарывами, и громом, и градом, и свирепыми полчищами саранчи? Разве не побил Он камнями город Пятерых Царей? Разве не поразил Он язвами даже слугу своего Иова? И именно по этой причине я призвал сюда отца Годрика и испросил у него сведений, касающихся уплаты десятин жителями Мамироля. Не слишком ли часто ссылались они то на капризы погоды, то на неурожай, то на повальные недуги, то на солдат, которые, проходя мимо, убили нескольких сильных юношей из их поселка? Но, несмотря на отговорки, совершенно понятно и очевидно, что в установленном Церковью порядке десятины не выплачивались, что имела место злонамеренная нерадивость, выливавшаяся в неподчинение Господу Богу и его супруге на земле, Церкви. Так разве не ясно из всего этого, что Господь, наславший полчища саранчи, дабы покарать Фараона, и свирепых песьих мух на землю Египетскую, точно так же наслал на церковь древесных червей, дабы покарать жителей за неподчинение? Могло ли это произойти без Божьего соизволения? Неужто Господь столь слаб и робок, что не способен защитить Свой храм от этих крохотных bestioles? Такое сомнение в Его силах было бы явным богохульством. А потому мы должны заключить, что нашествие древесных червей произошло либо по воле Всевышнего, либо с Его одобрения, что Бог послал их, дабы наказать непокорных грешников, и что грешникам следует склониться перед Его гневом, и покаяться в своих грехах, и заплатить положенные десятины. И правда, тут скорее надобны молитва, и пост, и самобичевание, и упование на милость Господню, а отнюдь не анафема и отлучение исполнителей, действующих в согласии с божественной волей и умыслом.

В-четвертых и в-последних, учитывая, что древесные черви суть Божьи твари и как таковые нуждаются в пропитании, подобно тому как нуждается в пропитании человек, а также надеясь, что приговор окажется не столько суровым, сколько милосердным, мы, в свете изложенных соображений, предлагаем суду потребовать от жителей Мамироля, столь неразумно затягивающих выплаты десятин, чтобы они назначили и отвели вышеупомянутым bestioles новое пастбище, где те могли бы мирно кормиться без ущерба для церкви Св. Михаила, и, используя свою законную власть, повелеть этим bestioles перейти на вышеуказанное пастбище. Ибо мои кроткие подзащитные просят и жаждут только одного: чтобы им было позволено жить в мире и во тьме, без постороннего вмешательства и ложных обвинений. Господа, я подвожу итог, утверждая, что иск следует отклонить как необоснованный, и, в свете изложенных соображений, что bestioles должны быть признаны невиновными, и, снова в свете изложенных соображений, что их следует препроводить на новое пастбище. Засим же заявляю о готовности моих клиентов подчиниться решению суда.

Бартоломе Шасене, юрист.

Conclusions du procureur épiscopal

Аргументы, представленные адвокатом ответчиков, являются достаточно вескими и убедительными и должны быть признаны плодом глубоких и серьезных размышлений, ибо не следует суду с легкостью и наобум провозглашать чье-либо отлучение, поскольку, будучи провозглашенным

с легкостью и наобум, оно может не попасть в цель, но вследствие своей исключительной мощи поразить самого глашатая. Аргументы представителя обвинения также говорят о его высокой учености и эрудиции, и это есть истинно глубокое море, в коем невозможно достичь дна.

По вопросу, поднятому адвокатом bestioles, о многих поколениях древесных червей и о том, следует ли считать поколение червей, вызванное в суд, тем самым, которое совершило преступление, мы имеем сказать следующее. Во-первых, в Священном Писании, в книге Исхода, говорится, что за грехи отцов Бог покарает детей в третьем и четвертом поколении, а потому со стороны суда будет вполне благочестиво привлечь к ответу несколько поколений древесных червей, каждое из которых погрешило против Господа, и сие воистину можно будет счесть торжеством правосудия. И во-вторых, если мы примем утверждение поверенного pour les habitans об одержимости bestioles диаволом, тогда что может быть естественнее — или, в данном случае, омерзительнее и противоестественнее,— чем то, что таковая одержимость позволила древесным червям прожить долее обыкновенного, и потому единственное поколение сих гадов способно было нанести весь ущерб, причиненный трону и крыше. В любом случае нам показался весьма серьезным довод представителя les habitans, заключающийся в том, что древесных червей не могло быть на Ноевом ковчеге — ибо какой же здравомыслящий капитан возьмет их к себе на борт, не убоясь риска потерпеть кораблекрушение? — а посему они не входят в число первых творений Господа. Но каков их статус во всемирной иерархии: естественны ли они хотя бы отчасти, или разлагаются заживо, или суть творения диавола,— могут решить лишь те великие умы Церкви, кои занимаются решением подобных вопросов.

Не дано нам также знать и целых мириад причин, по которым Господь мог наслать древесных червей на сию скромную церковь. Возможно, нищих прогоняли от ее дверей. Возможно, десятины выплачивались нерегулярно. Возможно, прихожане вели себя легкомысленно и дом Божий был обращен в место тайных свиданий, что и повлекло за собой нашествие насекомых. Нам никогда не следует забывать о долге сострадания и о необходимости подавать милостыню, и разве ад не был уподоблен Евсевием хладному месту, где плач и скрежет зубовный вызываются ужасным морозом, а не вечным огнем, и разве сострадание не есть одно из средств, с помощью которых мы предаемся на милость Божью? А посему, рекомендуя приговорить bestioles, которые столь подло и гнусно напали на храм Божий, к отлучению, мы также рекомендуем наложить на habitans все необходимые в подобных случаях наказания и епитимьи.

Sentence du juge d'Église [1]

Во имя и с попущения Всемогущего Господа, Отца, Сына и Святого Духа, и Марии, благословенной Матери Господа нашего Иисуса Христа, пользуясь властью, унаследованной от Святых Апостолов Петра и Павла, а также полномочиями, данными нам в этом деле, укрепив себя Святым Крестом и исполнясь страха Божия, мы объявляем вышеупомянутых древесных червей презренными паразитами и повелеваем им, под угрозой проклятия, анафемы и отлучения, в ближайшие семь дней покинуть церковь Св. Михаила поселка Мамироля Безансонской епархии и перекочевать без задержки и промедления на пастбище, отведенное им жителями Мамироля, поселиться там и никогда больше не возвращаться в церковь Св. Михаила. Дабы придать этому приговору законную силу, а также сделать действенными всякое проклятие, анафему и отлучение, кои могут быть провозглашены в любое время, жители Мамироля обязываются сим неуклонно блюсти долг сострадания, выплачивать

[1] Приговор Эглизского судьи *(франц.)*.

десятины в порядке, установленном Святой Церковью, воздерживаться от всякого легкомыслия в Доме Божием и ежегодно, в память о том печальном дне, когда Гуго, Епископ Безансонский, был ввергнут во тьму неразумия...

Здесь рукопись из муниципальных архивов Безансона обрывается, не сообщая подробностей о ежегодном поминании или епитимье, наложенной судом на поселян. Состояние бумаг свидетельствует о том, что за протекшие четыре с половиной века архивы подвергались (и, вероятно, не единожды) нашествию термитов, которые и отгрызли заключительные слова приговора Эглизского судьи.

4. Уцелевшая

В год тысяча четыреста девяносто второй
Колумб переплыл океан голубой.

А дальше? Она не могла вспомнить. Много лет назад покорные третьеклашки со сложенными на парте руками, они нараспев повторяли это вслед за учительницей. Все, кроме Эрика Дули, который сидел позади нее и жевал ее косичку. Однажды ей велели встать и прочесть две следующие строчки, но едва она поднялась с сиденья на несколько дюймов, как голова ее дернулась назад, и весь класс засмеялся. Эрик повис сзади, вцепившись в ее косу зубами. Может быть, поэтому она так и не смогла запомнить две следующие строчки.

Хотя северных оленей она помнила хорошо. Все началось с северных оленей, которые летали по воздуху на Рождество. Она была девочкой и верила в то, что ей говорят, и олени летали.

Кажется, впервые она увидела их на рождественской открытке. Шесть, восемь, десять оленей, запряженных парами. Она всегда думала, будто каждая пара — это муж с женой, счастливые супруги, как те звери, что плавали на Ковчеге. Ведь так было бы правильно, естественно, разве нет? Но отец сказал, что в сани запряжены одни самцы, это видно по их рогам. Сначала она была просто разочарована, но потом в ее душе стало закипать негодование. Дед Мороз ездит на чисто мужской упряжке. Типичная картина. Абсолютно типичная, зло думала она.

Они летали, вот в чем была вся штука. Она не верила, что Дед Мороз протискивается в трубу и кладет подарки на краешек кровати, но верила, что северные олени летают. Ее пытались разубедить, говорили, если ты веришь в это, то поверишь во что угодно. Но ей было уже четырнадцать, и она, стриженая и упрямая, за словом в карман не лезла. Нет, говорила она, если б вы только могли поверить, что олени умеют летать, вы бы поняли, что все может быть. Все-все.

Примерно тогда же она ходила в зоопарк. Ей нравились их рога, вот что. Они были все шелковые, точно покрытые какой-то шикарной материей из модного магазина. Похожи на ветки в сказочном лесу, где сотни лет не ступала ничья нога; мягкие, сверкающие, пушистые ветки. Ей чудилась рощица, идущая под уклон, слабый свет, под ногами похрустывают упавшие орехи. Ага, и пряничный домик в конце тропинки, усмехнулась ее лучшая подруга Сандра, когда она ей сказала. Нет, подумала она, рога превращаются в ветки, ветки в рога. Все связано, и олени *умеют* летать.

Однажды по телевизору она видела, как они дерутся. Они бодались, наскакивали друг на друга, низко опустив головы, и переплетались рогами. Драка была такой жестокой, что они ободрали себе рога. Она думала, там будет просто сухая кость и рога станут похожи на зимние ветки, с которых звери обглодали кору. Но все оказалось не так. Совсем не так. Они кровоточили. Кожа с них содралась, а под ней была не только кость, но и кровь. Белые рога заалели, они выделялись на

коричнево-зеленом фоне, как поднос с костями в мясной лавке. Это ужасно, подумала она, но нам нельзя отворачиваться. Все и впрямь связано, даже то, что мы не хотим, особенно то, что мы не хотим.

* * *

После первой большой катастрофы она часто смотрела телевизор. Это не слишком серьезная катастрофа, говорили тогда, ничего страшного, с бомбой не сравнить. И потом, это ведь случилось далеко, в России, а у них там нет хороших современных электростанций, как у нас, и даже если б были, их требования безопасности, очевидно, намного ниже, так что здесь этого произойти не могло, и нам-то волноваться не о чем, правда? Говорили даже, что это послужит русским уроком. Теперь они семь раз подумают, прежде чем сбросить бомбу.

Странно, но на людей это подействовало как-то возбуждающе. Все интересней, чем последние данные по безработице или цена марки. Кроме того, неприятности большей частью случались с другими. Было ядовитое облако, и все следили, куда оно идет, как следили бы за перемещениями весьма любопытной области низкого давления на карте погоды. Одно время люди перестали покупать молоко и спрашивали мясника, откуда мясо. Но потом тревога улеглась, и все обо всем забыли.

Сначала северных оленей собирались хоронить в шести футах под землей. Эта история не попала в разряд сенсаций — дюйм-два на странице зарубежных новостей, и только. Облако прошло над оленьими пастбищами, яд выпал с дождем, лишайник стал радиоактивным. Что я вам говорила, подумала она, все связано.

Никто не мог понять, с чего она так расстроилась. Ей говорили, хватит сентиментальничать, в конце концов, не собирается же она жить на одной оленине, а если она такая сердобольная, пусть лучше людей пожалеет. Она пробовала объяснить, но объяснения всегда давались ей с трудом, и ее не поняли. А те, кто якобы понял, сказали, ну ясно, это все твое детство и романтические ребячьи бредни, но нельзя же всю жизнь жить с этими ребячьими бреднями, пора наконец и повзрослеть, пора стать реалисткой, ты уж не плачь, а вообще-то нет, может, оно и неплохо, знаешь, поплачь-ка как следует, пожалуй, это пойдет тебе на пользу. Нет, говорила она, не так все это, совсем не так. Потом пошли шутки карикатуристов: северные олени светятся от радиоактивности, и Деду Морозу на санях не надо освещать себе путь, а у оленя по кличке Красноносый Рудольф такой блестящий нос, потому что он из Чернобыля, но ей это смешным не казалось.

Послушайте, повторяла она людям. Радиоактивность меряют в таких единицах, беккерелях. После катастрофы норвежскому правительству надо было решить, какой уровень радиации в мясе считать еще безопасным, и они остановились на цифре в 600 беккерелей. Но населению пришлась не по душе мысль, что их мясо отравлено, и дела норвежских мясников пошатнулись, а мясо северных оленей вообще никто не брал, и неудивительно. Тогда правительство поступило вот как. Они сказали, что народ, очевидно, не станет есть оленину слишком часто, уж очень он напуган, а есть более загрязненное мясо время от времени ничуть не вреднее, чем менее загрязненное — постоянно. Так что для оленины допустимый предел заражения подняли до 6000 беккерелей. Фокус-покус! Сегодня вредно есть мясо, в котором 600 беккерелей, а завтра можно спокойно есть то, где их вдесятеро больше. Это, конечно, касается только оленины. А свиная отбивная или телячья шейка, содержащие 601 беккерель, официально считаются опасными.

В одной из телепередач показывали чету лапландских фермеров, которые привезли на проверку тушу убитого оленя. Это случилось сразу после того, как допустимый предел увеличили в десять раз. Инспектор из соответствующего управления, по сельскому хозяйству, что ли, вырезал маленькие кусочки оленьих внутренностей и произвел обычные замеры. Прибор зафиксировал 42000 беккерелей. 42 *тысячи*.

Сначала их собирались хоронить на глубине в шесть футов. Однако чем больше несчастье, тем охотнее люди шевелят мозгами. *Хоронить* оленей? Нет, тогда может показаться, будто возникла серьезная проблема, будто что-то и впрямь неладно. Надо найти более практичный способ избавиться от них. Раз нельзя кормить этим мясом людей, почему бы не скормить его животным? Хорошая мысль — но каким животным? Понятно, не тем, которые в конце концов пойдут в пищу людям: царей природы надо беречь. И его решили отдать норкам. Какая удачная идея! Норки — зверюшки не из самых симпатичных, к тому же люди, которые могут позволить себе покупать норковые шубы, вероятно, не станут возражать против небольшой дозы радиоактивности в придачу. Это как чуточка духов за ушами или вроде того. Особый шик, если подумать.

На этом месте большинство знакомых уже переставали слушать, что она говорит, но она всегда продолжала. Ну вот, говорила она, так теперь вместо того, чтобы хоронить оленей, на их тушах рисуют большую синюю полосу и скармливают норкам. Мне кажется, лучше было бы их хоронить. Тогда людям стало бы стыдно. Посмотрите, что мы сделали с северными оленями, сказали бы те, кто будет рыть яму. По крайней мере, могли бы сказать. Могли бы задуматься. Почему мы так жестоки к животным? Делаем вид, что любим их, держим у себя дома и умиляемся, когда нам кажется, будто они ведут себя похоже на нас, но ведь мы были жестоки к ним с самого начала, разве не так? Убивали их, и мучили, и перекладывали на них свою вину?

* * *

Она перестала есть мясо после той катастрофы. Всякий раз, увидев у себя на тарелке кусочек говядины или ложку гуляша, она вспоминала северных оленей. Несчастных зверей с ободранными рогами, в крови после драки. Потом вереницу туш на блестящих крюках, у каждой на спине синяя полоса, с позвякиванием едущих мимо.

После этого, объясняла она, ей и пришло в голову отправиться сюда. То есть на юг. Ей говорили, что она поступила глупо, сбежала, не захотела стать реалисткой, если уж она так переживала, надо было не удирать, а доказывать свою правоту. Но это слишком угнетало ее. Никто не прислушивался к ее словам. Кроме того, вы все время должны стремиться туда, где, по-вашему, олени могут летать; это и значит быть реалистом. На севере им уже не подняться.

* * *

Узнать бы, что стало с Грегом. Узнать бы, жив ли он. Узнать бы, что он думает обо мне теперь, когда убедился в моей правоте. Надеюсь, он не возненавидел меня за это. Мужчины часто начинают ненавидеть тебя за твою правоту. А может, он прикинется, будто ничего не случилось; тогда ему легко будет считать, что он прав. Нет, это не то, что ты думала, это просто комета вспыхнула в небе, или летняя гроза, или телевизионщики разыгрывают. Курица безмозглая.

Грег был самый обыкновенный олух. Не то чтобы мне хотелось чего-то другого, когда я его встретила. Он уходил на работу, приходил домой, бездельничал, пил пиво, уходил добавлять с приятелями, иногда слегка поколачивал меня, вечером после получки. Мы жили не так уж плохо. Спорили насчет Пола, конечно. Грег говорил, я должна его кастрировать, чтоб был не такой агрессивный и не царапал мебель. Я говорила, это тут ни при чем, все кошки царапают мебель, наверно, надо купить ему специальный шесток, обитый материей. Грег сказал, почем я знаю, может, он решит, что его поощряют, и начнет царапать вообще все подряд? Я сказала, не изображай из себя идиота. Он сказал, это научный факт: если кота кастрировать, он станет менее агрессивным. Я сказала, а по-моему, наоборот — если его покалечить, он скорее станет

злобным и раздражительным. Тогда Грег взял наши здоровые ножницы и сказал, ладно, а почему бы нам не проверить, черт возьми? Я завопила.

Я бы не дала ему кастрировать Пола, хотя он и правда изрядно попортил мебель. Потом я кое-что вспомнила. Северных оленей тоже кастрируют. В Лапландии, знаете. Выбирают большого самца, кастрируют, и он становится ручным. Потом вешают ему на шею колокольчик, и этот головной, как его там называют, ведет остальных оленей куда захочется пастухам. Так что резон тут есть, но я все равно против. Кот не виноват, что он кот. Грегу я, конечно, ничего про этих, с колокольчиками, не рассказала. Иногда, если он пускал в ход руки, я думала, тебя бы первого кастрировать, может, ты станешь менее агрессивным. Но я никогда этого не говорила. Что толку.

Мы часто ругались, когда речь заходила о животных. Грег считал меня дурой. Как-то я сказала ему, что всех китов переводят на мыло. Он засмеялся и ответил, что это неслабо придумано — какая-никакая, а все польза. Я разревелась. Наверно, не столько из-за его слов, сколько вообще из-за его отношения к этим вещам.

О самом серьезном мы не спорили. Он просто говорил, что политика — мужское дело, а я сама не соображаю, что несу. Дальше наши беседы о вымирании планеты не заходили. Когда я говорила, что меня волнует, как поведет себя Америка, если Россия ей не уступит, или наоборот, или что-нибудь насчет Ближнего Востока, он говорил, а мне не кажется, что это у меня предменструальный синдром? Сами понимаете, какой уж тут разговор. Он и не собирался обсуждать эти темы, спорить со мной. Как-то я сказала, может быть, это и впрямь предменструальный синдром, и он сказал, ну да, так я и думал. Я сказала, да нет, послушай, может, женщины ближе к миру. Он сказал, о чем это я, а я сказала, ну, все ведь связано, правда, и женщины больше связаны со всеми природными циклами, рождением и возрождением планеты, чем мужчины, которые только оплодотворители, если уж на то пошло, а раз женщины живут в гармонии с миром, то когда на севере происходят ужасные вещи, вещи, угрожающие самому существованию планеты, женщины, может быть, чувствуют это, чувствуют же некоторые приближение землетрясения, вот, наверно, отсюда и ПМС. Он сказал, курица ты безмозглая, потому-то политика и есть мужское дело, и достал из холодильника еще пива. Через несколько дней он сказал мне, ну и как там насчет конца света? Я посмотрела на него и ничего не ответила, и он сказал, так я и думал, весь этот твой предменструальный синдром только оттого, что у тебя был месяц на носу. Я сказала, ты меня так злишь, что я даже хочу конца света, чтобы ты остался в дураках. Он сказал, жаль, жаль, вот видишь, какая штука, я ведь, по-твоему, только оплодотворитель, но я уверен, что другие оплодотворители там, на севере, как-нибудь да разберутся.

Разберутся? Так говорят сантехники или работяги, которые приходят латать крышу. «Ладно, авось разберемся»,— говорят они и подмигивают этак по-приятельски. Ну, а теперь-то разобраться им не удалось, правда? Ясное дело, не удалось. И в последние дни кризиса Грег не всегда приходил домой по ночам. Даже он наконец заметил и решил поразвлечься напоследок. В каком-то смысле я не могла его винить, да он бы и не признался. Он сказал, что не приходит, потому что ему надоело слушать мой нудеж. Я сказала, что понимаю и все нормально, но когда я объяснила ему, он взъерепенился. Сказал, если ему захочется подшустрить на стороне, то это будет не из-за мировой ситуации, а потому, что я ему плешь проела. Они просто не видят связи, правда? Когда мужчины в темно-серых костюмах и галстуках в полоску там, на севере, принимают, как они выражаются, известные меры предосторожности, мужчины вроде Грега, в теннисках и ремнях, здесь, на юге, начинают засиживаться в барах и снимать девочек. Они бы должны понять это, правда? Должны бы признать.

Так что, когда это случилось, я не стала ждать Грега домой. Он где-то заливал в себя очередную кружку пива и говорил, что эти парни на

севере во всем разберутся, а пока почему бы тебе не посидеть у меня на коленях, цыпочка? Я просто взяла Пола вместе с его корзиной, захватила с собой побольше консервов и несколько бутылок воды и села в автобус. Я не оставила записки, потому что говорить было нечего. Вышла на конечной, на Гарри Чен авеню, и пошла пешком по Эспланаде. И угадайте-ка, кто там грелся на крыше машины? Сонная, мирная трехцветная киска. Я погладила ее, она замурлыкала, тогда я сгребла ее в охапку, один-двое прохожих остановились посмотреть, но не успели они раскрыть рот, как я уже свернула за угол, на Герберт-стрит.

Грег рассердился бы, узнай он про лодку. Но он только один из четырех хозяев, а если все они собираются коротать последние дни, напиваясь в барах и снимая девочек из-за мужчин в темно-серых костюмах, которые, по-моему, кастрировали сами себя уже много лет назад, то лодка им вряд ли понадобится, правда? Я погрузилась, а когда отчаливала, увидела, что пестренькая, которую я дела не помню куда, сидит на корзинке Пола и смотрит на меня. «Ты будешь Линда»,— сказала я.

* * *

Она покинула мир в месте под названием Докторова балка. Там, где кончается Эспланада в Дарвине, за зданием AMX современной постройки, извилистая дорога ведет вниз, к заброшенному лодочному причалу. Просторная автомобильная стоянка на солнцепеке обычно пустует, машины бывают здесь, только когда туристы приезжают поглазеть, как кормят рыбу. Теперь ничего больше в Докторовой балке не происходит. Каждый день во время прилива сотни, тысячи рыб собираются у самого берега и ждут, чтобы их покормили.

Она подумала, как доверчивы рыбы. Они, наверно, считают, что эти двуногие великаны дают им еду по доброте душевной. Может, поначалу так оно и было, но нынче вход сюда стоит два с половиной доллара для взрослых, полтора для детей. Странно, почему туристов, которые останавливаются в больших отелях вдоль Эспланады, это не удивляет. Но люди перестали задумываться о том, что происходит вокруг,— всем некогда. Мы живем в мире, где надо платить, чтобы дети могли посмотреть, как кормят рыбу. Теперь эксплуатируют даже рыб, подумала она. Эксплуатируют, а потом травят. Весь океан постепенно наполняется ядом. Рыбы тоже умрут.

Докторова балка была безлюдна. Отсюда уже почти никто не плавал: все давным-давно перебрались в специально оборудованный порт. Однако на скалах до сих пор лежали две-три лодки, видимо, брошенные хозяевами. На одной из них, серо-розовой, с обломком мачты, было написано: «НЕ ПРОДАЕТСЯ». Это всегда забавляло ее. Грег и его друзья держали свою маленькую лодчонку позади этой, подальше от места кормления рыб. Скалы здесь были завалены металлоломом — двигателями, котлами, клапанами, трубами, оранжево-красными от ржавчины. Проходя мимо, она вспугнула две-три стайки оранжево-красных бабочек, поселившихся среди этого металлического хлама, который обеспечивал им маскировку. Что мы сделали с бабочками, подумала она; вот где мы заставили их жить. Она перевела взгляд на море, с зарослей невысоких мангровых деревьев, подымающихся вверх по берегу, мимо цепочки маленьких танкеров к низким, горбатым островам на горизонте. Таким было место, где она покинула мир.

Мимо острова Мелвилла, через пролив Дандас и дальше, в Арафурское море; затем она предоставила выбор направления ветру. Кажется, большей частью они плыли на восток, но она следила не слишком внимательно. Запоминать дорогу имеет смысл лишь в том случае, если ты намерен вернуться туда, откуда отправился, а она знала, что это невозможно.

Она не ожидала увидеть на горизонте аккуратные грибовидные облака. Она знала, что это не будет похоже на кино. Иногда чуть

менялась освещенность, иногда слышался отдаленный рокот. Подобные вещи могли вовсе ничего не значить; но где-то это уже случилось, и ветры, гуляющие по планете, довершат начатое. По вечерам она приспускала парус и уходила вниз, в маленькую каютку, оставляя палубу Полу и Линде. Сначала Пол хотел подраться с новенькой — как это у них принято, защищал свою территорию. Но через пару дней кошки свыклись друг с другом.

* * *

Наверно, она слегка перегрелась на солнце. Она провела на жаре целый день, а единственной защитой служила ей одна из старых бейсбольных шапок Грега. У него была целая коллекция таких шапок с дурацкими надписями. Эта была красная с белыми буквами, рекламой какого-то ресторана. Надпись гласила: «ПОКА НЕ ПОЕШЬ В «БИ-ДЖЕЙ», ГОВНА ИЗ ТЕБЯ НЕ ВЫЙДЕТ». Грег получил ее на день рождения от кого-то из собутыльников, и эта шутка никогда не надоедала ему. Бывало, он сидел здесь, в лодке, в этой шапке и с банкой пива в руке и начинал потихоньку посмеиваться себе под нос. Потом смеялся погромче, пока кто-нибудь не обратит внимания, и наконец объявлял: «Пока не поешь в «Би-Джей», говна из тебя не выйдет». Это приводило его в восторг, снова и снова. Она ненавидела эту шапку, но носить ее стоило. Она забыла цинковую мазь и все остальные тюбики.

Она знала, что делает. Знала, что из этой затеи, которую Грег, наверно, назвал бы ее очередной авантюркой, может ничего не выйти. Какие бы планы она ни строила — особенно если в них не находилось места Грегу,— он всегда называл их ее очередной авантюркой. Она не рассчитывала пристать к какому-нибудь нетронутому острову, где достаточно бросить через плечо горстку бобов, и за спиной у тебя сразу подымется и приветливо замашет стручками целый бобовый лес. Она не думала увидеть коралловый риф, песчаную отмель из туристического проспекта и кивающую пальму. Она не воображала, будто через пару недель наткнется на ялик с каким-нибудь симпатичным парнягой и двумя собаками; потом на девицу с двумя курами, на увальня с двумя свиньями и так далее. Особых надежд на будущее она не питала. Она просто решила, что надо попробовать, а там уж как выйдет. В этом ее долг. И уклоняться от него нельзя.

* * *

Что-то такое было сегодня ночью. Я просыпалась, а может, еще не проснулась, но я слышала кошек, честное слово, слышала. Вернее, кошку, как она зовет кота. Но Пола-то звать недолго, он ведь недалеко. Когда я совсем проснулась, уже только волны плескались о борт. Я вылезла наверх, открыла дверь. И увидела в лунном свете, как они сидят бок о бок, такие аккуратненькие, и смотрят на меня. В точности как двое ребят, которых девчонкина мать едва не застукала за поцелуями. Кошка, когда у нее течка, кричит, словно ребенок плачет, правда? Это должно бы научить нас кое-чему.

Я не считаю дней. Какой в этом смысл? Нам надо отвыкать мерить все днями. Днями, уик-эндами, отпусками — так меряют люди в серых костюмах. Мы должны вернуться к каким-нибудь более старым циклам, хотя бы от восхода до заката, а другими ориентирами будут луна, и времена года, и колебания климата — того нового, ужасного климата, в котором нам теперь придется жить. Как меряют время дикие племена в джунглях? Еще не поздно у них поучиться. У тех, кто знает секрет, как жить с природой. Они-то не стали бы кастрировать своих кошек. Они могут поклоняться им, могут даже есть их, но кастрировать — ни за что.

Я ем совсем мало, только чтобы продержаться. Я не собираюсь высчитывать, сколько мне придется провести в море, а потом делить

запасы на сорок восемь частей или что-нибудь в этом роде. Это старая манера думать, манера, которая привела нас ко всему этому. Я ем, только чтобы держаться, вот и все. Рыбу ловлю, конечно. Я уверена, что это безвредно. Но когда мне удается что-нибудь поймать, я отдаю улов Полу и Линде. Посижу на консервах, а они пока пусть отъедаются.

* * *

Надо быть осторожнее. Кажется, упала на солнце в обморок. Очнулась на спине, кошки лижут лицо. Чувствовала себя разбитой, лихорадило. Наверно, слишком много консервов. В следующий раз, как поймаю рыбу, лучше съем сама, пусть даже они на меня обидятся.

Интересно, что там решил Грег? Решил ли он вообще что-нибудь? Я будто вижу его поодаль, с пивом в руке, он смеется и показывает пальцем. «Пока не поешь в «Би-Джей», говна из тебя не выйдет»,— говорит он. Прочел это у меня на шапке, глядит на меня. Девка на коленях. Моя жизнь с Грегом кажется мне теперь такой же далекой, как жизнь на севере. Недавно я видела летучую рыбу. Точно, видела. Не могла же я это придумать, правда? У меня сразу поднялось настроение. Рыбы умеют летать, и северные олени тоже.

* * *

У меня определенно жар. Кое-как поймала рыбу и даже сготовила. Очень мешали Пол с Линдой. Сны, плохие сны. По-моему, до сих пор движемся более или менее на восток.

Уверена, что я не одинока. То есть наверняка по всему миру рассеяны такие же, как я. Не может быть, чтобы только я, только я одна в лодке с двумя кошками, а все остальные на суше и кричат, курица безмозглая. Готова поклясться, есть сотни, тысячи лодок с людьми и зверями, которые делают то же, что и я. Покинуть корабль, такая раньше была команда. А теперь вместо этого — покинуть землю. Опасность везде, но на земле больше. Все мы когда-то выползли из моря, верно? Может, это было ошибкой. Теперь мы возвращаемся обратно.

Я представляю себе, как все остальные делают то же, что и я, и это вселяет в меня надежду. Должен же быть у людей инстинкт, правда? Если появилась угроза — рассеяться. Не просто бежать от опасности, но увеличивать шансы на выживание вида. Если мы рассеемся по планете, кто-нибудь да уцелеет. Если даже они расстреляют всю свою отраву, какой-то шанс должен остаться.

По ночам слышу кошек. Многообещающие звуки.

* * *

Дурные сны. Я бы даже сказала, кошмары. Какой сон уже можно считать кошмаром? Эти мои сны продолжаются и после того, как я проснусь. Словно похмелье. Дурные сны не дадут оставшимся в живых жить спокойно.

* * *

Ей показалось, что на горизонте маячит другое судно, и она поплыла туда. Сигнальных ракет у нее не было, а кричать было слишком далеко, так что она просто поплыла туда. Судно шло параллельно горизонту, и она видела его примерно с полчаса. Потом оно исчезло. А может, это было и не судно, сказала она себе; но что бы это ни было, его исчезновение заставило ее пасть духом.

Она вспомнила одну страшную вещь, про которую как-то прочла в газете, в статье о жизни на борту супертанкера. В последние годы корабли становились все больше и больше, а их команды все меньше

и меньше, потому что за людей работала техника. Стоило лишь запрограммировать компьютер где-нибудь в Мексиканском заливе или неважно где, и корабль практически сам шел оттуда в Лондон или Сидней. Это было гораздо удобней для владельцев, которые экономили кучу денег, и для команды, у которой теперь была только одна забота: как-нибудь убить время. Большую его часть они проводили внизу; пили там пиво, как Грег, насколько она поняла. Пили пиво и смотрели телевизор.

Так вот, одну вещь из этой статьи она не могла забыть. Там говорилось, что прежде кто-то всегда был наверху, в «вороньем гнезде» или на мостике, и следил за морем. Но теперь на больших кораблях уже нет впередсмотрящих — в крайнем случае, кто-нибудь иногда поглядывает на экран, по которому движутся световые пятна. Прежде, если вас носило по морю, например, на плоту или в шлюпке, а мимо шел корабль, было весьма вероятно, что вас подберут. Вы махали, и кричали, и пускали ракеты, если могли; вы привязывали к мачте свою рубашку; и всегда были люди, готовые заметить вас. Теперь вы можете болтаться в океане неделями, а когда наконец появится супертанкер, он пройдет мимо. Радар вас не заметит, потому что вы слишком малы, и вам повезет, если кто-нибудь по чистой случайности будет висеть на борту и блевать. Было множество случаев, когда потерпевших крушение, которых прежде обязательно бы спасли, просто не замечали; бывало даже такое, что людей давили корабли, идущие как будто бы им на помощь. Она пыталась представить себе всю эту жуть, страшное ожидание и потом это чувство, когда корабль проходит мимо, а ты ничего не можешь сделать, и все твои крики заглушает шум двигателей. Вот что не так в этом мире, подумала она. Мы отказались от впередсмотрящих. Мы не думаем о спасении других, а просто плывем вперед, полагаясь на наши машины. Все внизу, пьют пиво вместе с Грегом.

Так что судно на горизонте могло не заметить ее, даже если бы прошло рядом. Да она и не хотела, чтобы ее спасли, ничего такого. Просто узнать какие-нибудь новости о мире, только и всего.

* * *

Кошмары мучили ее все чаще. Похмелье дурных снов съедало все большую часть дня. Она чувствовала, что лежит на спине. Рука болела. На ней были белые перчатки. Похоже, она находилась в чем-то вроде клетки: по обе стороны поднимались вверх металлические прутья. Мужчины приходили и смотрели на нее, всегда только мужчины. Она подумала, надо записать все эти кошмары, записать, как будто это явь. Она сказала мужчинам в кошмарах, что собирается записать про них. Они улыбнулись и ответили, что дадут ей бумагу и карандаш. Она не взяла. Сказала, у нее есть.

* * *

Она знала, что рыба идет кошкам на пользу. Знала, что они здесь мало двигаются и потому толстеют. Но все же ей казалось, что Линда потолстела больше, чем Пол. Она не хотела верить, что это произошло. Не отваживалась.

Однажды она увидела землю. Завела мотор и поплыла к ней. Когда она уже различала мангровые деревья и пальмы, горючее кончилось, и ветер стал относить ее прочь. Удивительно, но, глядя на исчезающий остров, она не чувствовала ни грусти, ни разочарования. В любом случае, подумала она, найти новую землю с помощью дизельного двигателя было бы обманом. Надо учиться все делать по-старому: будущее лежит в прошлом. Пусть ветры ведут и охраняют ее. Она выбросила канистры из-под горючего за борт.

* * *

Я сошла с ума. Наверно, до отплытия я забеременела. Конечно. Как я не догадалась, что это и есть ответ? Все эти шуточки Грега насчет того, что он только оплодотворитель, а я не понимала очевидного. Вот зачем он вообще был. Вот зачем я его встретила. Все эти уловки кажутся теперь такими странными. Куски резины, мазь туда, таблетки внутрь. Больше ничего этого не будет. Мы должны опять вернуться к природе.

Узнать бы, где сейчас Грег; если он еще где-нибудь есть. Может быть, он умер. Я никогда не верила этому закону, что выживают самые приспособленные. Глядя на нас, всякий решил бы, что уцелеть предстоит Грегу: он крепче, сильнее, практичней, во всяком случае, по нашим меркам, консервативней, беспечней. Я мнительна, никогда не умела плотничать, не такая самостоятельная. Но уцелеть суждено мне; во всяком случае, у меня есть шанс. Выживание мнительных — вот, значит, что получается? Люди, подобные Грегу, вымрут, как динозавры. Если хочешь уцелеть, ты должен понимать, что происходит; это и есть настоящее правило. Я уверена, были звери, которые почувствовали приближение ледникового периода и отправились в далекий, трудный путь в поисках безопасных земель с более теплым климатом. И уверена, что динозавры считали их чересчур нервными, приписывали все предменструальному синдрому, говорили, курицы безмозглые. Интересно, северные олени знали, что с ними случится? Вам не кажется, что они всегда это как-то чувствовали?

* * *

Мне говорят, я ничего не понимаю. Не умею делать правильные выводы. Послушайте-ка их, послушайте, как они делают выводы. Случилось это, говорят они, а благодаря этому случилось то. Была война тут, битва там, где-то свергли короля, великие люди — вечно эти великие люди, я устала от великих людей — вот настоящие виновники событий. Может быть, я слишком долго была на солнце, но я не понимаю их выводов. Я гляжу на историю мира, которая подходит к концу, хотя они этого не замечают, и не вижу того, что видят они. Все, что я вижу,— это откуда берутся старые выводы, делать которые мы давно разучились, потому что так проще травить оленей, и рисовать им полосы на спине, и скармливать их норкам. Кто же виновник этих событий? Какой великий человек поставит это себе в заслугу?

* * *

Смешно. Послушайте этот сон. Я лежала в постели, и я не могла двигаться. Все было немного размытым. Я не знала, где я. Там был человек. Не помню, как он выглядел,— просто человек. Мужчина. Он сказал:

— Как вы себя чувствуете?

Я сказала:

— Прекрасно.

— Правда?

— Конечно. А что тут странного?

Он не ответил, только кивнул и, казалось, оглядел сверху вниз все мое тело — я была под одеялом, разумеется. Потом сказал:

— Больше не тянет?

— На что не тянет?

— Вы знаете, о чем я говорю.

— Прошу меня извинить,— сказала я (забавно, как во сне вдруг становишься необычайно вежливой, хотя наяву и не подумала бы),— прошу меня извинить, но я действительно не имею ни малейшего понятия о том, на что вы намекаете.

— Вы нападали на людей.
— Да ну? И что же мне было нужно — их кошельки?
— Нет. Похоже, все дело в сексе.

Я засмеялась. Человек нахмурился; я помню его нахмуренные брови, хотя все остальное лицо забылось.

— Ну это уж чересчур прозрачно,— сказала я, чопорная актриса из старого фильма. Потом посмеялась еще. Знаете этот момент, словно просвет в облаках, когда во сне вдруг понимаешь, что ты только спишь? Он снова нахмурился. Я сказала: — Не будьте таким банальным.— Это не понравилось ему, и он ушел.

Я проснулась, усмехаясь про себя. Думала о Греге, и о кошках, и о том, не беременна ли я, и вот вам, пожалуйста, эротический сон. Сознание бывает весьма прямолинейным, правда? Откуда у него уверенность, что оно сможет обмануть вас даже таким нехитрым способом?

* * *

Плывем куда глаза глядят, а в голове у меня все вертится этот стишок:

В год тысяча четыреста девяносто второй
Колумб переплыл океан голубой.

А дальше что? Все у них всегда так просто. Имена, даты, свершения. Ненавижу даты. Даты — это выскочки, даты — всезнайки.

* * *

Она никогда не сомневалась, что доплывет до острова. Она спала, когда их пригнало сюда ветром. Все, что от нее потребовалось,— это провести лодку меж двух каменных шишек и причалить к галечной отмели. Здесь не было ни роскошного песчаного пляжа, мечты туриста, ни кораллового волнолома, ни даже кивающей пальмы. Она почувствовала облегчение и благодарность. Лучше, чтобы песок был скалой, пышные джунгли — кустарником, плодородная почва — кучей мусора. Излишек красоты, излишек зелени могли бы заставить ее позабыть обо всей остальной планете.

Пол выскочил на берег, но Линда ждала, пока ее перенесут. Да, подумала она, вот мы и нашли землю. Первое время она решила спать в лодке. Полагалось сразу по прибытии начинать строить бревенчатую хижину, но это было глупо. Может, этот остров еще и не подойдет.

* * *

Она надеялась, что с высадкой на остров кошмары наконец прекратятся.

* * *

Стояла сильная жара. Как будто сюда провели центральное отопление, сказала она себе. Не было ни ветерка, погода не менялась. Она наблюдала за Полом и Линдой. Они были ее утешением.

Кошмары, сообразила она, вполне могут быть оттого, что она спит в лодке, оттого, что после дневных прогулок ей приходится всю ночь проводить в тесноте и духоте. Наверно, ее сознание бунтует, просится наружу. Тогда она соорудила себе маленький навес там, куда не добирался прилив, и стала спать под ним.

Но это не помогло.

С ее кожей творилось что-то ужасное.

* * *

Кошмары стали хуже. Она решила, что это нормально, если слово «нормально» вообще имеет теперь какой-нибудь смысл. По крайней мере, в ее положении этого следовало ожидать. Она была отравлена. Насколько сильно, она не знала. Мужчины в ее снах всегда были очень вежливы, даже мягки. Это и научило ее не доверять им: они искушали ее. Сознание пыталось побороть реальность, спорило с самим собой, с тем, что было ему известно. Тут, конечно, работала какая-то химия, антитела или что-нибудь в этом духе. Сознание, в шоке от того, что случилось, изобретало доводы, опровергающие то, что случилось. В этом не было ничего неожиданного.

* * *

Я приведу вам пример. Я очень хитра в своих кошмарах. Когда приходят мужчины, я делаю вид, что не удивилась. Веду себя так, словно это нормально, их появление здесь. Заставляю их раскрывать карты. Последней ночью у нас был такой разговор. Понимайте как знаете.

— Зачем на мне белые перчатки? — спросила я.

— По-вашему, это перчатки?

— А по-вашему, что?

— Нам пришлось поставить вам капельницу.

— И поэтому мне понадобились белые перчатки? Мы не в опере.

— Это не перчатки. Это бандажи.

— Кажется, вы только что говорили про капельницу.

— Правильно. Бандажи нужны, чтобы не сбить капельницу.

— Но я не могу пошевелить пальцами.

— Это нормально.

— *Нормально?* — сказала я.— А что вообще теперь нормально? — Он не нашелся с ответом, и я заговорила опять: — На какой руке капельница?

— На левой. Вы же сами видите.

— Тогда почему на правой тоже бандаж?

Прежде чем ответить, он надолго задумался. Наконец сказал:

— Потому что вы пытались сорвать капельницу свободной рукой.

— Зачем?

— На это, по-моему, могли бы ответить только вы.

Я покачала головой. Он ушел, посрамленный. Что ж, сам напросился, разве не так? Но следующей ночью меня снова вынудили принять вызов. Видимо, мое сознание решило, что я чересчур легко спровадила этого искусителя, и изобрело другого, который все время называл меня по имени.

— Как вы сегодня себя чувствуете, Кэт?

— Я думала, вы всегда говорите «мы». Если, конечно, вы те, за кого себя выдаете.

— Зачем мне говорить «мы», Кэт? Я знаю, как я себя чувствую. Я спрашиваю у вас.

— У *нас,*— саркастически усмехнулась я.— У нас в зоопарке все о'кей, премного благодарны.

— Почему в зоопарке?

— Решетки же, глупый.— На самом деле я не думала, что это зоопарк; я хотела узнать, что об этом думают они. Сражаться с собственным сознанием бывает временами не так уж легко.

— Решетки? А, ну это просто часть вашей кровати.

— Моей кровати? Извините, но это же не детская кроватка, а я не ребенок?

— Это специальная кровать. Смотрите.— Он щелкнул фиксатором и увел прутья с одной стороны вниз, так что я потеряла их из виду. Потом поднял снова и защелкнул.

— Ага, понятно,— это чтобы меня запирать, да?

— Нет, нет, вовсе нет. Мы просто не хотим, чтобы вы во сне выпали из кровати, Кэт. Если, скажем, у вас будет кошмар.

Это была ловкая тактика. *Если у вас будет кошмар...* Но такой малости, конечно, не хватит, чтобы меня перехитрить. По-моему, я знаю, что вытворяет мое сознание. Я и правда воображаю себе что-то вроде зоопарка, потому что только в зоопарке я видела северных оленей. То есть живых. Поэтому они ассоциируются у меня с решетками. Мое сознание помнит, что для меня все это началось с северных оленей; вот оно и придумало такой обман. Оно очень коварно, сознание.

— У меня *не бывает* кошмаров,— ответила я, словно мы говорили о прыщах или о чем-нибудь в этом роде. Я подумала, полезно будет сказать ему, что его не существует.

— Ну, тогда, если вы вдруг захотите погулять во сне, да мало ли.

— Разве я гуляла во сне?

— Мы не можем следить за всеми, Кэт. В одной лодке с вами очень много народу.

— Я знаю! — выкрикнула я.— Знаю! — Я закричала, потому что меня охватила радость победы. Он был умен, этот мой противник, но он выдал себя. *В одной лодке.* Конечно, он хотел сказать *в других лодках,* но мое сознание на миг потеряло контроль над ситуацией, и произошла осечка.

Этой ночью я спала хорошо.

* * *

Ее поразила ужасная мысль. А если с котятами что-нибудь не в порядке? А если Линда родит уродцев, чудовищ? Может ли это случиться так скоро? Что за ветры пригнали их сюда, какую заразу они принесли с собой?

Кажется, она много спала. Ровная жара продолжалась. Почти все время ее мучила жажда; она пила из ручья, но это не помогало. Может, вода была какая-нибудь плохая. У нее слезала кожа. Она поднимала руки перед собой, и ее пальцы были как рога оленя после драки. Подавленность не проходила. Она пыталась подбодрить себя мыслью, что у нее, по крайней мере, нет на этом острове дружка. Что сказал бы Грег, увидь он ее такой?

* * *

Это все разум виноват, решила она; разум всему причиной. Он просто чересчур разогнался, на свою беду, вот его и занесло не туда. Это ведь благодаря разуму изобрели такое страшное оружие, разве нет? Нельзя же представить себе животное, которое готовит свою собственную погибель?

Она придумала такую историю. Жил-был в лесу медведь, умный медведь, находчивый — *нормальный,* одним словом. И вот он как-то начал рыть огромную яму. Когда она была готова, он выломал в чаще сук, очистил его от веток и листьев, обглодал один конец, так что он стал острым, и воткнул этот кол в дно ямы, острием вверх. Потом медведь прикрыл вырытую яму ветвями и всяким лесным мусором, чтобы это место не отличалось от любого другого места в лесу, и ушел восвояси. А теперь угадайте, где медведь вырыл эту западню? Аккурат посередине одной из своих любимых тропок, там, где он всегда ходил, направляясь за дупляным медом или по каким-нибудь там еще медвежьим делам. Так что на следующий день он брел себе по тропинке, свалился в западню и напоролся на кол. Умирая, он подумал, ай-яй-яй, ну и чудеса, вот ведь как все обернулось. Наверно, не стоило рыть ловушку в этом месте. Наверно, вообще не стоило рыть ловушку.

Вы не можете представить себе такого медведя, правда? Но с нами-

то произошло то же самое, думала она. Наш разум занесло не туда. Надо было вовремя остановиться. Но именно этого-то разум и не умеет. Интересно, были ли кошмары у первобытных людей? Она могла бы поклясться, что нет. А если и были, то не такие, как у нас.

Она не верила в Бога, но теперь ей хотелось поверить. Не потому, что она боялась смерти. Тут было другое. Она хотела поверить в кого-нибудь, кто смотрел бы на все со стороны, кто видел бы, как медведь вырыл себе западню, а потом упал туда. Это не было бы такой хорошей историей, если бы не нашлось никого, кто мог бы ее рассказать. Послушайте-ка, что они натворили — взяли да и взорвали сами себя. Курицы безмозглые.

* * *

Тот, с кем я спорила про перчатки, пришел опять. Я уличила его во лжи.

— Перчатки до сих пор у меня на руках,— сказала я.

— Да,— ответил он, думая потрафить мне, но просчитался.

— А капельницы-то нет.

К этому он был явно не готов.

— Ну да.

— Так зачем же на мне мои белые перчатки?

— А.— Он помолчал, соображая, что бы соврать. И неплохо придумал: — Вы рвали на себе волосы.

— Чушь. Они выпадают. Выпадают каждый день.

— Нет, боюсь, это вы их рвали.

— Чушь. Мне стоит только дотронуться до них, и они выпадают большими клочьями.

— Боюсь, что нет,— покровительственно сказал он.

— Уйдите! — крикнула я.— Уйдите, уйдите!

— Конечно.

И он ушел. Эта ложь насчет моих волос была самой хитрой, самой близкой к правде. Потому что я действительно трогала свои волосы. Что ж, ничего удивительного в этом нет, верно?

Однако то, что я велела ему уйти и он ушел, было добрым знаком. Я чувствую, что беру верх, начинаю контролировать свои кошмары. Это просто такой этап, и я его почти прошла. Я буду рада, когда он кончится. Следующий, конечно, может оказаться и хуже, но, во всяком случае, он будет другим. Любопытно, как сильно я уже отравлена? Еще не пора рисовать на моей спине синюю полосу и скармливать меня норкам?

* * *

Разум занесло не туда; она ловила себя на том, что повторяет это. Все связано, оружие и кошмары. Вот почему пришлось разорвать круг. Снова учиться смотреть на вещи просто. Начинать сначала. Говорят, время нельзя повернуть вспять, но это неправда. Будущее там, в прошлом.

Она хотела бы положить конец приходам этих людей и их искушениям. Она думала, они отстанут, когда нашла остров. Думала, отстанут, когда перебралась спать под навес. Но они только сделались еще настойчивей и хитрее. Из-за этих кошмаров она боялась засыпать вечерами; но ей так нужен был отдых, и каждое утро она просыпалась все позже и позже. По-прежнему стояла ровная жара; было душно, как в больничной палате, где кругом горячие батареи. Кончится это когда-нибудь? Наверно, случившееся уничтожило времена года или, по крайней мере, сделало из четырех времен года два — ту особую зиму, о которой всех их предупреждали, и это кошмарное лето.

* * *

Не знаю, который из них это был. Я стала закрывать глаза. Это труднее, чем вы думаете. Когда вы уже спите с закрытыми глазами, попробуйте закрыть их снова, чтобы избавиться от кошмара. Это нелегко. Но если я научусь этому, то смогу, может быть, сделать и следующий шаг — научиться зажимать уши. Это должно помочь.

— Как вы себя чувствуете сегодня утром?

— Почему *утром?* Вы же всегда приходите только ночью.— Видите, как я не даю им спуску даже в мелочах?

— Как вам будет угодно.

— Что значит «как мне будет угодно»?

— Хозяин — барин.— Это верно, хозяин — барин. Вы должны держать свое сознание под контролем, иначе его занесет неизвестно куда вместе с вами. Между прочим, так и возникла опасность, которая грозит сейчас миру. Держите разум под контролем.

Поэтому я сказала:

— Уходите.

— Вы все время это повторяете.

— Ведь вы же признали мое право решать.

— Придет день, и вы не сможете избежать разговора об этом.

— *День.* Опять за свое.— Я не открывала глаз.— Ну ладно, о чем — «об этом»? — Я думала, что загоню-таки его в угол, но это могла быть тактическая ошибка.

— Об этом? Ну, обо всем... Как вы попали в такой переплет, как мы собираемся помочь вам выпутаться.

— Ничего-то вы не знаете. Хоть с этим бы согласились!

Он пропустил мои слова мимо ушей. Ненавижу эту их манеру делать вид, будто они не слышат вещей, которые ставят их в тупик.

— Грег,— сказал он, явно меняя тему.— Ваше чувство вины, отверженности и тому подобное...

— Грег жив? — Кошмар был так реален, что мне показалось, будто он может знать ответ.

— Грег? Да-да, с Грегом все в порядке. Но мы думали, это не поможет...

— Почему у меня должно быть чувство вины? Я не считаю себя виноватой за лодку. Он хотел только пить пиво и шататься по девочкам. Для этого лодка не нужна.

— По-моему, не в лодке суть.

— Как это не в лодке? Если б не лодка, меня бы здесь не было.

— По-моему, вы слишком много перекладываете на эту лодку. Чтобы не думать о том, что случилось раньше. Вам не кажется, что именно так вы и поступаете?

— Почем я знаю? Это же *вы* у нас специалист.— Я понимаю, что мои слова прозвучали издевательски, но я не смогла удержаться. Уж больно он меня разозлил. Словно это *я* ничего не замечала до того, как взяла лодку. Да коли на то пошло, я была одной из немногих, кто замечал. Остальные, почти весь мир, вели себя, как Грег.

— Что ж, по-моему, дело идет на поправку.

— Уходите.

* * *

Я знала, что он еще появится. Пожалуй, я даже немножко хотела, чтоб он вернулся. Наверно, просто чтобы покончить с этим. К тому же, признаюсь, он меня заинтриговал. То есть я точно знаю, что́ произошло, и более или менее почему, и более или менее как. Но мне хотелось поглядеть, насколько ловко он — то есть на самом-то деле я сама — сможет все объяснить.

— Так вы считаете, что готовы поговорить о Греге?

— О *Греге?* При чем тут Грег?

— Ну, нам кажется, и мы рады были бы, если б вы это подтвердили, что ваш... ваш разлад с Грегом очень многое объясняет в ваших теперешних... проблемах.

— Ничего-то вы не знаете.— Мне нравилось повторять это.

— Так помогите мне узнать, Кэт. Растолкуйте мне, что к чему. Когда вы впервые заметили, что у вас с Грегом не все ладно?

— Грег, Грег. Рехнуться можно, атомная война вас не волнует, а на Греге прямо свет клином сошелся.

— Ну да, война, конечно. Но, по-моему, лучше говорить обо всем по порядку.

— А Грег важнее войны? Странная у вас система приоритетов. Может быть, война началась из-за Грега. Вы знаете, что у него есть бейсбольная шапка с надписью «ВОЙНА КРУЧЕ ЛЮБВИ»? Может, он сидел и пил пиво и нажал кнопку просто от нечего делать.

— Это интересный подход. Сейчас мы с вами что-нибудь нащупаем.— Я не ответила. Он продолжал: — Правы ли мы, считая, что с Грегом вы как бы поставили все на одну карту? Думали, что он ваш последний шанс? Возможно, вы возлагали на него чересчур большие надежды?

Я уже была сыта этим по горло.

— Меня зовут Кэтлин Феррис,— сказала я, скорее себе, чем кому-нибудь другому.— Мне тридцать восемь лет. Я уехала с севера и поселилась на юге, потому что видела, что происходит. Но война преследовала меня. Она все равно началась. Я села в лодку и поплыла, куда ветер дует. Я взяла с собой двух кошек, Пола и Линду. Я нашла этот остров. Я живу здесь. Я не знаю, что со мной будет, но знаю, что те из нас, кто думает о судьбе планеты, должны жить дальше.— Договорив, я вдруг заметила, что плачу. Слезы текли вниз по лицу и в уши. Я ничего не видела, ничего не слышала. Мне казалось, я плыву, тону.

Наконец, очень тихо,— а может быть, это мешала попавшая в уши вода? — тот человек сказал:

— Да, мы предполагали, что у вас сложилась такая картина.

— Я была в полосе отравленных ветров. У меня слезает кожа. Все время хочется пить. Я не знаю, насколько это серьезно, но знаю, что должна держаться. Хотя бы ради кошек. Я могу им понадобиться.

— Да.

— Что «да»-то?

— Ну... психосоматические симптомы могут быть очень убедительными.

— Очухайтесь же вы наконец! Была атомная война!

— Хм-м-м,— промычал этот человек. Он намеренно провоцировал меня.

— Ладно,— сказала я.— Давайте теперь послушаем вашу версию. По-моему, вам не терпится ее изложить.

— Ну, мы считаем, что все это из-за вашего разлада с Грегом. И ваших отношений, конечно. Собственничество, рукоприкладство...

Сначала я собиралась ему подыгрывать, однако не смогла удержаться и перебила:

— Какой там разлад. Просто взяла лодку, когда началась война.

— Да, конечно. Но у вас с ним... вы считаете, у вас с ним все шло хорошо?

— Не хуже, чем с другими олухами. Он ведь олух, Грег. Он нормальный для олуха.

— Все совпадает.

— Что значит «совпадает»?

— Ну, понимаете, мы затребовали сюда с севера ваши данные. Намечается закономерность. Вы любите ставить все на одну карту. С мужчинами одного типа. Согласитесь, это ведь всегда немного опасно.— Я не ответила, и он продолжал: — У нас это называется устойчивым синдромом жертвы. УСЖ.

Я решила промолчать снова. Честно говоря, я не поняла, о чем это он. Что он такое плетет.

— Вы всю жизнь любили отрицать, верно? Вы... очень многое отрицаете.

— Да нет, что вы,— сказала я. Это было нелепо. Я подумала, что пора выводить его на чистую воду.— Так что же, по-вашему,— значит, по-вашему, никакой войны не было?

— Не было. То есть риск был велик. Война и впрямь запросто могла начаться. Но они там как-то разобрались.

— *Они там как-то разобрались!* — насмешливо выкрикнула я, потому что это доказывало все. Мое сознание помнило эти слова Грега, которые показались мне тогда такими самодовольными. Мне приятно было кричать, я захотела выкрикнуть еще что-нибудь, и я это сделала.— Пока не поешь в «Би-Джей», говна из тебя не выйдет! — завопила я. Меня охватило торжество, но тот человек как будто ничего не понял и положил ладонь мне на руку, словно хотел успокоить.

— Правда разобрались. Войну предотвратили.

— Понятно,— ответила я, все еще ликуя.— Так, стало быть, я не на острове?

— Нет, нет.

— Я его себе вообразила?

— Да.

— И лодки, стало быть, тоже не существует?

— Нет, вы плыли на лодке.

— Но на ней не было кошек.

— Нет, когда вас нашли, с вами были две кошки. Страшно худые. Они едва выжили.

Он хитро делал, что не противоречил мне на каждом шагу. Но это можно было предвидеть. Я решила изменить тактику. Прикинусь растерянной, вызову у него легкое сочувствие.

— Не понимаю,— сказала я, дотягиваясь до его руки и беря ее в свою.— Если войны не было, почему я оказалась в лодке?

— Грег,— сказал он с какой-то отвратительной самоуверенностью, словно я наконец признала что-то.— Вы бежали от него. Мы замечаем, что люди с устойчивым синдромом жертвы часто испытывают острое чувство вины и обращаются в бегство. А тут еще плохие вести с севера. Они стали для вас предлогом. Вы материализовали свое беспокойство и смятение, перенесли их во внешний мир. Это нормально,— покровительственно добавил он, хотя было ясно, что он так не считает.— Вполне нормально.

— Я тут не единственная устойчивая жертва,— ответила я.— Весь наш полоумный мир — устойчивая жертва.

— Конечно,— он согласился, не слушая.

— Говорили, вот-вот будет война. Говорили, война уже началась.

— Об этом то и дело говорят. Но они там как-то разобрались.

— Значит, стоите на своем. Ну-ну. Так где же, по вашей *версии,*— я произнесла это слово с ударением,— где меня нашли?

— Примерно в сотне миль к востоку от Дарвина. Вы кружили в лодке на одном месте.

— Кружила на одном месте,— повторила я.— В точности как наш мир.— Сначала он говорит, что я наделяю мир своими проблемами, а потом — будто я делаю то, чем, как все знают, этот мир занимается давным-давно. Не слишком убедительно, прямо скажем.

— А как вы объясните, что у меня выпадают волосы?

— Боюсь, это вы сами их рвали.

— А почему слезает кожа?

— Вам пришлось нелегко. У вас был очень сильный стресс. В этом нет ничего необычного. Но все наладится.

— А почему же я очень ясно помню все, что случилось с момента объявления о начале войны на севере до моего пребывания здесь, на острове?

— Есть такой технический термин — фабуляция. Вы придумываете небылицу, чтобы обойти факты, о которых не знаете или которые не хотите принять. Берете несколько подлинных фактов и строите на них новый сюжет. Особенно в случаях двойного стресса.

— Как-как?

— Если сильный стресс в личной жизни совпадает с политическим кризисом во внешнем мире. Когда дела на севере идут плохо, у нас всегда увеличивается количество поступлений.

— Скоро вы скажете мне, что в море было полным-полно психов, которые кружили на одном месте.

— Таких было немного. Человека четыре-пять. Мало ведь у кого доходит до лодки.— Он говорил так, словно на него произвело впечатление мое упорство.

— И сколько же... поступлений было у вас на этот раз?

— Около двадцати.

— Что ж, я в восторге от вашей фабуляции,— сказала я, возвращая ему его термин. Это поставит его на место.— Я и правда считаю ее очень умной.— Но, конечно, он себя выдал. *Берете несколько подлинных фактов и строите на них новый сюжет* — ведь это его собственная тактика.

— Я рад, что дело пошло на поправку, Кэт.

— Вот идите и разберитесь,— сказала я.— Между прочим, нет ли новостей о северных оленях?

— Какие новости вас интересуют?

— Хорошие новости! — крикнула я.— Хорошие!

— Я постараюсь узнать.

* * *

Она почувствовала себя усталой, когда кошмар кончился, но победа осталась за ней. Она вытянула из искусителя все самое худшее. Теперь ей ничто не грозит. Конечно, он совершил целый ряд грубых промахов. *Я рад, что дело пошло на поправку* — он не должен был этого говорить. Кому понравится, если его собственное сознание будет относиться к нему свысока. А еще он выдал себя с головой, когда сказал, что ее кошки похудели. Это было самое запоминающееся из всего путешествия, как они толстели, как им нравилась рыба, которую она ловила.

Она твердо решила не говорить больше со своими гостями. Она не могла помешать им приходить — наверняка они будут навещать ее еще много-много ночей,— но говорить с ними она больше не станет. Она уже научилась закрывать глаза во время кошмара; теперь научится держать на замке рот и уши. Она не даст себя обмануть. Не даст.

А если ей суждено умереть, что ж, она умрет. Наверно, они попали в полосу сильно отравленных ветров; насколько сильно, выяснится, когда она либо поправится, либо умрет. Она волновалась за кошек, но знала, что они проживут и без нее. Вернутся к природе. Да они уже вернулись. Когда запасы еды в лодке иссякли, они начали охотиться. Вернее, только Пол. Линда слишком растолстела. Пол приносил ей всяких маленьких зверьков вроде кротов и мышек. Когда Кэт видела это, на ее глаза наворачивались слезы.

Все из-за того, что ее сознание боится смерти, вот к какому выводу она пришла. Когда у нее испортилась кожа и начали выпадать волосы, ее сознание принялось выдумывать другое объяснение. Она даже знала теперь, как это называется по-научному: фабуляция. Где она подцепила это слово? Наверное, вычитала в каком-нибудь журнале. Фабуляция. Берешь несколько подлинных фактов и строишь на них новый сюжет.

Она помнила разговор, который они вели прошлой ночью. Тот человек во сне сказал, вы многое в жизни отрицаете, ведь так, а она сказала, да нет, что вы. Она вспоминала это с улыбкой; но тут было и серьезное. Нельзя себя обманывать. Так делал Грег. Мы должны смотреть на вещи, как они есть; мы не можем больше полагаться на фабуляции. Иначе нам не уцелеть.

* * *

На следующий день, проснувшись на своем маленьком, заросшем кустарником острове в Торресовом проливе, Кэт Феррис обнаружила, что Линда родила котят. Их было пятеро — пестрых, сбившихся в одну кучку, беспомощных и слепых, но безо всяких изъянов. Они были такие милые. Конечно, кошка не позволит ей трогать их, но это ее право, это нормально. Она была так счастлива! Ведь теперь можно было надеяться!

5. *Кораблекрушение*

I

Все началось с дурного знака.

Когда они обогнули мыс Финистерре и шли на юг, подгоняемые свежим ветром, к фрегату приблизилась стая морских свиней. Люди заполнили полуют и сгрудились у поручней, дивясь способности этих животных кружить около судна, уже набравшего хороший ход в девять-десять узлов. В то время как они любовались играми морских свиней, поднялся крик. Корабельный юнга выпал в один из передних орудийных портов по левому борту. Был произведен сигнальный выстрел, сброшен спасательный плотик, и судно легло в дрейф. Однако с этими действиями замешкались, и к моменту спуска шестивесельного баркаса место происшествия осталось далеко позади. Не удалось найти даже плотик, тем более юнгу. Ему было только пятнадцать лет, и знавшие его утверждали, что он хороший пловец; они полагали, что он, скорее всего, достиг плотика. Если так, то он, без сомнения, погиб на нем, претерпев жесточайшие муки.

Экспедиция в Сенегал состояла из четырех судов: фрегата, корвета, флута и брига. Она отправилась с острова Экс 17 июня 1816 года, имея на борту 365 человек. Теперь, потеряв одного члена команды, она держала курс на юг. Моряки запаслись провизией на Тенерифе, взяв в дальнейший путь тонкие вина, апельсины, лимоны, плоды баньяна и всевозможные овощи. Здесь они отметили развращенность местных жителей: женщины Санта-Круса стояли у своих дверей и заманивали французов внутрь, уверенные, что ревность их мужей будет излечена монахами Инквизиции, кои неодобрительно отзывались об одержимости брачными узами как об ослеплении, насылаемом Сатаной. Вдумчивые путешественники приписали сии нравы влиянию южного солнца, чья сила, как известно, сокрушает и физические, и моральные препоны.

С Тенерифе отправились на юго-юго-запад. Вследствие свежих ветров и некомпетентности командного состава флотилия распалась. Фрегат в одиночестве пересек тропик и миновал мыс Барбас. Он шел в виду берега, иногда приближаясь к нему на расстояние в полпушечного выстрела. Море было усеяно скалами; бригантины нечасто посещали эти места при низкой воде. Когда обогнули мыс Бланко или то, что моряки за него приняли, судно очутилось на мелководье; лот бросали каждые полчаса. На рассвете месье Моде, вахтенный прапорщик, произвел счисление на клетке с курами и определил, что они находятся у кромки Аргенского рифа. Его советами пренебрегли. Но даже те, кто был несведущ в морском деле, заметили изменение цвета воды; у борта корабля виднелись водоросли, и было выловлено великое множество рыбы. При тихом море и ясной погоде фрегат садился на мель. Лот показал восемнадцать саженей, вскоре после этого — шесть саженей. Судно, приведенное к ветру, почти немедленно дало крен; потом еще и еще один. Промером определили глубину в пять метров и шестьдесят сантиметров.

К несчастью, они наткнулись на риф, когда вода стояла высоко; и при подымающемся на море волнении попытки освободить корабль потерпели неудачу. Фрегат был, несомненно, потерян. Поскольку

имеющиеся на нем лодки не могли забрать всю команду, решено было сложить плот и поместить на него остальных. Затем плот предполагалось отбуксировать к берегу; таким образом, все были бы спасены. Этот план казался непогрешимым; но, как заявляли позже двое очевидцев, он был построен на песке, развеянном дуновением эгоизма.

Плот был сложен, и сложен хорошо, места в лодках распределены, провизия заготовлена. На рассвете, при двух метрах семидесяти сантиметрах воды в трюме и сломанных помпах, был отдан приказ покинуть корабль. Однако нарушения сразу же расстроили безупречный план. Распределение мест было забыто, с припасами обращались небрежно; часть оставили на судне, а часть потопили. Плот предназначался для ста пятидесяти потерпевших: ста двадцати военных, включая офицеров, двадцати девяти моряков и пассажиров-мужчин, одной женщины. Но едва на эту платформу — которая была двадцати метров в длину и семи в ширину — спустились пятьдесят человек, как она ушла в воду по меньшей мере на семьдесят сантиметров. С плота были сброшены запасенные ранее бочонки с мукой, и он заметно поднялся; на него спустились оставшиеся люди, и он снова ушел под воду. Полностью загруженная, платформа оказалась в метре под поверхностью воды, а те, кто был на ней, из-за тесноты не могли ступить ни шагу; сзади и спереди они стояли в воде по пояс. Они страдали от ударов незакрепленных бочонков с мукой, которые швыряло волнами; им сбросили двадцатипятифунтовый мешок с галетами, и вода тут же превратила его в тесто.

Предполагалось, что один из морских офицеров примет на себя командование плотом; однако этот офицер не согласился спуститься туда. В семь часов утра был дан сигнал, и маленькая флотилия двинулась прочь от потерпевшего крушение фрегата. Семнадцать человек отказались покинуть корабль или не вышли к отплытию и, таким образом, остались ждать своей участи на борту.

Плот буксировали четыре лодки, развернутые в ряд; флотилию возглавлял полубаркас, который делал промеры. Когда лодки разошлись по местам, на плоту закричали: «Vive le roi!» — и подняли маленький белый флаг на конце мушкета. Но именно в этот момент величайших для всех людей на плоту надежд и ожиданий к обычным морским ветрам присоединилось дуновение эгоизма. Один за другим, в силу своекорыстия, некомпетентности, несчастного стечения обстоятельств или кажущейся необходимости, буксирные концы были отданы. Не отойдя от фрегата и на две мили, плот лишился помощи. У тех, кто был на нем, имелось вино, толика бренди, малый запас воды и немного подмокших галет. Их не снабдили ни компасом, ни картой. Без весел и руля было невозможно управлять плотом и почти невозможно помочь находящимся на нем людям, которых постоянно сталкивало друг с другом, когда волны перекатывались через платформу. В первую же ночь разразился шторм, и плот едва противостоял его свирепому натиску; крики покинутых мешались с ревом валов. Некоторые привязались к бревнам веревками; все были нещадно избиты. Рассвет огласился жалобными криками, люди возносили к Небесам обещания, которым суждено было пропасть втуне, и готовились к надвигающейся смерти. Всякое представление об этой первой ночи бледнеет перед реальностью.

На следующий день море было спокойно, и у многих вновь затеплилась надежда. Однако двое юношей и пекарь, убежденные, что избежать смерти не удастся, распрощались с товарищами и добровольно отдались в объятия стихии. Именно в этот день у потерпевших крушение стали появляться первые галлюцинации. Кому-то мерещилась земля, иные замечали суда, идущие спасать их, и эти обманчивые надежды, разбиваясь о скалы, порождали еще большее отчаяние.

Вторая ночь была ужаснее первой. Волны походили на горы и постоянно грозили перевернуть плот; собравшись у короткой мачты, офицеры командовали перемещениями солдат с одного края платформы на другой, дабы скомпенсировать качку. Несколько человек, уверенные в своей

погибели, вскрыли бочонок с вином, желая облегчить последние мгновения жизни путем помрачения рассудка; в чем они и преуспевали, покуда морская вода, проникнув в бочку через сделанное ими отверстие, не испортила напитка. Засим, вдвойне обезумев, эти несчастные решили подвергнуть все полному разрушению и с этой целью принялись за веревки, связывавшие плот. Мятежникам воспрепятствовали, и среди волн и ночной тьмы разыгралась беспощадная битва. Вскоре порядок был восстановлен, и в течение часа на роковом плоту царило спокойствие. Но к полуночи солдаты взбунтовались опять и атаковали своих командиров с ножами и саблями; те, у кого не было оружия, настолько потеряли разум, что пытались загрызть офицеров зубами, и последние претерпели множество укусов. Людей бросали в море, избивали, закалывали; за бортом исчезли два бочонка с вином и единственный бочонок воды. К моменту подавления мятежа плот был усеян трупами.

Во время первой стычки один из примкнувших к мятежникам членов команды, по имени Доминик, был выброшен в море. Услышав жалобные вопли своего предателя-подчиненного, судовой механик кинулся в воду и, схватив негодяя за волосы, с огромным трудом вытащил его обратно на плот. Голова Доминика была рассечена ударом сабли. В темноте рана была перевязана и несчастный глупец возвращен к жизни. Но не успел он толком оправиться, как, проявив черную неблагодарность, вновь примкнул к мятежникам и ввязался в схватку. На сей раз он нашел менее удачи и сострадания: той ночью его убили.

Теперь уцелевшим грозила гибелью начинающаяся горячка. Иные бросились в море; иные впали в оцепенение; иные несчастные кидались на товарищей, обнажив саблю, и требовали *куриного крылышка*. Механику, чье мужество спасло Доминика, чудилось, будто он путешествует по прекрасным равнинам Италии, а один из офицеров говорит ему: «Я помню, что лодки нас бросили; но вы ничего не бойтесь; я только что написал губернатору, и через несколько часов мы будем спасены». Механик, и в бреду сохранивший трезвомыслие, отвечал офицеру: «Разве у вас есть голуби, способные доставлять депеши с такой скоростью?»

На шестьдесят человек, сохранивших жизнь, остался лишь один бочонок вина. Они кое-как смастерили из солдатских жетонов крючки для рыбной ловли; они взяли штык и согнули его, надеясь поймать на него акулу. После чего акула действительно появилась, и схватила штык, и одним мощным движением челюстей снова совершенно выпрямила его, и уплыла прочь.

Дабы продлить свое жалкое существование, они нуждались в дополнительных ресурсах. Некоторые из уцелевших после ночных мятежей набрасывались на трупы и отрубали от них куски, пожирая эту плоть в мгновение ока. Большинство офицеров отказалось от такой пищи, хотя один из них предложил завялить мясо убитых, чтобы сделать его более удобоваримым. Кое-кто пробовал жевать портупеи и патронташи, а также кожаную отделку на своих шляпах, однако от этого было мало проку. Один матрос пытался есть собственные экскременты, но потерпел неудачу.

На третий день погода была тихой и ясной. Они надеялись отдохнуть, однако наряду с голодом и жаждой их мучили жестокие видения. Плот, облегченный теперь более чем вдвое, поднялся из воды — непредвиденная польза, которую принесли ночные мятежи. Но вода доходила людям до колен, и они могли отдыхать лишь стоя, сбившись в одну плотную массу. На четвертое утро они обнаружили, что с десяток их товарищей умерли ночью; тела были преданы морю, за исключением одного, предназначенного для утоления голода. В четыре часа пополудни им встретился косяк летучих рыб; многие рыбы, перепрыгивая плот, запутались в снастях. Этим же вечером они разделали добычу, но их голод был столь силен, а доля каждого столь ничтожна, что многие из них увеличили свои порции за счет человеческого мяса; в сочетании с рыбой оно сделалось менее отталкивающим. В таком виде его начали есть даже офицеры.

С этого дня употреблять в пищу человеческое мясо научились все. Следующей ночью его запасы пополнились. Несколько испанцев, итальянцев и негров, во время первых мятежей сохранявших нейтралитет, договорились сбросить командиров за борт и достичь берега — по их мнению, до него было рукой подать — вместе со всем имуществом и ценностями, которые были сложены в мешок и подвешены к мачте. Снова разгорелась жестокая битва, и снова роковой плот был омыт кровью. Когда этот третий мятеж наконец удалось подавить, на борту осталось не более тридцати человек, и плот опять поднялся из воды. Едва ли хоть один человек на нем лежал без ран, которые постоянно окатывала соленая вода, и пронзительные крики не утихали.

На седьмой день двое солдат спрятались за последним бочонком с вином. Они проделали в нем дыру и стали тянуть вино через соломинку. По обнаружении, согласно заключенному ранее уговору, не допускавшему никаких поблажек, эти двое нарушителей были сразу же сброшены в воду.

Теперь подошло время принять самое ужасное решение. Сочли уцелевших; их оказалось двадцать семь. Пятнадцать еще могли прожить несколько дней; остальные, страдающие от глубоких ран и большей частью лежащие в бреду, имели ничтожные шансы на выживание. Однако за тот срок, что отделял их от смерти, они наверняка заметно уменьшили бы ограниченный запас продовольствия. Было подсчитано, что они могут выпить добрых тридцать-сорок бутылок вина. Держать больных на половинном пайке значило лишь убивать их постепенно. И вот после дебатов, тон которым задавало самое беспросветное отчаяние, пятнадцать здоровых людей сошлись на том, что ради общего блага еще способных уцелеть их больные товарищи должны быть сброшены в море. Эту жуткую, но необходимую экзекуцию совершили трое матросов и солдат, чьи сердца были ожесточены постоянным соседством со смертью. Здоровые были отделены от больных, как чистые от нечистых.

После этого страшного жертвоприношения пятнадцать уцелевших утопили все свое оружие, оставив лишь одну саблю на случай, если понадобится перерезать какую-нибудь веревку или перепилить дерево. Припасов должно было хватить на шесть дней, занятых ожиданием смерти.

В это время произошло маленькое событие, к которому каждый отнесся согласно своему характеру. Над их головами появилась порхающая белая бабочка, каких много во Франции, и села на парус. Некоторые моряки, обезумевшие от голода, и в этом узрели возможность добыть себе на ужин лишнюю кроху. Другим, измученным и лежащим почти неподвижно, показалась настоящим оскорблением та легкость, с которой порхала над ними их гостья. Иные же увидели в этой обыкновенной бабочке знамение, вестницу Неба, белую, как Ноев голубь. Даже скептики, не верящие в Божий промысл, осторожно согласились с тем обнадеживающим соображением, что бабочки недалеко улетают от твердой земли.

Однако твердая земля так и не появилась. Палимых солнцем людей изводила свирепая жажда, и они стали смачивать губы собственной мочой. Они пили ее из маленьких жестяных кружек, предварительно опуская их в воду, чтобы скорее охладить жидкость. Случалось, что у кого-нибудь похищали кружку и затем возвращали, но уже без ее содержимого. Был человек, который не мог заставить себя проглотить мочу, как ни страдал он от жажды. Один из них, врач, заметил, что у некоторых моча более пригодна для питья, нежели у других. Еще он заметил, что непосредственным результатом приема мочи внутрь был позыв к тому, чтобы произвести ее снова.

Один армейский офицер обнаружил лимон и хотел приберечь его для себя; бурная реакция остальных убедила его в том, что эгоизм чреват фатальными последствиями. Были также найдены тридцать долек чеснока, которые в свою очередь послужили предметом спора; не будь все

оружие, кроме единственной сабли, выброшено в море, кровь могла бы пролиться еще раз. На плоту имелись два пузырька со спиртовой жидкостью для чистки зубов; одна-две капли этой жидкости, с которой ее обладатель расставался весьма неохотно, вызывали на языке чудесное ощущение, на несколько секунд прогонявшее жажду. Оловянная посуда, помещенная в рот, позволяла насладиться прохладой. Уцелевшие пускали по кругу флакончик из-под розового масла; они вдыхали остатки аромата, и это действовало на них успокаивающе.

На десятый день, получив свою долю вина, несколько человек решили довести себя до состояния опьянения и затем покончить счеты с жизнью; их с трудом уговорили не делать этого. Плот окружили акулы, и некоторые солдаты, уже почти лишившись разума, открыто купались в непосредственной близости от этих гигантских рыб. Восемь человек, полагая, что земля не может быть далеко, сложили второй плот и хотели уплыть на нем. У них получилась узкая платформа с короткой мачтой и куском дерюги вместо паруса; но, опробовав это хлипкое сооружение, они убедились в безрассудности своей затеи и отказались от нее.

На тринадцатый день пытки солнце взошло в абсолютно безоблачном небе. Пятнадцать несчастных вознесли молитвы Всемогущему Господу и поделили между собой очередную порцию вина; и вдруг капитан от инфантерии, обозревая горизонт, заметил корабль и громким возгласом оповестил об этом товарищей. Все возблагодарили Бога и дали волю изъявлениям радости. Они распрямили обручи с бочек и привязали к ним платки; один из них взобрался на мачту и замахал этими самодельными флажками. Все следили за судном на горизонте и пытались понять, куда оно идет. Некоторые полагали, что оно приближается с каждой минутой; другие утверждали, что оно движется в противоположном направлении. Полчаса надежда боролась в них со страхом. Затем корабль исчез.

Их радость сменилась горем и отчаянием; они завидовали участи товарищей, погибших прежде их. Потом, дабы найти частичное забвение во сне, они растянули над плотом кусок материи для защиты от солнца и легли под ним. Было предложено составить отчет об их злоключениях, всем подписать его и прибить к верхушке мачты в надежде, что он каким-нибудь образом достигнет их семей и правительства.

Они провели два часа в самых мрачных размышлениях; затем артиллерийский сержант, желая попасть на край плота, выбрался из-под навеса и увидел «Аргус», идущий к ним на всех парусах; их разделяло всего пол-лиги. У него перехватило дыхание. Он протянул руки к морю. «Спасены! — сказал он.— К нам идет бриг!» Все возликовали; даже раненые, дабы лучше видеть приближающихся спасителей, кое-как доползли до конца платформы. Они обнимались друг с другом, а когда обнаружили, что обязаны своим избавлением французам, их восторг удвоился. Они замахали платками и возблагодарили Провидение.

«Аргус» взял паруса на гитовы и лег в дрейф по их правому борту, на расстоянии в полпистолетного выстрела. Пятнадцать уцелевших, самые сильные из которых не прожили бы долее сорока восьми часов, были подняты на борт; капитан и офицеры брига своей неусыпной заботой снова раздули тлеющую в них искорку жизни. Двое, позднее написавшие отчет о своих испытаниях, заключают, что спасение показалось им истинным чудом и что в сем благополучном исходе была заметна рука Высших Сил.

Путешествие фрегата началось с дурного знака, а закончилось оно эхом. Когда лодки-буксиры потащили роковой плот в открытое море, на нем не хватало семнадцати человек. Оставшись на корабле по своей воле, они незамедлительно осмотрели его в поисках того, что не взяли с собой уплывшие и не испортила морская вода. Они нашли галеты, вино, бренди и бекон; какое-то время на этом можно было продержаться. Сначала они не слишком беспокоились, поскольку их товарищи обещали вернуться за ними. Однако когда минули сорок два дня, а на помощь так никто и не

явился, двенадцать из семнадцати решили искать спасения самостоятельно. Выбрав из корпуса корабля несколько брусьев и скрепив их прочными канатами, они построили второй плот и отплыли на нем. Подобно своим предшественникам, они не имели ни весел, ни иного мореходного оснащения, кроме примитивного паруса. С собой они взяли небольшой запас провизии и остатки надежды. Но много дней спустя обломки их плота были обнаружены живущими на побережье Сахары маврами, подданными короля Саида; они принесли эту весть в Андар. Скорее всего, люди с этого второго плота сделались добычей морских чудовищ, которые в таком множестве водятся у берегов Африки.

И наконец, словно в насмешку, за эхом последовало еще одно эхо. На фрегате оставались пятеро человек. Через несколько дней после отбытия второго плота матрос, отказавшийся плыть на нем, также решил достичь земли. Не способный построить третий плот в одиночку, он пустился в море на клетке для кур. Возможно, это была та самая клетка, на которой роковым утром в день кораблекрушения проверял курс корабля вахтенный офицер месье Моде. Однако клетка для кур пошла ко дну, и матрос погиб не более чем в полукабельтове от «Медузы».

II

Как воплотить катастрофу в искусстве?

Теперь это делается автоматически. Взрыв на атомной станции? Не пройдет и года, как на лондонской сцене будет поставлена пьеса. Убит президент? Вы получите книгу, или фильм, или экранизированную версию книги, или беллетризованную версию фильма. Война? Шлите туда романистов. Ряд кровавых убийств? И сразу слышен топот марширующих поэтов. Конечно, мы должны понять ее, эту катастрофу; а чтобы понять, надо ее себе представить — отсюда и возникает нужда в изобразительных искусствах. Но еще мы стремимся оправдать и простить, хотя бы отчасти. Зачем он понадобился, этот безумный выверт Природы, этот сумасшедший человеческий миг? Что ж, по крайней мере, благодаря ему родилось произведение искусства. Может быть, именно в этом главный смысл катастрофы.

Перед тем как начать картину, он обрил себе голову; мы все знаем это. Обрил голову, чтобы ни с кем не видеться, заперся у себя в студии и вышел, только когда закончил свой шедевр. Так вот как это было?

17 июня 1816 г. экспедиция отправилась в путь.
2 июля 1816 г., после полудня, «Медуза» села на риф.
17 июля 1816 г. уцелевшие были сняты с плота.
В ноябре 1817 г. Савиньи и Корреар опубликовали свой отчет о путешествии.
24 февраля 1818 г. был куплен холст.
28 июня 1818 г. холст был перенесен в более просторную студию и заново натянут.
В июле 1819 г. картина была закончена.
28 августа 1819 г., за три дня до открытия Салона, Людовик XVIII посмотрел картину и обратился к художнику со словами, которые Moniteur Universel назвала «одним из тех изящных замечаний, кои служат оценкой работе, а равно и воодушевляют художника». Король сказал: «Месье Жерико, ваше кораблекрушение никак нельзя назвать катастрофой».

Все начинается с верности правде жизни. Художник читал отчет Савиньи и Корреара; он встречался с ними, беседовал с ними. Он составил из найденных материалов досье. Он отыскал спасенного плотника с «Медузы», и тот сделал для него модель своего оригинального сооружения. На ней Жерико поместил восковые фигуры уцелевших.

Чтобы пропитать атмосферу мастерской духом бренности, он окружил себя собственными творениями, изображающими рассеченные конечности и отрубленные головы. На картине в ее последнем варианте можно узнать позировавших ему Савиньи, Корреара и плотника. (Что они чувствовали, имитируя пережитые страдания?)

Во время работы он был абсолютно спокоен, сообщает Антуан Альфонс Монфор, ученик Ораса Верне; движения тела и плеч были едва заметны, и только легкий румянец на щеках выдавал его сосредоточенность. Он писал сразу на белом холсте, и ориентиром ему служили лишь приблизительно намеченные контуры. Он работал дотемна с упорством, продиктованным также технической необходимостью: густые, быстро сохнущие краски, которыми он пользовался, требовали, чтобы каждый фрагмент, раз начатый, был закончен в этот же день. Как мы знаем, он сбрил свои светло-рыжие кудри, не желая, чтобы его беспокоили. Но он был не одинок; натурщики, ученики и друзья по-прежнему посещали дом, который он делил со своим молодым ассистентом Луи-Алексисом Жамаром. Среди его натурщиков был юный Делакруа — с него написана фигура мертвеца, лежащего лицом вниз с вытянутой левой рукой.

Давайте начнем с того, чего он не изобразил. Опущено было следующее:

1) столкновение «Медузы» с рифом;
2) момент, когда буксирные концы были отданы и плот брошен на произвол судьбы;
3) ночные мятежи;
4) вынужденный каннибализм;
5) совершенное ради самосохранения массовое убийство;
6) появление бабочки;
7) сцены с людьми по пояс, или по колено, или по щиколотку в воде;
8) самый момент спасения.

Иными словами, задуманная им картина не должна была быть 1) политической; 2) символической; 3) театрально-драматической; 4) шокирующей; 5) рассчитанной на дешевый эффект; 6) сентиментальной; 7) документальной; или 8) недвусмысленной.

Примечания

1) «Медуза» была кораблекрушением, газетной сенсацией и картиной; она была также и поводом. Бонапартисты нападали на монархистов. Поведение капитана фрегата стало иллюстрацией а) некомпетентности морских офицеров и коррумпированности Королевского флота; б) бессердечного отношения представителей правящего класса к тем, кто стоит ниже их. Параллель с государственным кораблем, садящимся на мель, была бы и примитивна, и тяжеловесна.

2) Савиньи и Корреар, двое уцелевших, которые составили первый отчет о кораблекрушении, пытались добиться от правительства компенсации для жертв и наказания виновных офицеров. Отвергнутые официальным правосудием, они апеллировали с помощью своей книги к более широкому суду общественного мнения. Корреар постепенно сделался издателем и памфлетистом; его заведение, названное «У обломков «Медузы», стало местом сборищ политических оппозиционеров. Мы можем представить себе изображение момента, когда отдают буксирные концы: занесенный топор, сверкнувший на солнце; офицер, сидя спиной к плоту, небрежно распускает узел... получился бы превосходный живописный памфлет.

3) Мятеж был сценой, которую Жерико чуть было не изобразил. Осталось несколько предварительных зарисовок. Ночь, шторм, бушующие волны, порванный парус, подъятые сабли, тонущие люди, рукопашный бой, обнаженные тела. Что здесь неладно? Самое главное, что

это похоже на типовую салунную драку в третьеразрядном вестерне, где участниками являются все до единого: кто-то бьет кого-то кулаком, кто-то ломает стул или разбивает бутылку о чужую голову, кто-то в тяжелых ботинках раскачивается на люстре. Чересчур много действия. Можно сказать больше, изобразив меньше.

Уцелевшие наброски сцены мятежа считаются напоминающими традиционные эпизоды Страшного Суда с его отделением праведников от грешников и обречением мятежников на вечные муки. Такая аналогия была бы несправедлива. На плоту торжествовала сила, а не добродетель; милосердия же выказывалось очень мало. Подтекст этой версии говорил бы о том, что Бог держал сторону офицерства. Возможно, в ту пору так оно и было. Принадлежал ли к офицерству Ной?

4) В западном искусстве очень мало каннибализма. Ханжество? Едва ли: ханжество не мешало западным художникам изображать выдавленные глаза, отрубленные головы в мешках, жертвенное отсечение грудей, обрезание, распятие. Более того, каннибализм был языческой практикой, что давало возможность благочестиво заклеймить его в красках, исподволь воспламеняя зрителя. Но некоторые сюжеты вообще почему-то использовались реже других. Возьмите, например, представителя офицерства Ноя. Изображений его Ковчега поразительно мало. Есть странный, забавный американский примитив и мрачный Якопо Бассано в музее Прадо, но больше на память почти ничего не приходит. Адама и Еву, изгнание из Рая, Благовещение, Страшный Суд — все это крупные художники писали. Но вот Ноя и его Ковчег? Ключевой момент в истории человечества, шторм на море, живописные звери, божественное вмешательство в дела человека — здесь явно имеется все необходимое. Чем же объяснить этот пробел в иконографии? Возможно, отсутствием достаточно знаменитого изображения Ковчега, которое дало бы толчок развитию этого сюжета и превратило бы его в популярный. Или чем-то, кроющимся в самой этой повести: может быть, художники сошлись на том, что Потоп характеризует Бога не с лучшей стороны?

Жерико сделал один набросок, темой которого является каннибализм на плоту. Высвеченная им сцена антропофагии изображает мускулистого моряка, гложущего локоть мускулистого трупа. Это выглядит почти комично. В подобных случаях всегда непросто найти верный тон.

5) Картина есть мгновение. Что мы подумали бы, стоя перед полотном, на котором три матроса и солдат сбрасывают людей с плота в море? Что жертвы уже бездыханны? Или что их убивают ради их драгоценностей? Карикатуристы, затрудняясь объяснить смысл своих шуток, часто рисуют нам продавца газет рядом с афишей, где красуется какой-нибудь удобный заголовок. Нужную для понимания этой картины информацию можно было бы передать таким текстом: «УЖАСНАЯ СЦЕНА НА ПЛОТУ «МЕДУЗЫ», В КОТОРОЙ ОТЧАЯВШИЕСЯ МОРЯКИ, МУЧИМЫЕ СОВЕСТЬЮ, ПРИХОДЯТ К ВЫВОДУ, ЧТО НА ВСЕХ ПРОВИЗИИ НЕ ХВАТИТ, И ПРИНИМАЮТ ТРАГИЧЕСКОЕ, НО НЕОБХОДИМОЕ РЕШЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАТЬ РАНЕНЫМИ, ДАБЫ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ ШАНСЫ НА ВЫЖИВАНИЕ». Прямо, скажем, длинновато.

Между прочим, «Плот «Медузы» называется не «Плот «Медузы». В каталоге Салона полотно именовалось «Scène de naufrage» — «Сцена кораблекрушения». Осторожный политический ход? Может быть. Но тут есть и полезная подсказка зрителю: вам предлагают картину, а не мнение.

6) Нетрудно представить себе появление бабочки в изображении других художников. Но нам наверняка показалось бы, что автор чересчур грубо пытается сыграть на наших чувствах. И даже если бы проблема тона была решена, остались бы две главные трудности. Во-первых, это походило бы на выдумку, хотя в действительности все было именно так; подлинное отнюдь не всегда убедительно. Во-вторых, живописцу, который берется за изображение бабочки величиной в шесть-восемь сан-

тиметров, опустившейся на плот двадцати метров в длину и семи в ширину, очень непросто разобраться с масштабом.

7) Если плот скрыт под водой, вы не можете нарисовать плот. Люди вырастали бы из поверхности моря, словно полчище Венер Анадиомен. Далее, отсутствие плота порождает композиционные трудности: когда все стоят, потому что лечь значит утонуть, ваша картина оказывается битком набита вертикалями; чтобы с честью выйти из положения, вы должны быть сверхгениальным. Лучше подождать, пока большинство находящихся на плоту умрет — тогда плот вынырнет из-под воды, и горизонтальная плоскость будет к вашим услугам.

8) Подплывшая вплотную лодка с «Аргуса», уцелевшие, которые тянут руки и карабкаются на нее, трогательный контраст между обликом спасенных и спасителей, изнеможение и восторг — все это, без сомнения, очень эффектно. Жерико сделал несколько набросков этой выразительной сцены. Такая картина производила бы сильное впечатление, но была бы слишком... прямолинейной.

Вот чего он не написал.

А что же он написал? Вернее: что видим на его картине *мы?* Давайте попробуем посмотреть на нее неискушенным взором. Итак, мы рассматриваем «Сцену кораблекрушения», не зная истории французского мореходства. Мы видим на плоту людей, взывающих о помощи к крошечному кораблю на горизонте (это далекое судно, не можем не заметить мы, по величине примерно такое же, какой была бы та бабочка). Сначала нам кажется, что перед нами миг, предшествующий спасению. Это чувство возникает отчасти благодаря нашей упорной любви к хэппи эндам, но еще и оттого, что на каком-то уровне нашего сознания брезжит вопрос: как же мы узнали бы об этих людях на плоту, если бы спасти их не удалось?

Что говорит в пользу этого первого предположения?

Корабль находится на горизонте; солнце, хотя его и не видно, тоже на горизонте — оно окрашивает небо желтым. Это восход, заключаем мы, и корабль появляется вместе с солнцем, сулит новый день, надежду и спасение; черные тучи над головой (очень черные) скоро рассеются. А вдруг это закат? Утреннюю и вечернюю зори легко спутать. Что, если это закат, корабль вот-вот исчезнет заодно с солнцем, а потерпевших крушение ждет беспросветная ночь, черная, как эти тучи у них над головой? Чтобы разрешить сомнения, мы могли бы обратиться взором к парусу и посмотреть, движется ли плот к кораблю и разгонит ли ветер эту зловещую тучу, но загадка остается загадкой: ветер дует не от нас и не к нам, а справа налево, и рама пресекает нашу попытку выяснить, какая же погода там, справа. Затем нам, по-прежнему колеблющимся, приходит в голову третья возможность: вполне вероятно, что это восход, но корабль тем не менее удаляется от потерпевших. Так судьба бесповоротно перечеркивает все надежды: солнце встает, *но не для тебя.*

Тут неискушенный взор с легким раздражением и неохотой уступает место осведомленному. Давайте изучим «Сцену кораблекрушения» в свете рассказа Савиньи и Корреара. Сразу ясно, что Жерико изобразил не тот момент, который предшествовал спасению: тогда все было иначе, ибо бриг вдруг обнаружился около плота и ликование было общим. Нет — это первое появление «Аргуса» на горизонте, заставившее моряков провести в страхе и надежде мучительные полчаса. Сравнивая написанное кистью с написанным пером, мы тут же замечаем, что Жерико не стал изображать человека, залезшего на мачту с выпрямленным обручем от бочки и привязанными к нему платками. Он заменил его другим, забравшимся на бочку и машущим большой тряпкой. Мы медлим перед этой заменой, потом соглашаемся, что она очень выгодна: реальность подсовывала ему петушка на палочке; искусство предложило более уверенный фокус и лишнюю вертикаль.

Но не будем спешить и сразу вспоминать все, что знаем. Дадим

потрудиться обидчивому неискушенному взору. Забудем о погоде; разберемся, что происходит на самом плоту. Почему бы для начала не счесть моряков по головам? Всего на картине двадцать человек. Двое энергично машут, один энергично указывает вдаль, двое страстно и умоляюще тянут руки и еще один поддерживает забравшегося на бочку: шестеро за надежду и спасение. Затем имеются пять человек лежащих (двое ничком, трое навзничь), которые либо мертвы, либо умирают, плюс седобородый старик, который сидит в скорбной позе спиной к «Аргусу»: шестеро против. Посередине (как по расположению, так и по настроению) еще восемь персонажей: один полувзывает, полуподдерживает; трое наблюдают за машущим с неопределенным видом; один наблюдает за ним с му́кой на лице; двое, в профиль, следят за волнами, один за набегающими, другой за убегающими; и завершает счет неясная фигура в самой темной, хуже всего сохранившейся части картины — это человек, который сжимает руками голову (и впился в нее ногтями?). Шесть, шесть и восемь; абсолютного перевеса нет.

(Двадцать? — спотыкается осведомленный взор. Но Савиньи и Корреар сообщают лишь о пятнадцати уцелевших. Значит, все те пятеро, которые могли быть просто в обмороке, наверняка мертвы? Да. А как же насчет проведенного отбора, когда пятнадцать здоровых утопили в океане тринадцать своих раненых товарищей? Жерико вернул нескольких погибших из морской пучины, чтобы уравновесить композицию. А учитываются ли голоса мертвых в споре надежды с отчаянием? Строго говоря, нет; но они вносят полноправный вклад в общее настроение картины.)

Итак, состав сбалансирован: шестеро за, шестеро против, восемь — непонятно. Оба взора, неискушенный и осведомленный, блуждают по холсту. Они постепенно уходят от главного композиционного центра, человека на бочке; их притягивает фигура в скорбной позе впереди слева, единственный персонаж картины, смотрящий на нас. У него на коленях лежит юноша, который — мы это уже вычислили — наверняка мертв. Старик повернулся спиной ко всем живым; поза его выражает покорство, печаль, отчаяние; далее, он выделяется своими сединами и накидкой, красным куском материи. Он словно попал сюда из другого жанра — возможно, какой-нибудь заблудившийся пуссеновский старец. (Чепуха, перебивает осведомленный взор. Пуссен? Герен и Гро, коли уж на то пошло. А мертвый «сын»? Смесь Герена, Жироде и Прюдона.) Что же делает этот «отец» — а) оплакивает мертвеца (сына? друга?), лежащего у него на коленях? б) укрепляется в уверенности, что их никогда не спасут? в) думает, что даже если их спасут, это гроша ломаного не стоит из-за смерти, которую он держит в объятиях? (Между прочим, замечает осведомленный взор, иногда невежество и вправду помогает жить. Вы бы, к примеру, никогда не догадались, что «отец и сын» — это подавленный каннибалистический мотив. Впервые они появляются вместе на единственном сохранившемся наброске сцены каннибализма; и всякий образованный современник, глядя на картину, непременно вспомнил бы графа Уголино, скорбящего в Пизанской башне среди своих умирающих детей — которых он съел. Теперь понятно?)

Но что бы, по нашему мнению, ни думал этот старик, его присутствие на картине ощущается с не меньшей силой, чем присутствие человека на бочке. Это противостояние заставляет сделать следующий вывод: на холсте изображен момент, когда «Аргус» находился в середине своего получасового путешествия по горизонту. Пятнадцать минут уже прошло, пятнадцать осталось. Некоторые все еще считают, что корабль направляется в их сторону; некоторые сомневаются и ждут, что будет; некоторые — включая самого умного человека на борту — знают, что он удаляется от них и на спасение рассчитывать нечего. Эта фигура помогает нам истолковать «Сцену кораблекрушения» как образ обманутой надежды.

Почти все, кто видел картину Жерико в стенах Салона 1819 года, знали, что они смотрят на уцелевших моряков с «Медузы». Знали, что

корабль на горизонте подобрал их (пусть не с первой попытки), и знали, что случившееся с экспедицией в Сенегал отозвалось крупным политическим скандалом. Но картина, которая стала шедевром, обретает свою собственную историю. Религия гибнет, икона остается; происшествие забыто, но его воплощение в красках по-прежнему завораживает (неискушенный взор торжествует — какая досада для осведомленного взора). Теперь, когда мы рассматриваем «Сцену кораблекрушения», нам трудно всерьез возмущаться поведением Гюгюса Дюроя де Шомарея, капитана экспедиции, или министра, который назначил его капитаном, или морского офицера, который отказался принять командование плотом, или отдавших буксирные концы матросов, или взбунтовавшихся солдат. (И в самом деле, история демократизирует наши симпатии. Разве солдат не ожесточил приобретенный на войне опыт? Разве капитан виноват в том, что он рос избалованным ребенком? Можем ли мы поручиться, что сами проявили бы себя героями в подобной ситуации?) Время растворяет историю, обращая ее в форму, цвет, чувство. Нынче, несведущие, мы пересоздаем историю: примем ли мы сторону оптимистического желтеющего неба или печального седобородого старика? Или в конце концов оставим в силе оба варианта? Наше настроение, а с ним и интерпретация картины могут меняться от одного полюса к другому; не так ли и было задумано?

8а) Он едва не изобразил следующее. Два эскиза, написанных маслом в 1818 году и по композиции стоящих ближе всего к окончательной версии, имеют такое существенное отличие: корабль, к которому взывают потерпевшие, на них много ближе. Мы видим его очертания, паруса и мачты. Он изображен в профиль, справа, на самом краю картины — муки людей, которые следят за его продвижением по нарисованному горизонту, только начинаются. Ясно, что плота он не замечает. Воздействие этих предварительных набросков на зрителя носит более активный, кинетический характер; нам кажется, что неистовые усилия людей на плоту могут достичь цели в ближайшие же две минуты и что картина, переставая быть мгновением, подталкивает себя в собственное будущее вопросом: неужели корабль уплывет за раму, ограничивающую холст, так и не заметив плота? Напротив, последняя версия «Кораблекрушения» менее активна, ставит вопрос не столь отчетливо. Мы уже не ждем, что потерпевших вот-вот спасут; случайность, от которой зависит судьба этих людей, отодвигается в область фантастики. С чем можно сравнить их шансы на спасение? С каплей в море.

Он провел в мастерской восемь месяцев. Примерно в ту же пору был нарисован автопортрет, с которого он смотрит на нас угрюмым, довольно подозрительным взглядом, нередким у художников, позирующих себе перед зеркалом; мы виновато думаем, что его неодобрение адресовано нам, хотя в первую очередь оно относится к самому автору. Борода у него короткая, стриженую голову прикрывает греческая шапка с кисточкой (мы знаем только то, что он обрился в начале работы над картиной, но за восемь месяцев волосы успевают порядком отрасти; сколько еще стрижек ему понадобилось?). Его пиратская внешность впечатляет, он кажется нам достаточно свирепым и целеустремленным, чтобы пойти на приступ, взять на абордаж свое огромное «Кораблекрушение». Между прочим, кисти у него были необычные. По широкой манере его письма Монфор заключил, что Жерико, скорее всего, пользовался очень толстыми кистями; но они были у него меньше, чем у других художников. Маленькие кисти и густые, быстро сохнущие краски.

Мы должны помнить его за работой. Возникает естественный соблазн упростить, свести восемь месяцев к законченной картине и серии предварительных набросков; но поддаваться ему нельзя. Жерико выше среднего роста, силен и строен, у него замечательные ноги, которые сравнивали с ногами сдерживающего лошадь эфеба в центре его «Скачек

в Барбери». Стоя перед «Кораблекрушением», он работает с глубокой сосредоточенностью, ему нужна абсолютная тишина: чтобы порвать невидимую нить между глазом и кончиком кисти, достаточно простого скрипа стула. Он пишет свои большие фигуры сразу на холст, куда перед тем нанесены лишь легкие контуры. Незавершенная, его работа походит на ряд висящих на белой стене скульптур.

Мы должны помнить его затворничество в мастерской, помнить его за работой, в движении, делающим ошибки. Когда нам известен результат этих восьми месяцев труда, путь к нему кажется прямым. Мы начинаем с шедевра и пробираемся назад сквозь отброшенные идеи и полуудачи; но у него эти отброшенные идеи рождались как озарения, и то, что нам дано сразу, он увидел лишь в самом конце. Для нас вывод неизбежен; для него нет. Мы должны попытаться учесть случайность, счастливые находки, даже блеф. Мы можем объяснить это только словами — но попытайтесь забыть о словах. Процесс письма может быть представлен рядом решений, пронумерованных от 1) до 8а), но нам надо понимать, что это лишь комментарии к чувству. Мы должны помнить о нервах и эмоциях. Художник не скользит по тихой реке к солнечной заводи оконченного труда, но пытается удержать курс в открытом море, полном противоборствующих течений.

Все начинается с верности правде жизни; но после первых же шагов верность искусству становится более важным законом. Изображенное никогда не происходило в действительности; цифры не совпадают; каннибализм сведен к литературной ссылке; группа «отца и сына» имеет самое шаткое документальное обоснование, группа около бочки — вовсе никакого. Плот был приведен в порядок, словно перед официальным визитом какого-нибудь чересчур впечатлительного монарха: куски человеческой плоти убраны с глаз долой, прически у всех волосок к волоску, как новенькая кисть художника.

По мере приближения к последнему варианту вопросы формы начинают преобладать. Жерико сдвигает фокус, урезает, настраивает. Горизонт то поднимается, то опускается (если фигура человека на бочке ниже горизонта, выходит слишком мрачно — плот поглощен морем; чем она выше, тем ярче проблеск надежды). Он отсекает окружающие участки неба и моря, вталкивая нас на плот, хотим мы этого или нет. Он увеличивает расстояние от потерпевших до спасительного корабля. Он подыскивает для своих персонажей нужные позы. Часто ли столько действующих лиц на картине бывает обращено спиной к зрителю?

А какие красивые, мускулистые у них спины. Тут мы чувствуем некоторое смущение; однако смущаться не стоит. Наивные вопросы порой вскрывают самое важное. Так что соберемся с духом и спросим. *Почему уцелевшие кажутся такими здоровыми?* Мы восхищаемся тем, что Жерико разыскал плотника с «Медузы» и уговорил его соорудить модель плота... но... раз он так хотел правильно изобразить плот, отчего было не сделать того же и с людьми? Мы можем понять, зачем он погрешил против истины, выведя человека с флагом в отдельную вертикаль, зачем на картине появились уравновешивающие композицию добавочные трупы. Но почему все — даже мертвые — выглядят такими крепышами, такими... здоровяками? Где раны, шрамы, истощение, болезни? Ведь эти люди пили собственную мочу, жевали кожу на своих шляпах, питались плотью своих товарищей. Пятеро из пятнадцати ненадолго пережили день спасения. Так почему же они смахивают на выпускников группы бодибилдинга?

Когда телекомпании штампуют свои эффектные фильмы о концлагерях, взор — неискушенный или осведомленный — всегда останавливается на этих статистах в пижамах. Их головы могут быть обриты, плечи сгорблены, весь лак с ногтей смыт, но все равно они пышут энергией. Глядя, как на экране они выстраиваются в очередь у котла с жидкой овсянкой, куда презрительно сплевывает лагерный охранник, мы представляем себе, как между съемками они обжираются в рестора-

нах. Является ли «Сцена кораблекрушения» прототипом этой лжи? Имей мы дело с другим художником, мы бы остановились и призадумались. Но Жерико — запечатлитель безумия, трупов и отрубленных голов. Однажды он встретил на улице приятеля, который был весь желтый от желтухи, и отпустил комплимент насчет его внешнего вида. Такого художника едва ли смутит задача изобразить плоть, подвергшуюся самым жестоким испытаниям.

Давайте же представим себе еще нечто, чего он не написал,— «Сцену кораблекрушения», в которой все действующие лица изможденны до последней степени. Усохшая плоть, гноящиеся раны, щеки, как у узников Бельзена,— такие подробности без труда вызвали бы у нас сочувствие. Соленая вода хлынула бы из наших глаз под стать соленой воде на картине. Но подобный мгновенный эффект нехорош: уж слишком он примитивен. Полускелеты в отрепьях находятся в том же эмоциональном регистре, что и бабочка: глядя на первых, мы чересчур легко отчаиваемся, увидев вторую — чересчур легко утешаемся. Такие фокусы дело нехитрое.

Однако отклик, которого ищет Жерико, лежит дальше простой жалости и негодования, хотя эти чувства могут быть подобраны по пути, как путешествующие автостопом. Несмотря на весь свой конкретный характер, «Сцена кораблекрушения» полна мощи и динамизма. Фигуры на плоту точно волны: они тоже дышат энергией бушующего внизу океана. Будь они дистрофичны, чего требует правда жизни, они были бы не полноценными проводниками этой энергии, а скорее брызгами пены. Ибо взгляд наш скользит — не от скуки, не рассудочно, но будто подхваченный морским валом — на гребень, к фигуре зовущего, потом вниз, во впадину, к отчаявшемуся старику, затем по диагонали к распростертому справа трупу, который словно вливается в настоящие волны. Именно потому, что персонажи ее достаточно крепки и сильны для выражения этой мощи, картина высвобождает в нас более глубокие, подводные эмоции, увлекает нас приливами надежды и тревоги, душевного подъема, паники и отчаяния.

Что произошло? Картина снялась с якоря истории. Это уже не «Сцена кораблекрушения», тем более не «Плот «Медузы». Мы не просто воображаем себе жестокие страдания людей на этом плоту; не просто становимся этими людьми. Они становятся нами. И секрет картины кроется в ее энергетическом заряде. Взгляните на нее еще раз: на эти мускулистые спины, в своем порыве к спасению водяным смерчем взмывающие к крошечному кораблю на горизонте. Весь этот буйный всплеск — ради чего? Главный импульс, заложенный в картине, остается, по сути, безответным, так же как безответно большинство человеческих чувств. Не только надежда, но любая обуревающая нас страсть: честолюбие, ненависть, любовь (особенно любовь) — часто ли эти стремления приводят нас к тому; чего мы, по нашему мнению, заслуживаем? Как тщетно мы взываем; как темно небо; как высоки волны. Все мы затеряны в море, мечемся по воле течений от надежды к отчаянию, хотим докричаться до спасительного корабля, но нас вряд ли услышат. Катастрофа стала искусством; однако это превращение не умаляет. Оно освобождает, расширяет, объясняет. Катастрофа стала искусством; может быть, именно в этом и есть ее главный смысл.

А как насчет той более давней катастрофы, Потопа? Что ж, ранняя иконография представителя офицерства Ноя не таит в себе никаких сюрпризов. В первую дюжину с лишним веков христианства Ковчег (обычно в виде простого короба или саркофага, намекающих на то, что спасение Ноя было предвестием выхода Христа из своей могилы) часто появляется в иллюстрированных рукописях, на витражах, в церковной скульптуре. Ной был весьма популярен: мы можем обнаружить его на бронзовых дверях Сан-Дзено в Вероне, на западном фасаде Нимского собора и восточном Линкольнского; он бороздит океан на фресках Кампо-Санто в Пизе и Санта-Марии-Новеллы во Флоренции; он бросает

якорь на мозаике в Монреале, во флорентийском Баптистерии, в венецианском соборе Св. Марка.

Но где же великие полотна, знаменитые росписи, к которым все это должно было бы привести? Что случилось — неужто воды Потопа пересохли? Не то чтобы так; но их направил в другое русло Микеланджело. В Сикстинской капелле Ковчег (теперь похожий скорее на плавучую эстраду, чем на корабль) впервые теряет свое композиционное главенство; здесь он отодвинут на самый задний план. Передний же план занят теми допотопными горемыками, которых обрекли на погибель, в то время как избранник Ной со своим семейством удостоился спасения. Акцент сделан на брошенных, покинутых, отверженных, на грешниках — шлаке Господнем. (Позволительно ли счесть Микеланджело рационалистом, поддавшимся жалости и рискнувшим мягко упрекнуть Бога за бессердечие? Или же считать его набожным, верным своему папскому контракту и поучающим нас: вот что может случиться, если мы сойдем с прямых путей? Возможно, все дело тут в эстетике — художник предпочел очередному послушному изображению очередного деревянного Ковчега извивающиеся тела про́клятых.) Какой бы ни была причина, Микеланджело переориентировал — и оживил — старую тему. Бальдассаре Перуцци, Рафаэль последовали его примеру; художники и иллюстраторы все чаще концентрировали внимание не на спасенных, а на покинутых. И с обращением этого новшества в традицию сам Ковчег уплывал все дальше и дальше, отступая к горизонту, как «Аргус» по мере приближения Жерико к окончательному варианту картины. Ветер продолжает дуть, волны — катиться; Ковчег постепенно достигает горизонта и исчезает за ним. В пуссеновском «Потопе» корабля уже нигде не видать; все, что нам осталось,— это группа отверженных страдальцев, которых впервые вывели на передний план Микеланджело и Рафаэль. Старик Ной уплыл из истории искусств.

Три отклика на «Сцену кораблекрушения».

а) Салонные критики жаловались, что хотя события, отраженные художником, им и небезызвестны, в самой картине нет деталей, позволяющих определить национальность жертв, а также то, под какими небесами разыгралась трагедия и когда именно все произошло. Конечно, эти детали были опущены намеренно.

б) Делакруа в 1855-м, почти сорок лет спустя, вспоминал свою первую реакцию на едва начатую «Медузу»: «Она произвела на меня такое сильное впечатление, что, выйдя из мастерской, я бросился бежать и бежал как сумасшедший всю дорогу до своего дома на рю де ла Планш, в дальнем конце Сен-Жерменского предместья».

в) Жерико на смертном одре, в ответ на чье-то упоминание о картине: «Bah, une vignette!» [1]

И вот он наш — момент наивысших страданий на плоту, схваченный, видоизмененный, оправданный искусством, превращенный в весомый, полный внутреннего напора образ, затем покрытый лаком, обрамленный, застекленный, вывешенный в знаменитой картинной галерее иллюстрацией нашего положения в мире, неизменный, окончательный, всегда на своем месте. Так ли это? Увы, нет. Люди умирают; плоты гниют; и шедевры искусства не исключение. Эмоциональное воздействие работы Жерико, противоборство надежды и отчаяния подчеркнуты выбором цветовой гаммы: хорошо освещенные участки плота резко контрастируют с областями наигустейшей тьмы. Чтобы сделать тени как можно мрачнее, Жерико использовал битумные добавки, которые позволили ему добиться искомой блестящей черноты. Однако битум химически нестабилен, и со дня посещения Салона Людовиком XVIII шло медленное, необратимое разрушение наложенных на холст красок. «Едва

---

[1] А, виньетка! *(франц.)*.

появившись на свет,— сказал Флобер,— мы по кусочкам начинаем осыпаться». Шедевр, раз законченный, не останавливается — он продолжает двигаться, теперь уже под уклон. Наш ведущий специалист по Жерико подтверждает, что картина «местами выглядит весьма плачевно». А если посмотреть, что происходит с рамой, там наверняка будут обнаружены древесные черви.

6. Гора

Тик, тик, тик, тик. Так. Тик, тик, тик, тик. Так. Словно где-то часы давали легкий перебой, у времени начиналась горячка. Что было бы вполне уместно, подумал полковник, но дело обстоит иначе. Очень важно держаться того, что знаешь, до самого конца, особенно в конце. Он знал, что дело обстоит иначе. Это было не время, даже не далекие часы.

Полковник Фергюссон лежал в холодной прямоугольной спальне своего холодного прямоугольного дома в трех милях от Дублина и слушал тиканье у себя над головой. Был час пополуночи, на дворе безветренно; стоял ноябрь 1837 года. Его дочь Аманда сидела у кровати в профиль к нему — чопорная, с надутыми губами — и читала очередную книжонку, полную религиозной зауми. Свечка у ее локтя горела ровно, чего этот потный дурень доктор с буквами после фамилии давно уж не имел возможности сказать о сердце полковника.

Вызов, вот что это такое, подумал полковник. Вот он, лежит на смертном одре, готовится к забвению, а она сидит тут и читает последнюю брошюру отца Ноя. Активное несогласие до самого конца. Полковник Фергюссон много лет назад оставил попытки понять, отчего все так сложилось. Как могло его любимое дитя не унаследовать ни его склонностей, ни мнений, которые были выработаны им с таким трудом? Это раздражало. Не обожай он дочь, он считал бы ее легковерной дурочкой. И тем не менее, несмотря ни на что, несмотря на это живое, во плоти, опровержение, он верил в способность мира к прогрессу, в победу человека, в крах суеверий. Все это в конечном счете было весьма загадочно.

Тик, тик, тик, тик. Так. Тиканье над головой возобновилось. Четыре-пять громких шелчков, тишина, затем более слабое эхо. Полковник знал, что шум отвлекает Аманду от чтения, хотя она не подавала виду. Просто за такую долгую жизнь бок о бок с ней он научился различать подобные вещи. Он знал, что она не слишком поглощена своим преподобным Авраамом. И она сама была виновата в том, что он это знал, что он видел ее насквозь. Говорил ведь ей, чтоб шла замуж, когда к ней сватался тот лейтенант, имени которого он никак не мог вспомнить. А она и тогда не послушалась. Сказала, что любит отца больше, чем того затянутого в мундир претендента. Он ответил, что это еще не причина, и вообще, он только помрет у нее на руках. Она заплакала и сказала, чтоб он не говорил так. Но он же был прав, верно? Он же обязан был быть откровенным?

Аманда Фергюссон опустила книгу на колени; теперь она тревожно смотрела на потолок. Этот жук предвещал беду. Всем известно, что означает его тиканье: не пройдет и года, как в доме кто-нибудь умрет. Это вековая мудрость. Она глянула на отца, не заснул ли. Полковник Фергюссон лежал, закрыв глаза, и глубоко, ровно дышал носом, работая легкими, точно мехами. Но Аманда достаточно хорошо его знала и имела основания подозревать надувательство. Это было бы вполне в его духе. Он всегда ее обманывал.

Как и в тот страшно непогожий февральский день в 1821 году, когда он взял ее с собой в Дублин. Аманде было семнадцать, и она всюду носила с собой этюдник, как теперь — религиозные брошюры. Незадолго до поездки ее очень взволновало сообщение о том, что в Лондоне,

в Египетском Холле Буллока на Пиккадилли, демонстрируется Грандиозная Картина Месье Джеррико, двадцать четыре фута в длину на восемнадцать в высоту, представляющая Уцелевших Членов Команды Французского Фрегата «Медуза» на Плоту. Вход 1 шиллинг, описание 6 пенсов, и 50 000 зрителей заплатили за то, чтобы посмотреть этот новый шедевр зарубежного искусства, выставленный наряду с такими постоянными экспозициями, как великолепное собрание ископаемых мистера Буллока, состоящее из 25 000 экземпляров, и его же Пантерион с чучелами диких животных. Потом холст переехал в Дублин и был вывешен на обозрение в Ротонде: вход 1 шиллинг 8 пенсов, описание 5 пенсов.

Пятеро братьев и сестер Аманды остались дома; она была избрана за ранние успехи в акварели — по крайней мере, этим формальным соображением утешился полковник Фергюссон, в который уже раз уступивший своей естественной симпатии. Только в Ротонду, как было обещано, они не пошли, а пошли вместо этого на конкурирующий аттракцион, реклама которого появилась в «Сондерс ньюс-леттер энд дейли эдвертайзер»; там, кстати, отмечалось, что Грандиозная Картина Месье Джеррико не имела в Дублине того успеха, который выпал на ее долю в Лондоне. Полковник Фергюссон повел дочь в Павильон, где они смотрели Бегущую Морскую Панораму Крушения Французского Фрегата «Медуза» и Рокового Плота, авторы Маршалл и Маршалл; плата за передние места 1 шиллинг 8 пенсов, за задние 10 пенсов, дети на передних местах за полцены. «Благодаря патентованным печам в Павильоне всегда царит уют».

Тогда как в Ротонде демонстрировались всего лишь двадцать четыре на восемнадцать футов неподвижного раскрашенного холста, тут им было предложено около десяти тысяч квадратных футов движущегося экрана. Перед их глазами постепенно разворачивалась гигантская картина, или ряд картин: вместо одного-единственного мига здесь была запечатлена вся история кораблекрушения. Одна сцена сменяла другую, на разматывающемся полотне играли разноцветные огни, а оркестровое сопровождение подчеркивало драматичность событий. В зале то и дело вспыхивали аплодисменты, а в особенно удачных местах полковник Фергюссон крепко толкал дочь локтем. В шестой сцене эти несчастные французики на плоту были представлены почти в тех же позах, в каких их впервые изобразил месье Джеррико. Но насколько же эффектнее, заметил полковник Фергюссон, выглядит этот печальный эпизод, показываемый в движении и разноцветных огнях, под музыку, которую он (с точки зрения дочери, совершенно напрасно) определил как «Vive Henrico!».

— Вот что значит передовое искусство,— пылко высказался полковник, когда они покидали Павильон.— Куда там художникам со своими кисточками.

Аманда ничего не ответила, но на следующей неделе вернулась в Дублин с кем-то из братьев и сестер и на сей раз побывала-таки в Ротонде. Там она пришла в восхищение от картины месье Джеррико, которая, будучи неподвижной, тем не менее виделась ей полной движения и света и даже, в своем роде, музыки,— более того, по насыщенности всем этим она явно превосходила вульгарную Панораму. Приехав домой, она так и сказала отцу.

Проглотив эту дерзость, полковник Фергюссон лишь снисходительно кивнул упрямице. Однако 5 марта он небрежно показал любимой дочери свежее объявление в «Сондерс ньюс-леттер»; оно гласило, что мистер Буллок снизил — точнее, вынужден был снизить, заметил полковник,— входную плату за свое неподвижное зрелище до каких-то жалких десяти пенсов. Под конец же месяца полковник Фергюссон сообщил, что выставка в Ротонде закрыта из-за недостатка посетителей, а Бегущая Панорама Маршалла и Маршалла, обустроенная патентованными печами, по-прежнему демонстрируется три раза в день.

— Это передовое искусство,— повторил полковник в июне того же года, без спутников посетив заключительный спектакль в Павильоне.

— Новое — еще не значит хорошее,— ответила дочь, проявляя обычно не свойственный таким пигалицам консерватизм.

Тик, тик, тик, тик. Так. Притворный сон полковника Фергюссона стал еще более желчным. Дьявольщина, думал он, умирать-то не так просто. Тебе не дают заниматься этим спокойно, во всяком случае, как тебе хочется. Ты обязан умирать, как им хочется, да еще изволь любить их сколько можешь. Он открыл глаза и собрался с мыслями, чтобы снова, как делал за их совместную жизнь уже несколько сот раз, попробовать переубедить свою дочь.

— Это любовь,— вдруг сказал он.— Вот тебе и все.— Аманда удивленно отвела взор от потолка и полными слез глазами посмотрела на него.— Любовный призыв xestobium rufo-villosum, усвой ты это Бога ради, чудачка. Всего-то навсего. Посади такого жука в коробок и постучи по столу карандашиком, и он поведет себя точно так же. Решит, что ты самка, и начнет толкаться головой в стенку, искать к тебе дорогу. Между прочим, почему ты не вышла за того лейтенанта, за которого я говорил? Не желаешь соблюдать субординацию.— Он дотянулся до руки дочери и взял ее в свою.

Но она молчала, и в глазах ее по-прежнему стояли слезы, а наверху раздавалось тиканье, и полковника чин по чину похоронили еще до конца года. В этом предсказании врач и жучок-точильщик сошлись.

Печаль Аманды по отцу была смешана с беспокойством относительно его онтологического статуса. Привела ли его упрямая неохота признать божественное провидение — и его упоминанья Божьего имени всуе даже на смертном одре — к тому, что теперь он очутился во тьме внешней, в какой-нибудь морозной области, не обогреваемой патентованными печами? Мисс Фергюссон знала, что Господь справедлив, но милосерд. Те, кто принял его заповеди, будут судимы в строгом соответствии с законом, тогда как невежественным дикарям в темных чащобах, которые просто не могли познать света, будет оказано снисхождение и дан шанс исправиться. Но войдут ли в категорию невежественных дикарей обитатели просторных холодных домов под Дублином? Должны ли муки, которые всю жизнь претерпевают неверующие, думая о забвении, перейти в дальнейшие муки, кару за отрицание Господа? Мисс Фергюссон опасалась, что такое вполне может быть.

Как мог ее отец не признать Бога и Его вечный Промысл, заметный даже в мелочах? О наличии провидения и его благой мудрости ясно говорила сама Природа, отданная Богом во владенье Человеку. Это не значило, как полагали некоторые, что Человек должен безрассудно грабить Природу; наоборот, Природу нужно почитать как божественное творение. Но Бог создал и Человека, и Природу, облегающую этого Человека, словно перчатка руку. Аманда часто размышляла о плодах полевых, какие они все разные, но как чудесно каждый из них приспособлен для использования Человеком. Например, деревья со съедобными плодами сделаны намного ниже лесных, чтобы легче было на них взбираться. Плоды, которые, созрев, становятся мягкими — абрикосы, инжир, тутовые ягоды,— растут довольно низко, ибо падение может причинить им вред; твердые же плоды вроде кокосов, грецких орехов или каштанов, которые не боятся ударов о землю, вызревают на значительной высоте. Иные плоды, подобные вишням или сливам, удобно класть в рот; другие — яблоки и груши — держать в руке; третьи, подобно дыне, созданы большими, чтобы употреблять их в семейном кругу. Четвертые же, вроде тыквы, сделаны такого размера, чтобы есть их вместе с соседями, а для упрощения дележа многие из этих больших плодов имеют на корке вертикальные полосы.

Там, где Аманда усматривала божественный смысл, разумный порядок и торжество справедливости, отец ее видел лишь хаос, непредсказуемость и насмешку. Но перед глазами у обоих был один и тот же мир. Споря с отцом в очередной раз, Аманда предложила ему взять в качестве примера семью Фергюссонов, членов которой связывает

глубокая взаимная симпатия, и ответить, где же тут хаос, непредсказуемость и насмешка. Полковник Фергюссон, не особенно стремясь объяснять дочери, что человеческая семья возникла вследствие того же побуждения, которое заставляет жуков толкаться головой в стенку своего коробка, ответил, что Фергюссонов свела вместе счастливая случайность. Его дочь возразила, что тогда в мире было бы чересчур много счастливых случайностей.

Отчасти, думала Аманда, это зависит от самого подхода к вещам. Ее отец видел в вульгарной мешанине из разноцветных огней и музыкальных трелей верное изображение знаменитой морской трагедии, тогда как для нее реальность лучше всего передавалась обыкновенным неподвижным холстом, покрытым красками. Но главным тут была вера. Через несколько недель после их поездки в Павильон отец катал ее на лодке по извилистому озерцу в соседней усадьбе лорда Ф **. Следуя возникшей у него в мозгу ассоциации, он принялся укорять ее за то, что она верит в реальность Ноева ковчега; предмет разговора он саркастически именовал «мифом о потопе». Аманду отнюдь не смутило его обвинение. В ответ она спросила отца, верит ли он в реальность Пантериона чучел диких зверей в Египетском Холле мистера Буллока на Пиккадилли. Разумеется, сказал обескураженный полковник; на что его дочь отреагировала насмешливым удивлением. Она верит в реальность события, происшедшего по Божьей воле и описанного в Святой Книге, которую читают и помнят не одну тысячу лет; а он верит в реальность того, что описано на страницах «Сондерс ньюс-леттер энд дейли эдвертайзер», газетенки, о которой люди забудут, скорее всего, уже на следующее утро. Так что же, допытывалась она с прежней непочтительной издевкой в глазах, заслуживает большего доверия?

Это случилось осенью 1839 года: по долгом размышлении Аманда Фергюссон предложила мисс Лоуган совершить путешествие в Аргури. Мисс Лоуган была энергичная и дельная с виду особа, лет на десять старше мисс Фергюссон; при жизни полковника ее связывали с ним дружеские отношения без малейшего аромата неблагоразумия. Более существенным обстоятельством являлось то, что несколько лет назад, будучи на службе у сэра Чарльза Б **, она посетила Италию.

— Жаль, что это место мне незнакомо,— сказала мисс Лоуган во время первого разговора.— Оно далеко от Неаполя?

— Это поселок на нижних склонах горы Арарат,— ответила мисс Фергюссон.— Название «Аргури» происходит от двух армянских слов, означающих «он посадил виноград». Именно там после Потопа Ной вернулся к своим земледельческим трудам. Древняя лоза, посаженная руками самого Патриарха, все еще плодоносит.

Прослушав эту странную лекцию, мисс Лоуган скрыла свое удивление, однако почувствовала, что дальнейшие расспросы будут нелишними.

— А зачем нам туда ехать?

— Чтобы помолиться за упокой души моего отца. На горе есть монастырь.

— Далеко ведь.

— Я полагаю, что расстояние соответствует цели.

— Понятно.— Сначала мисс Лоуган задумалась, потом просветлела.— А вино мы там будем пить? — Она помнила свои разъезды по Италии.

— Это запрещено,— ответила мисс Фергюссон.— Традиция запрещает это.

— Традиция?

— Ну, небеса. Это запрещено небесами в память о том, как дурно виноград повлиял на Патриарха.— Мисс Лоуган, которая всегда любезно позволяла читать себе Библию, но сама не слишком усердствовала в переворачивании священных страниц, выказала легкое недоумение.— Пьянство,— пояснила мисс Фергюссон.— Ноево пьянство.

— Ах да.

— Монахам в Аргури позволяется есть виноград, но сбраживать сок нельзя.

— Понятно.

— Там есть еще древняя ива, она выросла из дощечки от Ноева ковчега.

— Понятно.

Итак, решение было принято. Они отправятся весной, чтобы успеть до малярийного сезона. Каждой потребуются раскладная койка, надувной матрац и подушка; они возьмут с собой немного имбирной эссенции Оксли, немного хорошего опиума, хинина и порошков Зедлица; походный чернильный прибор, коробку спичек и запас трута; зонтики от солнца и фланелевые пояса, чтобы не мучиться по ночам коликами. После некоторых колебаний они решили не брать в дорогу ни переносной ванны, ни патентованной кофеварки. Однако сочли необходимым пополнить экипировку парой посохов с острыми железными наконечниками, складным ножом, крепкими охотничьими хлыстами, чтобы отбиваться от легионов собак, которых наверняка встретят в пути, и маленьким полицейским фонариком, ибо их предупредили, что от турецких бумажных фонарей во время урагана нет никакого толку. Они взяли плащи и теплые пальто, посчитав, что мечта леди Мэри Уортли Монтегю о неизменно ясной погоде едва ли претворится в жизнь ради не столь знаменитых путешественниц. Мисс Лоуган полагала, что лучшим подарком для турецкого крестьянина будет ружейный порох, а для высших слоев — писчая бумага. Обыкновенный компас, посоветовали ей далее, придется по душе мусульманину, ибо укажет ему, куда адресовать свои молитвы; но мисс Фергюссон не собиралась потакать язычникам в их заблуждениях. И под конец паломницы уложили в багаж две маленькие стеклянные бутылочки, которые намеревались наполнить соком, выжатым из плодов Ноева виноградника.

Из Фалмута в Марсель их доставил отечественный пакетбот; затем они вверили свою сохранность французским средствам передвижения. В начале мая их принял британский посол в Константинополе. Пока мисс Фергюссон рассказывала о маршруте и цели их путешествия, дипломат изучал ее: темноволосая женщина, недавно вступившая в пору зрелости, с черными глазами навыкате и розовыми щеками, благодаря полноте которых губы ее заметно выдавались вперед. Однако она явно не была ветреницей: естественное выражение ее лица говорило, казалось, о целомудрии наряду с упорством, каковая комбинация оставляла посла равнодушным. Большую часть сообщенного ею он выслушал вполуха.

— Да,— сказал он под конец,— несколько лет назад говорили, будто какой-то русский пробовал добраться до вершины этой горы.

— Паррот,— без улыбки ответила мисс Фергюссон.— Вряд ли он русский. Доктор Фридрих Паррот. Профессор Дерптского университета.

Посол кивнул по диагонали, словно знать о местных делах больше его было не совсем тактично.

— Мне кажется разумным и справедливым,— продолжала мисс Фергюссон,— что первый путешественник, предпринявший восхождение на гору, к которой пристал Ковчег, носит имя одной из Божьих тварей [1]. Это лишний раз говорит нам о Его великом Промысле, направляющем все наши судьбы.

— Без сомнения,— ответил посол, переводя взгляд на мисс Лоуган в поисках какого-нибудь ключа к личности ее нанимательницы.— Без сомнения.

Они провели в оттоманской столице неделю — за столь краткий срок мисс Лоуган не успела привыкнуть к нескромным взорам, которые она приковывала к себе за табльдотом. Затем паломницы воспользовались услугами «Фаваид-и-Османиех», турецкой компании, чьи пароходы

---

[1] Parrot — попугай *(англ.)*.

совершали рейсы до Трапезунда. Судно оказалось переполненным; по словам мисс Лоуган, она в жизни не видела столько грязи. В первое же утро, отважившись выйти на палубу, она была атакована не одним, но сразу тремя селадонами — у всех троих были завитые волосы, и все распространяли вокруг себя сильный запах бергамота. После этого мисс Лоуган, хотя и приглашенная в спутницы именно за житейский опыт, обрекла себя на заточение в каюте. Мисс Фергюссон решила не замечать подобных неудобств и была положительно заинтригована тем, как выглядит толпа пассажиров третьего класса; время от времени она появлялась с каким-нибудь наблюдением или вопросом, призванным развеять уныние, овладевшее ее компаньонкой. Почему это, любопытствовала она, все женщины-турчанки собрались на шканцах у левого борта? Предписывают ли такое размещение пассажиров местные традиции, или тут замешана религия? Мисс Лоуган была не в силах измыслить ответ. Чем дальше отодвигался Неаполь, тем большую неуверенность она ощущала. Малейший душок бергамота вызывал у нее содрогание.

Когда мисс Лоуган согласилась на путешествие в азиатскую Турцию, она недооценила упорство мисс Фергюссон. Скрывающийся от властей погонщик мулов, лукавый хозяин постоялого двора, уклончивый офицер-таможенник — все они становились свидетелями демонстрации ее неуклонной воли. Мисс Лоуган потеряла счет случаям, когда их багаж задерживали или сообщали, что в придачу к уже имеющемуся у них *тезкаре* необходима еще *буюрулда*, или специальное разрешение; но мисс Фергюссон при помощи драгомана, чьи робкие посягновения на хотя бы частичную независимость мысли были пресечены с первого же дня, напирала, требовала и побеждала. Ей никогда не надоедало вести беседы по обычаю здешних мест: например, усаживаться на ковер с каким-нибудь землевладельцем и отвечать на его вопросы, что меньше — Англия или Лондон, и что из них находится во Франции, и во сколько раз турецкий флот больше английского, французского и русского, вместе взятых.

Кроме того, мисс Лоуган полагала, что в их путешествии, пусть и паломническом по сути, можно будет делать разнообразные дорожные зарисовки — ведь именно любви к рисованию женщины были обязаны своим знакомством. Но Аманду Фергюссон не соблазняли памятники античности; она не желала осматривать языческие храмы эпохи Августа или полуразвалившиеся колонны, воздвигнутые в честь Юлиана Отступника. Ее интересовали разве что природные виды. Направляясь из Трапезунда в глубь материка с охотничьими хлыстами наготове, они видели вместо ожидаемых собачьих стай ангорских коз, пасущихся на склонах холмов среди карликового дуба, матово-желтого винограда и густых яблоневых садов, слышали кузнечиков, стрекотавших громче и напористей, чем их английские собратья, и наблюдали чудеснейшие багряно-розовые закаты. Вокруг были поля пшеницы, опиумного мака и хлопка; разбросанные там и сям заросли рододендрона и желтой азалии; красноногие куропатки, удоды и синие вороны. В Зирганских горах путницам повстречался большой благородный олень; находясь на почтительном расстоянии от людей, животное ответило им кротким взглядом.

В Арзруме мисс Лоуган уговорила компаньонку посетить христианскую церковь. Поначалу эта идея как будто себя оправдала, ибо мисс Фергюссон обнаружила на кладбище кресты и надгробные камни кельтского обличья, напоминающие о ее родной Ирландии; улыбка одобрения тронула ее суровые черты. Однако смягчилась она ненадолго. Покидая церковь, леди заметили молодую селянку, которая клала в трещину у главного входа какой-то жертвенный дар. Этим даром оказался человеческий зуб, несомненно ее собственный. Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, трещина была набита пожелтевшими резцами и стертыми коренными. Мисс Фергюссон решительно осудила это массовое суеверие и попустительствующих ему священников. Тех, кто проповедует слово Божие, заявила она, и судить следует по слову Божьему, а недостойных карать без всякого снисхождения.

Они пересекли рубеж России, наняв на пограничном пункте нового проводника, большого бородатого курда,— по его словам, он хорошо знал, что требуется иностранцам. Мисс Фергюссон обращалась к нему на языке, казавшемся ее товарке смесью русского и турецкого. То время, когда им помогал беглый итальянский мисс Лоуган, давно миновало; начавшая путешествие в качестве гида и переводчика, она чувствовала, что превратилась едва ли не в обузу и ее теперешний статус немногим выше, чем у уволенного драгомана или вновь нанятого курда.

Продвигаясь втроем дальше на Кавказ, они спугнули стаю пеликанов, чья тяжеловесная неуклюжесть чудесным образом пропала, стоило им подняться в воздух. Раздражение мисс Фергюссон, вызванное случаем в Арзруме, пошло на убыль. Переваливая через восточный отрог горы Алагёз, они то и дело поглядывали вперед, где медленно проступали массивные очертания Большого Арарата. Его вершины не было видно — ее окружало кольцо белых облаков, ярко сиявших на солнце.

— У него нимб! — воскликнула мисс Лоуган.— Как у ангела.

— Правильно,— с легким кивком подтвердила мисс Фергюссон.— Люди вроде моего отца с этим, конечно, не согласились бы. Сказали бы, что все эти сравнения чепуха, легче перышка. В буквальном смысле.— Она улыбнулась, поджав губы, и любопытство во взгляде мисс Лоуган побудило ее продолжить: — Они объяснили бы, что кольцо из облаков — совершенно естественное явление. Ночью и еще несколько часов после рассвета вершина хорошо видна, но утреннее солнце нагревает равнину, и теплый воздух поднимается вверх, на определенной высоте превращаясь в пар. К вечеру, когда все снова охлаждается, ореол исчезает. В этом нет никакой тайны для... науки,— сказала она, неодобрительно выделив последнее слово.

— Это волшебная гора,— отозвалась мисс Лоуган.

Спутница поправила ее:

— Это *святая* гора.— Она испустила нетерпеливый вздох.— Всему на свете можно найти два объяснения. Вот зачем мы наделены свободой воли — чтобы выбрать истинное. Мой отец никак не мог понять, что его объяснения, точно так же как и мои, основаны на вере. На вере в ничто. Для него все это было бы просто паром, облаками и теплым воздухом. Но кто создал пар, кто создал облака? Кто выбрал из многих гор именно Ноеву и каждый день благословляет ее облачным нимбом?

— Ну конечно,— сказала мисс Лоуган, не совсем убежденная этими аргументами.

В тот день они встретили армянского попа, сообщившего им, что гора, к которой они направляются, покорена еще никем не была и, более того, не будет. Когда мисс Фергюссон вежливо упомянула о докторе Парроте, поп заверил ее, что она ошибается. Возможно, она спутала Массис (так он именовал Большой Арарат) с вулканом, находящимся гораздо южнее,— турки зовут его Сиппан-Даг. Прежде чем найти свое последнее пристанище, Ноев ковчег задел главу Сиппан-Дага и снес его верхушку, дав выход подземному пламени. На ту гору, признал он, человек может взойти; на Массис же нет. Это единственное, в чем христиане согласны с мусульманами. К тому же, продолжал поп, разве не подтверждает этого само Священное Писание? Гора, стоящая перед ними, есть место рождения человечества; но, как известно, напомнил он двум леди с обаятельным смешком, словно прося извинить его за упоминание о столь нескромном предмете, человек не может снова войти в утробу матери и родиться вторично — об этом Спаситель говорил Никодиму.

Перед тем как распрощаться, поп вынул из кармана маленький черный амулет, отполированный многими столетиями. Это, объявил он, кусочек битума, который когда-то был частичкой Ноева ковчега; его обладателю не страшны никакие напасти. Раз леди проявляют такой интерес к горе Массис, то, возможно...

Мисс Фергюссон учтиво отклонила намечающуюся сделку, заметив,

что если гора действительно неприступна, то их уверенность в происхождении амулета от корабля Патриарха вряд ли может быть так уж велика. Армянин, однако, не видел здесь никакой неувязки. Его могла принести вниз птица, как голубь - масличную ветвь. Или это могло быть делом рук ангела. Разве не повествует предание, как Святой Иаков трижды пытался подняться на Массис и во время третьей попытки ангел сказал ему, что это запрещено, но принес в дар дощечку от Ковчега? На том самом месте, где святой получил ее, и основан монастырь его имени.

Однако купля-продажа так и не состоялась, и поп ушел несолоно хлебавши. Мисс Лоуган, которую смутили слова Спасителя, адресованные Никодиму, переключилась на думы о битуме — не это ли вещество используют художники, чтобы сгустить тени на своих картинах? Мисс же Фергюссон была попросту разгневана: во-первых, попыткой приписать священному тексту какой-то дурацкий смысл; и, во-вторых, этим бесстыдным торгашеством. Не зря ей сразу не понравились представители восточного клира — мало того что они поддерживают веру в чудесные свойства человеческих зубов, так еще и торгуют сомнительными реликвиями. Чудовищно. Они должны быть наказаны за это — и от расплаты, разумеется, не уйдут. Мисс Лоуган с опаской поглядела на свою компаньонку.

На следующий день они совершили изнурительный переход через поросшую тростником и грубой травой равнину, которую оживляли лишь стайки дроф да черные шатры курдов-кочевников. На ночлег остановились в маленьком поселке — отсюда до подножия горы был еще день пути верхом. Поужинав сливочным сыром и соленой лососиной из Гокчая, женщины вышли в пахнущие абрикосом сумерки и обратили взгляд в сторону горы Патриарха. Кряж впереди образовывал два подъема: Большой Арарат, массивную, широкоплечую глыбу, напоминающую собор с укрепленными стенами, и Малый Арарат, тысячи на четыре футов ниже, изящный конус с гладкими и ровными боками. Сравнивая высоту и очертания двух Араратов, мисс Фергюссон без труда усмотрела в них символ изначального деления человечества на два пола. Она не сказала об этом мисс Лоуган, которая всегда была удручающе глуха к трансцендентному.

В этот момент, точно желая окончательно укрепить товарку во мнении относительно прозаичности своего образа мыслей, мисс Лоуган призналась, что ее с детства занимал вопрос, как это Ковчегу удалось встать на верхушке горы. Было ли днище корабля проткнуто поднявшимся из моря остроконечным пиком? Тогда он, конечно, уже не мог бы шелохнуться. А если нет, то как же судно избежало рокового крена при спадении вод?

— Об этом уже подумали до вас,— довольно жестко ответила мисс Фергюссон.— Марко Поло высказал догадку, что вершина горы плоская, и тогда это все объясняло бы. Мой отец, заинтересуйся он этой проблемой, наверняка согласился бы с ним. Однако нам известно, что дело здесь в другом. Те, кто поднимался на Большой Арарат, сообщают, что пониже верхушки есть чуть покатая долина. Размером,— уточнила она, словно иначе мисс Лоуган не поняла бы ее объяснений,— примерно с половину лондонского Грин-парка. Она могла послужить вполне естественной и безопасной гаванью.

— Так, значит, Ковчег остановился не на самой верхушке?

— Писание не дает точных указаний на этот счет.

По мере приближения к Аргури, лежащему на высоте более шести тысяч футов над уровнем моря, жара заметно спадала. В трех милях ниже поселка они наткнулись на первую из благословенных плантаций Отца Ноя. Виноград только что отцвел; там и сям среди листвы виднелись крохотные темно-зеленые гроздья. Работавший на посадках крестьянин бросил свою грубую мотыгу и проводил нежданных гостей к поселковому старосте, которому был вручен в подарок мешочек с порохом; он вежливо поблагодарил путешественниц, но не выказал особен-

ного удивления. Мисс Лоуган была слегка задета этой корректностью: староста вел себя так, словно его ежедневно одаривали порохом экспедиции, состоящие из белых женщин.

Между тем мисс Фергюссон оставалась деятельной и целеустремленной. Было решено, что после полудня их проводят в монастырь Святого Иакова; к вечеру они вернутся в поселок, а завтра вновь отправятся в церковь, дабы вознести молитву.

Монастырь был расположен на берегу речушки Аргури, в нижней части гигантской расселины, идущей чуть ли не до вершины горы. Здесь стояла церковь крестообразной формы, сложенная из глыб застывшей лавы. Различные мелкие строения льнули к ее бокам, как поросята к свиноматке. Во внутреннем дворе женщин ждал немолодой священник; за его спиной высился купол церкви Святого Иакова. Он был в простом балахоне из синей саржи с остроконечным капюшоном, как у капуцинов; черные пряди в его длинной бороде перемежались седыми; на ногах у него были шерстяные персидские носки и обыкновенные тапочки. В одной руке он держал четки; другую приложил к груди в знак приветствия. Что-то побуждало мисс Лоуган преклонить колена перед пастором Ноевой церкви; но присутствие и готовое излиться наружу неодобрение мисс Фергюссон, которая отвергала множество религиозных ритуалов, называя их «папскими штучками», помешали ей сделать это.

Внутренний двор походил скорее на крестьянский, чем на монастырский. У стены были грудой навалены мешки с зерном; три овцы, забредшие сюда с ближнего пастбища, не изгонялись; с земли тянуло гниловатым духом. Улыбаясь, архимандрит пригласил их в свою келью, а именно в один из домишек, накрепко прилепленных к церкви снаружи. Ведя их через дюжину или около того дворов, архимандрит слегка придерживал мисс Фергюссон за локоток, что было абсолютно излишней любезностью.

В монашеской келье были толстые глиняные стены и оштукатуренный потолок, подпертый посередине крепким столбом. Над соломенным тюфяком висел грубый образ какого-то нераспознаваемого святого; дворовые запахи добирались и сюда. Мисс Лоуган сочла обстановку восхитительно простой, мисс Фергюссон — убогой. Поведение архимандрита было также интерпретировано двояко: там, где мисс Лоуган усматривала искренность и дружелюбие, мисс Фергюссон видела одну только лицемерную угодливость. У мисс Лоуган возникло впечатление, что по пути к Арарату ее спутница исчерпала весь свой запас вежливости; теперь она держалась холодно и бесцеремонно. Когда архимандрит предложил двум леди переночевать в монастыре, она коротко отказалась; на дальнейшие уговоры гостеприимного хозяина ответила резкостью.

Архимандрит улыбался по-прежнему, и благодушие, на взгляд мисс Лоуган, ему не изменило. Тут появился слуга с простым подносом, на котором стояли три сделанных из рога кубка. Вода из ручья Аргури, подумала мисс Лоуган; а может быть, кисловатое молоко, каким уже много раз за время путешествия угощали их радушные пастухи. Но слуга вернулся с мехом для вина и по команде разлил его содержимое в сосуды. Архимандрит поднял свой, поведя им в сторону женщин, и залпом выпил, после чего кубок был наполнен вторично.

Мисс Фергюссон отведала напитка. Затем она стала задавать архимандриту вопросы, вызвавшие у мисс Лоуган серьезное беспокойство. Оно усугублялось необходимыми для перевода паузами.

— Это вино?

— Ваша правда.— Священник улыбнулся, словно приглашая женщин снизойти до этого местного развлечения, пока еще абсолютно не известного на их далекой родине.

— Его делают из винограда?

— Совершенно верно, леди.

— Скажите мне, откуда у вас виноград, из которого сделано это вино?

Архимандрит развел руками, как бы предлагая дамам взглянуть вокруг.

— А кто первым посадил виноградники, с которых собран этот урожай?

— Наш великий предок и праотец, породивший всех нас, Ной.

Мисс Фергюссон подытожила сказанное, хотя, с точки зрения ее компаньонки, это было вовсе не обязательно:

— Вы угощаете нас вином из ягод, собранных на плантациях Ноя?

— Имею честь, мадам.— Он улыбнулся. Похоже, он ожидал если не особых благодарностей, то, по меньшей мере, легкого удивления. Вместо этого мисс Фергюссон встала, отобрала у мисс Лоуган нетронутое вино и вернула оба кубка слуге. Затем без единого слова покинула келью архимандрита, пересекла двор таким шагом, что три овцы инстинктивно потянулись за ней, и начала спускаться по склону горы. Мисс Лоуган сделала несколько неопределенных жестов, адресованных священнику, затем побежала догонять нанимательницу. Они в молчании миновали пышные абрикосовые сады; не удостоили вниманием пастуха, который протягивал им чашу с молоком; не обменявшись ни словом, вошли в поселок, где мисс Фергюссон, вновь обретшая свою расчетливую вежливость, попросила старосту приготовить им помещение не откладывая. Старик предложил свой дом, самый большой в Аргури. Мисс Фергюссон поблагодарила его и вручила ответный подарок — маленький пакетик сахару, принятый с должной серьезностью.

Этим вечером путешественницам сервировали ужин в их комнате, на низком столике не больше стула пианиста. Им подали *лаваш* — тонкие здешние лепешки, разрезанные пополам крутые яйца, ломтики холодной баранины и плоды земляничного дерева. Вино отсутствовало, то ли потому, что таков был обычай этого дома, то ли потому, что сведения об их визите в монастырь уже дошли до ушей старосты. Вместо вина они опять пили овечье молоко.

— Это кощунство,— наконец сказала мисс Фергюссон.— Кощунство. На Ноевой горе. Живет как крестьянин. Предлагает женщинам ночевать у себя. Делает вино из винограда Патриарха. Это кощунство.

Мисс Лоуган, хорошо изучившая спутницу, и не пыталась отвечать, а тем более защищать обходительного архимандрита. Она вспомнила, что обстоятельства их визита не позволили им осмотреть древнюю иву, выросшую из дощечки от Ноева ковчега.

— Мы поднимемся на гору,— сказала мисс Фергюссон.

— Но мы же не знаем, как это делается.

— Мы поднимемся на гору. Грех должен быть смыт водой. Грехи мира были смыты водами Потопа. Этот монах совершает двойное кощунство. Мы наполним наши бутылочки снегом со святой горы. Чистый сок Ноевой лозы, за которым мы явились, осквернен. Вместо него мы привезем с собой очищающую воду. Это единственная возможность спасти путешествие.

Мисс Лоуган кивнула, скорее от изумления, нежели в знак согласия.

Они вышли из поселка Аргури утром 20 июня года от Рождества Христова 1840-го, в сопровождении одного лишь своего курда. Староста сочувственно объяснил им, что здешние жители считают гору священной и никто из них не отважится подняться по ней выше монастыря Святого Иакова. Он и сам разделял эти верования. Он не пытался отговорить женщин от их замысла, но настоял на том, чтобы мисс Фергюссон взяла у него взаймы пистолет. Она пристегнула его к поясу, хотя не умела обращаться с оружием и не собиралась пускать его в ход. Мисс Лоуган, тоже по совету старосты, взяла в дорогу мешочек с лимонами.

Леди ехали верхом, прикрывшись от утреннего солнца белыми зонтиками. Подняв глаза, мисс Фергюссон обнаружила, что у вершины горы начинает появляться облачный ореол. Ежедневное чудо, сказала себе она. За несколько часов, похоже, продвинулись недалеко; сейчас они пересекали бесплодную полосу, где не было почти ничего, кроме мелкого песка да желтоватой глины; лишь изредка попадались чахлые колючие кусты. Мисс Лоуган заметила несколько бабочек и множество ящериц, но была

втайне разочарована тем, что о своем присутствии заявляет столь малое количество из плававших на Ковчеге тварей. Она призналась себе, что до сих пор лелеяла о склонах горы нелепое представление как о чем-то вроде зоологического сада. Но ведь зверям было наказано плодиться и размножаться. Им следовало бы исполнить Божью волю.

Они часто углублялись в скалистые ущелья без единой капли влаги. Видимо, это была безжизненная гора, сухая, как меловые карьеры в Сассексе. Но потом, чуть повыше, она удивила их: вдруг открылось зеленое пастбище и розовые кусты с нежными цветами. Они обогнули каменный выступ и наткнулись на небольшой лагерь — три или четыре шатра из рогожи, крытых черными козлиными шкурами. Мисс Лоуган была слегка встревожена этим внезапным обнаружением группы номадов, чьи животные паслись ниже по склону, но мисс Фергюссон направила свою лошадь прямо на них. Свирепого вида мужчина, чьи спутанные волосы походили на крышу его собственного шатра, подал им грубую чашу. В ней было кисловатое молоко, разбавленное водой, и мисс Лоуган отпила немного, чувствуя себя не в своей тарелке. Они кивнули, улыбнулись и поехали дальше.

— Вы считаете это проявлением естественного гостеприимства? — вдруг спросила Аманда Фергюссон.

Мисс Лоуган поразмыслила над этим странным вопросом.

— Да,— ответила она, поскольку они уже много раз сталкивались с образчиками подобного поведения.

— Мой отец сказал бы, что это просто животное стремление подкупить чужестранцев, чтобы отвратить их гнев. Верить в это было бы для него делом чести. Он сказал бы, что эти кочевники ведут себя в точности как жуки.

— Как жуки?

— Мой отец интересовался жуками. Рассказывал мне, что если посадить одного в коробочку и постучать по крышке, он тоже начнет толкаться изнутри, думая, что ты — это другой жук, предлагающий себя в пару.

— Мне не кажется, что они ведут себя как жуки,— сказала мисс Лоуган, постаравшись подчеркнуть своим тоном, что это всего лишь ее личное мнение и она ни в коей мере не хочет задеть полковника Фергюссона.

— Мне тоже.

Мисс Лоуган не совсем понимала настроение, владеющее ее компаньонкой. Проделав такой огромный путь, чтобы замолить грехи отца, она вместо этого словно бы постоянно спорила с его тенью.

У первого же крутого откоса Большого Арарата они привязали лошадей к колючему дереву и стреножили их. Отсюда предстояло идти пешком. Мисс Фергюссон, с поднятым зонтиком и пистолетом на поясе, устремилась вперед уверенной поступью праведницы; мисс Лоуган, болтая своим мешочком с лимонами, старалась не отставать, ибо тропинка становилась все более обрывистой; обремененный кладью курд замыкал шествие. Чтобы достичь снеговой границы, они должны были провести на горе две ночи.

Они упорно поднимались целый день, и часам к семи, когда небо приобрело мягкую абрикосовую подцветку, остановились передохнуть на голом скалистом языке. Поначалу они не обратили внимания на шум и не поняли, что он означает. Раздался низкий рокот, гранитный гул, хотя откуда он шел, сверху или снизу, было неясно. Затем земля под их ногами начала дрожать, и они услышали нечто вроде раската грома — но далекого, приглушенного, устрашающего грома, словно какой-то первобытный бог бунтовал в своей глубокой темнице. Мисс Лоуган бросила на компаньонку испуганный взгляд. Аманда Фергюссон смотрела в бинокль на монастырь Святого Иакова, и на лице ее лежало поразившее робкую путешественницу выражение сдержанного удовольствия. Мисс Лоуган была близорука, и потому именно черты лица ее

спутницы, а не собственные наблюдения подсказали ей, что случилось. Когда бинокль наконец перешел к ней, она убедилась в том, что все без исключения стены и кровли маленькой церкви и монастырского поселка, который они покинули только сегодня утром, разрушены мощным подземным толчком.

Мисс Фергюссон энергично встала на ноги и снова двинулась в гору.

— Разве мы не будем помогать уцелевшим? — озадаченно спросила мисс Лоуган.

— Там никого не осталось,— ответила ее спутница. И добавила более резким тоном: — Это кара, которую им следовало предвидеть.

— Кара?

— За непослушание. За вино из Ноева винограда. За то, что построили церковь и осквернили ее кощунством.— Мисс Лоуган осторожно глянула на Аманду Фергюссон, соображая, как лучше выразить мысль, что ее смиренному и недалекому уму эта кара представляется чересчур суровой.— Это святая гора,— холодно сказала мисс Фергюссон.— Гора, где нашел прибежище Ноев ковчег. Малый грех становится здесь великим.

Мисс Лоуган так и не нарушила своего тревожного молчания; она просто последовала за компаньонкой, которая взбиралась вверх по каменистой ложбине. Дойдя до конца, мисс Фергюссон подождала товарку и вновь обратилась к ней:

— Вы думаете, Бог похож на главного судью в Лондоне. Ждете от него целой объяснительной речи. Бог этой горы — тот самый Бог, который из всего мира пощадил только Ноя и его семью. Помните это.

Мисс Лоуган была серьезно обеспокоена этими словами. Неужели мисс Фергюссон уподобляет землетрясение, разрушившее поселок Аргури, самому́ великому Потопу? Неужто избавление от гибели двух белых женщин и одного курда приравнивается ею к спасению Ноева семейства? Когда они готовились к экспедиции, им говорили, что магнитный компас на таких горах бесполезен, ибо там много залежей железа. Оказывается, думала мисс Лоуган, здесь вполне можно потерять ориентацию и в других смыслах.

Что она делает на Ноевой горе бок о бок с паломницей, обратившейся в фанатичку, и бородатым селянином, говорящим на непонятном языке, в то время как скалы под ними взрываются, точно начиненные порохом, который служит им для умилостивления местных вождей? Все призывало их спуститься, но они по-прежнему шли вверх. Курд, от которого она ожидала бегства в самом начале землетрясения, по-прежнему сопровождал их. Может быть, он собирался перерезать им глотки, когда они заснут.

Они переночевали и с восходом солнца вновь тронулись в путь. Их зонтики ярко белели, оживляя унылый горный пейзаж. Тут были только голые скалы да галечник; ничего не росло, кроме лишайника; кругом было абсолютно сухо. Так могла бы выглядеть поверхность Луны.

Они поднимались, пока не достигли первого снега, лежавшего в длинном темном разломе на склоне горы. Они были в трех тысячах футов от вершины, как раз под ледяной шапкой, венчающей Большой Арарат. Именно здесь теплый воздух с долины превращался в пар, который украшал гору волшебным ореолом. Небо над ними обрело светло-зеленый оттенок, его голубизна почти сошла на нет. Мисс Лоуган было очень холодно.

Они наполнили свои бутылочки снегом и передали их на сохранение курду. Позже мисс Лоуган пыталась снова вызвать в памяти уверенную осанку и странную безмятежность на лице своей нанимательницы в начале спуска; оно излучало удовлетворение, граничащее с самодовольством. Они прошли не более нескольких сот ярдов — проводник впереди, мисс Лоуган замыкающей — и пересекали каменистую осыпь, что было скорей утомительно, нежели рискованно, когда мисс Фергюссон споткнулась. Она упала вперед и вбок и, прежде чем курд успел помешать ее

продвижению, съехала ярдов на десять вниз по склону. Первой реакцией мисс Лоуган было удивление, ибо ей почудилось, что мисс Фергюссон потеряла опору на маленьком выступе сплошной скалы, не представлявшем никакой опасности.

Когда они подошли к ней, она улыбалась, явно не расстроенная видом крови. Мисс Лоуган не могла позволить курду перевязывать мисс Фергюссон; она взяла лоскуты, оторванные им для этой цели от своей рубашки, но настояла на том, чтобы он отвернулся. Через полчаса или около того они продолжили спуск; мисс Фергюссон опиралась на руку проводника с непонятной беспечностью, словно на прогулке по какому-нибудь собору или зоологическому саду.

За остаток этого дня они преодолели небольшое расстояние, так как мисс Фергюссон нуждалась в частом отдыхе. Мисс Лоуган прикинула, сколько еще добираться до лошадей, и была удручена результатом оценки. К ночи они достигли двух небольших пещер, которые мисс Фергюссон уподобила отпечаткам Богова большого пальца. Курд, осторожно принюхиваясь, вступил в одну из них; затем, убедившись, что она свободна от диких зверей, пригласил войти женщин. Мисс Лоуган приготовила ложа и дала своей спутнице немного опиума; проводник, сделав какие-то загадочные жесты, исчез. Он вернулся час спустя с несколькими чахлыми кустиками, которые ему удалось выломать из скал. Он развел костер; мисс Фергюссон легла, выпила воды и заснула.

Проснувшись, она заявила, что чувствует слабость; руки и ноги плохо слушались ее. Она не ощущала ни прилива сил, ни голода. Этот день они провели в пещере, надеясь, что к следующему утру состояние мисс Фергюссон улучшится. Мисс Лоуган стала размышлять о переменах, происшедших с ее нанимательницей по прибытии на гору. Целью их паломничества было вымолить прощение для полковника Фергюссона. Однако до сих пор Аманда Фергюссон ни разу не молилась; она словно все еще спорила со своим отцом; вместе с тем Бог, чей образ создавался на основе ее речей, явно не походил на Бога, который мог бы легко простить полковнику его упрямое нежелание узреть истинный свет. Значит, мисс Фергюссон уверилась или, по меньшей мере, склонилась к мнению, что душа ее отца уже погибла, что она отвергнута, проклята? Этим ли все объясняется?

Вечером мисс Фергюссон попросила компаньонку покинуть пещеру, чтобы она могла переговорить с курдом наедине. Необходимости в этом не было, ибо мисс Лоуган не понимала ни слова из той турецкой, или русской, или курдской, или какой там еще тарабарщины, которая служила ее спутникам средством общения; однако она сделала, как ей было велено. Она постояла снаружи, глядя на кремовую луну и боясь только, как бы в ее волосах не запуталась летучая мышь.

— Положите меня так, чтобы я могла видеть луну.— Они подняли ее осторожно, словно она была старухой, и перенесли поближе ко входу в пещеру.— Вы отправляйтесь завтра с рассветом. Вернетесь или нет, неважно.— Мисс Лоуган кивнула. Она не спорила, потому что понимала бесперспективность спора; не плакала, потому что за слезы ее отчитали бы.— Я буду вспоминать Святое Писание и предамся Божьей воле. На этой горе Божья воля явлена как нигде. Я не знаю лучшего места, откуда Он мог бы взять меня к себе.

Этой ночью мисс Лоуган и курд дежурили около нее по очереди. Луна, уже почти полная, заливала своим светом полпещеры, где лежала Аманда Фергюссон.

— Отец захотел бы еще музыки в придачу,— как-то заметила она. Мисс Лоуган улыбнулась в ответ, и это рассердило ее компаньонку.— Вы же не можете знать, о чем я говорю. — Мисс Лоуган согласилась вторично.

Стояла тишь. Было холодно и сухо; от кострища тянуло гарью.

— Он считал, что картины должны двигаться. С огнями, музыкой и патентованными печами. Он видел в этом будущее.— Мисс Лоуган, осведомленная немногим больше, чем прежде, ради безопасности

хранила молчание.— Но будущее не в этом. Посмотрите на луну. Луне не нужны музыка и цветные огни.

Мисс Лоуган выиграла один маленький, последний спор — скорее благодаря активным действиям, чем при помощи слов,— и обе бутылочки с талым снегом были оставлены мисс Фергюссон. Она согласилась взять также пару лимонов. На рассвете проводник и мисс Лоуган с пистолетом, перекочевавшим теперь на ее пояс, отправились вниз по склону. Мисс Лоуган была настроена решительно, но пока не знала, как лучше поступить. Она, например, подумала, что если крестьяне из Аргури не хотели подниматься на гору до землетрясения, то уцелевшие едва ли пожелают отправиться туда сейчас. Возможно, ей придется искать помощи в более отдаленном селении.

Лошадей не было. Курд издал долгий горловой звук, принятый ею за выражение досады. Дерево, к которому они их привязали, стояло на месте, но лошади исчезли. Мисс Лоуган представила себе, какая паника охватила животных, когда земля заходила под ними ходуном; наверное, они сорвались с привязи и как бешеные помчались вниз с горы, волоча за собою путы. Позже, бредя вслед за проводником к поселку Аргури, она додумалась и до другого объяснения: лошадей могли украсть дружелюбные номады, встреченные ими в то первое утро.

Монастырь Святого Иакова выглядел полностью разрушенным, и они миновали его без остановки. Недалеко от развалин Аргури курд знаками попросил мисс Лоуган подождать, пока он осмотрит поселок. Двадцать минут спустя он вернулся, качая головой,— все было ясно. Когда они обходили руины стороной, мисс Лоуган не могла не заметить, что землетрясение погубило всех жителей, оставив нетронутыми те самые виноградники, которые, если верить мисс Фергюссон, и послужили орудием соблазна, навлекшего на людей кару.

Первого населенного пункта они достигли только через два дня. Это была деревня среди холмов к юго-западу от горы; там курд привел ее в дом священника-армянина, сносно говорившего по-французски. Она объяснила ему, что нужно немедленно собрать отряд спасателей и вернуться на Большой Арарат. Священник отвечал, что ее проводник, без сомнения, как раз занят сейчас поиском людей, способных отправиться на выручку. Его поведение показалось мисс Лоуган странноватым; видимо, он не совсем поверил ее рассказу о том, что они одолели большую часть пути к вершине Массиса, о чьей неприступности хорошо знали как крестьяне, так и святые.

Весь день она ждала возвращения курда, но так и не дождалась его; на следующее же утро в ответ на ее расспросы ей сказали, что он покинул поселок сразу же, как только вышел от священника. Мисс Лоуган была огорчена и разгневана поступком этого Иуды, о чем и не преминула в сильных выражениях сообщить приютившему ее армянину; священник кивнул и предложил помолиться за мисс Фергюссон. Мисс Лоуган не стала возражать, хотя эффективность простой, незамысловатой молитвы в краях, где приносят в жертву собственные зубы, внушала ей серьезные сомнения.

Лишь несколько недель спустя, задыхаясь в каюте грязного пароходика, идущего из Трапезунда, она припомнила, что в течение всего их совместного путешествия курд был почтительным и аккуратным исполнителем указаний мисс Фергюссон; к тому же для нее так и осталось неизвестным, что произошло между ними в тот последний вечер в пещере. Возможно, мисс Фергюссон велела доставить свою компаньонку в безопасное место, а затем покинуть ее.

Мисс Лоуган размышляла также и о падении мисс Фергюссон. Они пересекали осыпь; там хватало коварных камней, и идти было трудно, но к тому моменту спуск стал, безусловно, менее крутым, а ее спутница, несомненно, оступилась на почти ровной гранитной площадке. Арарат — магнитная гора, где не работает компас, а на магнитной горе легко совершить неверное движение. Нет, это тут ни при чем. Вопрос,

которого она избегала, звучал так: не сама ли мисс Фергюссон инициировала этот несчастный случай, дабы достичь или подтвердить то, что она желала достичь или подтвердить. Когда они впервые любовались горой в облачном нимбе, мисс Фергюссон сказала, что все можно объяснить двумя способами, что оба они основаны на вере и что свобода воли дана нам для того, чтобы мы могли выбирать между ними. Этой дилемме предстояло занимать мысли мисс Лоуган в грядущие годы.

7. *Три простые истории*

I

Я был нормальным восемнадцатилетним: зачехленный, робкий, мало повидавший и ехидный; отчаянно образованный, дружелюбно бестактный и не отличающийся душевной тонкостью. По крайней мере, все прочие восемнадцатилетние, мои знакомые, были такими, поэтому я считал, что со мной все нормально. Я собирался поступать в университет и только что получил место преподавателя в начальной школе. Если судить по прочитанной литературе, мне были уготованы блестящие роли: гувернера в старой каменной усадьбе, где павлины отдыхают на тисовых изгородях и в заколоченной келье обнаруживаются белые как мел кости; легковерного инженю в эксцентричном частном заведении на границе Уэльса, битком набитом дюжими пьяницами и тайными развратниками. Предполагалось, что меня поджидают бесшабашные девицы и невозмутимые слуги. Вам знакома социальная мораль этой истории: меритократ [1] понемногу заражается снобизмом.

У реальности оказалось меньше размаху. Один триместр я преподавал в подготовительной школе не дальше полумили от дома и, вместо того чтобы коротать ленивые часы с симпатичными детьми, чьи матери, надежно защищенные шляпками, снисходительно улыбались бы и все же флиртовали со мной в теченье бесконечного, сбрызнутого пыльцой дня спортивных состязаний, проводил время с сыном местного букмекера (он одолжил мне свой велик; я его разбил) и дочкой пригородного адвоката. Но полмили — вполне приличный конец для мало повидавшего; и в восемнадцать лет даже крохотные градации в средних слоях общества волнуют и устрашают. Школа существовала с семьей в придачу; у семьи был дом. Все здесь было другим и потому лучшим: горделивые латунные краны, форма перил, подлинные работы маслом (у нас тоже имелась подлинная работа маслом, но она была не такая подлинная), библиотека, которая по непонятной причине казалась чем-то большим, нежели просто набитой книгами комнатой, мебель, достаточно старая для того, чтобы в ней завелись древесные черви, и беззаботное приятие унаследованных вещей. В холле висела ампутированная лопасть весла; на ее черной поверхности были золотыми буквами выписаны имена представляющей колледж восьмерки, каждого члена которой наградили подобным трофеем в осиянные солнцем довоенные дни; эта штука казалась до невозможности экзотической. В саду находилось бомбоубежище, которое заставило бы моих домашних краснеть и подверглось бы энергичной маскировке многолетней зимостойкой зеленью; однако здесь оно служило только предметом слегка иронической гордости. Семья соответствовала дому. Отец был шпионом; мать прежде была актрисой; сын носил воротнички с петлицами и двубортные жилеты. Нужно ли добавлять еще что-нибудь? Прочти я к тому времени побольше французских романов, я знал бы, чего мне ожидать; и, конечно, именно здесь я впервые влюбился. Но это уж другая история или, по крайней мере, другая глава.

Школу основал дед, и он до сих пор жил вместе со всеми. Хотя ему давно перевалило за восемьдесят, он лишь в последнее время был

---

[1] Меритократ — человек, выдвинувшийся благодаря своим способностям.

отлучен от преподавания каким-то моим коварным предшественником. Он мелькал то там, то сям, слоняясь по дому в кремовой полотняной куртке, галстуке своего колледжа - «Гонвилл-энд-Киз», полагалось вам знать,— и круглой плоской шапочке (у нас такая шапочка никого бы не удивила, а здесь это был особый шик — подобный головной убор мог означать, что вы любитель псовой охоты). Он искал свой «класс», которого никогда не находил, и толковал о «лаборатории», которая представляла собой всего-навсего удаленную от прочих помещений кухню с бунзеновской горелкой и проточной водой. В теплые дни он усаживался снаружи, у парадной двери, с переносным радиоприемником «Робертс» (целиком деревянная коробка, как я заметил, обеспечивала лучшее звучание, нежели пластмассовые или металлические корпуса обожаемых мною транзисторов) и слушал репортажи о крикетных матчах. Звали его Лоренс Бизли.

Если не считать моего прадеда, человек этот был самым старым из всех, кого я когда-либо видел. Его возраст и положение вызывали с моей стороны обычную смесь почтительности, опаски и нахальства. Его дряхлость — одежда, заляпанная невесть в какую давнюю пору, слюни, свешивающиеся с подбородка, как взбитый белок,— порождала во мне естественную юношескую досаду на жизнь и на неизбежные признаки ее заключительного этапа: чувство, которое легко переходит в ненависть к носителю этих признаков. Дочь кормила его детскими консервами, что опять-таки подтверждало для меня издевательский характер существования и особую презренность этого человека. У меня появилась привычка сообщать ему выдуманные результаты крикетных матчей. «Восемьдесят четыре — два, мистер Бизли»,- - кричал я, проходя мимо старика, дремлющего на солнышке под долговязой глицинией. «Вест-Индия набрала семьсот девяносто на трех воротах»,— заявлял я, доставив ему поднос с его детским обедом. Я называл ему результаты матчей, которые никогда не были сыграны, фантастические результаты, невозможные результаты. Он кивал в ответ, и я ускользал, похихикивая,— меня радовала моя мелкотравчатая жестокость и сознанье того, что я вовсе не такой славный юноша, каким, наверное, ему представляюсь.

За пятьдесят два года до нашего знакомства Лоренс Бизли был пассажиром второго класса на совершавшем свой первый рейс «Титанике». Ему было тридцать пять, он недавно оставил место учителя-естественника в Далиджском колледже и теперь пересекал Атлантику — по крайней мере, согласно позднейшему семейному преданию,— обуреваемый противоречивыми чувствами, в погоне за американской наследницей. Когда «Титаник» наткнулся на айсберг, Бизли спасся в полупустой шлюпке № 13 и был подобран «Карпатией». В качестве сувенира сей восьмидесятилетний счастливец держал у себя в комнате одеяло, на котором было вышито название спасшего их корабля. Более скептически настроенные члены семьи утверждали, что вышивка появилась на одеяле значительно позже 1912 года. Еще они тешили себя догадкой, что их предок бежал с «Титаника» в женском платье. Разве имя Бизли не отсутствовало в первом списке спасенных и разве не оказалось оно среди имен погибших в бюллетене, подводящем итоги катастрофы? Не было ли это очевидным подтверждением гипотезы, что фальшивый труп, который чудом обернулся живым счастливчиком, прибег к помощи панталон и писклявого голоса, а после благополучной высадки в Нью-Йорке украдкой избавился от своего дамского наряда в туалете подземки?

Я с удовольствием поддерживал эту гипотезу, ибо она гармонировала с моим взглядом на мир. Осенью того года мне предстояло повесить на зеркале в своей тамошней комнате бумажку со строками: «Какой обман — вся наша жизнь земная. / Так раньше думал я — теперь я это знаю» [1]. Случай с Бизли вписывался в общую картину: герой «Титаника» подделывал одеяла и был обманщиком-трансвеститом; а потому сколь

---

[1] Слегка измененная автоэпитафия Джона Гея (1685—1732) *(перев. С. Маршака)*.

же уместно и справедливо с моей стороны потчевать его фальшивыми результатами крикетных матчей. А по большому счету так: ученые утверждали, будто жизнь есть выживание самых приспособленных; разве случившееся с Бизли не доказывало, что «самые приспособленные» суть просто-напросто самые хитрые? Герои, крепкие люди йоменских добродетелей, лучшие представители рода, даже капитан (особенно капитан!) — все отправились на дно вместе с кораблем; в то время как трусы, паникеры, обманщики нашли способ улизнуть в спасательной шлюпке. Разве не было это убедительным подтверждением того, что генетический фонд человечества постоянно беднеет, что дурная кровь забивает добрую?

В своей книге «Гибель «Титаника» Лоренс Бизли не упоминал о женском платье. Представители американского издательства «Хоутон Миффлин» поселили его в одном бостонском клубе, и он написал свой отчет за шесть недель; книга вышла меньше чем через три месяца после крушения судна и с тех пор многократно переиздавалась. Благодаря ей Бизли попал в число наиболее известных пассажиров, переживших катастрофу, и в течение пятидесяти лет — вплоть до нашего с ним знакомства — его регулярно посещали морские историки, документалисты, журналисты, охотники за сувенирами, зануды, сутяги и потенциальные заговорщики. Когда другие корабли сталкивались с айсбергами, ему начинали трезвонить репортеры, жаждущие узнать, что он думает о судьбе жертв.

Лет через десять после его спасения в Пайнвуде ставили фильм «Памятная ночь»; он был приглашен туда консультантом. Большую часть ленты снимали в темноте; модель судна, вдвое меньше оригинала, покоилась в море из собранного складками черного бархата, которое затем и поглощало ее. Несколько вечеров подряд Бизли наблюдал это действо вместе со своей дочерью; дальнейшее я пересказываю с ее слов. Бизли — что неудивительно — был заинтригован видом возрожденного и вновь качающегося на волнах «Титаника». Особенно он хотел оказаться среди статистов, которые в отчаянии толпились у борта тонущего корабля,— хотел, как можно подумать, вновь пережить эту историю, вернее, ее вымышленную версию. Режиссер же фильма был в равной мере озабочен тем, чтобы не позволить этому консультанту, который не имел удостоверения Союза актеров, появиться на экране. Бизли, дока по части критических ситуаций, подделал пропуск, открывающий доступ на палубу копии «Титаника», оделся в костюм той эпохи (могут ли отзвуки подтвердить истинность того, отзвуками чего они являются?) и затесался в толпу статистов. Прожекторы были включены, актеры проинструктированы относительно своей неминучей гибели в складках черного бархата. В самую последнюю минуту, когда готовы были заработать камеры, режиссер заметил, что Бизли умудрился просочиться на борт; подняв рупор, он вежливо предложил хитроумному безбилетнику сойти. Таким образом, уже во второй раз в жизни, Лоренс Бизли покинул «Титаник» как раз перед его погружением в пучину.

Будучи отчаянно образованным восемнадцатилетним, я знал Марксово доосмысление Гегеля: история повторяется, первый раз как трагедия, второй раз как фарс. Но мне еще только предстояло убедиться в этом самому. Минули годы, а я все обнаруживаю новые подтверждения этого правила, одно лучше другого.

II

Что, собственно, потерял Иона в чреве кита? Как вы уже, вероятно, поняли, в этой истории мало правдоподобного.

Все началось с того, что Бог дал Ионе инструкцию идти и проповедовать в Ниневии, которая, несмотря на значительные успехи Бога в деле изничтожения нечестивых городов, по-прежнему оставалась — упрямо, необъяснимо — нечестивым городом. Иона, решив не выполнять этого

наказа по неизвестной причине — возможно, убоявшись, что разгульные ниневитяне забьют его камнями,— бежал в Иоппию. Там он сел на корабль, отправляющийся в самый дальний конец известного мира — в испанский город Фарсис. Он, разумеется, не учел того, что Господь прекрасно знает, где находится его непокорный раб, и, более того, обладает оперативным контролем над водами и ветрами Восточного Средиземноморья. Когда разразилась страшная буря, корабельщики, будучи людьми суеверными, кинули жребий, дабы определить, кто из плывущих на судне является причиной этой беды, и короткую соломинку, треснувшую доминошку или пиковую даму вытянул Иона. Он был своевременно выброшен за борт и столь же своевременно проглочен гигантской рыбой, или китом, которую Господь направил туда по морю специально для этой цели.

Внутри кита, три дня и три ночи, Иона молился Господу и так преуспел в заверениях относительно своей будущей покорности, что Бог повелел рыбе извергнуть узника. Неудивительно, что, получив от Всемогущего вторичный наказ идти в Ниневию, Иона исполнил его. Он пошел туда и возвестил нечестивому городу, что, подобно всем прочим нечестивым городам Восточного Средиземноморья, он вскоре будет уничтожен. После чего разгульные ниневитяне, в точности как Иона внутри кита, раскаялись; после чего Бог решил-таки пощадить их; после чего Иона необычайно разозлился, что было вполне естественно для человека, пережившего столько неприятностей лишь ради того, чтобы вслед за объявлением о грядущей каре Господь, несмотря на свое хорошо известное, историческое пристрастие к разрушению городов, вдруг все переиначил и не стал никого трогать. А затем, словно этого было еще недостаточно, Господь, которому никогда не надоедало демонстрировать, кто в мире хозяин, разыграл затейливую притчу с участием своего любимца. Сначала он вырастил для защиты Ионы от солнца тыкву (под «тыквой» нам следует понимать нечто вроде касторового боба, или Palma Christi [1], с его способностью к быстрому росту и образующей сплошной навес листвой); потом, не более чем взмахом шелкового платка, наслал на вышеупомянутую тыкву прожорливых личинок, и Иона очутился на самом пекле, что было очень мучительно. Богово объяснение этой сценки, точно взятой из репертуара уличного театра, сводилось к следующему: ты же не покарал тыкву, когда она подвела тебя, верно? Вот и Я не собираюсь карать ниневитян.

История не ахти какая, правда? Подобно большинству ветхозаветных историй, она отличается гнетущим отсутствием свободной воли — или даже иллюзии свободной воли. Все карты на руках у Бога; он и берет все взятки. Единственная неопределенность состоит в том, как Господу вздумается разыграть этот кон: начать ли с козырной двойки и двигаться вверх к тузу, начать ли с туза и идти вниз до двойки или шлепать своими картами вразнобой. А поскольку, имея дело с шизоидными параноиками, вы ничего предсказать не можете, этот элемент действительно несколько оживляет повествование. Но что дает нам выдумка с тыквой? Она не очень-то убедительна в качестве логического аргумента: всякому ясно, что между касторовым бобом и городом в 120 000 человек гигантская разница. Если, конечно, не в этом суть рассказа и Бог Восточного Средиземноморья не считает все свои творения чем-то вроде овощей.

Если мы посмотрим на Бога не как на главного героя и морализирующего громилу, а как на автора этой истории, нам придется поставить ему невысокую оценку и за сюжет, и за мотивировку, и за уровень напряженности повествования, и за проработку характеров. Но в его шаблонном и довольно-таки отталкивающем моралите есть один блестящий мелодраматический ход — а именно выдумка с китом. Технически этот китовый мотив получил отнюдь не лучшее воплощение: рыбина, очевидно, такая же пешка, как и Иона; ее провиденциальное появление

---

[1] Пальмы Христовой *(лат.)*.

в тот самый момент, когда моряки швыряют Иону за борт, чересчур сильно отдает приемом deus ex machina; и, едва выполнив свою роль в повести, она оказывается бесцеремонно из нее выброшенной. Даже тыква и та выглядит лучше несчастного кита, являющегося не более чем плавучей темницей, где Иона в теченье трех дней замаливает свое неподчинение властям.

И тем не менее, несмотря на все это, кит выдвигается на передний план. Мы забываем об аллегорическом смысле этой истории (Вавилон поглощает непокорный Израиль), нас не слишком волнует, уцелела ли Ниневия и что случилось с вытошненным на волю узником; но кита мы помним. Джотто изображает его заглотнувшим Иону по бедра; видны лишь ноги, которыми несчастный молотит по воздуху. Тот же сюжет увековечен Микеланджело, Корреджо, Рубенсом и Дали. В Гауде есть витраж, где Иона неспешно выходит из пасти рыбы, словно пассажир из отверстых челюстей парома. Иона (принимающий обличья от мускулистого фавна до бородатого старца) может похвастаться столь солидной и богатой иконографией, что Ною остается только позавидовать ему.

Что же так завораживает нас в приключении Ионы? Момент ли заглатывания, эта борьба страха с надеждой на спасение, когда мы воображаем себя чудом избегнувшими смерти в волнах только ради того, чтобы быть съеденными живьем? Или три дня и три ночи в китовом чреве, этом символе темницы, душной могилы, куда попадаешь еще при жизни? (Однажды, едучи ночным поездом из Лондона в Париж, я обнаружил, что нахожусь в запертом купе запертого вагона в запертом трюме пересекающего пролив парома, ниже уровня воды; в тот раз я об Ионе не думал, но моя тогдашняя паника, возможно, была сродни охватившей его. А не замешан ли тут более азбучный страх: не ужасает ли нас образом пульсирующей ворвани перспектива вновь вернуться в материнское лоно?) Или нас больше всего впечатляет третий эпизод этой истории — освобожденье, свидетельство того, что после искупительной отсидки нас ждет заслуженное спасение? Всех нас, подобно Ионе, треплют житейские шторма, всем выпадает на долю мнимая смерть и нечто, смахивающее на похороны, но затем приходит ослепительное возрождение: двери парома распахиваются, и мы возвращаемся к свету и Божьей любви. Так вот почему этот миф дрейфует в нашей памяти?

Возможно; а может, и нет. Когда появился фильм «Челюсти», было много попыток объяснить его воздействие на зрителей. Лежит ли в его основе какая-то первичная метафора, какое-то архетипическое видение, никого не оставляющее равнодушным? Или фигурирующие в нем несовместимые стихии земли и воды разбудили в нас давний интерес к амфибиям? Или он имеет какое-то отношение к тому факту, что миллионы лет назад наши снабженные жабрами предки выползли из болота, и с тех самых пор нас до безумия пугает перспектива вернуться туда? Поразмыслив о фильме и его возможных интерпретациях, английский романист Кингсли Эмис пришел к такому выводу: «Это о том, как охеренно страшно быть съеденным охеренной акулой».

В глубине своей это та же власть, какую все еще имеет над нами легенда об Ионе и ките: страх, что тебя сожрет гигантское существо, страх, что тебя проглотят с бульканьем, с чавканьем, с хлюпаньем, что ты канешь вниз в потоке соленой воды и со стайкой анчоусов на закуску; боязнь оказаться ошеломленным, ослепленным, задушенным, утопленным, попасть в мешок из ворвани; боязнь лишиться способности чувствовать, отчего, как известно, люди сходят с ума; боязнь умереть. Мы реагируем на все эти ужасы так же бурно, как и любое другое трепещущее перед смертью поколение, и повелось это с той давней поры, когда какой-то жестокий моряк, желая попугать новичка юнгу, придумал сказку об Ионе.

Конечно, все мы согласны с тем, что в действительности ничего подобного произойти не могло. Мы люди бывалые и умеем отличать мифы от реальности. Да, кит мог проглотить человека, это мы

допускаем; но, очутившись внутри, он бы не выжил. Перво-наперво он утонул бы, а если б не утонул, то задохнулся; а скорее всего, умер бы от разрыва сердца, едва осознав, что угодил в гигантскую пасть. Нет, в чреве кита человеку уцелеть невозможно. Мы-то умеем отличать мифы от реальности. Мы люди бывалые.

25 августа 1891 года вблизи Фолклендских островов тридцатипятилетний матрос со «Звезды Востока» Джеймс Бартли был проглочен спермацетовым китом:

> «Я помню все очень хорошо с того мига, как выпал из лодки и почувствовал, что ударился ногами во что-то мягкое. Я посмотрел вверх и увидел опускающийся на меня крупноребристый купол, светло-розовый с белым, а в следующий момент почувствовал, что меня тянет вниз, ногами вперед, и понял, что меня глотает кит. Меня затягивало все глубже и глубже; со всех сторон меня окружали и сжимали живые стены, но они не причиняли мне боли и легко подавались при малейшем моем движении, как будто сделанные из каучука.
>
> Вдруг я обнаружил, что нахожусь в мешке намного больше моего тела, но совершенно темном. Я пошарил вокруг и наткнулся на нескольких рыб — среди них, кажется, были и живые, потому что они трепыхались у меня в руках и ускользали обратно под ноги. Скоро у меня страшно заболела голова; дышать становилось все трудней и трудней. В то же время я сильно страдал от жары, которая прямо-таки палила меня и быстро росла. Мои глаза превратились в горящие угли, и я ни секунды не сомневался, что обречен погибнуть в брюхе кита. Я едва терпел эти муки, и в то же время меня угнетала мертвая тишина моей жуткой тюрьмы. Я пытался встать, пошевелить руками и ногами, крикнуть. Я не мог даже шелохнуться, но голова моя была удивительно ясной; и с полным сознанием своей ужасной судьбы я наконец лишился чувств».

Позже этот кит был убит и подтянут к борту «Звезды Востока», и члены ее команды провели остаток дня и часть ночи за разделкой туши, не подозревая о близости пропавшего товарища. На следующее утро с помощью талей они вытащили на палубу желудок кита. Внутри что-то слабо, судорожно подергивалось. Думая найти крупную рыбу, возможно акулу, моряки раскроили трофей и увидели Джеймса Бартли — бесчувственного, с побелевшими от желудочного сока лицом, шеей и руками, но еще живого. Две недели он лежал в горячке, потом начал поправляться. Постепенно он обрел прежнее здоровье, однако кислота вытравила из подвергшейся ее действию кожи все пигменты. До самой смерти он оставался альбиносом.

В 1914 году редактор научного отдела «Журналь де деба» месье де Парвиль изучил этот случай и пришел к выводу, что отчет капитана и команды «заслуживает доверия». Современные ученые утверждают, что Бартли не мог прожить в чреве кита и нескольких минут, не говоря уж о половине дня или еще большем сроке, который понадобился ничего не ведающим матросам с китобойца, чтобы освободить этого Иону нашего времени. Но верим ли мы современным ученым, никто из которых не бывал в китовом чреве сам? Ведь мы вполне можем достичь компромисса с профессиональным скептицизмом, допустив наличие воздушных карманов (разве киты не страдают от колик подобно всем прочим?) или понижение кислотности желудочного сока в силу какого-нибудь недуга, коему подвержены китообразные.

И если вы ученый или просто человек желчный и недоверчивый, взгляните на это вот с какой стороны. Многие (и я в том числе) верят в миф о Бартли точно так же, как миллионы верили мифу об Ионе. Вы можете оставаться при своем мнении, но нельзя спорить с тем, что эта история была пересказана заново, подредактирована, осовременена; она

придвинулась к нам. Вместо «Ионы» теперь читайте «Бартли». И однажды произойдет случай, в который поверите даже вы: моряк исчезнет в пасти кита и будет освобожден из его чрева; пусть не через полдня, быть может, только через полчаса. И тогда люди поверят в миф о Бартли, порожденный мифом об Ионе. Потому что суть вот в чем: миф вовсе не отсылает нас к какому-то подлинному событию, фантастически преломившемуся в коллективной памяти человечества; нет, он отсылает нас вперед, к тому, что еще случится, к тому, что *должно* случиться. Миф станет реальностью, несмотря на весь наш скептицизм.

III

В 8 часов вечера 13 мая 1939 года — это была суббота — лайнер «Сент-Луис» покинул свой порт приписки Гамбург. Судно было предназначено для морского отдыха, и большинство из 937 пассажиров, которые отправились на нем в трансатлантический рейс, получили визы, удостоверявшие, что их владельцы являются «туристами, путешествующими в развлекательных целях». Однако слова эти, равно как и назначение рейса, служили простым камуфляжем. Почти все пассажиры корабля были евреями, беженцами из нацистского государства, взявшего курс на конфискацию их имущества, изгнание или уничтожение их самих. Собственно, многие уже превратились в неимущих, так как эмигрантам из Германии разрешено было брать с собой только ничтожную сумму в десять рейхсмарок. Эта вынужденная бедность делала их более удобной мишенью для пропаганды: если они уезжали из страны, захватив с собой указанную сумму, их можно было изображать нищими Untermenschen [1], которые разбегаются, точно крысы; если им удавалось перехитрить систему, тогда они были экономическими преступниками, удирающими с награбленным добром. Все это было в порядке вещей.

Над «Сент-Луисом» развевался флаг со свастикой, что было в порядке вещей; его команда включала в себя полдюжины гестаповских агентов, что тоже было в порядке вещей. Судоходная компания велела капитану закупить для этого рейса мясо подешевле, убрать из продажи на борту предметы роскоши, а из комнат общего пользования — бесплатные почтовые открытки; но капитан великодушно обошел эти приказы, заявив, что путешествие должно быть похожим на прочие рейсы «Сент-Луиса», то есть выглядеть, насколько это возможно, обычным. Поэтому евреи, прибывшие на лайнер с материка, где их не считали людьми, систематически унижали и арестовывали, неожиданно обнаружили, что, хотя корабль формально является частью Германии, хотя над ним реет фашистский флаг и повсюду висят большие портреты Гитлера, немцы, с которыми им приходится иметь дело, любезны, внимательны и даже услужливы. Такого порядок вещей не предусматривал.

Никто из этих евреев — половину которых составляли женщины и дети — не собирался в ближайшем будущем возвращаться в Германию. Однако, согласно правилам судоходной компании, все они были вынуждены купить обратные билеты. Этот взнос, объяснили им, предназначается для покрытия расходов в случае возникновения «непредвиденных обстоятельств». После высадки в Гаване пассажиры должны были получить квитанции с указанием неизрасходованного остатка. Сами деньги лежали на специальном счете в Германии; если люди когда-нибудь вернутся туда, они смогут забрать их. Обратную дорогу пришлось оплатить даже тем евреям, которых освободили из концлагерей с предписанием немедленно покинуть фатерланд.

Вместе с билетами беженцы получили разрешения на высадку от начальника кубинской иммиграционной службы; он лично гарантировал им беспрепятственный въезд в свою страну. Это он назвал их «туристами, путешествующими в развлекательных целях», и за время рейса

---

[1] Недочеловеками *(нем.)*.

некоторым из пассажиров, особенно юным, удалось совершить крутой переход от презираемого Untermensch'а к ищущему развлечений туристу. Возможно, бегство из Германии казалось им таким же чудом, как спасение Ионы из китового чрева. Каждый день были еда, питье и танцы. Несмотря на то что гестаповская ячейка предупредила членов экипажа о необходимости соблюдать Закон в Защиту Германской Крови и Чести, взаимоотношения полов в этом круизе развивались обычным образом. В конце рейса был устроен традиционный костюмированный бал. Оркестр играл Глена Миллера; евреи изображали пиратов, матросов и гавайских танцовщиков. Несколько веселых девиц, задрапировавшись в простыни, обратили себя в арабских женщин из гарема, чем вызвали неудовольствие ортодоксально настроенных пассажиров.

В субботу 27 мая «Сент-Луис» бросил якорь в гаванском порту. В четыре утра прозвучал сигнал подъема, а полчаса спустя — гонг к завтраку. Лайнер окружили лодки: в одних приплыли торговцы кокосами и бананами, в других — родственники и друзья, выкрикивающие имена вновь прибывших. Над кораблем подняли карантинный флаг, что было в порядке вещей. Капитану полагалось заверить начальника медицинской службы гаванского порта в том, что на борту нет «идиотов, или сумасшедших, или страдающих заразными или отталкивающими заболеваниями». Когда это было сделано, офицеры иммиграционной службы занялись пассажирами — они изучали их документы и указывали, в каких местах на пирсе им предстоит получить багаж. Пятьдесят беженцев собрались у трапа в ожидании катера, который должен был доставить их на берег.

Иммиграция, как и эмиграция,— это процесс, в котором деньги играют не менее, а часто и более важную роль, чем принципы или законы. Деньги гарантируют принимающей, а в случае с Кубой — промежуточной стране, что новоприбывшие не станут обузой для государства. Деньги также служат для подкупа должностных лиц, выносящих это решение. Глава кубинской иммиграционной службы уже успел заработать на кораблях с евреями очень много денег; президент Кубы заработал их недостаточно. Поэтому президент издал указ от 6 мая, объявляющий туристские визы тех путешественников, истинной целью которых является иммиграция, недействительными. Относилось ли это к пассажирам «Сент-Луиса»? Корабль вышел из Гамбурга после того, как был опубликован новый закон; с другой стороны, разрешения на высадку были получены раньше. Споры по этому вопросу могли съесть много времени и денег. Президентский указ имел номер 937 — суеверные, должно быть, заметили, что именно столько пассажиров покинули Европу на борту «Сент-Луиса».

Высадка застопорилась. Девятнадцати кубинцам и испанцам, а также трем пассажирам с визами, имеющими законную силу, позволили сойти на берег; остальные 900 или около того евреев ждали результата переговоров, в которых попеременно участвовали президент Кубы, начальник иммиграционной службы, судоходная компания, местный комитет помощи нуждающимся, капитан корабля и юрист, приплывший из нью-йоркского штаба Объединенного Распределительного Комитета. Проблему обсуждали несколько дней. В рассмотрение были включены такие факторы, как деньги, гордость, политическое честолюбие и мнение кубинской общественности. Капитан «Сент-Луиса», не доверявший ни местным политикам, ни собственной судоходной компании, был убежден по крайней мере в одном: если закроют доступ на Кубу, то Соединенные Штаты, право на последующий въезд в которые имели многие пассажиры, наверняка примут их раньше обещанного.

Некоторые из отрезанных от берега пассажиров были настроены менее оптимистично; неопределенность, ожидание и жара начали сказываться на их нервах. Они так долго стремились к свободе и теперь были так близки к ней. Лодчонки друзей и родственников продолжали кружить около лайнера; одного заранее отправленного из Германии фокстерьера

каждый день вывозили к судну и подымали на руках, показывая далеким хозяевам. Был сформирован пассажирский комитет, которому судоходная компания разрешила свободно пользоваться телеграфом; различным влиятельным людям, включая жену президента, были отправлены послания с просьбой вмешаться. Примерно в это же время двое пассажиров пытались покончить с собой, один с помощью шприца и транквилизаторов, другой — вскрыв вены и бросившись в море; оба выжили. Дабы предотвратить дальнейшие попытки такого рода, было введено ночное патрулирование; спасательные шлюпки все время стояли наготове, а палубу заливал свет прожекторов. Эти меры напомнили некоторым евреям концентрационные лагеря, недавно ими покинутые.

После высадки своих 937 эмигрантов «Сент-Луис» не должен был уйти из гаванского порта пустым. Около 250 пассажиров зарегистрировались на обратный рейс в Гамбург через Лисабон. Среди прочих поступило предложение отпустить по крайней мере 250 евреев, чтобы освободить место для ждущих на берегу. Но как отобрать 250 человек, которым затем дадут возможность покинуть Ковчег? Кто возьмется отделить чистых от нечистых? Или в этом поможет жребий?

Затруднения, с которыми столкнулся «Сент-Луис», получили широкую огласку. Ход событий освещала немецкая, английская и американская пресса. «Штюрмер» заметил, что если евреи решат воспользоваться обратными билетами в Германию, они будут расквартированы в Дахау и Бухенвальде. Тем временем американские репортеры умудрились проникнуть на борт стоящего в гаванском порту лайнера, который они, быть может чересчур поспешно, окрестили «кораблем, пристыдившим мир». Такая известность необязательно идет беженцам на пользу. Если виноват целый мир, то почему бремя общего стыда должно всей тяжестью давить на плечи одной-единственной страны, которая и так уже приняла многих беженцев-евреев? Мир, очевидно, мучается стыдом не до такой степени, чтобы рука его потянулась к бумажнику. Рассуждая подобным образом, правительство проголосовало за изгнание иммигрантов, и «Сент-Луису» было предписано покинуть территориальные воды острова. Это, добавил президент, не значит, что он закрывает двери для переговоров; однако, пока корабль остается в порту, дальнейшие предложения рассматриваться не будут.

Почем нынче беженцы? Это зависит от степени их отчаяния, от щедрости их покровителей, от жадности тех, кто их принимает. В мире паники и разрешений на въезд преимущество всегда на стороне продавца. Цены произвольны, спекулятивны, эфемерны. Для затравки юрист из Объединенного Распределительного Комитета внес предложение уплатить за высадку евреев $ 50 000; ему ответили, что эту сумму следует как минимум утроить. Но, утроив раз, почему бы не утроить опять? Начальник иммиграционной службы, который уже получил по $ 150 с головы за так и не пригодившиеся разрешения на высадку, предложил судоходной компании заплатить $ 250 000; в этом случае он обещал похлопотать об отмене указа под номером 937. Посредник, действующий якобы от лица президента, выразил мнение, что евреи могли бы быть допущены в страну за $ 1 000 000. В конце концов кубинское правительство остановилось на сумме в $ 500 за каждого еврея. В этом имелась известная логика, ибо таков был размер залога, вносимого официальными иммигрантами. Итак, 907 пассажиров «Сент-Луиса», которые уже заплатили за билеты туда и обратно, уже купили разрешения на высадку, а затем по воле властей остались с десятью немецкими марками каждый, были оценены в $ 453 500.

Когда лайнер включил двигатели, группа женщин попыталась прорваться на забортный трап; кубинские полицейские отогнали их пистолетами. Проведя в гаванском порту шесть дней, «Сент-Луис» стал туристской достопримечательностью, и за его отбытием наблюдала стотысячная толпа. Руководители судоходной компании в Гамбурге разрешили капитану плыть в любой порт, где согласятся принять его пассажиров.

Сначала он просто описывал в море все более широкие круги, надеясь, что Гавана призовет его обратно; затем взял курс на север, в сторону Майами. Поблизости от американского побережья лайнер был встречен катером береговой охраны США. Но это кажущееся гостеприимство имело обратную подоплеку: катер подошел, чтобы преградить «Сент-Луису» путь в территориальные воды. Госдепартамент уже решил, что если евреев не пустят на Кубу, им не будет предоставлено право въезда в Соединенные Штаты. Деньги играли здесь менее важную роль: главными причинами отказа были высокий уровень безработицы и опирающаяся на крепкую базу ксенофобия.

Доминиканская Республика предложила принять беженцев по установленной рыночной цене $ 500 с головы; но в точности таким же был и кубинский тариф. Корабль направил запросы в адрес Венесуэлы, Эквадора, Чили, Колумбии, Парагвая и Аргентины; но все эти страны отказались нести бремя мирового стыда в одиночку. Инспектор службы иммиграции в Майами заявил, что «Сент-Луис» не будет допущен ни в один порт США.

Отвергнутый обоими американскими континентами, лайнер продолжал идти на север. Люди на борту понимали, что близится миг, когда он повернет на восток и пустится в обратный путь к Европе. Наступило воскресенье, 4 июня; вдруг в 4.50 пополудни была принята новая радиограмма. Похоже, президент Кубы дал разрешение высадить евреев на острове Пинос, где находилась прежде штрафная колония. Капитан развернул «Сент-Луис» к югу. Пассажиры выносили на палубу багаж. Этим вечером, после обеда, на корабле вновь царила праздничная атмосфера.

На следующее утро, в трех часах хода от острова Пинос, судно получило известие: разрешение на высадку еще не подтверждено. В пассажирском комитете, который до тех пор без устали рассылал знаменитым американцам телеграммы с просьбой вмешаться, уже исчерпали весь запас потенциальных адресатов. Кто-то предложил мэра Сент-Луиса, штат Миссури, полагая, что совпадение названий может вызвать у того сочувствие. Телеграмма в Миссури была отправлена без проволочек.

Кубинский президент потребовал, чтобы за каждого беженца внесли залог в 500 долларов плюс дополнительную плату за жилье и питание, которые будут предоставлены иммигрантам-транзитникам на перевалочном острове Пинос. Американский юрист предложил (как сообщало кубинское правительство) общую сумму в $ 443 000, но с условием, что она покроет не только пассажиров «Сент-Луиса», но и 150 евреев с двух других кораблей. Кубинское правительство сочло невозможным принять это встречное предложение и взяло обратно свое собственное. Юрист из Объединенного Комитета ответил безоговорочным согласием на первоначальное требование кубинской стороны. Правительство в свою очередь выразило сожаление о том, что первое предложение уже снято и снова вступить в силу не может. «Сент-Луис» развернулся и во второй раз пошел на север.

Когда корабль начал обратный путь в Европу, появилась новая неофициальная информация: перспектива принятия беженцев якобы обсуждалась британским и французским правительствами. Отклик англичан был таков: они предпочли бы рассматривать настоящую проблему в более широком контексте общеевропейской ситуации с беженцами, однако они допускают возможность постановки вопроса о гипотетическом въезде евреев в Британию после их возвращения в Германию.

Были неподтвержденные или неосуществимые предложения от президента Гондураса, от одного американского филантропа, даже с карантинного пункта в зоне Панамского канала; корабль шел дальше. Пассажирский комитет рассылал свои призывы к политическим и религиозным деятелям по всей Европе; однако сами телеграммы теперь стали короче, так как судоходная компания лишила комитет права бесплатного

пользования телеграфом. Одна из придуманных в это время уловок заключалась в следующем: самые лучшие пловцы среди евреев должны по очереди прыгать за борт, чтобы вынуждать «Сент-Луис» менять курс на обратный и подбирать их. Это замедлит его продвижение к Европе и позволит дольше вести переговоры. Идею не поддержали.

Немецкое правительство заявило, что раз ни одна страна не соглашается принять полный корабль евреев, фатерланду придется пустить их обратно и устроить на содержание. Нетрудно было догадаться, где их устроят на содержание. Более того, если «Сент-Луис» вынужден будет освободиться от своего груза, состоящего из дегенератов и преступников, в том же самом Гамбурге, это докажет, что мнимое сочувствие мирового сообщества является чистейшим лицемерием. Презренные евреи никому не нужны, а значит, никто не имеет права критиковать фатерланд за тот прием, какой он намерен устроить этим паразитам по их возвращении.

Именно после этого группа молодых евреев попыталась захватить корабль. Они вторглись на мостик, но капитан отговорил их от дальнейших действий. Сам он предложил поджечь «Сент-Луис» поблизости от Бичи-Хед [1]— тогда стране, которая спасет их, придется взять пассажиров к себе. Этот отчаянный план едва не привели в исполнение. Наконец, когда у многих уже не оставалось надежды и Европа была совсем недалеко, бельгийское правительство заявило, что примет 200 беженцев. В последующие дни Голландия согласилась принять 194 человека, Великобритания — 350 и Франция — 250.

Покрыв в общей сложности 10 000 миль, «Сент-Луис» причалил к берегу в Антверпене, всего на 300 миль отстоящем от порта его отправления. Представители четырех стран, ответственные за трудоустройство безработных, уже собрались, чтобы решить, кто из евреев кому достанется. Большинство пассажиров имели право дальнейшего въезда в Соединенные Штаты; в американском списке эмигрантов за каждым из них был закреплен номер. Было подмечено, что представители четверки стран борются за пассажиров с номерами поменьше, так как эти беженцы должны будут покинуть их страны скорее прочих.

Пронацистская молодежная организация Антверпена распространила листки с таким текстом: «Мы тоже хотим помочь евреям. У нас для каждого припасен дармовой кусок веревки и большой гвоздь». Пассажиры сошли на берег. Доставшихся Бельгии посадили в поезд с запертыми дверьми и наглухо забитыми окнами; им было сказано, что эти меры необходимы для их же безопасности. Доставшиеся Голландии были немедленно переправлены в лагерь с колючей проволокой и сторожевыми собаками.

Беженцы с «Сент-Луиса», принятые Великобританией, высадились в Саутгемптоне 21 июня, в среду. Они могли заметить, что их скитания по морю длились ровно сорок дней и сорок ночей.

1 сентября началась вторая мировая война, и пассажиры «Сент-Луиса» разделили общую участь евреев Старого Света. Их шансы на выживание были выше или ниже в зависимости от того, в какую страну они попали. Оценки числа уцелевших различны.

8. Вверх по реке

Открытка

Обратный адрес: джунгли

Дорогая —

Только и времени на открытку — через полчаса едем — вчера вечером «Джонни Уокер», а теперь или местная огненная вода, или уж без,— помни, что я говорил по телефону, и не стриги их слишком коротко. С любовью — твой Силач Бамбула.

---

[1] Мыс на юге Англии.

Письмо 1

Дорогая моя —

Только что провел 24 часа в автобусе — вся приборная доска там была залеплена Св. Христофорами [1] или кто тут у них вместо него. По мне, лучше бы шофер был суеверен на какой-нибудь языческий лад — старое доброе христианство что-то не шибко повлияло на его манеру крутить баранку. Между виражами, когда не боишься, что тебя вот-вот вывернет кишками наружу, глядишь в окно и любуешься. Здоровенные деревья, горы и тому подобное — я купил несколько открыток. Вся наша компания сейчас малость перевозбуждена — если услышу очередной анекдотец вроде «Еду я как-то в Каракас...», честное слово, придушу кого-нибудь. Вообще-то для такой работы это нормально. Не то чтобы у меня был опыт по этой части, но, наверное, будет здорово интересно. А иначе я не играю — зря, что ли, терпел все эти уколы против бери-бери и остальных здешних прелестей.

До чего славно избавиться от людей, которые узнают тебя в лицо. Представляешь, в Каракасе меня все-таки раскололи — и очки с бородой не спасли. В аэропорту-то само собой, но и в других местах тоже. Забавная, кстати, штука. Догадайся, где они меня видели? Вовсе не в том суперпопулярном ужастике по сценарию Пинтера, который получил «Золотую ветвь»,— ничего подобного. А в той дрянной рекламке американского мыла, которую я делал для Хэла Жопандопулоса. Ее крутят здесь ДО СИХ ПОР. Дети на улице подходят и говорят: «Здрасте, мистер Рик». Как тебе это нравится? Нищета тут страшная. Правда, после Индии меня уже ничем не удивишь. Ладно, а что ты сделала со своими волосами? Надеюсь, не пошла и не натворила глупостей, только чтоб отомстить мне за мой отъезд. Я же знаю, как это бывает у вас, девиц: сначала ты скажешь, что тебе охота проверить, как ты будешь выглядеть с короткой стрижкой, потом — что Педро из салона не дает тебе отращивать их, но это только пока, а потом — что ты должна явиться на какую-нибудь там свадьбу или вроде того в наилучшем виде и нельзя же идти растрепой, а кончится тем, что ты так их и не отрастишь, и если я не буду надоедать тебе каждый день, ты решишь, что я привык и мне нравится, а если буду, скажешь, что я зануда, и мне придется молчать, и я останусь с носом. И нечестно говорить, что это из-за моей бороды, потому что тут я не виноват, просто в джунглях в каком бишь там веке никто не брился, и я знаю, что отрастил ее раньше, чем надо, но так уж я устроен, мне необходимо начинать вживаться в роль задолго до старта. Знаешь, как Дэрк говорит: он начинает с ботинок, мол, как наденет правильные ботинки, так уже знает все о персонаже, ну а для меня это лицо. Извини, что тебе приходилось любоваться этим зрелищем спозаранку каждое утро; зато не всякая ведь может похвастаться, что спит с иезуитом. Да еще с таким старым. Здесь жара — чувствую, будут проблемы со стиркой. Пока исправно глотаю свои таблетки от живота. Перекинулся с Виком парой слов насчет сценария, и он сказал — успеется, но они же всегда так говорят на этой стадии, верно? Я сказал ему то же, что тебе по телефону: не сделать ли его больше похожим на обычного человека, ведь священники нынче штука не очень-то кассовая, а Вик сказал, давай потолкуем об этом ближе к делу. С Маттом ладим неплохо — конечно, когда начнется работа, будет что-то вроде соревнования, но он вовсе не такой параноик, как я думал, немножко фамильярен, но янки есть янки. Я рассказал ему свою сказочку по типу «Ванессы» [2], а он мне свою, и мы оба уже слышали их раньше! В последний вечер в городе нализались с ним очумеловки и под конец оторвали в ресторане танец Зорбы [3]! Матт начал было бить тарелки, но нам сказали, что это у них не принято, и выпихнули оттуда. Еще и за тарелки содрали.

---

[1] Существует поверье, согласно которому образ Св. Христофора предохраняет от внезапной смерти.

[2] «Ванесса — история любви» — сентиментальный довоенный фильм.

[3] Зорба — киногерой, жизнерадостный грек.

Знаешь, как тут называют почту? Богиня связи. Наверное, полагается падать на колени перед каждым почтовым ящиком. Хотя мы уже сколько миль как ни одного не видали. Неизвестно, удастся ли мне отправить это до того, как начнутся джунгли. Если встретим дружественного туземца с расщепленным посохом, изображу улыбку-широкоэкранку и отдам ему. (Шутка.) За меня не волнуйся. С любовью

— Чарли

Письмо 2

Дорогая —

Если заглянешь в свой фотоальбом, ты увидишь, что среди снимков с той нашей тоскливой вечеринки кое-чего не хватает. Не пугайся — это я взял. Ту, где ты похожа на бурундучонка. Ты тут слегка подмокла — пару дней назад был ужасный ливень,— но пока не возражаешь, чтобы тебя регулярно целовали на ночь. И еще маленько помялась, вот здесь и здесь,— это когда мы последний раз были в гостинице. А теперь пошла бойскаутская житуха, все костры и палатки. Надеюсь, что хоть высыпаться буду. Очень тяжело работать на полную катушку после каких-нибудь двух часов сна. Ладно — как бы там ни было, а в джунгли мы забрались уже довольно далеко. Много задержек. Обычная история — вы договариваетесь, что прибудете в такой-то день, у вас столько-то людей и столько-то багажа, и он переправит вас в следующую точку, а когда вы появляетесь, он начинает объяснять вам, что все изменилось, и вы говорили пять, а не двадцать пять, а цены-то, между прочим, выросли, и так далее, и тому подобное, пока не выцыганит себе лишку. Честное слово, в таких случаях меня всегда подмывает заорать: я хочу работать! Однажды, когда дело было совсем дрянь, я не выдержал, влез туда, где очередной бандит пытался обобрать нас, уткнул свою бороду в его и заорал ему прямо в лицо: я хочу работать, черт возьми, дайте мне работать, но Вик сказал, что это бесполезно.

Позже. Матт отливал в реку, а один из радистов подошел к нему и сказал, что это он зря. Якобы здесь водятся такие крошечные рыбешки, которых привлекает тепло или еще что-то, и, когда отливаешь, они могут заплыть вверх по твоей струе. Звучит вроде бы неправдоподобно, но вспомни, к примеру, лососей. А потом она забирается прямо тебе в конец, растопыривает шипы и застревает там. Короче, полный мрак. Радист говорит, ее уже не вынешь, у тебя внутри точно раскрытый зонтик, и приходится оттяпывать в больнице все это добро. Матт не знал, верить ему или нет, но рисковать-то ведь не резон! Теперь, во всяком случае, никто больше в реку не отливает.

Позже. Мы ползли вдоль реки, дело шло к вечеру, и солнце садилось за эти огромные деревища, и рядом взлетела стайка больших птиц, аистов или вроде того — кто-то сказал, что они похожи на розовые гидропланы,— и второй ассистент вдруг остановился и завопил, это рай, бля буду, рай. А я, откровенно говоря, как-то не в своей тарелке. Извини, лапуля, я знаю, что нечестно перекладывать на тебя свои неприятности, ведь когда ты получишь письмо, у меня уже, наверно, все будет о'кей. Это Матт, дубина, меня расстроил. Надо же быть таким самовлюбленным. Можно подумать, он один умеет делать фильмы; я только и вижу, как он крутит шуры-муры со всей съемочной группой, чтобы они потом упрощали ему работу перед камерой, так что он будет выглядеть на пять лет моложе, а у меня будет блестящий нос. А у Вика, прямо скажем, хватка не та. Спроси меня, так здесь нужен хороший погоняла из старых студийных боссов, а не одухотворенный выпускник университета, который пошел в кино, потому что ему нравились облака у Антониони, а после заделался очередным поклонником «новой волны» и без верности правде жизни шагу ступить не может. Подумать только, сорок человек тащатся по джунглям, свято уверовав в необходимость вжиться в мир двух давным-давно мертвых иезуитских священников. Не знаю уж, каким

боком прилепить сюда съемочную группу, но у Вика небось и на этот счет имеется своя теория. Отправить нас пешком, а оборудование потом забрасывать по воздуху — вот уж действительно все через жопу. Он даже запретил нам пользоваться радиотелефоном, по крайней мере, до встречи с индейцами. У подружки ассистента оператора родился ребенок, и он хотел позвонить на нашу базу в Каракасе, узнать, что нового, так Вик сказал нет.

Погода дрянь. Все время дикая жара. Потею как свинья, comme un porco. До сих пор беспокоюсь насчет сценария. Наверное, роль придется кое-где переписать. Никакой надежды на стирку, разве что наткнемся на бригаду туземных прачек, поджидающих клиентов у цинковой хибарки вроде тех, что мы с тобой видели тогда в прованской деревушке, помнишь? Сегодня утром на фактории — жестяной щит с рекламой кока-колы. С ума сойти — на сотни миль вокруг сплошная глухомань, а эти долбаные кока-кольщики уже успели побывать тут раньше тебя и изгадить пейзаж. Или какой-нибудь Маттов приятель поставил, чтоб он чувствовал себя здесь как дома. Грустно это.

Целую, Чарли

Письмо 3

Эй, милашка!

Прости за скулеж в конце предыдущего письма. Сейчас все намного лучше. Во-первых, мы снова начали отливать в реку. Мы спросили радиста Рыбу (такое у него теперь прозвище), откуда он узнал про рыбешек, которые могут забраться в тебя по твоей струе, и он ответил, что видел по «ящику» выступление какого-то толстого малого, путешественника,— это было похоже на правду. Но потом мы стали расспрашивать дальше, и тут он дал маху. Сказал, что тот путешественник придумал себе специальные подштанники, чтобы спокойно отливать в реку. По словам радиста, он взял крикетный щиток, вырезал в нем дырку и присобачил туда чайное ситечко. Ну знаете ли! Если уж берешься сочинять, так сочиняй попроще, верно? Ври, да не завирайся. Короче, мы высмеяли его как следует, а потом все вместе расстегнули штаны и отлили в реку, даже кто не хотел. Только Рыба к нам не присоединился — сдрейфил, что его будут считать трепачом, и все уверял, будто говорит правду.

После этого, сама понимаешь, мы немножко воспрянули духом, но по-настоящему обрадовала нас встреча с индейцами. До сих пор на душе было как-то неспокойно: ведь если туземные бандиты по дороге сюда так и норовили нас надуть (а мы уже где-то поблизости от Мокапры — можешь заглянуть в свой школьный атлас), то с чего же индейцам держать свое слово? Матт мне потом заметил, что вся эта затея казалась ему почти безнадежной, да и я думал, что ничего не выгорит. Но они были именно там, где обещали, четыре человека,— стояли на лужайке у излучины в чем мать родила, с очень прямыми спинами, хотя росту все равно невысокого, и глядели на нас без всякого страха. И без всякого любопытства, вот что странно. Поначалу я малость струсил: кто их знает, возьмут да продырявят тебя копьем. Но они просто стояли и смотрели на нас как на этаких непрошеных чужаков, и если поразмыслить, то так ведь оно и есть. Наблюдали, как мы распаковываемся, а потом вместе с нами двинулись дальше. Помочь они нам не предложили, и мы этому слегка удивились, но они же в конце концов не шерпы [1] какие-нибудь. До остального племени и реки, которую мы ищем, примерно два дня пути. Они-то знали, куда идут, но мы никакой тропинки не различали — поразительно, как они здесь в джунглях умеют ориентироваться. Ты бы тут точно заблудилась, уж поверь мне, ангел, ты ведь без полицейского эскорта даже из Шеперд-Буша до Хаммерсмита не доберешься *. После двухчасового марша мы остановились на ночлег

---

[1] Шерпы — тибетская народность.

и поели рыбы, которую индейцы успели наловить, пока нас ждали. Очень устал, но день был замечательный. Целую.

* Шутка (не всерьез).

Позже. Целый день шли. Хорошо, что я успел до отъезда подзаняться гимнастикой. У некоторых из наших уже через полчаса ходьбы язык на плече, и неудивительно, поскольку единственное их упражнение в обычной жизни — это сунуть ноги под стол и уткнуться ряшкой в корыто. Да еще иногда махнуть рукой, чтобы принесли очередной бутылек. Матт тоже в форме после киношек, которые он делал на воле (тех, где героям смазывают перси оливковым маслом), хотя мог бы выглядеть и получше, и мы с ним на пару заставили попотеть остальную команду — говорили им, что в джунглях профсоюзный устав не действует и так далее. Отставать явно никому не хотелось! Радист Рыба, который заметно посмурнел с тех пор, как мы его раскусили, решил, что будет смешнее некуда называть индейцев всякими именами вроде Сидящего Быка или Тонто, но они, разумеется, не понимали, да и мы вели себя так, что он счел за лучшее заткнуться. Шутник фигов. А они удивительные, эти индейцы. В лесу как дома, поразительно проворные, никогда не устают, убили обезьяну на дереве — плюнули в нее из трубки. Мы ее ели на обед, правда, не все — кто побрезгливей, тот ел тушенку. А я обезьяну. По вкусу смахивает на бычий хвост, но гораздо темнее. Мясо немного жилистое, но нежное.

Вторник. Как у нас будет с почтой, одному Богу известно. Пока отдаем все Рохасу — он четвертый ассистент, из местных, и его выбрали почтальоном. Это значит, что он складывает наши письма в пластиковую сумку, чтобы их не изгрызли жуки, древесные черви и прочая нечисть. А потом отправит их с вертолетом. Так что когда ты это получишь, один Бог знает.

Скучаю по тебе (погоди минутку, покуда я испущу горестный бамбульский вопль). Сегодня должны встретиться с остальным племенем, но не очень-то к этому готовы. Провалиться мне, если кое-кто из наших не рассчитывал, что его повезут по джунглям на моторе, а через каждые несколько миль будут стоять фургончики со жратвой и девицы в цветочных гирляндах будут подносить ему гамбургеры и чипсы. Толстый Дик, звукооператор, наверно, не забыл положить в рюкзак гавайку покруче.

Между прочим, надо отдать должное Вику. Отношение числа людей к бюджету минимальное — давно такого не помню. Мы с Маттом сами выполняем свои трюки (старина Норман изловчился выколотить для меня деньгу по этому пункту). И даже съемки не каждый день — вертолет прилетает только раз в три дня, потому что Вик говорит, иначе мы не сможем сконцентрироваться или что-то там еще такое же заумное. Отчеты о работе по радиотелефону, съемки — когда вертолет. И студия со всем этим мирится. Чудеса, правда?

А вообще-то ничего чудесного тут нет, и ты прекрасно это знаешь, милая. В студии считают Вика гением и давали ему все что могли, пока страховщики не заартачились: как это, мол, суперзвезды будут вываливаться из каноэ, и тогда они поглядели в конец списка и нашли парочку ребят, которыми производство может пожертвовать *. И пусть я иногда вел себя плохо, но они решили, что из джунглей-то я вряд ли удеру, а Матт у нас хоть и с норовом (это значит, что он не желает работать, пока ему не выдадут корзину с белой пудрой), но, кажется, уже об этом забыл — да и то сказать, здесь ведь нету коммерческих агентов, которые скакали бы по деревьям, как Тарзан. И мы слушаемся Вика, потому что нам и впрямь некуда деваться и еще потому, что в глубине души, наверное, тоже считаем его гением.

* Шутка. Ну, вроде того. Уверен, что настоящего риска нет.

Пожалуй, не стоило мне вчера вечером есть обезьяну. Сегодня после этого что-то тяжеловато, да и Матт тоже долго сидел за кустиком.

Позже. То есть уже среда. Нашли племя. Самое грандиозное событие в моей жизни. Конечно, если не считать нашей с тобой встречи, детка.

Они появились внезапно — мы как раз перевалили через холм и увидели внизу реку. Затерянная река и затерянный народ на берегу — с ума сойти. Они довольно низенькие и вроде как полноваты, но на самом деле все это сплошные мускулы, и никакой одежды. И девушки симпатичные (не волнуйся, ангел,— вошек по челку). Странная вещь, но стариков, похоже, нет вовсе. А может, они их где-нибудь оставили. Хотя мы думали, что все племя держится вместе. Непонятно. А еще у меня кончилась мазь от москитов — между прочим, весьма эффективная. Здорово покусали. Вик говорит, нечего горевать — разве у отца Фермина, который путешествовал здесь черт-те когда, был с собой репеллент? Я сказал, достоверность — дело хорошее, но зрителям вряд ли понравится моя физиономия на большом экране, испещренная полуметровыми следами укусов. Вик ответил, что искусство требует жертв. Я послал Вика на хер. Тоже мне правдолюбец.

Четверг. Разбили на берегу лагерь. Вернее, два: один для белых (они теперь по большей части коричневые с красными пятнами), а другой для индейцев. Я сказал, давайте устроим один общий, чего дурака валять. Некоторые из наших были против, потому что боялись, как бы у них не украли часы (рехнуться можно!), а некоторые за, потому что удобнее будет глазеть на баб (рехнуться можно!). Вик сказал, два ему кажется лучше, потому что тогда их тоже было два, и это поможет индейцам психологически настроиться, чтобы сыграть своих предков, а я заметил, что логика логикой, а расизмом это тем не менее попахивает. Короче, спор зашел довольно далеко, и в конце концов одного из проводников отправили к индейцам, и он принес ответ, что они все равно не будут с нами объединяться,— странно, правда? К нам летит вертолет, так что я заканчиваю.

Целую, Чарли

Письмо 4

Милая Пипс,

Первая встреча! Привезли на вертолете генератор и другое оборудование. Все очень рады (кроме индейцев, которым начхать). Кошт, сигареты. А средства от москитов у них нет — можешь себе представить? И еще — Вик запретил им брать с собой газеты, и я здорово расстроился. Дети мы, что ли? Ну, прочитаю я «Индепендент» двухнедельной давности — разве это скажется на моей игре? Хотя кто его знает. Удивляюсь, как это еще Вик разрешил нам письма. Но для Чарли ничего нет. Я знаю, что просил тебя писать только в случае необходимости, но тут я чуточку покривил душой. Надеюсь, ты поняла.

Пятница. Слушай, я знаю, что ты не хочешь об этом говорить, но, по-моему, нам очень пойдет на пользу то, что мы ненадолго расстались. Во многих отношениях. Правда. Я-то, во всяком случае, уже слишком стар, чтобы закатывать скандалы. «МОИ БУЙНЫЕ ДЕНЬКИ ПОЗАДИ»,— ГОВОРИТ ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ ДЕБОШИР ЧАРЛИ. Люблю тебя.

Пиппа-лапа, я правда думаю, что это действуют индейцы (ох, извини,— суббота). Они такие открытые, такие бесхитростные. Вот они перед нами, безо всяких одежек, говорят то, что думают, делают, что им хочется, едят, когда голодны, занимаются любовью, словно это самая естественная вещь на свете *, и ложатся умирать, когда их жизнь подходит к концу. Это просто потрясающе. Я не хочу сказать, что сам бы так смог, по крайней мере, не сразу же, но я чувствую к этим людям огромную симпатию. Мне начинает казаться, что я и приехал-то сюда именно ради того, чтобы они немного научили меня жизни. Как тебе это нравится? Да нет, дорогая, все в порядке, я не приеду обратно с косточкой в носу, разве только вот голова у меня будет уже не такая костяная. Вся эта история с Линдой — я знаю, что мы договорились этого не обсуждать, но я чувствую себя здесь таким дерьмом. Потому что огор-

чал тебя. Врал тебе. Сейчас, когда у моих ног бежит затерянная в глуши река, а я учу названия птиц, которых не знаю по-английски, я просто уверен: все у нас будет нормально.

* Сам не пробовал. У Чарли на рыльце ни пушиночки.

Воскресенье. Дело не в том, что издалека все видится в розовом свете. Важно, что находишься *здесь*. Помнишь американских астронавтов, как они полетели на Луну и вернулись совсем другими, потому что увидели Землю, какая это обыкновенная старушка планета, такая маленькая и так далеко отсюда? Если не ошибаюсь, кто-то из них ударился в религию, а кто-то спятил, но суть в том, что после полета они совершенно изменились. Вот и со мной примерно то же самое, только вместо путешествия в будущее с его фантастической техникой я угодил в прошлое. На самом-то деле это не совсем так — в прошлое. Вся наша съемочная группа думает, что раз у индейцев нет радио, значит, они невероятно отсталые. А я думаю, что отсутствие радио — это признак высокого развития и настоящей зрелости. Они многому меня учат, сами того не замечая. Я начинаю видеть вещи в истинном свете. Черт, какой же я был дурак с этой Линдой.

Понедельник. Долго готовили оборудование, потом пошел дождь. Одна из девушек учит меня языку. Не волнуйся, бурундучонок: не иначе как вошек по челку *. Пытался выяснить, как они называют самих себя, ну, знаешь, название племени. Удивительная штука — У НИХ НЕТ ДЛЯ СЕБЯ НАЗВАНИЯ!!! и для своего языка тоже. Потрясающе!! Какая зрелость. Получается, что национализму просто неоткуда взяться.

* Это у нас в компании такая присказка. Если кто из наших заводит треп о сексе или засматривается на индеанок, кто-нибудь обязательно говорит: «Не иначе как вошек по челку». В Лондоне, наверно, не так смешно.

Вторник. Как приятно, что мы наконец начали. Все очень собранные. Напрочь забыли об этом идиотском профсоюзном уставе. Каждый старается как может. Уверен, что это благодаря индейцам. Все так, как и должно быть.

Среда. Полегоньку осваиваю их произношение. Тут есть такие большие белые птицы вроде аистов, называются *ткарни* (я бы написал это так). В общем, когда какая-нибудь из них взлетает или садится на воду, я говорю *ткарни,* и индейцев это страшно веселит. Они чуть не лопаются со смеху. Сами-то небось «Чарли» выговаривают не лучше.

Четверг. Ничего особенного. Весь распух от укусов. Матт отпускает дурацкие шуточки. Ей-богу, если поглядеть поближе, у него ноги кривые.

Пятница. Думаю и поражаюсь. Вот это индейское племя, абсолютно неизвестное, даже сами себя никак не называют. Пару веков назад на них натыкаются двое иезуитских миссионеров, ищущих обратную дорогу к Ориноко; по их просьбе индейцы строят плот и с помощью шестов переправляют двоих боголюдей на несколько сот миль к югу, а тем временем эти самые боголюди проповедуют им Евангелие и пытаются научить их носить «Левис». Когда путешествие уже близится к концу, плот переворачивается, миссионеры едва не тонут, а индейцы исчезают. Пропадают в джунглях, и с тех пор о них ни слуху ни духу, покуда следопыты нашего Вика не отыскивают их год назад. Теперь они помогают нам сделать то же самое, правда, двумя столетиями позже. Мне безумно любопытно, помнит ли что-нибудь это племя? Есть у них баллады о том, как двоих белых мужчин в женском платье переправляли к огромной водяной анаконде на юге, или что-нибудь подобное? Или те белые люди целиком стерлись из памяти индейцев, так же как сами они исчезли для белых людей? Да, тут есть над чем подумать. А что будет после нашего ухода? Пропадут ли они опять на два-три столетия? Или их выкосит какая-нибудь эпидемия и они исчезнут совсем, а единственным, что от них останется, будет фильм, где они играют своих собственных предков? Я не уверен, что смогу осмыслить все это.

Благословляю тебя, дочь моя, больше не греши *.

Целую, Чарли

* Шутка!!
Ни в воскресенье, ни в среду от тебя ни строчки. Надеюсь, завтра Рохас меня порадует. Я не хотел, чтобы ты не писала, неважно, что я там говорил. Это отправлю все равно.

Письмо 5

Дорогая —

Неудобней этой иезуитской одежды для путешествия по джунглям вряд ли что-нибудь придумаешь. Потею в ней как свинья, comme un porco. И как только отец Фермин умудрялся сохранять достоинство, непонятно. Пожалуй, можно сказать, что он страдал за свою религию, как я за свое искусство.

Воскресенье. Вот так номер — угадай, что случилось? Вчера вечером Толстый Дик, звукооператор, отливает в реку, и вдруг к нему подбегает один из индейцев, страшно возбужденный, что-то показывает жестами, вроде как загребает руками и тому подобное. Дик тупо смотрит на него — вообще-то он решил, что малый оскорбился за своих женщин, хотя, если бы ты их видела, ты поняла бы, насколько это смешно,— и тогда индеец бежит за Мигелем, одним из наших проводников. Опять они там размахивают руками и объясняются, после чего Дик живехонько застегивает штаны. Знаешь, что оказалось? Индеец говорил ему про маленьких рыбок, которые водятся в реке, и — сама понимаешь, что дальше!!! Маловероятно, чтобы именно этот туземец именно из этого племени смотрел британскую программу в тот же самый вечер, что и радист Рыба. И вряд ли наш Рыба так навострился понимать их язык, что ему удалось все это подстроить. Поэтому нам пришлось признать, что он был прав с самого начала. Вот уж действительно, хорошо смеется последний!

Понедельник. Любопытная штука: хотя индейцы вроде бы примерно понимают, чем мы занимаемся — с удовольствием делают дубли, и их совершенно не смущает этот направленный на них большой глаз,— сама идея игры им, видимо, непонятна. То есть они, конечно, играют своих предков и (в обмен на кое-какие микки-маусовские презенты) очень охотно взялись построить нам плот и переправить нас вверх по реке, и быть при этом снятыми на пленку. Но и только. Когда Вик говорит, а не встанете ли вы вот так и не оттолкнетесь ли шестом вот эдак, и показывает как, они просто не желают его слушать. Пропускают все мимо ушей. Мы, мол, управляемся с плотом по-своему и не собираемся делать это иначе только потому, что белый человек смотрит через свою дурацкую машинку. А еще поразительнее другое. Они искренне верят, что когда Матт и я одеваемся как иезуиты, мы и правда становимся иезуитами! Думают, что мы ушли и откуда-то появились эти два чудака в черном. Отец Фермин для них так же реален, как и Чарли, хотя мне приятно отметить, что Чарли им нравится больше. Но мы так и не смогли объяснить им, в чем тут соль. Наша команда решила, что у них просто шариков не хватает, но мне кажется, они проявляют фантастическую зрелость. Наши считают их примитивным народом, которому еще неизвестна идея игры. А мне кажется, все наоборот, и у них что-то вроде постактерской цивилизации, может быть, первой на земле. То есть игра им уже не нужна, поэтому они и забыли про нее и больше ее не понимают. Ай да я — каков умник!

Среда. Надо бы почаще писать о работе. Продвигается недурно. Сценарий не тот, что я помню, но так бывает почти всегда — его обычно успевают изменить. Матт не самый плохой напарник. Я предложил гримеру подрисовать ему парочку москитных укусов, но тот отказался наотрез. Сказал, что хочет для разнообразия побыть симпатягой. Вот

смехота — я хочу сказать, что где-то в глубине души он считает себя форменным красавцем! Наверное, не стоит пересказывать ему твои слова: помнишь, ты заметила, что его лицо будто вырезано из куска солонины.

Четверг. Случилась ужасная вещь. Просто ужасная. Один индеец упал с плота и утонул. Исчез, и все. Мы смотрели на буруны и ждали, что он вот-вот появится, но он так и не появился. Разумеется, мы сказали, что устроим перерыв на день. И знаешь что? Индейцы даже слышать об этом не хотели. Надо же какие трудолюбивые!

Пятница. Все думаю о вчерашнем происшествии. Нас оно расстроило гораздо больше, чем индейцев. То есть он ведь, наверное, был чьим-нибудь братом, или мужем, или еще кем, но никто его не оплакивал, ничего такого. Я был почти уверен, что вечером, когда мы остановимся на ночлег, будет какая-нибудь церемония — ну там сжигание одежды или уж не знаю что. Но я не угадал. Лагерь жил самой обычной жизнью, и все выглядели довольно весело. Я подумал, может, они не любили того, который свалился в воду, но это слишком натянуто. Просто, наверное, жизнь и смерть для них в каком-то смысле одно и то же. Наверное, они в отличие от нас не считают, что он «ушел»,— а если и ушел, то, по крайней мере, не насовсем. Скажем, на какую-нибудь речку получше этой. Я сунулся с этими рассуждениями к Матту, и он сказал: «Слушай, старина, а я и не знал, что ты у нас хиппи в душе». По части мудрости и одухотворенности Матт явно не из самых продвинутых. Верит, что по жизни надо шагать прямо, никого не надувать, пялить бабешек (так он говорит) и плевать на тех, кто пытается подложить тебе свинью. К этому, видимо, и сводится вся его философия. Он считает индейцев смышлеными ребятами, которые покамест еще не успели изобрести видеомагнитофон. Забавно, что такому молодцу досталась роль иезуитского священника, ведущего в джунглях религиозные диспуты. По сути, он один из тех американских актеров, чья на редкость удачная карьера — заслуга их импресарио, создателей имиджа. Я сказал ему, что неплохо бы взять шестимесячный отпуск и поработать в провинции — там хоть вспомнишь, что такое живая игра и живой зритель, и он поглядел на меня так, словно я сообщил ему о своем душевном расстройстве. Может, ты не согласна, но я считаю, что играть учишься только на сцене. Матт умеет сокращать любые лицевые мускулы на выбор и щурить глаза, зная, что все эти пигалицы, которые от него без ума, будут писаться от восторга. Но разве он владеет своим телом? Можешь называть меня старомодным, но, по-моему, очень многие американские актеры просто осваивают этакую развязную манеру игры, а дальше уже не идут. Я пробовал объяснить это Вику, но он сказал, что я молодец и Матт молодец и на экране мы вместе будем выглядеть на все сто. Хоть раз бы выслушал меня по-человечески! Вон летит почта, по крайней мере вертолет. От тебя пока ничего.

— целую, Чарли

Письмо 6

Пиппа-лапа —

Послушай, я знаю, что мы договорились этого не обсуждать, и, наверное, это нечестно с моей стороны, я ведь не знаю, в каком настроении ты будешь читать письмо, но почему бы нам все-таки не уехать за город и не завести детей? Нет, я не упал в речку, ничего такого. Ты себе не представляешь, как здорово на меня подействовало это путешествие. Я бросил пить кофе после ленча и почти совсем не курю. Индейцы же не курят, говорю я себе. Индейцам не надо поддерживать могучую фирму «Филип Моррис инкорпорейтед» или «Ричмонд», Виргиния. Когда их припрет, они могут сжевать один-другой маленький зеленый листочек — это, надо полагать, их заменитель сигаретки, которую ты перехватываешь, когда режиссер ведет себя как премированный осел. Так почему бы

и мне не завязать? И еще эта история с Линдой. Я знаю, ты, наверное, не хочешь больше слышать ее имя, и если так, я тебе обещаю никогда его не упоминать, но ведь все это Лондон виноват, верно? Мы-то сами тут ни при чем. Это все наш гнусный Лондон с его грязными улицами, копотью и пойлом. В городе нельзя жить настоящей жизнью, правда? И потом, я думаю, города заставляют людей врать друг другу. Как ты считаешь? Индейцы никогда не врут, так же как не умеют быть актерами. Никакого притворства. И я вовсе не думаю, что это говорит об их примитивности, я думаю, они очень высокоразвиты. И я уверен, что это благодаря жизни в джунглях, а не в городе. Они все время общаются с природой, а чего природа не умеет делать, так это врать. Она просто идет напролом и делает свое дело, как сказал бы Матт. Шагает прямо и никого не надувает. Иногда она может быть не слишком приятной, но врать не станет. Поэтому я и думаю, что уехать и завести детей — самое лучшее. И когда я говорю «за город», я имею в виду отнюдь не поселок рядом с автострадой, где полным-полно людей вроде нас и все покупают у местного виноторговца «австралийское шардонне», а провинциальный выговор можно услышать, только когда включишь в ванной «Арчеров» [1]. Я имею в виду настоящую провинцию, какой-нибудь глухой уголок — в Уэльсе, скажем, или в Йоркшире.

Воскресенье. Насчет детей. Это любопытным образом связано с индейцами. Помнишь, я говорил, что они все фантастически здоровые, а стариков почему-то нет, хотя мы думали, что все племя путешествует вместе? Так вот, я наконец попросил Мигеля выяснить у них, в чем тут секрет, и оказалось, что среди них нет стариков по той причине, что мало кому удается прожить больше 35. Значит, я ошибался, когда считал их фантастически здоровыми и живой рекламой джунглей. На самом деле только фантастически здоровые и могут здесь существовать. Такой вот неожиданный оборот. Но что я, собственно, хотел сказать: выходит, почти никто из этого племени не доживет до моих лет — аж не по себе становится, как подумаешь. И если мы уедем в провинцию, это не значит, что я буду каждый вечер являться домой измотанный и требовать, чтобы меня обхаживали, а вместо этого получать на руки орущего дитятю. Если брать одни большие роли и не заниматься всякой халтурой на ТВ, я стану уезжать только на съемки, а уж когда буду дома, так по-настоящему. Ведь правильно? И я бы сделал ему манеж, и купил бы ему такой большой деревянный ковчег со всеми зверями, и раздобыл бы сумку, в которой носят детей,— индейцы пользуются такими много веков. А потом пошел бы побродить с ним по пустоши, а ты бы отдохнула от нас обоих, как ты на это смотришь? Между прочим, я правда жалею, что ударил Гэвина.

Понедельник. Я немножко расстроен, лап. Поругался с Виком из-за роли — так нелепо все вышло! Какие-то несчастные шесть слов, но я *знаю,* что Фермин не мог их сказать. Понимаешь, я живу в его шкуре уже добрых три недели, и не Вику объяснять мне, как говорить. Он сказал, ладно, перепиши их, и я затормозил работу на целый час, а под конец он сказал мне, что я его не убедил. Мы все равно стали делать по-моему, потому что я уперся, и знаешь что? Этого болвана Матта я, видите ли, тоже не убедил. Я сказал, что он не может отличить кусок диалога от куска ветчины, и вообще у него морда из солонины, и он пообещал смазать мне по физиономии. Провались они все.

Вторник. Никак не успокоюсь.

Среда. Поразительная вещь. Я уже говорил тебе, что индейцы не понимают смысла игры. Так вот, в последние два дня отношения между Фермином и Антонио все больше портились (что нетрудно было изображать, поскольку Чарли с Маттом нынче тоже не питают друг к другу особой симпатии), и индейцы явно стали принимать происходящее близко к сердцу — они следили за нами со своего конца плота так, будто

---

[1] «Арчеры» — радиосериал о жизни деревенской семьи.

сейчас решается их судьба, и, между прочим, кое-какой резон в этом был, потому что мы спорили, имеют ли они право креститься, а значит, спасти свои души, или нет. Они как-то чувствовали все это, что ли. А сегодня мы снимали сцену, где Матт якобы случайно задевает меня веслом. Конечно, оно было из бальзового дерева, хотя индейцы и не могли этого знать, но я добросовестно упал как подкошенный, а Матт притворился, что он не нарочно. Индейцам полагалось смотреть на все так, словно эти белые люди в юбках просто идиотничают. Вик их заранее проинструктировал. Но они повели себя по-другому. Гурьбой бросились ко мне, и стали гладить меня по лицу, и смачивать мне лоб, и вроде бы даже горестно причитать, а потом трое из них пошли на Матта с самым угрожающим видом. Невероятно! И они действительно могли бы избить его, если бы он не сообразил очень вовремя скинуть с себя балахон и превратиться обратно в Матта,— тут они успокоились. Поразительно! Это был всего-навсего старина Матт, а тот мерзкий священник Антонио ушел. Потом я медленно поднялся на ноги, и они все счастливо засмеялись, точно я едва избежал смерти. Нам повезло, что Вик все время снимал, и мы ничего не потеряли. Теперь он думает вставить эту сцену в фильм — и очень хорошо, потому что раз индейцы так реагируют на нас с Маттом, то и зрители могут повести себя соответственно.

Четверг. Вик говорит, что вчерашняя стычка оказалась плохо отснятой. Наверняка этот чертов Матт к нему подкатывал — понял небось, что камера засекла, как он обосрался. Я сказал, подождем, поглядим, какой выйдет позитив, и Вик согласился, но дело, чувствую, дохлое. Вот они, правдолюбцы: жизнь как она есть нужна им только на словах.

Пятница. Я не считаю сценарий идеальным, и вообще, далеко не все спланировано как надо, но есть у этого фильма один плюс: он не пустопорожний. Не боится спорных вопросов. Обычно фильмы бывают вообще ни о чем, я убеждаюсь в этом все больше и больше. «Два попа бредут по джунглям» (как время от времени, на мотив «Красных парусов на закате», напевает наш радист Рыба) — да, конечно, но он о конфликте того рода, какой знаком людям всех эпох и всех цивилизаций. Дисциплина против попустительства. Приверженность букве закона против приверженности его духу. Цели и средства. Совершение хороших поступков из плохих побуждений против совершения плохих поступков из хороших побуждений. Как великие идеи вроде Церкви увязают в бюрократии. Как христианство, которое вначале ратовало за всеобщий мир, подобно другим религиям кончает насилием. То же самое можно сказать и о коммунизме, о любой великой идее. Я думаю, этот фильм действительно станет для Восточной Европы подрывным, и не только потому, что он о священниках. Возьмут ли его там в прокат — это другой вопрос. Я сказал Рыбе, что наш фильм мог бы кое-чему научить и профсоюзы, если они захотят учиться, и он сказал, что поразмыслит над этим. Пиппалапа, подумай насчет ребенка, ладно?

Твой Чарли

P. S. Сегодня был любопытный случай. Так, мелочь, но индейцы меня озадачили.
P. P. S. Ума не приложу, отчего ты не пишешь.

Письмо 7

Милая Пиппа —

Сволочные джунгли. Не дают никакого передыху. Тучи москитов и всякой кусачей гнуси и жужжащей сволочи, и первую пару недель думаешь, как тут замечательно, ну и хрен с ним, что покусают, всех кусают, кроме Матта с его персональным репеллентом производства НАСА и противомоскитной мордой из солонины. Но они все вьются, и вьются, и вьются, черт бы их драл. Через какое-то время начинаешь мечтать, чтобы джунгли устроили себе выходной. Хочется крикнуть: эй,

джунгли, нынче воскресенье, давайте завязывайте, а они гудят себе и гудят все 24 часа в сутки. Впрочем, не знаю. Может, это не джунгли виноваты, а фильм. Напряжение растет на глазах. Мы с Маттом грыземся все больше, что по сценарию, что сами по себе. Фильм переливается через край, ни на минуту не выпускает нас из-под своего контроля. Даже индейцы, кажется, не уверены, что я не всегда Фермин, а Матт не всегда Антонио. Похоже, они думают, что на самом-то деле я Фермин и только иногда прикидываюсь белым человеком по имени Чарли. В общем, все шиворот-навыворот.

Воскресенье. Про тот случай с индейцами. Честно сказать, я порядком разозлился, когда узнал, но теперь уже могу смотреть на это с их точки зрения. Я ведь писал тебе, что учу их язык,— она действительно очень миленькая и ходит в чем мама родила, но я уже говорил, что тебе не о чем беспокоиться, вошек по челку, помимо всего прочего, конечно. Обнаружилось, что половина слов, которым она меня учила, неправильные. То есть они настоящие, только смысл у них другой. Первое слово, которое я более или менее запомнил, было *ткарни* — она сказала, что так называются птицы, похожие на белых аистов, их тут довольно много. И когда какая-нибудь из них, хлопая крыльями, пролетала мимо, я кричал *ткарни*, и индейцы смеялись. Оказывается — я узнал это не через Мигеля, а от второго нашего гида, который почти всю дорогу молчит,— словом *ткарни* индейцы называют сама догадайся что (вообще-то у них для этого много имен). Ну, то самое, куда заплывают мелкие рыбешки из реки, если будешь неосторожен. И так обстоит дело с половиной слов, которым научила меня эта озорница. Всего я выучил, наверное, слов 60, и половина из них липовые — или нецензурщина, или означают что-нибудь совсем другое. Сама понимаешь, что в первый момент мне это здорово не понравилось, но потом я подумал: а у индейцев-то, между прочим, колоссальное чувство юмора. Ну и решил показать им, что умею ценить шутки, и когда над нами опять пролетел большой аист, я прикинулся, будто не знаю, как он называется, и спросил у своей девицы. «*Ткарни*»,— сказала она с невозмутимым видом. Я притворился, что очень удивлен, и стал мотать головой, и сказал, нет, это не может быть *ткарни*, потому что *ткарни*-то вон где (нет, я его не вынул, ничего такого — просто показал туда). И она поняла, что отхулиганилась, и захихикала, да и я тоже — пусть знают, что я не держу на них зла.

Понедельник. Конец не за горами. Осталась только одна большая сцена. А прежде два дня отдыха. По-моему, Вик зря так решил, но ему же надо с профсоюзами ладить. Говорит, не мешало бы перед важной съемкой перезарядить аккумуляторы. А я думаю, если ты на подъеме, то уж пили вперед без оглядки. Ну понятно, золотко, это я не всерьез, так я говорю Матту, чтобы его позлить, хотя обычно у меня ничего не выходит — он ведь страшно толстокожий и принимает все за чистую монету, поэтому я подкалываю его, пожалуй, только ради собственного удовольствия. «Эй, Матт,— говорю я ему,— мы нынче на подъеме, так что давай-ка пилить вперед без оглядки», и он кивает, точно пророк в «Десяти заповедях» [1]. В общем, по плану сегодня и завтра отдыхаем, потом два дня репетируем сцену с переворачиванием плота и в пятницу — большая съемка. А может, Вик и прав, нам нужно быть в самой лучшей форме. Надо ведь не только верно сыграть, а еще и со всем остальным справиться. Для безопасности на нас будут веревки, как и положено по контракту. Прошу тебя, милая, не волнуйся, никакого серьезного риска нет. Мы нагоним метраж на том участке реки, где есть места с быстрым течением, и плот якобы перевернется там, но это только в фильме. У нас тут имеется парочка машин, которые месят воду, и она будет пениться и разбиваться о скалы, похожие на настоящие,— их поставят на якорь, чтобы не унесло. Так что бояться нечего. Честно говоря, мне не терпится начать, хотя мы, конечно, еще малость поспори-

[1] «Десять заповедей» — экранизация библейских историй о Моисее.

ли насчет этой сцены — всё старые споры. Там происходит вот что: оба священника падают в воду, один из них ударяется головой о скалу, а другой его спасает. Вопрос в том, кто кого? Понимаешь, всю дорогу вверх по реке эти два человека борются не на жизнь, а на смерть, у них непримиримые религиозные разногласия, один очень жесткий и властный (я), другой очень мягкий и снисходительный к индейцам (Матт). По-моему, было бы гораздо эффектней, если бы тот, кто кажется твердолобым упрямцем и вроде как может дать другому спокойно утонуть, на самом деле спас его, пусть даже считая при этом, что его мысли насчет индейцев и намерение окрестить их, когда они доберутся до Ориноко, кощунственны. Однако придется делать наоборот — *Матт* будет спасать *меня*. Вик говорит, что так оно было в действительности, а Матт — что так написано в сценарии, который он читал в Пижонвилле, Северная Дакота, или где там его родная крыша, и ни на что другое он не согласен. «Не родился еще тот парень, который спасет Матта Смитона»,— сказал он. Так и сказал, можешь себе представить? «Не родился еще тот парень, который спасет Матта Смитона». Я сказал, что припомню это, если мне случится застать его висящим вниз головой на одном пальце ноги на тросе лыжного подъемника. В общем, все будет идти, как написано в сценарии.

Четверг. Опять выходной.

Позже

Позже

Позже

— целую, Чарли

Письмо 8

Господи Боже, Пиппа. Господи Боже. Я просто не мог продолжать то последнее письмо. Трепаться, как идут съемки. Не мог после того, что случилось. Но со мной все в порядке. Честное слово, в порядке.

Позже. Бедняга Матт. Черт, он был славный малый. Конечно, мог влезть в печенки, но на такой работе и Святой Франциск Ассизский осточертел бы. Вечно глазел на этих идиотских птиц в джунглях, вместо того чтобы читать роль. Извини, милая. Это бестактно, знаю. Просто не могу подобрать слов, чтобы рассказать. Убит совершенно. Бедняга Матт. Пытаюсь представить, откуда ты обо всем узнаешь и что подумаешь.

Какие же сволочи эти индейцы. Мне кажется, я умру. Еле держу ручку. Потею как свинья, comme un porco. Боже мой, я люблю тебя, Пиппа, только за это я и держусь.

Ч.

Письмо 9

Я достаю твою карточку, где ты похожа на бурундучонка, и целую ее. Все остальное неважно, только ты и я и наши будущие дети. Давай сделаем их, Пиппа. Твоя матушка будет рада, верно? Я спросил Рыбу, есть у тебя дети, он сказал да, я их берегу как зеницу ока. И я обнял его за плечи, крепко, как следует. Ведь только благодаря этому и продолжается жизнь, разве не так?

Правду говорят: отправляйся в джунгли и поймешь, кто есть кто. Вик — нытик, я и раньше это знал. Ноет, что пленка подмокла. Я сказал, плюнь, ты же всегда продашь в газету свои мемуары. Он посмотрел на меня волком.

Зачем они это сделали? Зачем?

целую, Ч

P. S. Хорошо бы ты написала. Сейчас было бы кстати.

Письмо 10

Ведь это мог бы быть я. Вместо него. Кто решает такие вещи? Или вообще никто? Эй, там, наверху, есть кто-нибудь дома?

Я думал об этом весь день. Спросил у Рыбы, есть ли у него дети, и он сказал да, я берегу их как зеницу ока, и мы с ним обнялись прямо тут же, у всех на глазах, и с тех пор я думаю, что бы это значило. Зеница ока. Что это значит? Говоришь вот так что-нибудь, и все понимают, что это значит, а как задумаешься, непонятно. И с фильмом нашим так же, и со всей этой экспедицией. Работаешь, и тебе кажется, будто ты твердо знаешь, что и как, а потом остановишься, подумаешь и не видишь никакого смысла — такое впечатление, что смысл, может, только потому и был, что все притворялись, будто он есть. Есть в этом какой-нибудь смысл? По-моему, это как индейцы и те фальшивые скалы, у которых пенилась вода. Они все смотрели на них и смотрели и, чем дольше смотрели, тем меньше понимали. Сначала знали, что это скалы, а кончили тем, что уже ничего не знали. По лицам видно было.

Сейчас я отдам это Рохасу. Недавно он проходил мимо и сказал, ты сегодня пишешь уже третье письмо, вложил бы их в один конверт да сэкономил на марках. Я встал и, честное слово, точно превратился на минуту в Фермина и говорю: «Слушай, ты, Богиня связи, я буду писать в день столько писем, сколько мне приспичит, а ты знай отправляй». То есть Фермин, конечно, не сказал бы приспичит, но манера была его. Этакая упертость и недовольство всем, что в этом мире не дотягивает до совершенства. Ладно, пойду-ка я лучше извинюсь, а то он их все выкинет.

— целую, Чарли

Письмо 11

Пока ждем вертолета

Пиппа-лапа —

Когда мы отсюда выберемся, я сделаю вот что. Дерну самый большой стакан виски, какой только нальют в этом долбаном Каракасе. Приму самую большую ванну, какую только нальют в этом долбаном Каракасе. Буду говорить с тобой по телефону, пока не наговорюсь вволю. Я уже слышу в трубке твой голос, точно вышел из дому за сигаретами и звоню сказать, что задержался. Потом пойду в Британское посольство и возьму номер «Дейли телеграф», и мне плевать, если он будет трехнедельной давности, и прочту там даже то, на что обычно не обращаю внимания, вроде заметок о природе. Пусть мне скажут, что городские ласточки начали вить гнезда или что, если вам повезет, вы можете увидеть барсука. Я хочу слышать про самые обыкновенные вещи, которые происходят все время. Я посмотрю результаты крикетных матчей и почувствую себя этаким старым болельщиком, приехавшим из Средней Англии в полосатом блейзере и с бутылкой джина в кулаке. А может, прочту еще колонку, где поздравляют с новорожденными. Эмму и Николаса, с рождением дочери Сюзи, сестры Александра и Билла. Славные мои Александр и Билл, скажу я, теперь у вас есть малышка Сюзи, она будет играть с вами. Вы должны быть с ней ласковы, должны защищать ее всю жизнь, она ваша маленькая сестренка, вы должны беречь ее как зеницу ока. Господи, я плачу, Пиппа, слезы так и льются у меня по щекам.

целую, Ч

Письмо 12

Каракас, 21 июля

Пиппа-лапа, я не могу в это поверить, честное слово, не могу. Мы наконец возвращаемся к тому, что зовется у нас цивилизацией (смешные мы люди!), наконец попадаем туда, откуда можно звонить через Атлан-

тику, я наконец отстаиваю очередь, пробиваюсь по телефону домой, а тебя нет. «Номер не отвечает, сэр». Пробую еще раз. «Опять не отвечает, сэр». Еще раз. «Хоросо, сэр, номер опять не отвечает». Где же ты? Мне больше никто не нужен. Я не хочу звонить твоей матушке и говорить, вы знаете, у нас таки были известные неприятности, но теперь мы вернулись в Каракас, а Матт погиб, ну да, вы ведь слыхали об этом по новостям, но я не хочу говорить об этом. Я хочу говорить только с тобой, золотко, и не могу.

Звоню еще.

Звоню еще.

Ну ладно, тогда я беру бутылку виски, которая стоит около 50 фунтов, и, если студия мне ее не оплатит, я больше никогда не буду на них работать, и толстую стопку гладкой почтовой бумаги, которую они держат у себя в гостинице. Остальные отправились в город. А я не смог. Я помню наш последний вечер здесь — в этой же гостинице, все то же самое — и как мы с Маттом вместе пошли пить очумеловку и кончили тем, что сплясали под Зорбу, и нас вытолкали оттуда, а Матт показывал на меня и говорил официантам, эй, да вы что, не узнаете мистера Рика с Зеленого Полуострова, а они не узнали и взяли с нас за тарелки.

Мы отдыхали два дня, и еще три оставалось работать. Первое утро провели на большой воде — должен тебе сказать, что риск постарались сделать минимальным. Вик со съемочной группой был на берегу, а мы с Маттом на плоту вместе с дюжиной индейцев — они гребли и отталкивались шестами. Ради пущей безопасности плот был привязан длинной веревкой к дереву на берегу, так что, если бы индейцы с ним не совладали, он не уплыл бы. На нас с Маттом тоже были веревки — все по контракту. Утренняя репетиция прошла как по маслу, а после обеда работали на мелководье, с той самой взбивалкой. Я считал, что репетировать на следующий день уже ни к чему, но Вик настаивал. Поэтому на второе утро пошли опять, теперь уже с радиомикрофонами. Вик еще не решил, со звуком будем работать или без. Привязали к дереву веревку, группа расположилась на берегу, а мы приготовились сделать перед камерой три-четыре рейда: в этой сцене мы с Маттом так заняты спором, можно ли крестить индейцев, что не видим опасности у себя за спиной, а зрители ее видят. О том, что случилось после, я думал миллион раз и все-таки не знаю ответа. Был третий прогон. Нам дали с берега отмашку, мы начали спорить и потом заметили что-то неладное. Вместо дюжины индейцев на плоту были только двое: они стояли с шестами у задней кромки плота. Наверное, мы оба подумали, что Вику взбрело в голову попробовать такой вариант, когда мы с Маттом уже были поглощены ссорой, и это показывает, что он профи до мозга костей — даже виду, хитрец, не подал. Во всяком случае, так подумал я. Потом, в конце сцены, мы заметили, что индейцы не делают того, что должны делать, то есть не упираются шестами в дно, чтобы остановить плот. Они толкали его вперед, и Матт крикнул: «Эй, ребята, хорош», но они не отреагировали, и я еще, помню, подумал, может, они хотят проверить веревку, удержит ли она, и мы с Маттом одновременно повернулись и увидели, куда правят индейцы — прямо на скалы, в бурлящую воду,— и я понял, что веревка лопнула или отвязалась. Мы закричали, но это, конечно, было бесполезно, слишком сильно шумела река, да и не понимают они по-нашему, а потом мы очутились в воде. Когда плот перевернуло, я думал о тебе, Пиппа, честное слово. Увидел твое лицо и пытался думать о тебе. Потом хотел было плыть, но мешало течение и эта блядская ряса, а потом меня крепко шарахнуло по ребрам, точно ногой ударили, и я уж думал, что мне хана, наверное, налетел на скалу,— подумал и сразу ослаб, вроде как отключился. А на самом деле это резко натянулась веревка, которой я был привязан. Больше ничего не помню до того момента, как очухался на берегу: из меня льется вода, стою и блюю в грязь, а наш звуковик колотит меня

по спине и тычет кулаком в живот. Моя веревка выдержала, Маттова нет. Вот как оно получилось — мне просто повезло.

Все были в шоке, сама понимаешь. Некоторые из наших пытались пройти вдоль берега — якобы люди иногда цепляются за нависшие над водой ветки, и их находят на целую милю ниже по течению. Но все без толку. Такие вещи бывают разве что в кино. Матт погиб, и все равно они не ушли дальше чем на 20 или 30 ярдов от того места — в джунглях ведь нет этих тропинок вдоль реки, чтобы таскать лодки на буксире. «Почему их было только двое? — все повторял Вик.— Почему только двое?» Стали искать индейцев, которые помогали группе разворачиваться, но их нигде не было. Тогда мы вернулись в лагерь и нашли там одного-единственного человека, переводчика Мигеля, который сказал, что долго беседовал с каким-то индейцем, а когда обернулся, всех остальных уже след простыл.

Потом мы пошли смотреть, что стряслось с привязанной к дереву веревкой, и ничего там не обнаружили, она просто исчезла. И это было очень и очень странно, потому что ее завязывали одним из тех хитрых узлов, которые никак не могут развязаться сами,— контракт был соблюден во всех мелочах. Чертовски подозрительно. Потом мы снова поговорили с Мигелем, и выяснилось, что индеец затеял с ним ту долгую беседу еще до того, как мы перевернулись. Видно, они знали, что произойдет. И прежде чем удрать, забрали из лагеря все подчистую: одежду, продукты, оборудование. Зачем им одежда? Они же ее не носят.

Мы чуть не подохли, пока дождались вертолета. Индейцы утащили радиотелефоны (они бы и генератор сперли, если б у них был подъемный кран), а в Каракасе решили, что мы их опять кокнули, и прилетели как обычно. Два дня тянулись, как два месяца. По-моему, я все-таки схватил какую-то гнусную лихорадку, несмотря на уколы. Говорят, когда меня достали из реки и выкачали из моего брюха воду, первое, что я сказал после того, как очухался, было: «Не иначе как вошек по челку», и на всю группу напал истерический смех. Сам-то я не помню, но на Чарли это похоже. Я уж думал, что подцепил какую-нибудь местную бери-бери. Короче, полный мрак.

Зачем они это сделали? Вот чего я никак не могу понять. Зачем? Большинство моих спутников считает, что с таких примитивных людей и спрашивать нечего — это, мол, тебе не белые, туземцу доверять нельзя и тому подобное. Чепуха! Я никогда не считал их примитивными, они никогда не врали (если забыть о тех уроках языка) и, клянусь тебе, гораздо больше заслуживали доверия, чем кое-кто из наших белых работничков. Перво-наперво я подумал: наверняка мы их чем-нибудь обидели, сами того не замечая, например, жестоко оскорбили их богов. Но я не мог вспомнить ничего такого.

Я пытаюсь понять, есть тут какая-нибудь связь с тем, что произошло два века назад, или нет. Может быть, это просто случайное совпадение. Так уж сложилось, что потомки тех индейцев, у которых перевернулся плот, плыли на другом плоту, и он тоже перевернулся примерно на том же месте. Может, этим индейцам просто надоело тащить иезуитов вверх по реке, и они вдруг слегка тронулись и озверели и вывалили их за борт. Маловероятно? Наверное, между этими двумя событиями все-таки *есть* связь. Я почти уверен. По-моему, индейцы — наши индейцы — знали, что случилось с отцом Фермином и отцом Антонио в ту далекую пору. Такие легенды могут рассказывать женщины — например, когда толкут корни маниоки или делают еще что-нибудь в этом роде. Возможно, те двое иезуитов были в индейской истории очень важными фигурами. Представь себе, как этот рассказ передается из поколения в поколение, как его усложняют и приукрашивают. А потом появились мы, еще одна компания белых, среди которых тоже есть два человека в длинных черных юбках, которые тоже хотят добраться по реке до Ориноко. Понятно, имеются и отличия: эти привезли с собой одноглазую машинку и так далее, но по сути-то все одинаково, и мы даже сказали им, что конец будет тот же самый — плот перевернется. Ясное дело, тут трудно

проводить параллели, но вообрази себе, что ты живешь в Гастингсе в 2066 году и вышла погулять на бережок, а к тебе плывут галеры, из них высыпают люди в кольчугах и остроконечных шлемах и говорят, что они прибыли на битву при Гастингсе, и не потревожишь ли ты короля Гарольда, чтобы они могли вышибить ему мозги, а за исполнение этой роли предлагают тебе толстенный бумажник с деньгами. Ведь сначала ты не прочь будешь согласиться, верно? И только потом задумаешься, для чего это нужно *им*. И тебе может прийти в голову — это моя идея, Вик ее не поддерживает,— что они (то есть мы) вернулись, чтобы повторить некую церемонию, страшно важную для их племени. Индейцы могли увидеть тут что-то религиозное, вроде празднования 500-летия собора или чего-нибудь в этом духе.

Не исключена и другая возможность — что индейцы действительно следили за спором между иезуитами и понимали его намного лучше, чем нам казалось. Они — то есть Матт и я — спорили о том, крестить ли индейцев, и к моменту аварии весы как будто начали склоняться на мою сторону. В конце концов я был выше саном, и я возражал против крещения — по крайней мере, пока индейцы не соберутся с духом и не откажутся от кое-каких мерзопакостных привычек. А индейцы, может быть, поняли это и перевернули плот, думая убить отца Фермина (меня!), чтобы оставшийся в живых отец Антонио окрестил их. Как тебе моя догадка? А дальше есть два варианта: либо они увидели, что Фермин уцелел, и сбежали с испугу, либо обнаружили, что погиб Антонио, а значит, все пошло наперекосяк и им тоже оставалось только сбежать.

Так ли это? В одном я уверен: все тут гораздо сложнее, чем будет выглядеть в газетах. Не удивлюсь, если Голливуд отправит сюда самолет, чтобы скинуть на индейцев парочку бомб и отомстить таким образом за смерть Матта. Или будут переснимать фильм — да-да, вот это скорее всего. Кто получит роль Матта? Какую карьеру можно сделать! Раз — и в дамки.

Похоже, застряну здесь еще дней на шесть-семь. Долбаная студия с ее долбаными юристами. Кажется, фильм должен быть каким-то манером списан со счетов, а на это нужно время.

Вручаю это письмо Богине связи — оно будет отправлено срочной почтой. Приятно иметь дело с обычным почтальоном.

Крепко целую, Чарли

Письмо 13

Прошу тебя, перестань, я больше не выдержу. Только два дня, как выбрался из этих сволочных джунглей, чуть не подох там, а ты вешаешь трубку. Слушай, я же ведь объяснял тебе, она приезжала сюда работать, это случайное совпадение. Я знаю, что вел себя как свинья, comme un porco, чуток покривил душой, но, пожалуйста, прочти все мои письма из джунглей и ты увидишь, что я теперь другой человек. Между мной и Линдой все кончено, я говорил тебе это еще перед отъездом. Согласись, не могу же я запретить ей работать, где она хочет. Да, я знал, что она будет в Каракасе, да, я не сказал тебе об этом и да, я поступил плохо, но разве лучше было бы, если б я сказал? Как ты вообще умудрилась узнать? А сейчас ее здесь нет — по-моему, хотя меня это мало волнует, она где-то в Вест-Индии. Ради Бога, Пиппа, не зачеркивай ты пять лет.

— твой Чарли

P. S. Посылаю срочной почтой.
P. P. S. Каракас грязная дыра. Торчу здесь как минимум до 4-го.
P. P. P. S. Люблю тебя.

Телеграмма

ПОЖАЛУЙСТА ПОЗВОНИ ЧАРЛИ ГОСТИНИЦА ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ СРОЧНО ТЧК ЦЕЛУЮ ЧАРЛИ ТЧК

Телеграмма

РАДИ БОГА ПОЗВОНИ ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ЕСТЬ СРОЧНЫЙ РАЗГОВОР ТЧК ЦЕЛУЮ ЧАРЛИ

Телеграмма

ПОЗВОНЮ ПОЛДЕНЬ ВАШЕМУ ВРЕМЕНИ ЧЕТВЕРГ НАДО МНОГОЕ ОБСУДИТЬ ТЧК ЧАРЛИ

Телеграмма

ЧЕРТ ТЕБЯ ПОБЕРИ СНИМИ ТРУБКУ ИЛИ ПОЗВОНИ САМА ПИППА ТЧК ЧАРЛИ

Письмо 14

Дорогая Пиппа —

Поскольку ты не хочешь отвечать на телеграммы по причинам, которые лучше известны тебе самой, я решил сообщить тебе письмом, что не приеду домой сразу же. Мне нужно время и место не только для того, чтобы немного забыть о тех страшных событиях, которые мне пришлось пережить и которые тебя, кажется, совсем не интересуют, но и для того, чтобы обдумать наши с тобой отношения. Наверное, не стоит повторять, что я люблю тебя по-прежнему, так как это почему-то только раздражает тебя по неизвестным мне причинам, которые ты не желаешь ни объяснять, ни комментировать. Я позвоню или приеду, когда во всем разберусь.

Чарли

P. S. Посылаю срочной почтой.
P. P. S. Если тут хоть как-нибудь замешан этот ублюдок Гэвин, я ему, сволочи, собственными руками шею сверну. Надо было еще тогда вмазать ему покрепче. Между прочим, он никогда не выберется из десятых ролей. Кишка тонка. И бездарь полная.

Письмо 15

Санта-Лючия

Числа не помню и хер с ним

Ты сука знать тебя не хочу больше слышишь, уйди ты из моей жизни **УЙДИ**. Всегда всем засирала мозги, это ты хорошо умеешь, мозги засирать. Говорили мне друзья, она тебе устроит сладкую жизнь, не вздумай пускать ее к себе, а я идиот не послушался. Черт возьми, если ты думаешь, что я эгоист, погляди в зеркало, детка. Конечно, я пьяный, а как по-твоему, только так и можно вышибить тебя из башки. Пойду пить это говно очумеловку. Гад буду, истина в вине.

Дебошир Чарли

P. S. Шлю срочной почтой.

Телеграмма

ВОЗВРАЩАЮСЬ ЛОНДОН ПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНАДЦАТОГО ТЧК БУДЬ ДОБРА ОСВОБОДИ КВАРТИРУ СЕБЯ И ВЕЩЕЙ ЗАРАНЕЕ ТЧК ОСТАВЬ КЛЮЧ ТЧК ВСЕ ТЧК

Интермедия

Я хочу кое-что рассказать вам о ней. На дворе та срединная часть ночи, когда занавески не пропускают света, уличную тишину нарушает лишь ворчанье какого-нибудь бредущего домой Ромео, а птицы еще не начали своей повседневной, но жизнерадостной суеты. Она лежит на боку, отвернувшись от меня. Я не вижу ее в темноте, но по тихому и мерному ее дыханию я мог бы очертить вам контуры ее тела. Когда она счастлива, она может спать в одной позе часами. Я подолгу наблюдал за ней в эту пору глубинных ночных течений и твердо знаю, что она даже не шевелится. Конечно, это можно списать на хорошее пищеварение и спокойные сны; но мне это кажется признаком счастья.

Наши ночи не похожи друг на друга. Она засыпает, словно подхваченная ласковой, теплой приливной волной, которая доносит ее, безмятежную, до самого утра. Я засыпаю менее охотно, борясь с прибоем, не желая расставаться с удачным днем или все еще сетуя на свое сегодняшнее невезенье. Разные потоки струятся сквозь наше дремлющее сознание. Меня часто сбрасывает с постели страх времени и смерти, панический ужас перед надвигающейся пустотой; просыпаясь — ноги на полу, руки сжимают виски,— я выкрикиваю бессмысленное (и удручающе невыразительное) «нет, нет, *нет*». Тогда ей приходится гладить меня, успокаивая, точно пса, с лаем выскочившего из грязной речки.

Бывает, что и ее сон прерывается вскриком, и тогда наступает мой черед бросаться на помощь. Я мгновенно выныриваю из забытья, и она сонными губами шепчет мне, что́ ее напугало. «*Очень* большой жук»,— поясняет она, словно из-за жука поменьше не стала бы меня беспокоить; или: «Ступеньки были скользкие»; или просто (сбивая меня с толку тавтологической загадочностью этих слов): «Ужасная гадость». Затем, избавившись от мокрой жабы или мусорной пробки, послуживших причиной затора, она вновь засыпает спокойным сном. Я лежу, сжимая склизкое земноводное, баюкая в руках комок влажной грязи, встревоженный и восхищенный. (Между прочим, я не хочу сказать, что мои сновидения значительнее. Сны демократизируют страх. Во сне потерять ботинок или опоздать на поезд — ничуть не меньшая трагедия, чем попасть в лапы гарильеров или угодить под ядерный обстрел.) Я восхищаюсь ею, потому что она гораздо лучше меня справляется с этой работой, которую мы обязаны выполнять регулярно до самой смерти: ведь людям на роду написано спать по ночам. Она ведет себя как опытный путешественник, бесстрашно вступающий в зал нового аэропорта. А я лежу во тьме с просроченным паспортом, подталкивая свою скрипящую багажную тележку не к тому транспортеру.

Короче говоря... она спит на боку, спиной ко мне. Вдоволь наворочавшись и убедившись в бесплодности обычных уловок, помогающих нырнуть обратно в забвение, я решаю продублировать мягкий зигзаг, образованный ее телом. Когда я начинаю пристраивать свою голень к ее икре, мышцы которой расслаблены сном, она чувствует мою возню; не просыпаясь, она поднимает левую руку и сдвигает свои волосы с плеч на затылок, чтобы я мог уткнуться в ее голую шею. В ответ на эту неизменную инстинктивную любезность я всякий раз содрогаюсь от прилива чувств. Мои глаза щиплет от слез, и я едва сдерживаюсь, так мне хочется разбудить ее и напомнить о том, как я ее люблю. Своим бессознательным жестом она затрагивает самые основы моей любви к ней. Конечно, она ни о чем не догадывается; я никогда не говорил ей об этой крохотной ночной радости, которую она дарит мне с таким постоянством. Хотя, наверное, говорю сейчас...

Вы думаете, что на самом-то деле она успевает на секунду проснуться? Я понимаю, что это ее движение может казаться сознательным актом вежливости — мелочью, которая сама по себе приятна, однако едва ли свидетельствует о том, что корни любви уходят куда-то под смоляной

пласт сознания. Вы правы в своем скептицизме; влюбленным можно доверять лишь до известного предела, ведь они тщеславны, как политики. Но я докажу вам свою правоту. Вы уже поняли, что волосы у нее до плеч. Но несколько лет назад, когда нам пообещали затяжную летнюю жару, она коротко постриглась. Ее шея была открыта для поцелуев круглые сутки. И в темноте, когда мы лежали под одной простыней и я истекал по́том, как калабриец, когда срединная часть ночи была коротка, но одолеть ее все равно было непросто,— я поворачивался к этой стилизованной букве S рядом с собой, и она, что-то неразборчиво бормоча, пыталась убрать с шеи несуществующие волосы.

«Я люблю тебя,— шепчу я в этот спящий затылок,— я люблю тебя». Все романисты знают, что их искусство выигрывает от недоговоренности. Соблазняясь дидактикой, писатель должен представлять себе щеголеватого капитана корабля перед надвигающимся штормом: как он кидается от прибора к прибору в фейерверке золотой тесьмы, как отдает в переговорную трубу решительные команды. Но внизу никого нет; машинное отделение отсутствует, и руль отказал много веков назад. Капитан может разыграть прекрасный спектакль, убедив не только себя, но и кое-кого из пассажиров; все-таки судьба их плавучего мира зависит не от него, а от безумных ветров и угрюмых течений, от айсбергов и случайных рифов.

Однако иногда обиняки литературы все же вызывают у романиста естественное раздражение. В нижней части эль-грековских «Похорон графа Оргасского» в Толедо есть группа угловатых фигур в плоеных воротниках. Предающиеся своей показной печали, они смотрят в разные стороны. И только один из них с мрачной иронией смотрит прямо на нас — и мы не можем не заметить, сколь нелестен его взгляд. По традиции считается, что это изображение самого Эль Греко. Вот я, говорит он. Я и есть автор. И я за все это в ответе, потому и не прячу глаз.

Поэтам, видимо, проще писать о любви, чем прозаикам. Для начала у них есть это уклончивое «я» (если я напишу «я», вы потребуете, чтобы не позже чем через пару абзацев вам объяснили, кто имеется в виду — Джулиан Барнс или какой-нибудь вымышленный персонаж; поэт может вальсировать между тем и другим, не теряя ни в глубине чувства, ни в объективности). Еще поэты, похоже, могут обращать плохую любовь — любовь эгоистическую, дрянную — в хорошую лирическую поэзию. Прозаикам не дано навевать этот восхитительный обман. Плохую любовь мы можем обратить только в прозу о плохой любви. Поэтому мы слегка завидуем (и не совсем доверяем) пишущим о любви поэтам.

А они сочиняют то, что именуется любовной поэзией. Из их опусов составляются книги под названьями типа «Поющие Сердца — Антология Шедевров Любовной Лирики». Кроме того, есть еще письма; из них получаются сборники, озаглавленные «Сокровищница Золотого Пера, Лучшие Любовные Послания Всех Времен и Народов» (книга — почтой). Но нет такого жанра, который подходил бы под определение любовной прозы. Это звучит неуклюже, почти парадоксально. «Любовная Проза: Справочник Работяги». Продается в магазинах плотницкого инвентаря.

Канадская писательница Мейвис Галлант сказала: «Тайна, которую представляет собой любящая пара,— это, пожалуй, единственная настоящая тайна, еще не раскрытая нами, и когда мы раскроем ее, литература — да и любовь тоже — будет уже не нужна». Прочтя это впервые, я нарисовал на полях шахматную пометку «!?», означающую красивый, но, возможно, ошибочный ход. Однако со временем точка зрения канадки возобладала, и пометка сменилась на «!!».

«Пусть мы умрем — но будет жить любовь». К такому выводу осторожно подобрался в своем стихотворении «Арундельская могила» Филип Ларкин. Эта строчка удивляет нас, ибо почти все творчество поэта есть похожее на выкручиванье фланелевой тряпицы избавление от иллюзий. Нам приятно, когда нас подбадривают; но сначала прозаику

положено нахмуриться и спросить, а не сфальшивила ли эта поэтическая фанфара? Действительно ли любовь переживет нас? Мысль, конечно, соблазнительная. Было бы куда как приятно, если бы любовь оказалась источником, который будет излучать энергию и после нашей смерти. На экранах старых телевизоров, когда их выключали, оставалось световое пятно размером с флорин — потом оно понемногу таяло, превращаясь в микроскопическую искорку, и исчезало. Мальчишкой я ежевечерне наблюдал этот процесс, смутно желая замедлить его (и с юношеской меланхолией усматривая в нем подобие неизбежного исчезновения во вселенском мраке крохотного огонька человеческой жизни). Что ж, и любовь будет так вот светиться, когда телевизор уже выключат? Мой опыт этого не подтверждает. Вместе с последним из любящих умирает и любовь. Если от нас что и останется, так скорее что-нибудь другое. Ларкина переживет отнюдь не его любовь, а его стихи; это очевидно. Перечитывая конец «Арундельской могилы», я всегда вспоминаю Уильяма Хаскиссона. В свое время он был очень известным политиком и финансистом; но теперь мы помним его только потому, что 15 сентября 1830 года, на открытии Ливерпульско-Манчестерской железной дороги, его первого задавило насмерть поездом (вот чем он *стал*, во что обратился). Любил ли Уильям Хаскиссон? Пережила ли его эта любовь? Никто не знает. Все, что от него осталось,— это тот миг роковой беспечности; смерть превратила его в камею, в иллюстрацию безжалостной поступи прогресса.

«Я тебя люблю». Первым делом спрячем эти слова на верхнюю полку; в железный ящичек, под стекло, которое при случае полагается разбить локтем; в надежный банк. Нельзя разбрасывать их где попало, точно трубочки с витамином С. Если эти слова всегда будут под рукой, мы начнем прибегать к ним не думая; у нас не хватит сил воздержаться. Мы-то, конечно, уверены в обратном, но это заблуждение. Напьемся, одолеет тоска или (самое вероятное) взыграет известного рода надежда, и вот пожалуйста — слова уже использованы, захватаны. Нам может показаться, что мы влюбились, и захочется проверить, так ли это. Как мы узнаем, что у нас на уме, покуда не услышим собственных слов? Остерегитесь — они не отмываются. Это высокие слова; мы должны быть уверены, что заслужили их. Вслушайтесь, как звучат они по-английски: «I love you». Подлежащее, сказуемое, дополнение — безыскусная, незыблемая фраза. Подлежащее — коротенькое словцо, которое как бы помогает влюбленному самоустраниться. Сказуемое подлиннее, но столь же недвусмысленно — в решающий миг язык торопливо отскакивает от нёба, освобождая дорогу гласной. В дополнении, как и в подлежащем, согласных нет; когда его произносишь, губы складываются словно для поцелуя. «I love you». Как серьезно, как емко, как веско это звучит.

Мне видится тайный сговор между всеми языками мира. Собравшись вместе, они постановили придать этой фразе такое звучание, чтобы людям было ясно: ее надо заслужить, за нее надо бороться, надо стать ее достойным. *Ich liebe dich*: полуночный сигаретный шепот, в котором счастливо рифмуются подлежащее и дополнение. *Je t'aime*: здесь сначала разделываются с подлежащим и дополнением, чтобы вложить весь сердечный пыл в долгий гласный последнего слова. (Грамматика тут надежнее; заняв второе место, предмет любви может уже не бояться, что его заменят кем-то другим.) *Я тебя люблю*: дополнение снова занимает вселяющую уверенность вторую позицию, но теперь — несмотря на оптимистическую рифму вначале — здесь слышится намек на трудности, препятствия, которые нужно будет преодолеть. *Ti amo* — возможно, это чересчур смахивает на аперитив, но выигрывает благодаря твердому согласию подлежащего и сказуемого, делателя и действия, слитых в одно слово.

Извините за любительский подход. Я охотно передаю эту тему на рассмотрение какой-нибудь филантропической организации, стремящейся увеличить сумму человеческих знаний. Пусть созданная при ней исследовательская группа изучит эту фразу на всех языках мира,

пронаблюдает за ее изменениями, попытается понять, что слышат в ее звуках те, к кому она обращена, как от богатства ее звучания зависит мера даримого ею счастья. Вопрос к залу: есть ли на земле племена, в лексиконе которых отсутствуют слова «я тебя люблю»? Или все они давно уже вымерли?

Пусть эти слова лежат у нас в ящичке, под стеклом. А вынув их оттуда, будем обращаться с ними бережно. Мужчины говорят «я тебя люблю», дабы залучить женщин в постель, женщины говорят «я тебя люблю», дабы женить на себе мужчин; и те, и другие говорят «я тебя люблю», дабы держать страх на привязи, дабы обрести ложную уверенность, дабы убедить себя в том, что благословенное состояние достигнуто, дабы не замечать того, что все уже позади. Не нужно использовать эти слова в таких целях. *Я тебя люблю* не должно звучать слишком часто, становиться ходкой монетой, пущенной в оборот ценной бумагой, служить для нас источником прибыли. Конечно, вы можете принудить эту послушную фразу играть вам на руку. Но лучше приберегите ее для того, чтобы прошептать в шею, с которой только что были убраны несуществующие волосы.

Сейчас мы далеко друг от друга; наверное, вы догадались. Трансатлантический телефон передразнивает меня своим эхом, точно хочет сказать: слыхали, мол. «Я тебя люблю» — и прежде чем она успевает ответить, мой металлический двойник повторяет: «Я тебя люблю». Это малоприятно; тиражируясь, произнесенная мною фраза превращается в общее достояние. Пробую еще раз, с тем же успехом. I love you, I love you — выходит какая-то популярная песенка из тех, что с месяц держатся на пике моды, а затем сдаются в репертуар клубных турне, где коренастые рок-певцы с сальными волосами и томлением в голосе пытаются с их помощью раздеть вольготно расположившихся в первых рядах девиц. I love you, I love you — а ведущая гитара хихикает, и в открытом рту барабанщика лежит влажный язык.

К любви, к ее словарю и жестам нужно относиться бережно. Если ей суждено спасти нас, мы должны смотреть на нее так же честно, как хорошо бы научиться смотреть на смерть. Следует ли преподавать любовь в школе? Первый триместр: дружба; второй триместр: нежность; третий триместр: страсть. Почему бы и нет? Наших детей учат готовить, и чинить машины, и трахаться так, чтобы не залететь; и мы полагаем, что дети умеют все это гораздо лучше, чем в свое время умели мы, но какой им прок от всего этого, если они не умеют любить? Считается, что тут они и без нас как-нибудь разберутся. Природа, мол, возьмет свое; она будет служить им автопилотом. Однако Природа, на которую мы привыкли сваливать ответственность за все, чего не понимаем сами, не слишком надежно работает в автоматическом режиме. Доверчивые девицы, мобилизованные в армию замужних женщин, по выключении света обнаруживают, что Природа знает ответы отнюдь не на все вопросы. Доверчивым девицам говорили, что любовь — земля обетованная, ковчег, на котором дружная чета спасется от Потопа. Может, она и ковчег, но на этом ковчеге процветает антропофагия; а командует им сумасшедший старик, который чуть что пускает в ход посох из дерева гофер и может в любой момент вышвырнуть тебя за борт.

Давайте начнем сначала. Любовь делает вас счастливым? Нет. Любовь делает счастливой ту, кого вы любите? Нет. Благодаря любви все в жизни идет как надо? Разумеется, нет. Когда-то я, конечно, во все это верил. А кто же не верил (и у кого эта вера до сих пор не лежит где-нибудь в трюме души)? Об этом пишут книги, снимают фильмы; это закат тысячи историй. Если любовь не решает всех проблем, тогда *зачем же* она? Разве мы не можем быть уверены — ведь нам так этого хочется,— что любовь, стоит только найти ее, облегчит наши ежедневные муки, станет для нас чем-то вроде дармового анальгетика?

Двое любят друг друга, но они несчастны. Какой мы делаем вывод? Что один из них любит другого не по-настоящему; что их любовь

недостаточно крепка? Я против этого «не по-настоящему»; я против этого «недостаточно». За свою жизнь я любил дважды (по-моему, это не так уж мало), раз счастливо, раз несчастливо. Больше всего о природе этого чувства я узнал благодаря несчастной любви — хоть и не сразу, а только годы спустя. Даты и подробности — выбирайте их по своему усмотрению. Но я любил и был любим очень долго, много лет. Сначала я был беспардонно счастлив, преисполнен надежд и обуян солипсическим восторгом; но большую часть времени, как это ни странно, я был удручающе несчастен. Что же, я недостаточно крепко ее любил? Я знаю, что это не так,— ради нее я пожертвовал половиной своего будущего. Может быть, она недостаточно крепко меня любила? И это не так — ради меня она отказалась от половины своего прошлого. Мы много лет прожили бок о бок, мучительно стараясь понять, что же неладно в нашей связке. Взаимная любовь не делала нас счастливыми. Но мы упрямо не желали этого признавать.

Позже я разобрался в том, каково было мое представление о любви. Мы считаем любовь активной силой. Моя любовь *делает* ее счастливой; ее любовь *делает* меня счастливым — где тут может быть ошибка? А ошибка есть: неверна сама модель. Подразумевается, что любовь — это волшебная палочка, которая в мгновение ока распускает запутанные узлы, наполняет цилиндр платками, а воздух хлопаньем голубиных крыльев. Но модель надо заимствовать не из магии, а из физики элементарных частиц. Моя любовь отнюдь не обязательно *сделает* ее счастливой; она может лишь раскрыть в ней способность к счастью. И тогда все становится понятнее. Отчего я не могу сделать ее счастливой, отчего она не может сделать счастливым меня? Очень просто: ожидаемой ядерной реакции не происходит, у луча, которым мы бомбардируем частицы, не та длина волны.

Но любовь не атомная бомба, так что давайте подберем более мирное сравнение. Я пишу эти строки в гостях у одного приятеля в Мичигане. У него обычный американский дом со всеми хитроумными устройствами, какие только может измыслить современная технология (кроме устройства для выпечки счастья). Вчера мой друг привез меня сюда из Детройтского аэропорта. Свернув на подъездную аллею, он вытащил из бардачка прибор дистанционного управления, коснулся нужной кнопки, и перед нами распахнулись ворота гаража. Вот модель, которую я предлагаю. Вы возвращаетесь домой — во всяком случае, хотите так думать — и с помощью привычного волшебства пытаетесь открыть гараж. Однако ничего не происходит; двери по-прежнему закрыты. Вы пробуете еще раз. Опять ничего. Сначала удивленный, потом встревоженный, потом разъяренный этим загадочным непокорством, вы сидите в машине с работающим мотором; сидите неделю, месяц, год, много лет и ждете, когда же откроются двери. Но вы находитесь не в той машине, не у того гаража, ждете не перед тем домом. Вот в чем одна из бед: наше сердце не сердцевидно.

«Жребий наш — любить иль умереть»,— написал У. Х. Оден, что побудило Э. М. Форстера заявить: «Поскольку он написал «жребий наш — любить иль умереть», он имеет право приказать мне следовать за собой». Однако сам Оден был недоволен своей знаменитой строкой из «1 сентября 1939». «Это брехня! — высказался он.— Умереть нам все равно придется». Поэтому, переиздавая стихотворение, он заменил вышеприведенную фразу на более логичное «Жребий наш — любить и умереть». Позже он и вовсе убрал ее.

Эта замена «или» на «и» — одна из самых знаменитых в поэзии. Узнав о ней впервые, я восхитился неумолимой объективностью Одена-критика, скорректировавшего Одена-поэта. Если звонкая фраза таит в себе ложь — прочь ее; такой подход радует отсутствием у автора самовлюбленности. Теперь мое мнение уже не столь однозначно. Разумеется, «жребий наш — любить и умереть» выглядит логичнее; кроме того, в этом примерно столько же новизны и красоты, как и во фразах «жребий

наш — слушать радио и умереть» или «жребий наш — регулярно мыть посуду, а затем умереть». Оден был прав, не слишком доверяя собственной риторике, но сказать, что строка «жребий наш — любить иль умереть» грешит против истины, поскольку умирать придется всем (или поскольку те, что никого не любят, вовсе не мрут из-за этого как мухи), может лишь человек недалекий или забывчивый. Есть не менее логичные и более убедительные способы прочтения варианта с «или». Первый, самый очевидный, таков: будем же любить друг друга, ибо в противном случае мы друг друга поубиваем. Второй таков: будем же любить друг друга, ибо в противном случае, если любовь не будет придавать нашей жизни смысл, нам ни к чему и жить. Ведь утверждать, что те, кто черпает наивысшее наслаждение не в любви, а из других источников, живут пустой жизнью, что они похожи на чванливых раков, которые ползают по дну морскому, щеголяя чужими панцирями, вовсе не значит заниматься «брехней».

Тут мы вступаем на трудную территорию. Нам нужно быть точными и стараться не впадать в сентиментальность. Желая противопоставить любовь таким коварным и могучим соперникам, как власть, деньги, история и смерть, мы не должны скатываться к самовосхвалению и напускать кругом снобистского туману. Враги любви критикуют ее за расплывчатость притязаний, за ярко выраженную склонность к изоляционизму. Так с чего же мы начнем? Любовь может дать счастье, а может и не дать; но она всегда высвобождает скрытую в нас энергию. Вспомните, как вы любили впервые,— разве когда-нибудь еще вы говорили так гладко, спали так мало, занимались сексом так жадно? Анемичный — и тот оживает, а обыкновенный здоровый человек становится просто невыносимым. Далее, она распрямляет нам спину, наделяет уверенностью. Вы чувствуете, что наконец-то крепко стали на ноги; пока это чувство с вами, вы способны на все, вы можете бросить вызов миру. (Справедливо ли будет такое различие: что любовь добавляет уверенности, а сексуальные победы всего лишь укрепляют людей в их эгоизме?) Затем она сообщает ясность видению: глаза влюбленного точно снабжены автомобильными «дворниками». Разве в пору первой любви вы не видели все гораздо яснее обычного?

Когда любовь вступает в игру? Мы глядим на животных — и не находим ответа. Кажется, представители некоторых видов действительно выбирают себе пару на всю жизнь (хотя представьте себе, сколько возможностей для адюльтера открывается во время всех этих долгих морских миграций и перелетов); но, как правило, мы видим только проявления силы, доминирование одних над другими и погоню за сексуальным комфортом. Сторонники и противники феминизма интерпретируют природу по-разному. Первые ищут в животном царстве бескорыстия и обнаруживают, что самцы иногда выполняют работу, которая у людей обычно выпадает на долю женщин. Возьмите, например, королевского пингвина: самец высиживает яйца, носит их у себя на ногах и месяцами защищает от антарктического холода под жировой складкой внизу живота... Ладно, отвечают вторые, а как насчет самца морского слона? Валяется целый день на пляже и трахает всех самок в пределах досягаемости. Как это ни огорчительно, похоже, что поведение морского слона более типично, чем поведение пингвина. К тому же, хорошо зная свой пол, я склонен усомниться в альтруизме последнего. Скорее всего, самец пингвина просто сообразил, что коли уж приходится торчать в Антарктиде столько лет кряду, разумнее будет сидеть дома и нянчиться с яйцом, покуда самка ловит рыбу в ледяной воде. То есть просто избрал самую выгодную для себя тактику.

Так когда же вступает в игру любовь? Ведь в ней вроде бы нет особой нужды. Мы можем, как бобры, строить без любви плотины. Можем, как пчелы, объединяться без любви в сложные сообщества. Можем, как альбатросы, преодолевать без любви огромные расстояния. Можем, как страусы, прятать без любви голову в песок. Можем, как дронты, вымереть без любви до последнего экземпляра.

А что, если любовь — полезная мутация, которая помогает человечеству в его борьбе за существование? Я не вижу, чем это подтверждается. Была ли она, к примеру, изобретена ради того, чтобы воины, сохранившие где-то глубоко в сердце щемящие воспоминания о родном камельке, отчаяннее дрались за свою жизнь? Непохоже: мировая история учит нас, что решающими факторами в войне являются новая форма наконечника стрелы, благоразумие генерала, полный желудок и перспектива грабежа, а отнюдь не сентиментальность вздыхающих о доме вояк.

Значит, любовь — это роскошь, прерогатива мирного времени, нечто вроде вышивания полотенец? Нечто приятное, сложное, но необязательное? Этакое побочное достижение, продукт культуры, лишь по случайности оказавшийся любовью, а не чем-то другим? Иногда мне кажется, что в этом есть доля правды. Когда-то на дальнем северо-западе Соединенных Штатов обитало индейское племя (это не выдумка), ведущее необычайно беззаботную жизнь. Воевать в их далеком краю было не с кем, а земля приносила огромные урожаи. Стоило им бросить через плечо горстку сухих бобов, как сзади сразу подымался целый бобовый лес и осыпал их стручками. К тому же эти здоровые и довольные люди были лишены всякого вкуса к междоусобным войнам. В результате у них образовалась уйма свободного времени. Без сомнения, они преуспели в занятиях, порождаемых праздностью: стали плести корзины в стиле рококо, подняли искусство эротики до высокого гимнастического уровня и научились погружаться в наипродолжительнейшие трансы, используя для этой цели перетертые листья неких растений. Мы не осведомлены об этих сторонах их жизни, однако знаем, каково было главное развлечение, помогающее им коротать долгие часы досуга. Они пристрастились к воровству — вот что им нравилось, и вот что они культивировали. Когда к ним начинал ластиться очередной погожий денек, они вылезали из вигвамов, втягивали в себя медвяный воздух и спрашивали друг у друга, не случилось ли этой ночью чего интересненького. В ответ следовало робкое, а то и нахальное признание в краже. Серый Волчонок опять умыкнул одеяло у старика Краснощека. Серьезно? А он таки делает успехи, наш Серый Волчонок. Ну а ты чем занимался? Я-то? Да я всего-навсего слямзил брови с верхушки тотемного столба. Что, еще раз? И как тебе, право, не надоест.

Значит, нам наконец удалось нащупать верный подход? Мы можем прожить и без любви, так же как индейцы — без воровства. Однако благодаря ей мы обретаем индивидуальность, обретаем цель. Отнимите у индейцев их невинное хобби, и им будет труднее определить себя. Стало быть, это просто неожиданный мутационный выброс? Любовь не способствует развитию человечества; наоборот, она враждебна всякой организованности. Не будь любви, нам было бы гораздо проще удовлетворить свои сексуальные притязания. Браки были бы откровенней — и, наверное, много прочнее,— если бы мы не тосковали по любви, не радовались ее зарождению, не боялись, что она нас покинет.

На общем фоне мировой истории любовь кажется чем-то чужеродным. Это какой-то нарост, уродство, запоздалое добавление к повестке дня. Она напоминает мне те половинки домов, которых согласно обычным правилам картографии как бы не существует. Недавно я ездил по такому североамериканскому адресу: Йонг-стрит, 2041 1/2. Наверное, владелец дома номер 2041 продал когда-то маленький участок, а на нем был построен этот полупризнанный дом с половинчатым номером. А люди вполне комфортабельно в нем устроились, называют его родным... Тертуллиан сказал о вере в Христа: она истинна, потому что абсурдна. Возможно, и любовь так важна потому, что необязательна.

Та, что теперь снова рядом со мной,— центр моего мира. Армяне верили, что центр мира — Арарат, но его поделили между собой три великие империи, а армянам в конце концов ничего не осталось, так что я не буду развивать свое сравнение. *Я тебя люблю*. Я снова дома, и эхо больше не передразнивает меня. *Je t'aime*. *Ti amo* (с содовой). А если бы

вы были лишены дара речи, не имели в своем распоряжении медной трубы языка, вы сделали бы так: скрестили бы свои руки в запястьях, обратив ладони к себе; прижали бы скрещенные запястья к сердцу (или хотя бы к середине груди); потом чуть отвели бы руки вперед и разомкнули их, обернув ладонями к предмету вашей любви. По выразительности это не уступит словам. И заметьте, сколько возможностей открывается здесь для более тонкой передачи чувства, сколько изыска вы можете привнести в этот жест, соединяя ладони, целуя костяшки пальцев или играя их кончиками, которые несут в себе неповторимый узор, печать вашей индивидуальности.

Но сомкнутые ладони могут ввести нас в заблуждение. Сердце не сердцевидно, вот в чем одна из бед. Мы ведь воображаем себе этакую аккуратную двустворчатую ракушку, форма которой говорит о том, что любовь объединяет две половинки, два отдельных существа в одно целое; не правда ли? Этот четко очерченный символ представляется нам алым, словно бы залитым ярким румянцем; ал он и от прилива крови, сопутствующего вспышке страсти. Учебник по медицине разочаровывает нас не сразу; здесь сердце похоже на схему лондонской подземки. Аорта, левая и правая легочные артерии и вены, левая и правая подключичные артерии, левая и правая венечные артерии, левая и правая сонные артерии... Тут все кажется изящным и продуманным; мы верим, что эта сложная система трубок безупречна в работе. Уж она-то не подведет, думаем мы.

Знаменательные факты:

— сердце развивается в эмбрионе раньше всех прочих органов; мы еще величиной с фасолину, а уже видно, как оно пульсирует внутри;

— относительный вес сердца ребенка намного больше, чем у взрослого: у первого он составляет 1/130 общего веса тела, у второго — 1/300;

— в течение жизни размеры, форма и положение сердца претерпевают существенные изменения;

— после смерти сердце принимает форму пирамиды.

Бычье сердце, купленное мною в магазине «Корриганс», весило 2 фунта 13 унций, а стоило 2 фунта 42 пенса. Самое крупное на прилавке, это было сердце животного, однако многое роднило его с человеческим. «У него сердце быка» — фраза из детства, из приключенческой литературы Империи. Все эти рыцари в тропических шлемах, которые одним метким выстрелом из армейского револьвера отправляли злобного носорога на тот свет, покуда дочь полковника дрожала за баобабом, имели довольно простую душевную организацию; но сердца у них, если судить по приобретенному мной экземпляру, были далеко не простыми. Этот увесистый, плотный, окровавленный ком походил на свирепо сжатый кулак. В отличие от железнодорожной схемы из учебника по медицине настоящее сердце не торопилось выставлять напоказ свои тайны.

Я вскрыл его вместе с одной приятельницей, рентгенологом. «Этот бык в любом случае недолго бы протянул»,— заметила она. Если бы это сердце принадлежало кому-нибудь из ее пациентов, он недалеко ушел бы по джунглям со своим мачете. Наше собственное маленькое путешествие было проделано с помощью кухонного ножа «сабатье». Мы врубились в левое предсердие и левый желудочек, подивившись толщине мышц, из которых вышел бы добрый бифштекс. Погладили элегантную шелковистую подкладку, запустили пальцы в зияющие входы и выходы. Вены легко растягивались, артерии смахивали на крепеньких головоногих. В левом желудочке лежал темно-багровый шматок засохшей крови. Мы часто теряли ориентацию в этом хитросплетении тканей. Вопреки моим наивным ожиданиям, сердце не желало с легкостью распадаться пополам; две его половинки тесно приникали друг к другу, словно тонущие влюбленные. Мы дважды забирались в один и тот же желудочек, думая,

что попали в новый. Нас восхитило мудрое устройство клапанов и chordae tendineae, которые не дают клапанам раскрываться до предела: маленькая, прочная подвесная система, которая не позволяет куполу парашюта разворачиваться больше, чем надо.

По окончании наших трудов сердце пролежало на заляпанной газете весь остаток дня; теперь это была лишь заготовка для малообещающего обеда. В поисках руководства я перелистал поваренные книги. Там нашелся один рецепт фаршированного сердца с гарниром из риса и ломтиков лимона, но это блюдо показалось мне не слишком аппетитным. Оно явно не заслуживало названия, которое дали ему его изобретатели, датчане. Они нарекли его так: Пламенная Любовь.

Помните парадокс, связанный со временем, загадку первых недель и месяцев Пламенной Любви (поначалу нам всегда хочется написать эти слова с большой буквы, как название блюда)? Вы любите, и восторженность борется в вашей душе с дурными предчувствиями. Какой-то частью своего существа вы хотите затормозить время: ибо сейчас, говорите себе вы, наступила лучшая пора моей жизни. Я люблю — и хочу смаковать свою любовь, изучать ее, упиваться ее сладким томлением; пусть сегодняшний день длится вечно. Таково мнение живущего в вас поэта. Однако рядом с ним приютился еще и прозаик, которому хочется не тормозить время, а подгонять его. Почем ты знаешь, что это любовь, нашептывает он вам на ухо, словно скептически настроенный адвокат, ведь прошло всего несколько недель, несколько месяцев. Ты не узнаешь, серьезно ли это, пока позади не останется ну хотя бы год; вот единственный способ проверить, не повторяешь ли ты ошибку стрекозы. Проживи этот отрезок времени поскорей, как бы он тебя ни радовал; и если твои (и ее) чувства не изменятся, ты убедишься в том, что вы *действительно* любите друг друга.

В кювете с проявителем возникает фотография. Прежде это был всего-навсего чистый лист фотобумаги в светонепроницаемом пакетике; теперь он приобрел значение, смысл, определенность. Мы быстро переносим его в кювету с фиксажем, чтобы уберечь этот ясный, легко уязвимый миг от распада, сделать изображение надежным и стойким, сохранить его совершенство — пусть лишь в течение нескольких лет. Но что, если фиксаж не сработает? Процесс, идущий в вашей душе, эта эволюция любви, может воспротивиться закреплению. Видели, как фотография иногда неумолимо проявляется, пока не почернеет совсем, пока не сотрется всякое воспоминание о ее звездном миге?

Нормально ли само состояние влюбленности? С точки зрения статистики, конечно, ненормально. Лица жениха и невесты на свадебных фотографиях не так интересны, как лица стоящих рядом гостей: младшей сестры невесты (неужели и меня это ждет? невероятно), старшего брата жениха (пусть ему повезет больше, и она не окажется стервой вроде моей), матери невесты (до чего это напоминает мне молодость), отца жениха (если бы только парень знал то, что я знаю теперь,— эх, кабы *мне* тогда это знать), священника (удивительно, какими красноречивыми делают эти древние клятвы даже самых застенчивых), хмурого юнца (на хрена им жениться-то?) и так далее. Состояние тех двоих, что находятся в центре, совершенно ненормально; но попробуйте-ка сказать им об этом. Они чувствуют себя нормальнее, чем когда бы то ни было. Сейчас с нами все нормально, говорят они друг другу; а вот раньше, когда нам казалось, что все нормально, мы жестоко ошибались.

И эта убежденность в своей правоте, эта вера в то, что их сущность была проявлена и закреплена любовью, а теперь, вставленная в рамочку, сохранится навеки, сообщает им трогательное высокомерие. Что, конечно же, ненормально: когда еще высокомерие бывает трогательным? А здесь оно трогает. Посмотрите на фотографию снова: каким серьезным самодовольством дышит эта сцена в счастливом окаймлении зубчиков! Разве это может не тронуть? Шумные излияния влюбленных (до них ведь никто не любил — во всяком случае, не так, правда?) могут

надоесть, но этих людей нельзя высмеять. Даже когда имеется что-нибудь, вызывающее у конформиста по части эмоций невольную ухмылку: ошеломительная разница в облике, возрасте, образовании, несходство социальных претензий, — все равно это сейчас не имеет значения; пузырящийся плевок смеха просто испаряется. Юноша рядом с женщиной постарше, неряха об руку с франтом, танцовщица в союзе с анахоретом — все они чувствуют себя абсолютно нормально. И это не может не трогать нас. Они-то могут смотреть на нас свысока, потому что мы не захлестнуты торжествующей любовью; но нам лучше не спешить проявлять снисходительность.

Не поймите меня превратно. Я не отстаиваю преимуществ одной формы любви перед другой. Я не знаю, что лучше — осторожная любовь или безрассудная, что надежнее — любовь с полной мошной или без гроша, что сексуальней — разнополая любовь или однополая, что сильнее — любовь в браке или вне оного. Впасть в менторский тон легко, но это не книга полезных советов. Я не могу сказать вам, любите вы или не любите. Раз спрашиваете, то, наверно, нет, вот и все, что я способен ответить (и даже это может оказаться неправдой). Я не скажу вам, кого любить или как; будь в школах соответствующие курсы, там учили бы не столько тому, что и как надо делать, сколько тому, чего и как делать не надо (это похоже на уроки писательского мастерства: вы не можете объяснить ученикам, как и что писать, только указываете им на ошибки, благодаря чему они экономят время). Но я могу сказать вам, *зачем* любить. Взгляните: ведь история мира, которая притормаживает у домика любви, строения с дробным номером, лишь для того, чтобы своим бульдозерным ножом превратить его в груду щебня, без нее просто нелепа. Без любви самомнение истории становится невыносимым. Наша случайная мутация так важна, потому что необязательна. Любовь не изменит хода мировой истории (вся эта болтовня о носе Клеопатры годится только для самых сентиментальных); но она может сделать нечто гораздо более важное: научить нас не пасовать перед историей, игнорировать ее наглое самодовольство. Я не принимаю твоих законов, говорит любовь; извини, но они не внушают мне почтения, да и дурацкий же мундир ты на себя нацепила. Разумеется, мы любим не ради того, чтобы помочь миру избавиться от эгоизма; но это одно из непременных следствий любви.

Любовь и правда, это жизненно важная связка — любовь и правда. Разве вы когда-нибудь говорили правду чаще, чем в пору первой любви? Разве видели мир яснее? Любовь заставляет нас видеть правду, обязывает говорить правду. Ложь не для ложа: вслушайтесь в звучащее здесь предостережение. *Ложь не для ложа* — эта фраза словно взята из букваря. Но не сочтите ее просто каламбуром: это моральное предписание. Не надо закатывать глаза, испускать показные стоны, изображать оргазм. Пусть ваше тело говорит правду, даже если — особенно если — этой правде не хватает мелодраматизма. В постели легче всего лгать, не рискуя быть пойманным, вы можете вопить и хрипеть в темноте, а потом хвастать, как ловко вы ее «разыграли». Секс — не спектакль (в какое бы восхищение ни приводил нас собственный сценарий); секс напрямую связан с правдой. То, как вы обнимаетесь во тьме, определяет ваше видение истории мира. Вот и все — очень просто.

Мы боимся истории; мы позволили датам запугать себя.

В год тысяча четыреста девяносто второй
Колумб переплыл океан голубой.

И что же? У людей прибавилось после этого ума? Они перестали строить новые гетто и практиковать в них старые издевательства? Перестали совершать старые ошибки, или новые ошибки, или старые ошибки на новый лад? (И действительно ли история повторяется, первый раз как трагедия, второй — как фарс? Нет, это слишком величественно, слишком надуманно. Она просто рыгает, и мы снова чувствуем дух сандвича с сырым луком, который она проглотила несколько веков назад.)

Даты не говорят правды. Они только и знают, что орать на нас: налево, направо, налево, направо, а ну пошевеливайся, ты, жалкий позер. Они хотят заставить нас верить в прогресс, в неуклонное движенье вперед. Но что случилось после 1492 года?

В год тысяча четыреста девяносто третий
Он вновь объявился в Старом Свете.

Вот какие даты мне нравятся. Давайте праздновать не 1492-й, а 1493-й; не открытие, а возвращение. Что было в 1493-м? Ну конечно, неизбежные чествования, королевские милости, лестные изменения в геральдике рода Колумбов. Но было и другое. Перед отплытием тому, кто первый увидит Новый Свет, была обещана премия в 10 000 мараведисов. Эту щедрую награду заслужил простой матрос, однако по возвращении Колумб приписал честь открытия себе (голубь снова выпихнул ворона из истории). Обиженный матрос уехал в Марокко, где, по слухам, сменил веру. Это был любопытный год, 1493-й.

История — это ведь не то, что случилось. История — это всего лишь то, что рассказывают нам историки. Были-де тенденции, планы, развитие, экспансия, торжество демократии; перед нами гобелен, поток событий, сложное повествование, связное, объяснимое. Один изящный сюжет влечет за собой другой. Сначала это были деяния королей и архиепископов с легкой закулисной коррекцией божественных сил, потом это был парад идей и движение масс, потом мелкие события местного значения, за которыми якобы стоит нечто большее; но это всегда связи, прогресс, смысл, одно вытекает из другого, третье ведет к четвертому. А мы, читающие историю, страдающие под ее игом,— мы окидываем взглядом весь этот узор, надеясь сделать благоприятные выводы на будущее. Мы упорно продолжаем смотреть на историю как на ряд салонных портретов и разговоров, чьи участники легко оживают в нашем воображении, хотя она больше напоминает хаотический коллаж, краски на который наносятся скорее малярным валиком, нежели беличьей кистью.

История мира? Всего только эхо голосов во тьме; образы, которые светят несколько веков, а потом исчезают; легенды, старые легенды, которые иногда как будто перекликаются; причудливые отзвуки, нелепые связи. Мы лежим здесь, на больничной койке настоящего (какие славные, чистые у нас нынче простыни), а рядом булькает капельница, питающая нас раствором ежедневных новостей. Мы считаем, что знаем, кто мы такие, хотя нам и неведомо, почему мы сюда попали и долго ли еще придется здесь оставаться. И, маясь в своих бандажах, страдая от неопределенности,— разве мы не добровольные пациенты? — мы сочиняем. Мы придумываем свою повесть, чтобы обойти факты, которых не знаем или которые не хотим принять; берем несколько подлинных фактов и строим на них новый сюжет. Фабуляция умеряет нашу панику и нашу боль; мы называем это историей.

История хороша одним: она умеет находить спрятанное. Мы многое пытаемся скрыть, но историю не обманешь. Время на ее стороне, время и наука. Как бы отчаянно ни вымарывали мы свои первые мысли, история все равно прочтет их. Мы тайно хороним наши жертвы (удавленных принцев, зараженных радиацией оленей), но история выносит наши поступки на свет Божий. Казалось бы, мы навеки утопили «Титаник» в чернильных фантомах, но дело выплыло наружу. Не так давно у берегов Мавритании были обнаружены останки «Медузы». Никто не надеялся отыскать там что-нибудь ценное; несколько медных гвоздей из корпуса фрегата да пара пушек — вот и все, что удалось поднять со дна морского через сто семьдесят пять лет после крушения. Но работы были проведены, и то, что можно было найти, нашли.

На что еще способна любовь? Коли уж мы рекламируем ее, нам стоит заметить, что это отправная точка для гражданских добродетелей. Любя, мы обретаем недюжинную способность к сочувствию,

обязательно начинаем видеть мир иначе. Без этого дара вы не сможете стать ни хорошим любовником, ни хорошим художником, ни хорошим политиком (прикинуться-то, конечно, сможете, но речь не об этом). Покажите мне тирана, который прославился бы в роли влюбленного. Я говорю не о сексе; все мы знаем, что власть разжигает похоть (одновременно способствуя развитию нарциссизма). Даже наш герой-демократ Кеннеди обслуживал женщин, как конвейерный рабочий с распылителем на покраске автомобильных кузовов.

В течение последних тысячелетий, по ходу отмирания пуританизма, не раз вспыхивали споры о связи сексуальной ортодоксии с обладанием властью. Если президент не может держать штаны на застежке, теряет ли он право руководить нами? Если слуга народа обманывает жену, значит ли это, что он надует и избирателей? По мне, лучше уж пусть у кормила стоит донжуан и гуляка, чем строгий приверженец целибата или болезненно верный супруг. Продажные политики обычно специализируются на коррупции, так же как преступники на отдельных видах преступлений; юбочника тянет трахаться, а взяточника — брать взятки. А посему разумнее не изолировать донжуанов от общественной деятельности, а наоборот, выбирать их. Я не говорю, что надо прощать им измены; нет, лучше ругать их почаще. Но их ненасытность поможет нам добиться того, чтобы они грешили лишь в сексуальной сфере, компенсируя свой блуд собранностью в государственных делах. Впрочем, это только моя теория.

В Великобритании, где политикой в основном занимаются мужчины, члены партии консерваторов имеют обыкновение интервьюировать жен своих потенциальных кандидатов. Процедура эта, конечно, унизительная: местные товарищи претендента по партии проверяют его жену на нормальность. (Здорова ли она психически? Уравновешенна ли? Каковы ее симпатии? Трезвый ли у нее взгляд на вещи? Хороши ли манеры? Как она будет выглядеть на фотографиях? Можно ли поручать ей сбор голосов?) Они задают этим женам, которые послушно соревнуются друг с другом в обнадеживающей серости, уйму вопросов, и жены торжественно заверяют их, что они тверды в своих взглядах на проблему ядерного вооружения и не сомневаются в святости института семьи. Но им не задают самого главного вопроса: любит ли вас ваш муж? Не надо считать этот вопрос чисто практическим (надежен ли ваш брак?) или сентиментальным; это тест, помогающий выяснить, способен ли муж экзаменуемой быть представителем других людей. Это проверка кандидата на способность к сочувствию.

Когда речь идет о любви, мы должны быть точными. Ах, вон оно что — вы, пожалуй, ждете описаний? Какие у нее ноги, грудь, губы, какого цвета волосы? (Это уж извините.) Нет, быть точными в любви значит быть верными сердцу, его биению, его убежденности, его правде, его силе — и его несовершенствам. После смерти сердце превращается в пирамиду (которая всегда была одним из чудес света); но даже при жизни сердце никогда не бывает сердцевидным.

Обратите внимание на разницу между сердцем и мозгом. Мозг аккуратен, поделен на доли, состоит из двух половинок — таким правильным мы представляли себе сердце. С мозгом можно поладить, думаете вы; это восприимчивый орган, размышление — его стихия. Мозг выглядит толково. Конечно, он сложен: стоит только поглядеть на все эти морщины и борозды, желобки и канальцы; он похож на коралл, и вы невольно задаетесь вопросом, а не живет ли он самостоятельной жизнью, полегоньку разрастаясь без вашего ведома. У мозга есть свои тайны, хотя криптоаналитики, строители лабиринтов и хирурги наверняка смогут раскрыть их, если возьмутся за дело сообща. Как я уже сказал, с мозгом можно поладить; он выглядит толково. А вот в сердце, в человеческом сердце — в нем, боюсь, сам черт не разберется.

Любовь антимеханистична, антиматериалистична; вот почему плохая любовь все равно хороша. Она может сделать нас несчастными, но

она кричит, что нельзя ставить материю и механику во главу угла. Религия выродилась либо в будничное нытье, либо в законченное сумасшествие, либо в некое подобие бизнеса, где духовность путается с благотворительными пожертвованиями. Искусство, обретая уверенность благодаря упадку религии, на свой лад возвещает о трансцендентности мира (и оно живет, живет! искусство побивает смерть!), но его открытия доступны не всем, а если и доступны, то не всегда воодушевляющи или приятны. Поэтому религия и искусство должны отступить перед любовью. Именно ей обязаны мы своей человечностью и своим мистицизмом. Благодаря ей мы — это нечто большее, чем просто мы.

Материализм, конечно, нападает на любовь; на что он только не нападает. Вся любовь сводится к феромонам, говорит он. Этот стук сердца в груди, эта ясность видения, эта внутренняя сила, эта моральная определенность, этот восторг, эта гражданская добродетель, это тихое *я тебя люблю* имеют единственную причину — незаметный запах, исходящий от одного партнера и подсознательно воспринимаемый другим. Мы вроде того жука, который в ответ на постукиванье карандашиком тычется головой в стенку спичечного коробка; только что покрупнее. Верим ли мы этому? Ладно, давайте на минутку поверим: тем ярче будет триумф любви. Из чего сделана скрипка? Из деревяшек да из овечьих кишок. Но разве музыка становится от этого пошлее или банальней? Наоборот, благодаря этому она восхищает нас еще больше.

И я не утверждаю, будто любовь сделает вас счастливым — уж что-что, а это вряд ли. Скорее она сделает вас несчастным — либо сразу же, если вы напоретесь на несовместимость, либо потом, годы спустя, когда древесные черви проделают свою тихую разрушительную работу и епископский трон падет. Но можно понимать это и все же стоять на том, что любовь — наша единственная надежда.

Это наша единственная надежда, даже если она подводит нас, несмотря на то, что она подводит нас, потому что она подводит нас. Я говорю слишком неопределенно? Но я ищу всего лишь верного сравнения. Любовь и правда — вот важнейшая связка. Все мы знаем, что объективная истина недостижима, что всякое событие порождает множество субъективных истин, а мы затем оцениваем их и сочиняем историю, которая якобы повествует о том, что произошло «в действительности»; так сказать, с точки зрения Бога. Сочиненная нами версия фальшива — это изящная, невозможная фальшивка вроде тех скомпонованных из отдельных оценок средневековых картин, которые разом изображают все страсти Христовы, заставляя их совпадать по времени. Но даже понимая это, мы все-таки должны верить, что объективная истина достижима; или верить, что она достижима на 99 процентов; или, на худой конец, верить в то, что истина, объективная на 43 процента, лучше истины, объективной на 41 процент. Мы должны в это верить — иначе мы пропадем, нас поглотит обманчивая относительность, мы не сможем предпочесть слова одного лжеца словам другого, спасуем перед загадкой всего сущего, вынуждены будем признать, что победитель имеет право не только грабить, но и изрекать истину. (Между прочим, чья правда лучше — победителя или побежденного? Пожалуй, гордость и сострадание искажают действительность ничуть не слабее, чем стыд и страх.)

Так же и с любовью. Мы должны верить в нее, иначе мы пропали. Мы можем не найти ее, а если найдем, она может сделать нас несчастными; но все-таки мы должны в нее верить. Без этой веры мы превратимся в рабов истории мира и чьей-нибудь чужой правды.

В любви все может пойти вкривь и вкось; так оно обычно и бывает. Сердце, этот загадочный орган, похожий на кусок бычьего мяса, не выносит прямых и открытых путей. В нашу современную модель вселенной входит понятие энтропии, что на бытовом уровне переводится так: чем дальше, тем больше путаницы. Но даже когда любовь подводит нас, мы должны по-прежнему в нее верить. Действительно ли в каждой молекуле уже заложено, что все безнадежно запутается, что любовь

непременно подведет? Может быть. Но мы все-таки должны верить в любовь, как верим в свободную волю и объективную истину. А если любовь не удастся, винить в этом надо историю мира. Оставь она нас в покое, мы могли бы быть счастливы, наше счастье не покинуло бы нас. Любовь ушла, и в этом виновата мировая история.

Но пока этого еще не случилось. А может, и не случится. Ночью мы способны бросить вызов миру. Да-да, это в наших силах, история будет повержена. Возбужденный, я взбрыкиваю ногой. Она шевелится и испускает подземный, подводный вздох. Не будить ее. Сейчас это кажется огромной правдой, а утром решишь, что не стоило тревожить ее из-за этого. Она вздыхает тише, спокойнее. Я ощущаю во тьме рядом с собой контуры ее тела. Поворачиваюсь на бок, ложусь параллельным зигзагом и жду сна.

9. Проект «Арарат»

Чудесный нынче денек, и вы катите по островной гряде у берегов Северной Каролины — этому подобию коралловых островков у изножья Флориды, только в более строгом стиле. По дороге из Пойнт-Харбора в Андерсон вы пересекаете Карритакский залив, потом поворачиваете на юг по 158-й магистрали и вскоре добираетесь до Китти-Хока. За дюнами вас ждет Национальный мемориал братьев Райт; но, возможно, вы отложите его посещение до другого раза, и в любом случае не этим запомнится вам Китти-Хок. Нет, вы запомните вот что: на правой, западной обочине шоссе, обратив к океану высоко подъятый нос, стоит ковчег. Он велик, как амбар, с планчатыми деревянными боками и выкрашен в коричневый цвет. Проезжая мимо и окидывая его любопытным взором, вы вдруг замечаете, что это церковь. Там, где обычно ставят имя корабля да еще иногда порт приписки, выведены слова, указывающие на назначение ковчега: ХРАМ БОЖИЙ. Вас предупреждали, что в Каролинах хватает религиозных изысков, и поэтому вы принимаете его за образчик какого-нибудь фундаменталистского рококо, в своем роде довольно симпатичный, но не останавливаться же.

Позже, вечером, вы садитесь на семичасовой паром, который идет от Хаттераса до острова Окракок. Ранней весной в этот час уже прохладно, и вам немного зябко и одиноко в темноте: внизу чернеет вода, наверху, в пылающем небе, взятом напрокат из «Юниверсал пикчерс» [1], висит перевернутый Ковш. Парому тоже не по себе, его огромный прожектор освещает воду на двадцать ярдов вперед; шумно, но как-то неуверенно пробирается он меж огоньками-ориентирами, белыми, красными и зелеными. Только теперь, выйдя на палубу и задышав ровней, вы вспоминаете о том ковчеге. Конечно, он оказался там неспроста, и если бы вы дали себе труд остановиться и поразмыслить, а не просвистели бы мимо, лишь на мгновенье бездумно приподняв ступню с педали газа, смысл его появления мог бы открыться вам. Вы миновали место, откуда Человек впервые пустился в небо; и вам напомнили о событии более давнем и значительном: о том, как Человек впервые пустился в море.

Однако в 1943 году, когда отец Спайка Тиглера, едва выросшего из коротких штанишек, взял его с собой в Китти-Хок, этого ковчега еще не было. Помните Спайка Тиглера? Ну ясное дело, кто же не помнит Спайка Тиглера. Это тот, что швырнул на Луне футбольный мяч. Тот самый малый, который зашвырнул на Луне мяч хрен знает куда? Правильно. Наидлиннейший пас за всю историю НФЛ, четыреста пятьдесят ярдов, прямо в нетерпеливые руки вулканического кратера. Гол! Вот что он крикнул, и возглас этот с треском покатился к нам — сюда, вниз, на Землю. Форвард Тиглер: под таким именем знал его тянувший шею мир, и оно было у всех на устах целое лето, а то и два. Форвард Тиглер,

---

[1] Голливудская киностудия.

парень, который протащил футбольный мяч в капсулу (это ж надо было умудриться!). Помните, как его спросили, зачем он отколол такую штуку, а он и глазом не моргнул? «Всегда хотел попасть в команду «Краснокожих»,— сказал он.— Надеялся, что ребята увидят». Ребята видели; видели они и его пресс-конференцию и попросили Тиглера продать им свой мяч, назначив за него цену, которая даже сейчас кажется вполне приличной. Но Спайк оставил его в пепле того далекого кратера — на случай, если туда вдруг забредет какой-нибудь любитель футбола с Марса или Венеры.

«Форвард Тиглер» — так было написано на полотнище, протянутом над главной улицей Уэйдсвилла, Северная Каролина,— маленького городка об одном банке, где хозяину автозаправочной станции приходилось торговать еще и спиртным, чтоб хоть как-то свести концы с концами. УЭЙДСВИЛЛ СЧАСТЛИВ ПРИВЕТСТВОВАТЬ СВОЕГО ЛУЧШЕГО СЫНА, ФОРВАРДА ТИГЛЕРА. Этим жарким утром 1971 года все вылезли поглазеть на Тиглера, ехавшего по городу, точно кинозвезда, в лимузине с откинутым верхом. Даже Мэри-Бет, которая двадцать лет назад позволила Спайку перейти известные границы и провела пару беспокойных недель, а пока Спайка не внесли в список участников проекта «Аполлон», едва ли хоть единожды нашла для него доброе слово, по такому случаю тоже очутилась здесь и напомнила стоящим рядом — отнюдь не в первый раз освежая это у них в памяти,— что когда-то давно они со Спайком были, ну, в общем, по-настоящему близки. Уже в те годы, заявила она, ей было ясно, что он далеко пойдет. А как далеко он зашел с тобой, Мэри-Бет, спросила одна из самых острых на язычок молоденьких женушек, и Мэри-Бет блаженно улыбнулась, словно Святая Дева с цветной картинки, зная, что при любом варианте ответа она только выиграет.

А Форвард Тиглер тем временем достиг конца Главной улицы, повернул обратно у заведения парикмахера по прозвищу Стригущий Лишай, который позаботится и о вашем пуделе, если вы зайдете с ним с заднего крыльца, и под несмолкаемые звуки песенки «Я деревенский паренек,/ И я всегда мечтал вернуться/ Под кров родной...» был приветствуем трижды по одну сторону праздничного полотнища и трижды по другую. Автомобиль двигался медленно, так как после первого триумфального прогона Спайк Тиглер уселся на кузов, чтобы все могли его видеть, и каждый раз, когда лимузин проползал мимо бензоколонки и/или винного магазина, его владелец Бак Вейнхарт кричал: «Жми, а то выдою!» — в память о привычке Спайка задирать флегматичных шоферов, когда они вдвоем гоняли по городку в ту далекую пору. Шесть раз Бак проорал: «Эй, Спайк, жми, а то выдою!» — и Спайк, темноволосый крепыш, неизменно отвечал старому приятелю помахиванием руки и дружеским кивком. Затем, на званом обеде в уэйдсвиллском ресторане, который прежде казался Спайку великолепным, а теперь напоминал ему вестибюль крематория, вернувшийся герой, поначалу неузнаваемый из-за своего астронавтского «ежика» и гражданского костюма — ни дать ни взять актер, пробующийся на роль Эйзенхауэра,— произнес речь о том, что родной дом всегда помнишь, как бы далеко ты ни забрался, и присутствующие нашли эти слова прекрасными и благородными, а один из ораторов, отвечавших ему экспромтом, предложил даже похерить Уэйдсвилл и в честь их знаменитого земляка переименовать город в Мунсвилл — идея, которая была принята на ура, но через несколько недель отмерла сама собой, отчасти благодаря противодействию старухи Джесси Уэйд, единственной оставшейся в живых внучки Рубена Уэйда, путешественника, на заре века решившего посеять в этом краю тыквы. Затея с тыквами себя не оправдала, но оскорблять память местной знаменитости все равно не стоило.

Спайк Тиглер не всегда был так популярен в Уэйдсвилле, как в этот день 1971 года, и не одна мать Мэри-Бет считала его ненормальным и жалела, что война кончилась слишком рано — а то отправили бы его

на Восток, и пусть лучше дрался бы там с япошками, чем тут с половиной города. Спайку было пятнадцать, когда на Хиросиму сбросили бомбу — событие, огорчившее мать Мэри-Бет по чисто личным мотивам; но и он в свой черед отправился на войну и летал на «Ф-86» над рекой Ялу. Двадцать восемь вылетов, два сбитых «МиГ-15». Вполне достаточно для чествования в Уэйдсвилле, хотя Тиглера долго еще не видали в родном городе. Как толковал он в 1975-м, впервые объявляя о своем проекте в ресторане «Лунная пыль» (это переименование одобрила даже Джесси Уэйд), вся жизнь человека состоит из чередующихся уходов и возвращений. Туда и обратно, туда и обратно, как прилив в Албемарском заливе, что добирается по реке Паскуотанк до самого Элизабет-Сити. Всех нас подхватывает приливом и увлекает назад отливом. Кое-кто из слушавших вообще вряд ли когда покидал Уэйдсвилл, так что не имел насчет этого своего мнения, а Джефф Клейтон после заметил, что в прошлом году, когда он ездил через Фейетвилл и Форт-Брагг посмотреть на знаменитый Музей гольфа в Пайнхерсте и поспел домой как раз вовремя, чтобы выбрать свою норму пива в «Альме», это было не очень-то похоже на приливы и отливы в реке Паскуотанк; но что он там понимал, этот Джефф Клейтон, и все решили, что слова Спайка можно принять на веру, ведь он не только уходил от них в мир, но — как верно заметила старуха Джесси Уэйд — уходил и из мира тоже.

Первый щелчок, сигнализирующий о подключении к его жизни приливно-отливного механизма, Спайк Тиглер относил ко дню поездки с отцом в Китти-Хок, когда ковчега, исполняющего функции церкви, еще и в помине не было. В ту пору там было только плоское шоссе да плоское небо вверху, а если глянешь за пустую дорогу, на которой разве что где-нибудь вдалеке маячит одинокий грузовик, увидишь плоские дюны и позади них — море в легких барашках. Ровесники Спайка находили отраду в крашеных ресницах и джазе шумного города, а он нашел ее в спокойной простоте земли, моря и неба в Китти-Хоке. По крайней мере, так он сказал на очередном благотворительном обеде, устроенном в поддержку его проекта, и ему поверили, хотя в то далекое время, о котором шла речь, ни Мэри-Бет, ни Бак Вейнхарт ничего подобного от него не слыхали.

В родном городе Спайка Тиглера было много демократов и еще больше баптистов. Энтузиазм, с которым Спайк говорил о братьях Райт в воскресенье после поездки в Китти-Хок, показался кое-кому из жителей, только что посетивших церковь Святой Воды, не слишком уместным, и старая Джесси Уэйд заметила тринадцатилетнему мальчишке, что если бы Бог хотел сделать из нас летунов, он дал бы нам крылья. «А против того, чтобы мы ездили, он не возражает?» — последовал ответ, слишком быстрый, чтобы быть вежливым; при этом юнец нахально указал на заново отлакированный «паккард», на котором пожурившая его леди проехала двести ярдов до церкви, после чего Тиглер-старший заметил ему, что, кабы не воскресенье, Бог вряд ли возразил бы против хорошей затрещины, которая научила бы Спайка себя вести. Только этот разговор, не имеющий ничего общего с землей, морем и водой, и всплывал в памяти жителей Уэйдсвилла, пытавшихся припомнить, что они слыхали от Спайка Тиглера году этак в 1943-м.

Минуло два года, бомба упала на Хиросиму рановато для матери Мэри-Бет, а Спайк обнаружил, что хоть Бог и не наделил его колесами, их можно иногда занять у отца. Теплыми вечерами они с Баком Вейнхартом играли в свою игру: выезжали на проселочную дорогу и пристраивались за каким-нибудь медленно ползущим автомобилем, так что их радиатор едва не упирался тому в кузов. Потом плавно отставали, поддавали газу и проносились мимо с дружным воплем: «Жми, шеф, а то выдою!» В той же машине и примерно тогда же Спайк с налитыми надеждой глазами сказал Мэри-Бет: «Но если Бог не хотел, чтобы мы этим пользовались, зачем он нам это дал?» — слова, застопорившие дело на порядочный срок, поскольку Мэри-Бет была заметно более богобояз-

ненна, нежели юный Спайк, да и избранный им способ ухаживания явно не принадлежал к числу самых эффективных. Однако пару недель спустя Спайк уже бормотал на заднем сиденье: «Я правда не знаю, как бы я жил без тебя, Мэри-Бет», и это оказалось аккурат то, что надо.

Вскорости Спайк исчез из Уэйдсвилла, и в городе практически ничего о нем не знали, пока не прослышали, что он в Корее: летает на реактивном «Ф-86-Сейбер» и не пускает коммунистов на ихних «МиГах» за реку Ялу. Этому повороту в судьбе Спайка предшествовал ряд событий и переживаний, не всегда логически связанных, и если представить его жизнь в виде комикса, что он иногда мысленно пытался сделать, первая картинка изображала бы, как Спайк стоит на дюнах в Китти-Хоке и смотрит в море; вторая — как он сжимает грудь покорной Мэри-Бет и думает: «Не может быть, чтобы Бог меня за это угрохал»; третья — как они с Баком Вейнхартом катаются на машине и ждут, когда загорятся первые звезды. Тут нашли бы свое отражение и его любовь к автомобилям, и патриотизм, и отчетливое сознанье того, как красит его синяя форма; но, странное дело, живее всего помнились ему сценки из самого далекого прошлого. Вот что он имел в виду, когда, объявляя в 1975-м о своем проекте, говорил насчет возвращения жизни каждого человека к своему началу. Разумеется, Спайк поступил мудро, решив не подкреплять эту общую сентенцию конкретными воспоминаниями, иначе он как минимум не дождался бы взноса от Мэри-Бет.

Покидая Уэйдсвилл, юный Тиглер оставил там не только отцовскую машину и возмущенную Мэри-Бет, но и свою веру. Хотя во время службы на флоте Спайк дисциплинированно писал во всех анкетах «баптист», он не думал ни о Божьих заповедях, ни о спасении, ни о благодати; не думал даже в те черные дни, когда один из его знакомых авиаторов — да что уж там, хороший приятель! — сыграл в ящик. Но и смерть друга не вызвала у Спайка охоты налаживать радиосвязь с Господом Богом. Он был летчиком, человеком науки, инженером. Можно признавать Бога на бумаге, так же как слушаться старших по званию, пока торчишь на базе; но момент, когда чувствуешь себя самим собой, настоящим Спайком Тиглером, мальчишкой, сменившим чужой автомобиль в тихой провинции на ревущий истребитель в пустом небе, наступает потом — когда взмоешь вверх и выровняешь свои серебряные крылья в прозрачном воздухе к югу от реки Ялу. Тут уж ты главный и вместе с тем совсем один. Это и есть жизнь, и подвести тебя не может никто, разве что ты сам. На носу своего «Ф-86» Спайк написал: «Жми, а то выдою!» — совет неосторожным «МиГам», которые осмелятся подпустить лейтенанта Тиглера вплотную к своему хвосту.

После войны в Корее он отправился в Военно-морскую школу летчиков-испытателей на Патаксент-ривер, Мэриленд. Когда русские вывели на орбиту первый спутник и стартовал проект «Меркурий», Спайк вызвался добровольцем, хотя какой-то голос внутри его — и голоса очень немногих его коллег снаружи — упорно твердил, что для первых полетов можно было бы взять и шимпанзе, да что там — *надо* было взять шимпанзе. Тебя сажали в ракету, и только,— ты представлял собой что-то вроде груза с торчащими наружу проводами, подопытный шмат мяса. Отчасти он не был расстроен тем, что не попал в первую семерку избранных, хотя от другой части был; в следующий раз он снова предложил свою кандидатуру и прошел. Фотография на первой странице «Фейетвилл обсервер» побудила Мэри-Бет простить Спайка и черкнуть ему письмецо; но поскольку его новоиспеченная жена Бетти относилась к подобным штучкам с неприязнью, он сделал вид, что забыл эту девчонку из Уэйдсвилла, и оставил письмо без ответа.

Летом 1971 года, стоя на поверхности Луны, Спайк Тиглер бросил футбольный мяч на четыреста пятьдесят ярдов. Гол! Это произошло в те полчаса, когда не нужно было выполнять никаких заданий и двое парней на Луне могли заняться чем пожелают. Что ж, Спайк всегда желал выяснить, как далеко можно зашвырнуть футбольный мяч в разреженной

атмосфере, и теперь его желание исполнилось. Гол! И когда Спайк сказал, что хочет доскакать до своего мяча и забрать его, ни Центр управления, ни его напарник Бад Стомовиц возражать не стали. Спайк припустил по мертвой равнине, как заяц на роликах. С его точки зрения, Луна была довольно-таки корявой и побитой, а взбаламученная им пыль, которая медленно оседала позади, смахивала на песок с грязного пляжа. Мяч лежал за маленьким кратером. Тиглер поддал его ногой, и он скатился в сухую ложбину; затем Спайк обернулся посмотреть, куда он убежал. Лунный модуль был едва виден и казался махоньким и ненадежным — этакий игрушечный паучок с севшей батарейкой. Во время полета Спайк не предавался пустым размышлениям — рабочий график составили так, что заниматься самоанализом было некогда,— но сейчас ему пришло на ум, что их с Бадом (да еще Майка, который кружится над ними в командном модуле) отделяет от остального человечества самое большое из доступных на нынешний момент расстояний. Вчера они наблюдали восход Земли, и, несмотря на заготовленный ими к этому случаю запас шуточек, это зрелище потрясало, от него кружилась голова. Теперь он почувствовал, что стоит на самом краешке мира. Еще десять шагов, и он запросто может свалиться с кончика его крыла и полететь вверх тормашками в глубины космоса. Хотя он и понимал, что с научной точки зрения такая возможность исключена, это ощущение не проходило.

И тут чей-то голос сказал ему: «Найди Ноев ковчег».

«Не понял»,— ответил он, решив, что это Бад.

«Я ничего не говорил»,— теперь голос принадлежал Баду. Спайк узнал его; во всяком случае, он, как обычно, донесся из наушников. Другой же голос как будто бы обошелся без них, он прозвучал вокруг Спайка, внутри его, рядом с ним и был громким, но доверительным.

Тиглер одолел с десяток ярдов обратного пути, когда голос повторил свой приказ: «Найди Ноев ковчег». Спайк продолжал передвигаться плавным лунным скоком, размышляя, не дурачат ли его. Но магнитофон в шлем не подсунешь: некуда, он бы заметил, да и не разрешили бы. Этак ведь можно и крышу человеку перекосить, и хотя у одного из двоих прилетевших с ним астронавтов было довольно-таки ракообразное чувство юмора, обычно этого парня хватало только на то, чтобы вырезать в твоем куске дыни ямку, намазать ее горчицей и снова заткнуть. А такой серьезный розыгрыш был ему явно не по плечу.

«Ты отыщешь его на горе Арарат, в Турции,— вновь заговорил голос.— Найди его, Спайк».

Большинство физических реакций Спайка отслеживалось специальными электродами, и он подумал, что при воспроизведении этого участка записи приборы нарисуют крутые пики. Если так, нетрудно будет придумать в объяснение какую-нибудь байку. А пока он хотел просто поразмыслить над тем, что услышал, понять, что бы это значило. Поэтому, добравшись до лунного модуля, он пошутил насчет раззявы, неудачно принявшего нас, и снова вошел в роль нормального астронавта, то бишь летчика-испытателя, который из шимпанзе превращается в национального героя, потом в звезду высшего пилотажа, а потом баллотируется в Конгресс или становится почетным членом правления дюжины корпораций. Он не был первым ступившим на Луну человеком, но вполне мог рассчитывать на долгую известность и неиссякаемый поток наград: таких, как он, не скоро наберется слишком много. В отличие от Спайка Тиглера, Бетти обладала недюжинной практической сметкой, и благодаря этому брак их оказался устойчивым. Он думал, что заполучил в жены высокую спортивную девушку с хорошей фигурой, которая любит читать «Радости кулинарии», а когда он запаздывает с возвращением на базу, держит про себя свои страхи; но потом обнаружил, что она гораздо лучше его знакома с репродуктивными свойствами доллара. «Ты летай, а думать буду я»,— иногда говорила она, подшучивая над ним; во всяком случае, оба они старались делать вид,

что это просто шутка. Так что Спайк Тиглер вернулся к своим обязанностям и выполнению рабочего графика и не дал никому заподозрить, будто что-нибудь изменилось, хотя изменилось все.

За приводнением последовал дружеский привет из Белого Дома, потом медосмотр, отчет о полете, первый телефонный разговор с Бетти, первая *ночь* с Бетти... и слава. В кипучих городах, которым он никогда не доверял — самодовольном Вашингтоне, циничном Нью-Йорке, чокнутом Сан-Франциско,— Спайк Тиглер был крупной фигурой; в Северной Каролине он был гигантом. Серпантин вываливали на него охапками; его правая рука устала принимать поздравления; его целовали, обнимали, трясли, хлопали по спине и тыкали в живот. Пацанята лезли к нему в карманы и бесстыдно выклянчивали горсточку лунной пыли. И самое главное, люди просто хотели побыть *рядом,* подышать с ним одним воздухом и подивиться на человека из космоса, который был еще и человеком из соседнего округа. Несколько месяцев осыпаемый ласками Спайк сновал от побережья к побережью, после чего законодатели Северной Каролины, гордые своим земляком и немного задетые тем, что он стал в некотором роде достоянием нации, объявили о его награждении специально отчеканенной медалью. Но где же и вручить ее, как не в Китти-Хоке, на плоской равнине под плоским небом?

В тот день, как водится, прозвучали торжественные речи, но Спайку удалось оценить их лишь наполовину; Бетти была в новом наряде со шляпкой и нуждалась в заверении, что выглядит и впрямь сногсшибательно; так оно и было, но Спайк ей об этом не сказал. Большую золотую медаль — с одной стороны Китти-Хок, с другой «Аполлон» — повесили Спайку на шею; рука его вытерпела еще несколько десятков пожатий; и все это время, вежливо улыбаясь и кивая, он думал о том, что случилось по пути сюда, о полученном им очередном указании.

Ехать на заднем сиденье губернаторского лимузина было не только лестно, но еще и удобно, и Бетти выглядела так хорошо, что он хотел шепнуть ей об этом, да постеснялся губернатора с женой. Шла обычная беседа о гравитации, и прыжках по Луне, и восходе Земли, и скажите на милость, а как же насчет уборной, и вдруг, на подъезде к Китти-Хоку, он увидел у обочины дороги Ковчег. Огромный Ковчег, стоящий на суше, с высокими носом и кормой, с планчатыми деревянными боками. Губернатор снисходительно проследил, как голова Спайка повернулась на 180 градусов, потом ответил на не заданный вслух вопрос.

— Что-то вроде церкви,— сказал губернатор.— Не так давно построили. А может, и зверей уже загрузили.— Он рассмеялся, и бывшая начеку Бетти присоединилась к нему.

— Вы верите в Бога? — внезапно спросил Спайк.

— Иначе я не стал бы губернатором Северной Каролины,— последовал добродушный ответ.

— Нет, но вы верите в *Бога?* — повторил Тиглер с настойчивостью, которую легко можно было счесть нежелательной.

— Милый,— тихонько сказала Бетти.

— По-моему, мы уже от этого недалеки,— ответила жена губернатора, поправляя бант затянутой в белую перчатку рукой.

Вечером, в гостиничном номере, Бетти поначалу была настроена примирительно. Как ни нелепа его выходка, думала она, ее вполне можно объяснить переутомлением. Мне тоже вряд ли понравилось бы лезть на сцену и в сотый раз говорить всем и каждому, как это было и какую гордость я тогда чувствовала, даже если бы я действительно чувствовала гордость и действительно хотела рассказывать об этом без умолку. Так что она приголубила его и спросила, не устал ли он, и попыталась выжать из него хоть какое-нибудь объяснение тому, отчего он ни разу, черт возьми, *ни единого разу* за весь день не помянул о ее новом платье, неужто он не знал, что она сомневалась, так ли уж идет ей цвет желтой примулы. Но это не сработало, и Бетти, которая никогда не отправлялась спать, не выяснив всего до самого конца, спросила, не

хочет ли он выпить и какая муха его укусила, да еще прямо перед церемонией, и если он не против откровенности, то она считает, что самый простой способ загубить его будущую карьеру, на которую так надеются они оба,— это начать спрашивать губернаторов, верят ли они в Бога. Надо же, додумался! Да кто он вообще такой?

— Моя жизнь изменилась,— произнес Спайк.

— Ты хочешь мне что-то сказать? — Бетти была в меру подозрительна и не могла не обращать внимания на то, что знаменитости получают вагоны писем от незнакомых женщин, всяких там Мэри-Бет и потенциальных Мэри-Бет, рассеянных по всему свету.

— Хочу,— ответил он.— Каждый возвращается туда, откуда начал. Я одолел двести сорок тысяч миль, чтобы посмотреть на Луну,— а смотреть-то стоит только на Землю.

— Тебе все-таки *надо* выпить.— На полдороге к бару-холодильнику она помедлила, но он ничего не сказал, не двинулся, не шелохнулся.— Тьфу, черт, это *мне* надо выпить.— Налив себе виски с лимоном, она уселась рядом с мужем и стала ждать.

— Когда я был мальчишкой, отец взял меня в Китти-Хок. Мне было двенадцать, не то тринадцать. Это сделало меня летчиком. С тех пор я больше ничего не хотел, только летать.

— Знаю, милый.— Она взяла его за руку.

— Я пошел на флот. Был хорошим летчиком. Потом перевелся на Пакс-ривер. Вызвался работать в проекте «Меркурий». Сначала меня не приняли, но я не сдался и в конце концов попал туда. Меня подключили к проекту «Аполлон». Я прошел всю подготовку. Прилетел на Луну...

— Я знаю, милый.

— ...и там... *там,*— продолжал он, сжав руку Бетти перед тем, как сказать ей в первый раз,— Бог велел мне найти Ноев ковчег.

— Ага.

— Я только что бросил мяч. Только что бросил мяч, и нашел его, и добил ногой в маленький кратер, и думал, следит ли за мной камера, и не назначат ли они штрафной, если видели, и тут Бог заговорил со мной. *Найди Ноев ковчег.*— Он покосился на жену.— Вроде как ты взрослый человек, добрался до Луны, и что ты делаешь? Играешь в мячик. Пора бросать эти детские штучки, вот что сказал мне Бог.

— С чего ты взял, что это был Бог, милый?

Спайк пропустил ее вопрос мимо ушей.

— Я никому не рассказывал. Я знаю, что это была не галлюцинация. Знаю, что слышал то, что слышал, но молчу. Может, я не совсем уверен, может, я хочу забыть про это. И что же? В тот самый день, когда я возвращаюсь в Китти-Хок, где все и началось столько лет назад, в тот самый день, когда я возвращаюсь, я вижу этот чертов Ковчег. *Не забудь, что я сказал* — разве не так это надо понимать? Коротко и ясно. Вот что это значит. *Поезжай, бери свою медаль, но не забудь, что я сказал.*

Бетти глотнула виски.

— И что же ты собираешься делать, Спайк? — Обычно при обсуждениях его карьеры она говорила «мы», а не «ты»; на сей раз он был предоставлен самому себе.

— Пока не знаю. Пока не знаю.

Психиатр из НАСА, к которому обратилась Бетти, все кивал да кивал, словно давая ей понять: прежде чем он навострит ручку и запишет, что у парня шариков в голове не хватает, что у него потолок поехал, она должна сообщить ему нечто гораздо более сногсшибательное. Он кивал и говорил, что они с коллегами предвидели возникновение кое-каких *адаптационных трудностей,* ведь в конце концов всякий, кто летал на Луну и глядел оттуда на Землю, похож на того, кто первым встал на голову и посмотрел на мир под совершенно новым углом, а это может повлиять на ваш *поведенческий рисунок,* да учтите еще напряжение в полете и всю эту шумиху потом, так что нет ничего удивительного, если имеет место легкое *искажение реальности,* но нет

никаких причин полагать, что подобные эффекты могут быть сколько-нибудь серьезными или продолжительными.

— Вы не ответили на мой вопрос.

— На какой вопрос? — Психиатр не помнил, чтобы она его о чем-нибудь спрашивала.

— Мой муж — я не знаю, какой термин вы употребили бы, доктор,— мой муж псих или нет?

Голова врача снова пришла в движение, на сей раз уже в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной, и были упомянуты случаи *перцептуальной дезориентации* и извлечены анкеты Спайка, в которых он аккуратно писал «баптист», и Бетти показалось, что психиатр удивился бы больше, если бы Спайк *не* услышал, как Бог говорит с ним на Луне, а когда она спросила его: «Так, по-вашему, это не галлюцинация?» — он ответил только: «А как вы думаете?» — что отнюдь не рассеяло сомнений Бетти; похоже было, что это *она* ненормальная, раз не верит собственному мужу. В результате Бетти ушла, чувствуя, что скорее предала Спайка, чем помогла ему; а еще одним результатом этой беседы было то, что три месяца спустя, когда Спайк попросился на выход из космической программы, он не встретил серьезного сопротивления, и все было сделано без лишнего шума, ибо из отчета психиатра с полной ясностью следовало, что у парня *шариков в голове не хватает*, что у него потолок поехал, что он форменный псих и, пожалуй, верит, будто Луна сделана из зеленого сыра. А потому его перевели на сидячую работу в отдел рекламы, после чего он опять вернулся на флот инструктором, но не прошло и года, как эти бестолковые метания закончились и Спайк Тиглер снова оказался на гражданке, а Бетти начала гадать, что бывает с людьми, когда их счастливая звезда падает с небосклона и разлетается на мелкие осколки.

Когда Спайк заявил, что хочет открыть сбор пожертвований для своего проекта, выступив в уэйдсвиллском ресторане «Лунная пыль», Бетти всерьез задумалась о том, не пора ли ей отложить «Радости кулинарии» и похлопотать о разводе,— наверно, это было бы самым безболезненным решением. Спайк уже почти год как ничего не делал, только однажды пошел и купил себе Библию. По вечерам он куда-то пропадал, и она находила его на заднем крыльце: глаза мужа были обращены к небу, а на коленях у него лежало раскрытое Писание. Подруги донимали ее своим сочувствием: конечно, мол, человеку, вернувшемуся *оттуда*, тяжело снова привыкнуть к нашей будничной тягомотине. Бетти было ясно, что даже без дозаправки слава Спайка Тиглера забуксует не скоро, а еще ей было ясно, что она может рассчитывать на материальную поддержку, так как сдвиг по фазе на службе отечеству — это вам не пустяк, но все равно она чувствовала себя обманутой. Столько лет помогать Спайку делать карьеру, мотаться по стране, не иметь нормального дома, ждать, надеяться, что тебе воздастся сторицей... а потом, когда приходит успех, когда большие круглые доллары начинают сыпаться на них дождем и остается только подставить шляпу, Спайк вдруг плюхается на заднее крылечко и возводит очи горе. Познакомьтесь с моим мужем, вон он сидит — Библия на коленях, рваные штаны и глаза как у шизика. Нет, никто на него не нападал, просто его счастливая звезда свалилась ему на голову.

Спрашивая Спайка, что ей надеть на его первое выступление в «Лунной пыли», Бетти вложила в свой голос толику сарказма; а когда он сказал, что ему всегда нравилось то платье цвета желтой примулы, в котором она была на вручении ему медали в Китти-Хоке, какой-то внутренний голос, явно не божественного происхождения, вновь прошептал ей слово «развод». Но странное дело: похоже, он не прикидывался и дважды, сначала до выхода из дому, а потом — когда они пересекали границу штата, сказал ей, как замечательно она выглядит. Бетти не могла не заметить в нем одной перемены. Теперь он всегда говорил то, что думал, и ничего больше. Казалось, он оставил свою бесшабашность,

свою привычку шутить и озорничать в том самом кратере вместе с футбольным мячом (тоже ведь, если подумать, дурацкий был трюк; пожалуй, можно было и раньше сообразить, что у него голова не в порядке). Спайк Тиглер стал серьезным; он стал скучным. Он по-прежнему говорил, что любит ее, и Бетти ему верила, но иногда задумывалась, а не маловато ли этого женщине. Он потерял свой шарм. Если это значило бросить детские штучки, то эти самые детские штучки, по мнению Бетти, явно заслуживали пары слов в свою защиту.

Апрельским вечером 1975 года, который Спайк Тиглер избрал для обнародования своих планов, ресторан «Лунная пыль» был полон. Здесь собрался чуть ли не весь город плюс парочка корреспондентов и фотограф. Бетти опасалась худшего. Ей мерещились газетные заголовки вроде: «СО МНОЙ ГОВОРИЛ БОГ»,— ЗАЯВЛЯЕТ УВОЛЕННЫЙ АСТРОНАВТ» или «У ПАРНЯ ИЗ УЭЙДСВИЛЛА НЕ ХВАТАЕТ ШАРИКОВ». Она напряженно сидела рядом с мужем и слушала, как местный священник приветствует его от лица земляков. Публика захлопала; Спайк мягко взял жену за руку и не отпускал, даже встав на ноги и приготовившись говорить.

— Я рад, что вернулся сюда опять,— сказал Спайк и обвел взглядом зал, дружески кивая знакомым.— Знаете, совсем недавно я сидел у себя на заднем крылечке, смотрел на звезды и вспоминал те давние времена, когда я был простым уэйдсвиллским мальчишкой. Мне было пятнадцать, а может, шестнадцать, и тогда вы вряд ли назвали бы меня паинькой, и старая Джесси Уэйд, упокой Господи ее душу, думаю, многие из вас помнят Джесси, так вот, она сказала мне: «Слушай, пострел, если ты и дальше будешь так носиться на машине и орать, то в конце концов взлетишь»,— и мне сдается, что старушка Джесси Уэйд хорошо знала жизнь, потому что через много лет именно это со мной и случилось, хотя ей и не суждено было увидеть, как исполнится ее предсказание, да будет ей земля пухом.

Этого Бетти ожидала меньше всего. Он пудрил им мозги. Он вешал им лапшу на уши. Он никогда не говорил об Уэйдсвилле с особенной теплотой; она даже никогда не слышала от него этой истории про старую Джесси Уэйд; но вот вам, пожалуйста, он стоит тут и вспоминает все это, охмуряет своих земляков. Он рассказал им кучу историй о своем детстве, а потом об астронавтском житье-бытье, ради чего они, собственно, сюда и пришли, а на заднем плане его рассказов все время маячила мысль, что без этих людей Спайк не улетел бы дальше Фейетвилла, что на Луну он попал именно благодаря им, а не тем умникам, что сидят перед экранами в Центре управления полетом. Не менее удивительным для Бетти было и то, что Спайк выступал с прежним блеском, уснащая свои воспоминания шуточками, на которые, как ей казалось, он был уже не способен. Потом он снова завел речь о том, что жизнь каждого состоит из уходов и возвращений — туда и обратно, туда и обратно, как воды реки Паскуотанк (тогда-то Джефф Клейтон и подумал, что это не так, вспомнив свою поездку в Музей гольфа в Пайнхерсте); и пояснил, что ты всегда возвращаешься к тем вещам и тем местам, откуда начал. Вот он, например, уехал из Уэйдсвилла несколько лет назад, а сейчас снова здесь. Или еще пример: в детстве он регулярно посещал церковь Святой Воды, потом сбился с путей Господних, а сейчас снова вернулся на них — что было для Бетти новостью, хотя и не такой уж неожиданной.

Ну а теперь, продолжал он, перейдем к серьезной части нашего вечера, к тому, ради чего мы собрались (и Бетти затаила дыхание, думая, *форменный псих*, как-то они переварят заявление о том, что Бог велел ему перестать играть в мячик и заняться вместо этого поисками Ковчега). Но Бетти и тут недооценила Спайка. Он ни разу не упомянул об инструкциях, полученных от Всемогущего. Несколько раз он заговаривал о своей вере и о возвращении к родимым местам, сказал пару слов о трудностях на пути осуществления космической программы; так что когда он в конце концов начал говорить о том, как размышлял над всеми этими вещами,

сидя у себя на заднем крылечке и любуясь звездами, и как ему пришло на ум, что пора бы уже отыскать ту колыбель, из которой мы все появились, и что он замыслил организовать экспедицию и найти то, что осталось от Ноева ковчега, который, как известно, лежит на вершине горы Арарат поблизости от турецкой и иранской границ, его слова произвели впечатление вполне осмысленных, логичных. Действительно, для НАСА было бы сейчас самое время объявить о новом проекте — «Арарат»; и слушатели свободно могли сделать вывод, что, занимаясь только космическими полетами, НАСА ведет себя немножко эгоистично, проявляет некоторую приземленность и ограниченность, ведь есть и другие проекты, которые ближе душе и сердцу налогоплательщика и являются более благодатной почвой для применения ее сложнейшей технологии.

Он их охмурил, он запудрил им мозги, подумала Бетти, когда ее муж сел на место, а зал наполнился шумом. Он даже вскользь не помянул о деньгах, он хотел только одного: чтобы они почтили его своим присутствием, пока он будет делиться с ними кое-какими своими мыслями, и если они решат, что он на правильном пути, то он соберется с духом и начнет искать себе помощников. Вот он, мой Спайк, невольно пробормотала Бетти себе под нос, хоть это и был далеко не тот Спайк, за которого она выходила.

— Миссис Тиглер, как вы смотрите на проект вашего мужа? — спросили ее, когда они рука об руку стояли перед фотографом из «Фейетвилл обсервер».

— О, я «за» на сто десять процентов,— ответила она, глядя на Спайка с улыбкой невесты. «Обсервер» процитировал ее слова, и журналист даже не поленился отметить, как великолепно выглядела миссис Тиглер в своем горчичном платье с соответствующей шляпкой (*горчичном!* — сказала Бетти Спайку.— *Можно подумать, что он приправляет свои бифштексы примулами!*). Когда они в тот вечер вернулись домой, Спайк был в приподнятом настроении — таким она не видела его уже с год — и явно не испытывал охоты улизнуть на заднее крылечко с Библией под мышкой; наоборот, он сразу потащил жену в спальню, где они давно уже только спали и ничего больше не делали, и Бетти, не ожидавшая такого поворота событий, была приятно удивлена, а когда она на их особом языке пробормотала что-то насчет ванной, Спайк сказал, что не стоит тратить на это время, и Бетти с удовольствием покорилась.

— Я тебя люблю,— сказал Спайк уже под утро.

Колонка в «Фейетвилл обсервер» породила очерк в «Гринсборо ньюс энд рекорд», который в свою очередь породил краткое сообщение, распространенное агентством печати по разным газетам. Потом наступило затишье, но Спайк не огорчался и вспоминал праздничные костры, на которые любил смотреть в детстве: тебе кажется, что они уже затухают, как вдруг вспыхивает ослепительное пламя; и он был совершенно прав, потому что его имя внезапно просверкало на первых страницах «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк таймс». Потом приехали телевизионщики, за ними опять потянулись газетчики, а потом — иностранное телевидение и иностранные газетчики, и все это время Бетти и Спайк трудились над подготовкой проекта «Арарат» не покладая рук (они снова работали вместе, как в самом начале). Репортерам выдавали подробные списки новых пожертвований, будь то пятьдесят долларов от соседнего религиозного братства или комплект тросов и палаток, дар известного универмага. Скоро на лужайке перед домом Бетти и Спайка был водружен большой деревянный градусник, индикатор успехов кампании; утром каждого понедельника, вооружившись кистью, Спайк сам подымал уровень ртути еще на один дюйм.

Неудивительно, что Спайку и Бетти нравилось сравнивать этот критический период с запуском ракеты: обратный отсчет времени приятно щекочет нервы, момент зажигания вызывает восторг, но пока ты не увидишь, как тяжелая серебряная штуковина приподымается с корточек

и неспешно направляется в небо, ты не можешь быть уверен, что не опозоришься перед всем миром. А такого конца Бетти вовсе не хотелось — особенно теперь, когда она уже решила поддерживать мужа на сто десять процентов. Бетти была не особенно религиозна и в глубине души не знала, как относиться к тому, что произошло со Спайком на Луне, но открывшиеся перед ними возможности упускать не собиралась. После целого года унылого изучения Библии и сочувственных намеков подруг, от которых ее уже начинало трясти, Спайк Тиглер снова заставил всех говорить о себе, и это было совсем неплохо. За проектом «Аполлон» — проект «Арарат»; что может быть естественней этого перехода, этого крошечного алфавитного шажка? И никто ни в одной из газет не рискнул предположить, что у Спайка шариков в голове не хватает, что у него потолок поехал.

Спайк справлялся с делами очень ловко и ни разу не упомянул о том, как Бог выступил в роли президента Кеннеди, дав стартовый толчок всему предприятию. Благодаря этому Бетти легче было заинтересовать людей, которые остались бы в стороне, почуй они, что тут пахнет сдвигом по фазе. Даже губернатор Северной Каролины извинил Тиглеру нахальную попытку проверить на доброкачественность его религиозную платформу и милостиво согласился воссесть во главе стола в Шарлотте, где угощали обедом добровольных взносчиков — сбор по 100 долларов с тарелки. В таких случаях Бетти неизменно надевала платье цвета желтой примулы, хотя ее подруги склонны были полагать, что это необязательно и к тому же идет вразрез с духом моды; но Спайк уверял, будто этот цвет приносит ему удачу. Говоря с журналистами, Спайк иногда просил их вставить в репортаж пару слов о наряде жены — горчичного цвета, как они, разумеется, и сами заметили. Кое-кто из корреспондентов или по лени, или по неумению различать цвета покорно выполнял эту просьбу, а Спайк потом посмеивался, читая газеты.

Участвовал он и в нескольких религиозных передачах. Порой Бетти охватывали дурные предчувствия — это бывало, когда на экране, сразу после рекламной паузы, появлялся очередной торговец в тройке, желающий поделиться со зрителями открытием, что Божья любовь подобна штилю в центре грозного смерча, и один из наших гостей, который побывал там собственной персоной, готов засвидетельствовать, какой там царит покой, но обратите внимание, что христианство есть вера, все время увлекающая тебя вперед, ведь смерч — он не стоит на месте, а сейчас мы дадим слово второму нашему гостю, Спайку Тиглеру, за которым в иные минуты и смерч бы не угнался, а вот теперь он ищет того самого тихого центра, абсолютного покоя, да будет благословен Господь. И Спайк, снова вернувшийся к своему астронавтскому ежику и голубому костюму, вежливо отвечал на вопросы и ни разу не ляпнул, на радость ведущему передачу торговцу, что Господь побывал прямо *вот тут*, внутри его шлема, пошептал ему на ушко. Он был прост, и мил, и искренен, а Бетти Тиглер, спасибо мужу, едва успевала регистрировать взносы, поступающие в фонд проекта «Арарат», не забывая, конечно, платить себе жалованье.

Они создали комитет: его преподобие Ланс Гибсон, личность уважаемая или, по крайней мере, хорошо известная жителям штата,— кое-кто считал его завзятым фундаменталистом, однако денег в разумных количествах он не чурался; доктор Джимми Фулгуд, бывшая баскетбольная звезда своего колледжа, а теперь геолог и любитель подводного плавания, в качестве человека от науки придававший делу необходимую солидность; и сама Бетти, председатель, координатор и казначей. Губернатор согласился фигурировать на бумаге в качестве почетного члена; и единственным сбоем во всем процессе подготовки экспедиции было то, что для проекта «Арарат» не удалось выхлопотать статус благотворительного мероприятия.

Самые начитанные журналисты иногда спрашивали у Спайка, с чего это он так уверен, что Ковчег надо искать на горе Арарат. Разве Коран не

утверждает, что он причалил к горе Йуди, которая находится в нескольких стах километрах от Арарата, поблизости от иракской границы? И разве еврейская традиция не выдвигает свою версию, перенося место высадки Ноя куда-то на север Израиля? В таких случаях Спайк включал свое обаяние на чуть более высокие обороты и говорил, что каждому, разумеется, вольно иметь свое мнение, и если израильский астронавт захочет поискать в Израиле, честь ему и хвала, а если мусульманский астронавт займется поисками в Ираке, он тоже будет молодец. Репортеры-скептики уходили, думая, что Тиглер хоть и простачок с виду, однако же себе на уме.

Другим стандартным вопросом был такой: допустим, что теоретически место, куда причалил Ковчег, действительно можно найти, но вот осталось ли от него что-нибудь — ведь за столько тысяч лет он вполне мог сгнить или быть съеден термитами. Однако Спайка и тут не удавалось смутить, тем более настолько, чтобы он сослался на разговор с Богом: мол, раз Он велел ему найти Ковчег, значит, есть что искать. Вместо этого он советовал журналисту заглянуть в Библию, которую журналист, кажется, забыл прихватить с собой, но которая сообщает, что Ковчег был сделан из дерева гофер, а это, как известно, очень твердый сорт древесины, способный долго сопротивляться и гниению, и термитам; потом Спайк приводил несколько примеров того, как отдельные вещи чудесным образом сохранялись в течение целых веков: скажем, мамонты в ледниках, чье мясо оказывалось таким свежим, словно вы купили его в соседнем магазинчике «Джайент»; и заключал тем, что раз всемогущий Господь иногда консервирует отдельные вещи на целые века, то уж Ковчег-то Он вряд ли обошел Своим вниманием.

Его преподобие Ланс Гибсон консультировался с церковными историками из баптистских университетов насчет того, где, по современным воззрениям, следует искать Ковчег; одновременно с этим Джимми Фулгуд взялся изучать предполагаемые картины воздушных и морских течений в эпоху Потопа. Сравнив результаты, они сочли наиболее вероятным местом область на юго-восточном склоне горы, километрах в двух от вершины. О'кей, согласился Спайк, можно начать и оттуда, но он предложил бы сделать отправной точкой вершину и спускаться кругами, чтобы ничего не пропустить. Сама идея Джимми понравилась, но как альпинист он предвидел здесь слишком много трудностей, и в этом пункте Спайк уступил. В свою очередь Джимми внес следующее предложение: почему бы Спайку не использовать свои связи с НАСА и флотом, чтобы раздобыть комплект хороших рекогносцировочных снимков горы с воздуха,— тогда они увеличили бы их и посмотрели, нет ли там чего похожего на Ковчег. Спайк признал, что это было бы логично, но выразил сомнение в том, что Бог одобрил бы такой короткий путь. Разве их экспедиция не является чем-то вроде христианского паломничества? А ведь в прошлом пилигримы рады были терпеть лишения. Когда речь идет о палатках, веревках, обуви и наручных часах — тут он готов выбирать самое лучшее, но после того как они попадут на гору, хотелось бы все-таки руководствоваться не современной технологией, а чем-нибудь другим.

Пастырские обязанности его преподобия Гибсона не позволяли ему ехать в Турцию, но он собирался обеспечивать духовную поддержку и с помощью молитвы постоянно напоминать Всемогущему о том, что двое других членов комитета заняты угодным Ему делом в далекой стране. Бетти должна была остаться дома и осуществлять связь со средствами массовой информации, чей интерес к их предприятию обещал быть огромным. Собственно экспедиции — Спайку и Джимми — предстояло отправиться в путь летом этого же, 1977 года, в июле. Они решили не пытаться оценить, сколько времени займут поиски. Нечего умничать в очах Господних, заметил его преподобие Гибсон, не то и схлопотать можно.

Доброжелатели, церковные братства и торговые фирмы засыпали их

всяким барахлом; вскрывая посылки, которые исправно приходили в их адрес вплоть до самого отъезда путешественников. Бетти не переставала удивляться тому, как своеобразно понимают цели их проекта некоторые американцы. Отдельные дары явно выглядели не слишком христианскими. Вид комнаты, где складывали походное оборудование, наводил на мысль, что Спайк и Джимми — два нищих беженца, нанятые, чтобы истребить большую часть населения Восточной Турции.

Они оставили дома ворох старой одежды, несколько автоматов, четыре осколочные гранаты, одну гарроту и парочку пожертвованных каким-то фанатиком пилюль со смертельным ядом. Их полезный груз состоял из легкого лагерного снаряжения, витаминов, автоматической японской кинокамеры, кредитных карточек и дорожных чеков «Американ экспресс», кроссовок, пинты виски, теплого белья и носков, большого пластикового пакета с хлопьями из отрубей против запора, таблеток от поноса, прибора ночного видения, средства для очистки воды, сухих продуктов в вакуумной упаковке, подковы на счастье, карманных фонариков, зубной ленты, запасных батареек для электрических бритв, двух снабженных футлярами ножей, достаточно острых, чтобы разрезать планку из дерева гофер или выпустить кишки бандиту, противомоскитного репеллента, крема от загара и Библии. Тайком проверив багаж, Джимми Фулгуд нашел сдутый футбольный мяч и баллончик со сжатым воздухом для его накачки; снисходительно усмехнувшись, он аккуратно вернул их на место. Когда багаж тайком проверил Спайк, он обнаружил коробку презервативов и выкинул их, ни словом не обмолвившись об этом Джимми. Комитет обсудил, что́ взять в качестве подарков для дружественных обитателей Восточной Турции. Бетти предлагала цветные открытки со Спайком на Луне, но Спайк отверг их как не соответствующие случаю: ведь он едет туда исполнять Божью волю, а не рекламировать себя самого. Поразмыслив, они остановили свой выбор на паре сотен значков, выпущенных в память торжественного введения в должность президента Джимми Картера и Первой леди государства, прекрасной Розалин, которые приятель его преподобия Гибсона уступил им со скидкой, да еще спасибо сказал.

Они прилетели в Анкару, где им пришлось взять напрокат смокинги, так как посол устроил в их честь роскошный обед. Спайк скрыл свое разочарование тем, что большинство гостей беседовали с ним об астронавтике и явно не жаждали расспросить его о проекте «Арарат». Когда же в послеобеденной речи Спайк воззвал к их патриотизму и предложил организовать дополнительный сбор пожертвований, это их нимало не тронуло, если не сказать огорчило.

Хотя Бетти по церковным каналам пыталась заказать в Эрзуруме «джип» или «лендровер», ее просьбу поняли неправильно, и потому путешественники отправились дальше в большом «мерседесе». На восток до Хорасана, потом на восток-юго-восток, в Догубаязит. Местность выглядела опрятной, все кругом было как бы светло-зеленое и светло-коричневое одновременно. Они ели спелые абрикосы и раздавали улыбающихся Картеров маленьким детям: некоторых это как будто устраивало, однако другие продолжали вымогать доллары или, на худой конец, шариковые ручки. Всюду попадались военные, что навело Спайка на раздумья относительно стратегической важности этого района. Джимми, оказывается, и понятия не имел о том, что с сотню лет назад Арарат, или Агри-Даги, как упорно называли его здешние жители, был точкой, где сходились три великие империи — Россия, Персия и Турция,— причем каждая из них владела частью горы.

— Несправедливо, что у Советов тоже был кусок,— высказался Джимми.

— Тогда они вроде не были Советами,— ответил Спайк.— А просто русскими, то есть такими же христианами, как и мы.

— Может, это Бог лишил их доли в горе, когда они стали Советами.

— Может, и так,— сказал Спайк, не уверенный, что границы сместились именно тогда.

— Не хотел, видно, оставлять святую гору в руках язычников.

— Да уловил я,— сказал Спайк, слегка раздраженный.— Только, по-моему, турок тоже христианами не назовешь.

— Они не такие язычники, как в Советах.— Джимми не собирался сдаваться при первом же возражении.

— Угу.

По дороге из Догубаязита на север Спайк возгласом попросил Джимми затормозить. Они вышли, и Спайк показал на маленький ручеек. Сомнений не было — вода в нем хоть и медленно, но текла по склону вверх.

— Восславим Господа,— произнес Спайк Тиглер и опустился на колени, чтобы сотворить молитву. Джимми наклонил голову на несколько градусов, однако же остался стоять. Через пару минут Спайк сбегал к «мерсу» и наполнил водой из ручья две пластиковые бутылочки.

— Это край чудес,— заявил он, когда они тронулись дальше.

Джимми Фулгуд, геолог и любитель подводного плавания, обождал несколько миль, а затем попробовал объяснить, что картина, которую они наблюдали, с научной точки зрения не является невозможной. Все зависит от веса и давления водных масс, расположенных выше по горе, и на длинном спуске может попасться небольшой участок подъема, где ручей течет вверх. Насколько ему известно, этот феномен уже описывали прежде. Сидя за рулем, Спайк покладисто кивал.

— Согласен, можно объяснить и так,— сказал он под конец.— Но главный-то вопрос в другом: кто заставил воду течь наоборот? Кто выбрал для этого ручья такое место, чтобы мы могли увидеть его по пути к Арарату? Господь Бог, вот кто. Это край чудес,— повторил он с удовлетворенным кивком.

Спайк всегда казался Джимми жизнерадостным малым; здесь же, в Турции, он превзошел самого себя. Его не смущали ни москиты, ни мелкие неудачи; на чай он давал с истинно христианской щедростью; а едва завидев по дороге корову, высовывался в окошко и орал ее хозяину, а иногда и просто окрестным полям: «Жми, парень, а то выдою!» Временами это начинало действовать на нервы, но поскольку Джимми был на сто десять процентов обеспечен фондами проекта «Арарат», он мирился с восторженным состоянием своего партнера, как мирился бы с его придирками, будь он не в духе.

Они ехали, пока дорога не кончилась и горы, Большой и Малый Арарат, не выросли перед ними во всей красе.

— Прямо как муж с женой, правда? — заметил Спайк.

— Что-что?

— Ну, как брат с сестрой, Адам с Евой. Один здоровый, а рядом такая аккуратненькая, симпатичная. Улавливаешь? *Мужчину и женщину сотворил их.*

— По-твоему, Бог уже тогда имел это в виду?

— Бог все имеет в виду,— сказал Спайк Тиглер.— Всегда.— Джимми Фулгуд поглядел на пару горных силуэтов впереди, и у него чуть не сорвалось с языка, что Бетти Тиглер на дюйм-другой выше Спайка.

Прежде чем прибегнуть к наиболее угодному Господу способу передвижения, то есть отправиться дальше на своих двоих, они рассортировали груз. Виски было оставлено в багажнике, поскольку они догадывались, что негоже употреблять алкоголь на Боговой горе; значки с Картером тоже свое отслужили. Они взяли с собой дорожные чеки, подкову и Библию. Джимми заметил, как Спайк, собираясь, украдкой сунул в рюкзак сдутый футбольный мяч. Затем они двинулись на штурм южных предгорий Большого Арарата — долговязый бывший баскетболист в нескольких шагах позади пышущего энергией астронавта, словно младший офицер под предводительством генерала. Иногда геологические интересы побуждали Джимми остановиться и изучить какую-нибудь скальную породу; но Спайк нетерпеливо тащил его вперед.

Они были на горе одни и наслаждались своим уединением. На

нижних склонах они видели ящериц, выше стали попадаться козероги и обычные дикие козы. Путники миновали оперативные высоты ястребов и канюков и приблизились к снеговой кромке, где уже не было ничего живого — разве что промелькнет вдалеке юркая маленькая лисица. Холодными вечерами, при резком шипящем свете газовой лампы Джимми заполнял дневник экспедиции, а Спайк читал Библию.

Они начали с юго-восточного сектора горы — области, на которую указывали заключившие временное перемирие религия и наука. Они спускались в бесплодные провалы и заглядывали в зияющие пещеры. Джимми не особенно хорошо представлял себе, что надо искать: то ли целый, нетронутый Ковчег — в этом случае они вряд ли пройдут мимо,— то ли какую-нибудь его важную деталь вроде руля или досок обшивки со следами битума, которым конопатили щели.

Первый поверхностный осмотр не дал никаких результатов, что не удивило и не разочаровало их. Они пересекли снеговую границу и двинулись к вершине. В конце подъема небо стало медленно менять цвет; когда путники достигли самой высокой точки, оно превратилось в ярко-зеленое. Чудеса сыпались одно за другим. Спайк преклонил колена, и Джимми на пару секунд присоединился к нему. Прямо под ними была пологая заснеженная долина, которая сбегала вниз ко второму пику. Это место казалось естественной гаванью для Ковчега. Однако они ничего здесь не нашли.

Северный склон горы был расколот гигантским ущельем, тянущимся на несколько тысяч футов. Спайк указал вниз, туда, где оно кончалось, и заметил, что когда-то там был монастырь. Настоящие монахи и все такое. Потом, в 1840 году, на горе произошло страшное землетрясение. Ее здорово потрепало, и церквушка развалилась, и поселок рядом с ней — он вроде бы назывался как-то на А — тоже был разрушен. Все, ясное дело, погибли, продолжал Спайк; если не сразу, то очень скоро. Видишь эту расселину? Ну так вот, дня через четыре-пять после землетрясения по ней поползла вниз лавина из снега и воды. И уж она-то сметала на своем пути все подряд. Настоящая кара Господня. Стерла монастырь и поселок с лица земли.

Слушая рассказ Тиглера, Джимми Фулгуд серьезно кивал в такт своим мыслям. Катастрофа, думал он, случилась в ту пору, когда этот кусок горы принадлежал Советам. И пускай они тогда были просто русские и христиане — все равно это показывает, что Бог имел на них зуб еще до того, как они стали Советами.

Их поиски продолжались три недели. Джимми высказал идею, что Ковчег может быть погребен глубоко в толще льда, который венчает гору; и Спайк согласился, что это возможно, но прибавил, что даже в этом случае Бог, конечно, нашел бы способ помочь им обнаружить его. Ведь Он же не стал бы посылать их на гору, а потом прятать то, на поиски чего они были посланы: Бог в такие игры не играет. Это показалось Джимми убедительным. Они осматривали склоны невооруженным глазом, а также с помощью бинокля и инфракрасного прибора ночного видения. Спайк ждал какого-нибудь знака. Но поймет ли он его тайный смысл? Может быть, надо искать там, куда дует ветер. Они пошли туда, куда дул ветер. Опять ничего.

Каждый день солнце нагревало лежащую под ними равнину, теплый воздух поднимался с нее и образовывал вокруг вершины горы облачный нимб, скрывающий от их глаз нижние склоны; и каждую ночь, под воздействием холода, облако рассеивалось. Через три недели они спустились к своей машине, чтобы пополнить запасы еды. Они съездили в ближайший поселок, и Спайк отправил Бетти открытку с сообщением «Ничего — это уже хорошо», слегка ее озадачившим. Потом они вернулись на гору и провели в поисках еще три недели. За это время луна успела округлиться, и Спайк глядел на нее вечерами, вспоминая, как там, в зыбучей пыли, зародилось их нынешнее предприятие. Как-то ночью, стоя бок о бок с ним, Джимми тоже рассматривал этот рябой шар

кремового цвета. «Ну точно как сладкий пирог»,— заметил он с беспокойным смешком. «Вблизи она больше смахивает на грязный пляж»,— откликнулся Спайк. Он продолжал смотреть вверх, ожидая знака. Знака не было.

Только когда они поднялись на гору в третий раз, обещавший быть в этом году последним, Спайк сделал свою находку. Они были на две-три тысячи футов ниже вершины и только перебрались через предательскую осыпь, как увидели две темнеющие рядышком пещеры — словно Бог ткнул в скалу двумя пальцами. Джимми Фулгуд, по-прежнему стойко переносивший неизлечимый оптимизм своего спутника, остался снаружи, а бывший астронавт проворно нырнул в одну из пещер; вскоре тишину нарушил усиленный эхом вопль. Сначала Джимми подумал о медведях — даже об ужасном снежном человеке,— однако продолжительный вопль почти без задержки дыхания перешел в серию коротких спортивных кличей.

Джимми обнаружил главу экспедиции в пещере, недалеко от входа: коленопреклоненный, Спайк Тиглер творил молитву. Перед ним был распростерт человеческий скелет. Джимми опустился рядом. Даже на коленях бывший баскетболист сохранял свое преимущество в росте. Спайк выключил фонарик, Джимми последовал его примеру. Несколько минут в холодной темноте пещеры царило глубокое молчание, затем Спайк произнес: «Мы нашли Ноя».

Джимми ничего не ответил. Спустя некоторое время они снова включили фонарики и с помощью двух лучей света благоговейно исследовали лежащий на камнях скелет. Он был обращен ногами ко входу и казался нетронутым, во всяком случае на первый взгляд. Кое-где между костями застряли лоскутки материи — одни белые, другие сероватые.

— Восславим Господа,— сказал Спайк Тиглер.

Они разбили палатку в нескольких ярдах ниже по склону, а затем осмотрели вторую пещеру. Спайк втайне надеялся, что они отыщут Ноеву жену или, может быть, бревно от Ковчега, но его надежды не оправдались. Позже, когда стемнело, в их палатке послышалось шипение сжатого воздуха, а потом, стоя на скалах Большого Арарата, Спайк Тиглер послал свой футбольный мяч в неуверенные руки Джимми Фулгуда. Раз за разом этот спортивный снаряд шлепался прямо в большие ладони бывшей баскетбольной звезды. Возвращая мяч, Джимми нередко мазал, но Спайка это не смущало. В тот вечер он бросал и бросал, пока совсем не похолодало; к концу разминки их фигуры были озарены только светом поднявшейся луны. Но прицел Спайка по-прежнему оставался точен: мяч снова и снова прилетал к Джимми, словно ручная летучая мышь. «Эй, Спайк,— в какой-то момент крикнул он,— у тебя там что, прибор ночного видения?» — и из густых сумерек, где маячил едва различимый силуэт его партнера, донесся негромкий смешок.

После еды Спайк взял фонарик и опять ушел к Ноевой могиле — так он окрестил заветное место. То ли суеверие, то ли соображения такта помешали Джимми последовать за ним. Примерно часом позже Спайк сообщил, что, судя по положению скелета, умирающий Ной мог видеть в отверстие пещеры Луну — ту самую Луну, на которой совсем недавно стоял Спайк Тиглер. «Восславим Господа»,— повторил он, застегивая палатку на ночь.

Вскоре стало ясно, что оба не спят. Джимми тихонько кашлянул.

— Спайк,— с легкой опаской произнес он.— Знаешь... ну.... мне кажется, тут все не так просто.

— Непросто? А по-моему, *чудесно!* — ответил Спайк.

— Ну да, чудесно. Но есть, понимаешь, одна загвоздка.

— Какая загвоздка, Джимми? — Его тон был приподнятым, миролюбивым, чуть ли не покровительственным — тоном квотербека, который знает, что не подведет свою команду.

Джимми заговорил, осторожно подбирая слова, сам еще не зная, во что верить:

— Ну... допустим, я просто думаю вслух, Спайк, и допустим, на меня напала охота посомневаться.

— Отлично.— Ничто не могло омрачить Спайку этот день. Смесь бурного восторга и облегчения напомнила ему миг посадки космического корабля на воду.

— Мы же ищем Ковчег, правильно? Тебе же... *велели* найти Ковчег.

— Ага. И найдем. Может, другим разом.

— Но мы искали Ковчег,— упорствовал Джимми.— Нам... тебе... *велели* найти Ковчег.

— Боролись за серебро, выиграли золото.

— Ну да. Я только подумал... разве Ной так никуда и не делся, когда сошел с Ковчега? То есть по Библии-то ведь он еще несколько сот лет прожил?

— Ага, точно. Триста пятьдесят. Помнишь, когда мы были на вершине, я говорил тебе про поселок. Аргури. Как раз там Ной и осел. Выращивал виноград. Обзавелся хозяйством. Там была его первая ферма.

— Так это *Ноев* поселок?

— Точно. В советском секторе,— поддразнил приятеля Спайк.

Теперь Джимми еще больше запутался.

— Выходит, Бог наслал землетрясение на Ноев поселок?

— Значит, было за что. Зря-то не стал бы. Да ладно, какая разница. Главное, что Ной там жил. Может, перебрался потом еще куда-нибудь, а может, и нет. Но умирать-то он запросто мог вернуться на Арарат — это ж вполне естественно. Почувствовал гнет Времени, и его потянуло сюда. Может, он приметил эту пещерку, еще когда сошел с Ковчега. И решил: как почует, что его час близко, так подымется на гору в знак смирения пред Господом и благодарности за то, что Он его спас. Типа слонов в джунглях.

— Спайк, а эти кости в пещере — они не... как бы получше сказать... они не слишком хорошо сохранились? Я сейчас работаю за адвоката дьявола, понимаешь.

— Нормально, Джимми, все путем.

— Но они правда как-то уж слишком хорошо сохранились?

— Джимми, тут же на каждом шагу чудеса и знамения. Было бы странно, если б кости *не* сохранились. Ной ведь у Бога на особом счету. И потом, сколько ему было, когда он помер? Девятьсот пятьдесят. Он был праведник перед лицом Божьим. И раз его костяк исправно носил хозяина почти тысячу лет, то вряд ли он будет разлагаться в обычном темпе, как по-твоему?

— Это ты прав, Спайк.

— Какие еще вопросы? — Он словно радовался сомнениям Джимми, твердо зная, что примет и обработает любой посланный им мяч.

— Ну хорошо, а что конкретно мы теперь будем делать?

— Мы расскажем об этом миру, вот что мы будем делать. И мир возрадуется. Благодаря нашему открытию многие души обратятся к истинной вере. И здесь, на горе, снова построят церковь, возведут ее над Ноевой могилой.— Может быть, в форме Ковчега. Или даже в форме ракеты «Аполлон». Это будет логичней; тогда круг замкнется.

— Насчет последствий я с тобой согласен, Спайк. Но можно я тебе еще кое-что скажу? Мы с тобой люди верующие.

— И люди науки тоже,— ответил геологу астронавт.

— Вот-вот. Как люди верующие, мы, понятно, хотим уберечь нашу веру от всякой лишней клеветы.

— Ясное дело.

— Так, может, прежде чем объявлять о своем открытии, мы как люди *науки* проверим то, что нашли как верующие?

— В смысле?

— В смысле не будем подымать большой кипеж, пока не проведем кое-каких лабораторных исследований Ноевой одежды.

На другой половине палатки воцарилось молчание: Спайк в первый раз сообразил, что обитатели Земли вовсе не обязательно примутся дружно салютовать им сомкнутыми над головой руками, как это было по возвращении с Луны. Наконец он сказал:

— Молодцом, Джимми. Заодно ты навел меня на мысль, а нету ли загвоздки с самой этой одеждой.

— О чем ты?

Теперь роль скептика перешла к Спайку.

— Ну, я только предполагаю. Помнишь историю с наготой Ноя? Как сыновья его прикрыли? Мы, конечно, можем быть уверены, что Ноевы кости у Бога на особом счету, но вот относится ли то же самое и к его одежде? — Он умолк, потом заговорил снова: — По-моему, нечего нам играть на руку всяким занудам типа Фомы неверующего. Что, если Ной был положен здесь в погребальном уборе, а через несколько сот лет этот убор рассыпался в прах? А после приходит какой-нибудь паломник — может, он еле пробрался сюда через языческие племена — и видит мощи. Вроде как опять повторяется история с Ноевой наготой. И паломник отдает Ною *свою* одежду — это объясняет, почему он так и не вернулся домой и не рассказал о своей находке. Но тогда мы можем здорово наколоться, если будем определять сроки углеродным методом.

— Ты прав,— сказал Джимми. Наступила долгая тишина, словно каждый из них полуосознанно надеялся, что следующий логический шаг сделает другой. Наконец Джимми его сделал.

— Интересно, как на это посмотрит закон.

— М-м-м.— В голосе Спайка не слышалось неодобрения.

— Как ты думаешь, кому принадлежат Ноевы кости? Кроме Всемогущего Господа,— поспешно добавил Джимми.

— Пока суды в этом разберутся, они могут не один год тянуть резину. Ты ж знаешь этих юристов.

— Ясное дело,— сказал Джимми, который еще ни разу не бывал в зале суда.— По-моему, Бог вряд ли одобрит нас, если мы будем так уж стараться, чтобы все было по закону. Это как искать помощи у кесаря, типа того.

Спайк кивнул и понизил голос, хотя они были на Ноевой горе одни:

— Но ведь тем-то ребятам немного нужно, а?

— Да. Да. По-моему, немного.— Джимми очнулся от грезы наяву: ему представлялось, как вертолет Военно-морских сил США одним махом забирает отсюда всю петрушку.

Ничего больше не обсуждая, бывший астронавт и любитель подводного плавания вернулись в пещеру и при свете дрожащих фонариков стали решать, какие части Ноева скелета умыкнуть из Восточной Турции. Завязалась незримая борьба между благочестием, соображениями удобства и алчностью. Наконец они выбрали маленькую косточку от левой руки и шейный позвонок, который выпал со своего места и закатился за правую лопатку. Джимми взял кусочек пальца, а Спайк — отвалившийся позвонок. Они сошлись на том, что лететь домой вместе было бы безумием.

Спайк направился через Атланту, но репортеры все-таки выследили его. Нет, пока он ничего сказать не может. Да, идея проекта «Арарат» себя не посрамила. Нет, никаких затруднений. Нет, доктор Фулгуд летит отдельно, ему надо было уладить кое-какие дела в Стамбуле. Что за дела? Да, в свое время будет пресс-конференция, и у Спайка Тиглера припасено к этому дню кое-что особенное, есть приятные новости. А как вы себя чувствуете (в том самом наряде цвета примулы), миссис Тиглер? Отлично, я за мужа на сто десять процентов, счастлива, что он наконец вернулся.

По размышлении и после продолжительных молитв его преподобие Гибсон согласился подвергнуть две частички Ноева скелета научному анализу. Они отослали позвонок и кончик пальца в Вашингтон с надежным посредником, якобы нашедшим их в Греции. Бетти ждала, что счастливая звезда Спайка вот-вот снова вспыхнет на небосклоне.

Вашингтон сообщил, что возраст присланных на исследование костей составляет сто пятьдесят плюс-минус двадцать лет. В качестве дополнительной информации было указано, что позвонок почти наверняка женский.

Морской туман апатично расползается над черной водой, мешая семичасовому парому идти от мыса Хаттерас к острову Окракок. Прожектор освещает парому путь. Каждый вечер ему опять, будто впервые, приходится искать дорогу. Огни-ориентиры, зеленые, белые и красные, помогают суденышку преодолевать его непростой маршрут. Поеживаясь от холода, вы поднимаетесь на палубу и глядите вверх; но на сей раз туман мешает видеть звезды, и невозможно понять, есть ли в небе луна. Вы снова поводите плечами и возвращаетесь в прокуренную каюту.

А сотней миль западнее, в ресторане «Лунная пыль», высоко подняв пластиковую бутылочку с водой из текущего в гору ручья, Спайк Тиглер объявляет о старте второго проекта «Арарат».

10. Сон

Мне снилось, что я проснулся. Это самый старый сон, и я только что видел его опять. Мне снилось, что я проснулся.

Я лежал в своей постели. Сначала это показалось мне немного странным, но по секундном размышлении я понял, что логика тут есть. В чьей же еще постели я должен был проснуться? Озираясь, я пробормотал себе под нос: так-так-так. Не очень-то умно, согласен. Но разве, когда случается что-нибудь экстраординарное, мы всегда находим нужные слова?

В девять постучали, и вошла женщина — спиной вперед и немножко в сторону. Это должно было бы выглядеть неуклюже, но нет: у нее это получилось очень ловко и элегантно. Она держала в руках поднос, оттого и вошла так. Когда она повернулась, я увидел, что на ней форменное платье. Медсестра? Нет, она больше походила на стюардессу какой-то неведомой авиакомпании.

— Я ваша горничная,— сказала она, чуть улыбнувшись, словно ей было непривычно представляться так или мне непривычно слышать; или и то, и другое вместе.

— Горничная? — повторил я. Там, откуда я явился, такое бывает только в кино. Я сел в кровати и обнаружил, что на мне ничего нет. Куда подевалась моя пижама? Это было что-то новое. Новым было и еще одно: когда я заметил, что сижу на кровати голый до пояса и женщина видит мою, как бы вам сказать, нахальную наготу, меня это ни капли не смутило. Приятный пустячок.

— Ваша одежда в шкафу,— объяснила она.— Можете не спешить. У вас впереди целый день. И,— добавила она, улыбнувшись пошире,— весь завтрашний тоже.

Я перевел взгляд на поднос. Дайте я расскажу вам про это чудо. Именно о таком завтраке я мечтал всю жизнь. Во-первых, грейпфрут. Ну, вы знаете, что за штука грейпфрут: как он брызжет соком вам на рубашку и выскальзывает из-под руки, пока его не прижмешь вилкой или еще чем-нибудь, как мякоть ни за что не хочет отставать от этих матовых перегородок, а потом вдруг выдирается вместе с белыми несъедобными волокнами, какой он всегда бывает кислый, но перспектива насыпать на него сахару вас почему-то не вдохновляет. Верно я говорю? А теперь послушайте, каким был *этот* грейпфрут. Для начала, мякоть у него оказалась не желтая, а розовая, и каждая долька была уже аккуратно отделена от своей оболочки. Сам плод заранее пришпилили к тарелке какой-то специальной вилочкой, так что мне не надо было держать его или даже трогать. Я поискал глазами сахар, но только по привычке. Вкус его распадался на два отдельных ощущения — за бодрящей свежестью сразу следовала благоуханная сладость; и все эти маленькие каплевидные

сегментики, размером с головастиков, как будто лопались во рту по очереди. Да что говорить — это действительно был грейпфрут моей мечты.

Словно император, я оттолкнул выеденную шкурку прочь и снял выпуклую серебряную крышку с фигурного блюда. Конечно, я знал, что увижу под ней. Три ломтика поджаренного бекона без хрящей и корочки — хрустящее сало еще рдеет, точно угли праздничного костра. Яичницу из двух яиц: желтки молочного цвета, потому что на сковородке их вовремя полили жиром, а белок по краям переходит в тончайшее золотистое кружево. Приготовленный в гриле помидор, про который я могу сказать только, каким он не был. Это не был сморщенный мешочек волокнистой красной бурды с семечками и несъедобной белесой сердцевиной; нет, он был плотен, везде одинаково пропечен, легко резался и имел вкус — это я отчетливо помню — вкус помидора. И сосиска тоже — не презерватив, начиненный тепловатой кониной, а сочная, темно-коричневая... сосиска, одним словом. Все прочие сосиски, которые я ел (и думал, что люблю) в предыдущей жизни, лишь подражали этой; они только пробовались на роль, но были далеки от того, чтобы получить ее. Еще здесь стояла маленькая тарелочка в форме рогалика с такой же серебряной крышечкой. Я открыл ее: ну да, там лежали отдельно поджаренные корочки от бекона — грызи на здоровье.

Тосты, мармелад — вообразите их себе сами, попытайтесь нарисовать их подобие в своих мечтах. Но вот о чайнике я расскажу непременно. Чай, конечно, был замечательный, будто с личных плантаций какого-нибудь раджи. А что до чайника... Когда-то, несколько лет тому назад, я ездил в Париж по турпутевке, в стоимость которой включались все расходы. Я отбился от остальных и забрел туда, где живут настоящие богачи. Во всяком случае, туда, где они едят и делают покупки. На углу улицы я заметил кафе. Оно выглядело не особенно шикарным, и я уже было собрался зайти к ним перекусить. Но не зашел, потому что увидел там посетителя — он сидел за столиком и пил чай. Когда он наливал себе очередную чашку, я обратил внимание на одну мелочь, показавшуюся мне чуть ли не квинтэссенцией роскоши: его чайник был снабжен ситечком, прикрепленным к носику тремя изящными серебряными цепочками. Когда этот человек наклонил посудину, чтобы налить себе чаю, ситечко тоже отклонилось, и струя из носика попала как раз туда, куда надо. Мне трудно было поверить, что когда-то человеческая мысль всерьез занялась проблемой, как избавить этого гоняющего чаи джентльмена от непосильного труда держать обычное ситечко свободной рукой. Я покинул это место, испытывая нечто вроде праведного негодования. Теперь на моем подносе стоял чайник из фешенебельного французского кафе. Ситечко было подвешено к его носику на трех серебряных цепочках. И я вдруг понял, в чем тут соль.

После завтрака я поставил поднос на столик рядом с кроватью и отправился к шкафу. Там была вся моя любимая одежда. Спортивная куртка, которая не разонравилась мне и после того, как знакомые стали говорить, вот странная штука, ты что, на барахолке ее купил, еще лет двадцать, и она опять будет в моде. Те самые плисовые штаны, которые моя жена выбросила, потому что они безнадежно протерлись на заду; но кто-то все-таки умудрился зачинить их, и они стали почти как новые, хотя и не настолько, чтобы чувствовать себя в них неуютно. Мои рубашки приветливо простирали ко мне рукава, да оно и понятно, ведь их в жизни так не баловали: каждая на своих персональных плечиках, обтянутых вельветом. Тут были ботинки, о кончине которых я сожалел; заново заштопанные носки; галстуки, виденные мной на витринах. Пожалуй, вы бы такому гардеробу не позавидовали, но дело было не в этом. Он вселил в меня уверенность. Теперь я опять стану самим собой. Более чем самим собой.

Рядом с моей кроватью висел шнурок с кисточкой — видимо, звонок, который я сразу не приметил. Я дернул за него, потом вдруг слегка

застеснялся и снова нырнул под простыни. Когда появилась моя сестричка-стюардесса, я похлопал себя по животу и произнес:

— Знаете, я бы и еще разок съел то же самое.

— Ничего удивительного,— ответила она.— Я так и думала, что вы это скажете.

Я провалялся в постели весь день. У меня был завтрак на завтрак, завтрак на ленч и завтрак на обед. Я был доволен. О ленче я позабочусь на следующий день. Вернее, на следующий день мне не надо будет заботиться о ленче. На следующий день мне ни о чем не надо будет заботиться. Между завтраком-ленчем и завтраком-обедом (выдумка с ситечком начинала мне по-настоящему нравиться — пока наливаешь, свободной рукой можно есть булочку) я как следует поспал. Потом принял душ. Можно было залезть в ванну, но мне сдается, что за свою жизнь я просидел в ванне не один десяток лет, поэтому я выбрал душ. Я обнаружил стеганый халат, на нагрудном кармане которого были золотой тесьмой вышиты мои инициалы. Сидел он хорошо, но буквы как-то уж слишком лезли в глаза. Не для того я сюда попал, чтобы залупаться, как кинозвезда. Когда я смотрел на эти золотые завитушки, они вдруг исчезли. Я мигнул, а потом гляжу — их уже нет. С обычным карманом халат стал гораздо удобней.

На следующий день я проснулся — и снова позавтракал. Этот завтрак оказался не хуже трех предыдущих. Проблема завтрака явно была решена.

Когда Бригитта пришла за подносом, она спросила:

— Как насчет шоппинга?

— То, что надо.— Она словно прочла мои мысли.

— Пойдете в магазин сами или займетесь этим тут?

— Сам пойду,— сказал я; по правде говоря, я не совсем ее понял.

— Отлично.

Мой шурин как-то провел десять дней во Флориде. Вернувшись, он сказал: «Когда я помру, не надо мне вашего рая — дайте мне походить по американским магазинам». На это, второе утро я начал понимать, что он имел в виду.

Когда мы добрались до супермаркета, Бригитта спросила, как я предпочитаю передвигаться внутри: пешком или ездить. Я ответил, лучше поедем, это звучит заманчиво, и она ничуточки не удивилась. Если подумать, работа у нее довольно скучная — мы же, наверно, все ведем себя примерно одинаково, правда? В общем, мы поехали. Там у них такие тележки с мотором и металлической сеткой — они носятся по магазину, как автомобильчики в аттракционе, только друг с другом не сталкиваются, потому что на них установлен какой-то электронный глаз. Когда вам уже кажется, что вы сейчас врежетесь в того, кто едет навстречу, ваша тележка сворачивает и огибает его стороной. Это здорово интересно — пытаться устроить крушение.

Торговля организована очень удобно. У вас есть пластиковая карточка, и вы опускаете ее в щель рядом с товаром, который хотите купить, а потом пробиваете нужное количество. Через секунду-две ваша карточка возвращается. Доставка товаров (все они продаются в кредит) автоматическая.

Я славно покатался на своей тележке. Помню, когда я ходил по магазинам прежде, в те давние дни, я иногда встречал детей, которых родители возили в таких тележках, точно в клетках; и мне было завидно. Теперь я уже не завидовал этим детям. И, бог ты мой, сколько же я накупил разных разностей! Я практически очистил их прилавки от розовых грейпфрутов — так мне, во всяком случае, показалось. Я купил завтрак, я купил ленч, я купил обед, я купил того, что можно погрызть перед ленчем, и сладостей к чаю, и легких закусок, которые едят перед обедом, и того, чем можно потешить себя, если проснешься ночью. Я купил фруктов, названий которых не знал, и овощей, которых никогда раньше не видел; набрал необычных по форме кусков мяса, принад-

лежащего известным мне животным, и знакомых на вид вырезок из туш животных, которых никогда прежде не ел. В австралийской секции я нашел отбивную из крокодильего хвоста, филе буйвола, terrine de kangarou [1]. Все это я купил. Отдел для гурманов серьезно пострадал от моего набега. Сублимированное суфле из омара с вишней — разве я мог устоять против такого?

А что касается стеллажей с выпивкой... Мне и в голову не приходило, что опьянения можно достигнуть столькими способами. Вообще-то я больше люблю пиво и крепкие напитки, но мне не хотелось демонстрировать предвзятость, так что я купил еще несколько корзин с вином и коктейлями. Этикетки на бутылках оказались очень полезными: там было подробно изложено, насколько пьяным сделает вас содержимое, с учетом таких факторов, как пол, вес и количество жира в теле. Нашлась одна марка алкоголя (прозрачная жидкость) с очень неряшливой этикеткой. На ней значилось: «Очумеловка (производство Югославии)», и дальше: «Эта бутылка сделает вас пьянее, чем когда бы то ни было». Не мог же я не захватить домой хотя бы ящик такого пойла!

Я хорошо потрудился в то утро. Пожалуй, для утра лучшей работы и не придумать. Между прочим, я не советую вам задирать нос. Вряд ли ваш выбор сильно отличался бы от моего. Ну ладно, допустим, вы не пошли бы в магазин — а что бы вы тогда выбрали? Захотели бы встретиться со знаменитыми людьми, заняться сексом, поиграть в гольф? Число вариантов конечно — главное, ни о чем не забыть, и то попробовать, и се. Пускай я сначала пошел в магазин — что ж, значит, такой я человек. Я, например, не стал бы задирать перед вами нос, если б вы решили первым делом повидать знаменитых людей, или заняться сексом, или поиграть в гольф. Я тоже все это перебрал, только потом. Говорю ведь — не такие уж мы разные.

Вернувшись домой, я почувствовал себя... не то чтобы усталым, а каким-то пресыщенным, что ли. Мне понравилось гонять на тележке; теперь я вряд ли когда-нибудь стану ходить по магазинам пешком, да и то сказать — по-моему, в супермаркете я вообще не видал ни одного пешего. Затем наступило время ленча, и Бригитта принесла завтрак. После еды я вздремнул. Я ждал, что мне будут сниться сны — раньше мне всегда снились сны, стоило только прикорнуть днем. Но снов не было. Это показалось мне странным.

Меня разбудила Бригитта — пора было пить чай с моим любимым печеньем. Это было печенье со смородиной, изобретенное специально для таких, как я. Может быть, вы другого мнения на этот счет, но меня всю жизнь огорчало, что в печенье со смородиной недокладывают смородины. Разумеется, *слишком* много смородины тоже ни к чему, иначе у вас получится не печенье, а просто комок ягод, но я всегда считал, что пропорцию надо слегка изменить. В пользу смородины, конечно,— чтоб было примерно фифти-фифти. Теперь я припоминаю, что это печенье как раз так и называлось: «Фифти-фифти». Я купил три тысячи коробок.

Я развернул газету, которую Бригитта заботливо положила на поднос, и едва не пролил чай. То есть я его пролил — только на такие вещи можно больше не обращать внимания. На первой полосе была сенсационная новость. Что ж, этого следовало ожидать, правда? «Лестер-Сити» выиграла Кубок футбольной ассоциации. Нет, кроме шуток, «Лестер-Сити» так-таки взяла и выиграла Кубок футбольной ассоциации! Да вы небось не поверите. Хотя, может, и поверите — в том случае, если ничего не смыслите в футболе. Но я-то кое-что понимаю в футболе, а за «Лестер-Сити» болею всю жизнь, и если б кто-нибудь сказал мне, что они получили Кубок, я засмеялся бы ему в глаза. Не поймите меня превратно, я люблю свою команду. Это хорошая команда, иногда даже очень хорошая, но им, по-моему, никогда не удавалось осилить ведущие клубы. Чемпионы второй группы — это пожалуйста, сколько угодно, но в пер-

---

[1] Паштет из кенгуру *(франц.)*.

вой группе они чемпионами не были. Однажды заняли второе место — да, было такое, ничего не скажешь. Но вот насчет Кубка... ведь это факт, неоспоримый факт, что ни разу с тех пор, как я начал болеть за «Лестер-Сити» (и ни разу *до* того), они не выигрывали Кубка футбольной ассоциации. После войны они довольно регулярно выходили в финал — и не менее регулярно уступали трофей сопернику. 1949, 1961, 1963, 1969 — все это черные годы, и один-два из тех проигрышей, на мой взгляд, можно приписать чистому невезению, особенно я бы выделил... Ладно, вижу, что вы не настолько интересуетесь футболом. Но это неважно, если вы поняли главное: что «Лестер-Сити» никогда не выигрывала ничего, кроме фиги с маслом, а теперь, впервые в истории клуба, им достался Кубок футбольной ассоциации. Газета сообщала, что матч заставил-таки зрителей поволноваться: «Сити» выиграла 5:4 в дополнительное время, причем до того нагоняла противника в счете ни много ни мало четыре раза. Какой захватывающий спортивный спектакль! Какое блестящее сочетание мастеров и воли к победе! Я был горд своими ребятами. Завтра Бригитта раздобудет мне видеозапись, в этом я не сомневался. А покамест решил сопроводить свой обеденный завтрак глоточком-другим шампанского.

Газеты привели меня в настоящий восторг. Пожалуй, лучше всего я запомнил именно газеты. «Лестер-Сити» выиграла Кубок футбольной ассоциации — ах да, ведь об этом я уже говорил. Врачи нашли средство от рака. Моя партия неизменно побеждала на всеобщих выборах [1] до тех пор, покуда всем не стало ясно, что ее идеология безупречна, и тогда большинство оппозиции перешло на нашу сторону. Старушки каждую неделю богатели на своих нефтяных вкладах. Насильники раскаивались, получали свободу и вели образцово-показательную жизнь. Летчики научились избегать воздушных столкновений. Ни у одной страны не осталось ядерного оружия. Английский менеджер решил, что вся «Лестер-Сити» en bloc будет представлять Англию в розыгрыше Кубка мира, и они привезли домой трофей Жюля Риме (блестяще победив в финале Бразилию со счетом 4:1). Когда вы читали газету, текст бесконечно разворачивался у вас перед глазами, и новостям, соответственно, тоже не было конца. Дети опять стали невинными созданиями; мужчины и женщины прекрасно ладили друг с другом; ни у кого не возникало нужды пломбировать себе зубы; а женские колготки и не думали рваться.

Чем еще я развлекался на этой первой неделе? Как я уже говорил, играл в гольф, занимался сексом, встречался со знаменитыми людьми и все время прекрасно себя чувствовал. Начну хотя бы с гольфа. Вообще-то я никогда толком не умел играть, но, бывало, шлепал по мячу на общественном поле, где травяное покрытие смахивает на кокосовые циновки и никому не приходит в голову затыкать обратно вырванные комья дерна, потому что на лужайках давным-давно живого места нет,— все равно не разберешь, откуда вылетел твой комок. Но я смотрел по телевизору соревнования на многих известных полях и всегда хотел поиграть... ну, скажем, в гольф моей мечты. И когда, стоя у начальной метки, я в первый раз нанес полновесный удар драйвером [2] по мячу и увидел, как мяч пролетел ярдов двести, я действительно почувствовал себя на седьмом небе. Все клюшки были мне точно по руке; роскошные лужайки мягко пружинили и подавали мне мяч, словно официант — коктейль на подносе; а мой мальчик для гольфа (раньше у меня никогда не было мальчика, но этот вел себя со мной, как с Арнольдом Палмером) не скупился на полезные советы, не проявляя при этом ни малейшей навязчивости. На самом же поле чего только не встречалось — ручьи, озера и старинные мостики, гряды прибрежных дюн, как в Шотландии, заросли цветущего кизила и азалии из Огасты, буковые рощи, сосны, можжевельник и папоротник. Да, препятствий здесь хватало; но их все-таки можно было одолеть. Тем солнечным утром я закончил партию

[1] В Палату общин.

[2] Одна из разновидностей клюшек для гольфа.

за 67 ударов — это было на пять больше, чем полагается хорошему игроку, и на двадцать меньше моего личного рекорда на общественном поле.

Я был так доволен своими спортивными успехами, что, придя домой, спросил Бригитту, не займется ли она со мной сексом. Она сказала, конечно, с удовольствием, я очень симпатичный, и хотя она видела только верхнюю половину, она не сомневается, что и нижняя в прекрасном рабочем состоянии; есть, правда, маленькие неувязочки, а именно: она горячо любит другого, и перед приемом на работу ее предупреждали, что половые связи с новоприбывшими караются увольнением, и у нее слабое сердце, так что перенапряжение может оказаться опасным, но если я дам ей пару минут, она прямо сейчас быстренько сбегает и наденет какое-нибудь белье посексуальней. Ну ладно, наедине с собой я взвесил все плюсы и минусы того, что мне предлагается, и когда она вернулась, вся благоухающая и с таким низким вырезом, я сказал ей, что хорошенько подумал и продолжать нам, по-моему, все же не стоит. Она была весьма разочарована и села напротив и скрестила ноги (зрелище, скажу я вам, потрясающее), но я остался непреклонен. И только потом — собственно говоря, на следующее утро — сообразил, что это *она* дала мне от ворот поворот, а не я ей. Мне еще никогда не отказывали таким приятным способом. Они тут умеют даже плохое превращать в хорошее.

Я прикончил под осетра с чипсами двухлитровую бутыль шампанского (похмелья здесь тоже не бывает) и уже погружался в сон, вспоминая, как ловко мне удалось подкрутить мяч у шестнадцатой лунки, чтобы не дать ему сойти с той верхней зеленой террасы, но тут почувствовал, как кто-то приподнимает мое одеяло. Сначала я решил, что это Бригитта, и немного расстроился, а как же ее сердце, и риск потерять работу, и любовь к другому, но когда я обнял ее и прошептал: «Бригитта?» — мне ответили: «Нет, не Бригитта», и голос был чужой, с такой хрипотцой и иностранным акцентом, а потом и другие признаки убедили меня, что это не Бригитта, хотя и Бригитта была особой, прелестною во многих отношениях. А то, что случилось после — под словом «после» я подразумеваю отнюдь не короткий промежуток времени,— я даже не берусь описать. Скажу лучше так: утром этого дня я завершил партию в гольф за 67 ударов, что было на пять больше показателя хорошего игрока и на двадцать меньше моего личного рекорда, а ночью добился примерно столь же почетного результата. Надеюсь, вы понимаете, что я не хочу критиковать по этой части свою горячо любимую жену; просто когда столько лет уже позади, а тут еще и дети, и усталость, вам ведь не может не быть друг с другом малость скучновато. Все это по-прежнему очень мило, но ведь вы как бы делаете что-то обязательное, не правда ли? Но вот чего я раньше не знал — так это того, что если в одних случаях секс изматывает обоих партнеров, то в других, наоборот, только придает им обоим сил. Ого! Я и не думал, что мне это по плечу! Я не думал, что это вообще кому-нибудь по плечу! Казалось, мы оба инстинктивно понимали, чего хочет другой. Да, такого мне испытывать не приходилось — надеюсь, у вас не сложится впечатления, будто я критикую свою горячо любимую жену.

Я опасался, что наутро встану усталым, но у меня опять не было ничего, кроме этого приятного чувства насыщения, как после шоппинга. Может, мне это просто приснилось? Нет: два длинных рыжих волоса у меня на подушке подтверждали, что все произошло наяву. А их цвет лишний раз доказывал, что моей ночной гостьей была не Бригитта.

— Хорошо спали? — спросила она, войдя ко мне в комнату с завтраком; в ее улыбке мне почудилось какое-то легкое бесстыдство.

— Вчерашний день удался с начала до конца,— ответил я, пожалуй, с налетом некоторой гордости, так как догадывался, что ей все известно.— Кроме одного,— поспешно добавил я.— Мне было очень грустно слышать, что у вас слабое сердце.

— Ничего, мы еще поскрипим,— сказала она.— На пару тысчонок лет моего мотора хватит.

Мы отправились за покупками (я еще не настолько обленился, чтобы делать их дома), затем я почитал газету, съел ленч, сыграл в гольф, посмотрел экранизацию Диккенса, пытаясь одновременно следить за текстом по книжке, полакомился осетриной с чипсами, выключил свет и вскоре после этого опять занялся сексом. Это был неплохой день, я бы сказал, даже замечательный, и я снова закончил партию за 67 ударов. А если бы не угодил на последнем этапе в заросли кизила — пожалуй, слишком уж я был доволен собой,— мог бы занести в свою личную таблицу рекордов цифры 66 или даже 65.

Так оно все, как говорится, и катилось. Шли месяцы, а то и годы; через некоторое время как-то перестаешь обращать внимание на дату под заголовком газеты. Я понял, что правильно сделал, отказавшись переспать с Бригиттой. Мы стали добрыми друзьями.

— А что будет,— спросил я у нее в один прекрасный день,— когда здесь появится моя жена? — Я должен объяснить вам, что моей горячо любимой жены в ту пору со мной не было.

— Я так и думала, что вы забеспокоитесь на этот счет.

— О, на *этот* счет у меня все в порядке,— сказал я, имея в виду свою ночную гостью, потому что мое теперешнее житье-бытье, по-моему, немножко смахивало на заграничную поездку какого-нибудь бизнесмена, верно? — Я говорю так, знаете ли,— вообще.

— Тут нет никакого «вообще». Это зависит только от вас. И от нее.

— Она не расстроится? — спросил я, на сей раз уже более определенно намекая на свою гостью.

— А она узнает?

— По-моему, кое-какие проблемы все-таки могут возникнуть,— сказал я, снова переключаясь на широкий план.

— Здесь проблем не бывает.

— Вам видней.— Во мне начинала брезжить уверенность, что все утрясется.

Между прочим, у меня давно была такая мечта. Ну, не то чтобы мечта — просто мне очень этого хотелось. Хотелось, чтобы мне вынесли приговор. Нет, это звучит как-то странно, точно я мечтал, чтобы мне оттяпали голову гильотиной, или высекли, или уж не знаю что. Поймите меня правильно: я хотел, чтобы мне... ну, вынесли приговор. Ведь этого каждому хочется, разве не так? Я хотел какого-то подведения итогов, хотел, чтобы на мою жизнь посмотрели со стороны. Такое бывает с нами только в суде да на приеме у психиатра, но мне не приходилось попадать ни туда, ни сюда, и меня, честно сказать, не слишком огорчало, что я не преступник и не псих. Нет, я обыкновенный человек и хочу того же, чего хотят многие обыкновенные люди. Чтобы на мою жизнь посмотрели со стороны. Понимаете?

Как-то раз я завел подобный разговор со своей подругой Бригиттой, не уверенный, что растолкую ей все это лучше, чем вам, но она поняла меня сразу. Сказала, что это очень распространенное желание и его нетрудно будет исполнить. Так что через пару дней уже подошла моя очередь отправляться. Ради моральной поддержки я попросил ее составить мне компанию, и она согласилась.

Сначала все было как я и ожидал. Там стояло такое старое здание с колоннами и красивым орнаментом, над входом у него были высечены какие-то длинные изречения — кажется, по-гречески или по-латыни,— а двери охраняли стражи в форме, и я порадовался, что сообразил заказать себе на сегодня новый костюм. Внутри была огромная лестница из тех, что раздваиваются и описывают два больших круга в противоположных направлениях, а потом снова сходятся наверху. И везде сплошной мрамор, и начищенная до блеска латунь, и внушительные панели из красного дерева, где никогда не заведутся древесные черви.

Сама комната была невелика, но тут размеры уже роли не играли.

Главное, что у тебя создавался нужный настрой — обстановка была официальная, но не слишком обескураживающая. И в чем-то даже уютная: несмотря на то что тут делались серьезные дела, бархатные занавески выглядели довольно потрепанными. За столом сидел очень приятный пожилой джентльмен. Немножко похожий на моего отца — нет, пожалуй, скорее на дядюшку. Взгляд дружелюбный, смотрит прямо в лицо; такого, сразу видно, не надуешь. Он сообщил, что прочел все мои бумаги. Здесь же, у его локтя, они и лежали — история моей жизни, все, что я сказал и сделал, передумал и перечувствовал, вся эта сумасшедшая мешанина, и хорошее, и плохое. Представляете себе, какая набралась кипа? Я не знал, можно ли мне к нему обращаться, но рискнул. Сказал, ну и лихо же вы читаете. Он ответил, что у него большая практика, и мы с ним малость посмеялись. Потом он взглянул на часы — нет-нет, очень вежливо — и спросил, желаю ли я услышать приговор. Я невольно расправил плечи и сжал кулаки, опустив руки по швам. Потом кивнул и сказал: «Да, сэр», слегка нервничая, сами понимаете.

Он сказал, что у меня все в порядке. Нет, я не шучу, так прямо и сказал: «У вас все в порядке». Я думал, он еще что-нибудь добавит, но он опустил глаза, и я увидел, как его рука потянулась к верхнему документу из другой стопки. Потом он опять глянул на меня, чуть улыбнулся и сказал: «Нет, правда в порядке». Я снова кивнул, и на сей раз он уже окончательно вернулся к своей работе, так что мне больше ничего не оставалось, кроме как уйти. Когда мы вышли оттуда, я признался Бригитте, что немного разочарован, и она сказала, что так говорят почти все, но пусть я не беру этого в голову, и я не стал.

Примерно тогда же я начал встречаться со знаменитыми людьми. Сперва мне мешала робость, и я выбирал только кинозвезд и любимых спортсменов. Встречался, например, со Стивом Маккуином и Джуди Гарланд; с Джоном Уэйном, Морин О'Салливан, Хамфри Богартом, Джином Тирни (мне всегда страшно нравился Джин Тирни) и Бингом Кросби. Встречался с Дунканом Эдвардсом и остальными игроками «Манчестер юнайтед», попавшими в мюнхенскую авиакатастрофу. И еще с несколькими ребятами из «Лестер-Сити», которых помнил по старым матчам,— вам их имена, наверное, ничего не скажут.

Спустя некоторое время я понял, что могу встретиться с кем угодно. Я встретился с Джоном Ф. Кеннеди и Чарли Чаплином, с Мэрилин Монро, президентом Эйзенхауэром, папой Иоанном XXIII, Уинстоном Черчиллем, Роммелем, Сталиным, Мао Цзэдуном, Рузвельтом, генералом де Голлем, Линдбергом, Шекспиром, Бадди Холли, Пэтси Клайн, Карлом Марксом, Джоном Ленноном и королевой Викторией. Почти все они были очень милы — держались, знаете ли, очень естественно и совсем не важничали. Вели себя как обычные люди. Я спросил, нельзя ли устроить встречу с Иисусом Христом, но мне сказали, что тут может выйти заминка, и я не настаивал. Я встречался и с Ноем — правда, нам слегка помешал языковой барьер, да это и неудивительно. На некоторых людей я хотел только взглянуть. Гитлер, к примеру,— такому, как он, я бы руки не подал, но мне просто дали возможность спрятаться за кустами, когда он проходил мимо в этой своей мерзкой форме, самый что ни на есть живехонький.

Догадываетесь, что случилось потом? Меня начали заедать тревоги. Причем по абсолютно пустячным поводам. Стало, например, беспокоить собственное здоровье. Ну разве не бред? Может, тут была какая-то связь с тем, что Бригитта сказала мне насчет своего слабого сердца, но я вдруг вообразил, будто со мной что-то неладно. Поверите ли? Меня стали донимать всякие дурацкие предчувствия и мысли о том, что я не так питаюсь; я приобрел тренажер для гребли и велосипед, начал делать упражнения с гантелями; отказался от соли и сахара, от животных жиров и пирожных с кремом; даже сократил свою ежедневную порцию «Фифти-фифти» до какой-нибудь половины коробки. На меня накатывали приступы волнения касательно целости моих волос, езды по супермаркету (так

ли уж безопасны эти тележки?), моих половых функций и моего счета в банке. Почему меня тревожил мой счет в банке, ведь я этого банка и в глаза не видел? Я боялся, что моя карточка в магазине вдруг не сработает, мучился размышлениями о предоставленном мне огромном кредите. Чем я его заслужил?

Конечно, большую часть времени я чувствовал себя прекрасно, развлекался шоппингом, гольфом, сексом и встречами со знаменитыми людьми. Но иногда думал: а ну как мне нельзя гонять мяч по этим 18 лункам? А ну как на самом деле я не могу себе позволить свое «Фифти-фифти»? Наконец я поделился этими мыслями с Бригиттой. По ее мнению, меня пора было передавать в другие руки. Она свое дело сделала, объяснила Бригитта. Мне стало грустно, и я спросил, что ей купить в знак благодарности. Она сказала, у нее есть все что нужно. Я попробовал написать стихи, потому что «Бригитта» рифмуется с «разбито», но кроме этого мне удалось придумать только «закрыто» и «иди ты», и я отказался от своего намерения; да и вообще, решил я, стихи ей уже наверняка дарили и до меня.

Теперь я перешел под опеку Маргарет. На вид она была серьезней Бригитты, в строгом костюме и прическа волосок к волоску — так выглядят финалистки конкурса «Деловая женщина года». Я ее слегка испугался — мне было трудно представить себе, как можно обратиться к ней с предложением лечь в постель, которое я когда-то сделал Бригитте,— и ждал, что она вот-вот выразит свое неодобрение по поводу того, как я живу. Но ничего подобного, конечно, от нее не услышал. Нет, она только сказала, что я, видимо, уже достаточно здесь освоился, а если мне понадобится что-нибудь большее, чем практическая помощь, то я могу рассчитывать на нее.

— Можно вас спросить,— сказал я ей сразу после нашего знакомства,— я, наверно, зря волнуюсь насчет своего здоровья?

— Это совершенно излишне.

— И насчет денег тоже зря?

— Это совершенно излишне,— повторила она.

В ее тоне я почувствовал намек на то, что можно было бы найти и более серьезные причины для волнений, стоит только как следует поискать; но пока решил с этим не торопиться. Времени у меня впереди хватало. В чем, в чем, а во времени здесь никогда недостатка не будет.

Ну вот; честно признаться, я отнюдь не семи пядей во лбу и в своей прежней жизни больше любил просто делать то, что надо было сделать, или то, что мне хотелось сделать, а не ломать голову понапрасну. Это ж нормально, правда? Но если времени у человека навалом, он обязательно до чего-нибудь да додумается и начнет задавать себе вопросы посерьезнее. Например, кто здесь настоящие хозяева и почему я их ни разу не видел? На их месте я бы устроил какие-нибудь вступительные экзамены или хотя бы иногда выносил нам оценки; но кроме одного — прямо скажем, не слишком впечатляющего — визита в суд, когда тот старый чудак сообщил мне, что со мной все в порядке, никаких хлопот по этой части у меня не было. Гоняй себе мячик целые дни напролет. Что же, я должен принимать это как само собой разумеющееся? Стало быть, им от меня ничего не нужно?

И потом, эта история с Гитлером. Я сидел за кустами, а он прошагал мимо, приземистый человечек в этой своей мерзкой форме и с фальшивой улыбкой на лице. Прекрасно, я его видел и удовлетворил свое любопытство, но скажите на милость, спрашивал я себя, а что он-то здесь делает? Тоже заказывает завтраки, как и все прочие? Я уже убедился, что ему разрешили носить свою одежду. Стало быть, он может и в гольф играть, и сексом заниматься, когда пожелает? Не слишком ли?

А еще мне до сих пор не давали покоя мои тревоги насчет здоровья, денег и езды на тележке по супермаркету. Конкретные вещи меня больше не волновали, меня волновал сам факт, что я волнуюсь. В чем тут причина? Может быть, это не просто легкие неурядицы, связанные с привыканием, как предположила Бригитта?

Мне кажется, что поводом, который наконец побудил меня обратиться к Маргарет за разъяснениями, был гольф. После всех этих долгих месяцев, а то и лет, что я провел на великолепном здешнем поле, изучая его маленькие хитрости и подначки (сколько раз мой мяч улетал в воду на коротком одиннадцатом перегоне!), уже не могло остаться никаких сомнений: я освоил эту игру в совершенстве. Однажды я прямо так и сказал Северьяно, моему бессменному мальчику: «Я освоил эту игру в совершенстве». Он согласился, и только потом, между обедом и сексом, я вдруг начал вдумываться в свои слова. Моим первым результатом было 67 ударов; затем я стал заканчивать партии все быстрее и быстрее. Еще недавно я стабильно делал не более 59 ударов, а теперь, под безоблачным небом, уверенно шел к 50. Моя техника гона абсолютно изменилась, драйвером я без труда посылал мяч на 350 ярдов, а паттером клал его точно в лунку — он падал туда, словно притянутый магнитом. Я предвкушал, как доведу счет до сорока, потом — вот он, ключевой психологический момент — возьму барьер на отметке 36, то есть в среднем по два удара на лунку, затем пойду вниз к 20. *Я освоил игру в совершенстве,* подумал я и повторил про себя последние слова: *в совершенстве*. На самом деле, пока-то я его еще не достиг, но предел моим успехам поставлен. В один прекрасный день я закончу партию за 18 ударов, угощу Северьяно выпивкой, отмечу свое достижение осетром с чипсами, а потом сексом — но что дальше? Разве кто-нибудь, пусть даже здесь, способен закончить партию в гольф за 17 ударов?

В отличие от Бригитты, Маргарет не являлась на вызов, если подергать шнурок с кисточкой; о встрече надо было договариваться по видеофону.

— Меня беспокоит гольф,— начал я.

— Вообще-то это не моя специальность.

— Неважно. Понимаете, когда я сюда попал, я заканчивал партию за шестьдесят семь ударов. А сейчас уже приближаюсь к пятидесяти.

— И в чем же тут проблема?

— Чем дальше, тем лучше я играю.

— Поздравляю вас.

— И когда-нибудь я наконец пройду все поле за восемнадцать ударов.

— Вы чрезвычайно самоуверенны.— В ее словах мне послышалась издевка.

— Но что мне делать потом?

Она помедлила.

— Может быть, стараться заканчивать за восемнадцать ударов каждую следующую партию?

— Это не годится.

— Почему?

— Не годится, и все.

— Но наверняка ведь есть много других полей...

— Это дела не меняет,— прервал ее я; боюсь, что мои слова прозвучали грубовато.

— Но вы можете заняться каким-нибудь другим спортом, правда? А потом, когда надоест тот, вернуться к гольфу.

— Но это дела не меняет. Когда я закончу партию за восемнадцать ударов, гольф исчерпает себя.

— Есть масса других видов спорта.

— Они тоже себя исчерпают.

— Что вы каждое утро едите на завтрак? — По тому, как она кивнула после моего ответа, я понял, что она и раньше все это знала.— Вот видите. Каждое утро одно и то же. Завтрак-то ведь вам не надоедает.

— Нет.

— Ну и относитесь к гольфу так же, как к завтраку. Может быть, вам никогда не надоест проходить все поле за восемнадцать ударов.

— Может быть,— с сомнением сказал я.— Сдается мне, вы ни разу не играли в гольф. А потом, есть еще и другое.

— Что именно?
— Насчет усталости. Здесь никогда не устаешь.
— Вас это огорчает?
— Не знаю.
— Усталость мы вам организуем.
— Оно конечно,— ответил я.— Только я уверен, что это будет какая-нибудь приятная усталость. Ничего общего с той жуткой усталостью, от которой помереть хочется.
— А вам не кажется, что вы просто капризничаете? — Ее голос звучал решительно, почти нетерпеливо.— Чего вы хотели? На что надеялись?

Про себя я с ней согласился, и беседа была закончена. Жизнь продолжалась. Эта фраза меня тоже слегка забавляла. Жизнь продолжалась, и я освоил гольф в совершенстве. Еще я занимался самыми разными вещами:

— совершил несколько морских путешествий;
— учился плавать на каноэ, покорять горные вершины и летать на воздушном шаре;
— подвергался всем мыслимым опасностям и уцелел;
— исследовал джунгли;
— присутствовал на судебном процессе (и остался недоволен приговором);
— пробовал быть художником (получалось вовсе не так плохо, как я думал!) и хирургом;
— влюблялся, конечно же, много раз;
— испытал, каково быть последним человеком на Земле (и первым тоже).

Все это не значит, что я бросил делать то, чем занимался с самого начала. Ко мне приходили все новые и новые женщины, и иногда я спал с несколькими сразу; я ел все более редкие и экзотические блюда; я перевстречался со всеми знаменитыми людьми, каких мне удалось откопать в памяти. Повидал, например, всех футболистов, какие только были. Я начал со знаменитых, затем переключился на тех, которые мне нравились, но не были особенно знаменитыми, потом — на средних, потом — на тех, чьи имена я помнил, хотя не помнил, как они выглядят и как играют; наконец я стал заказывать встречи с последними игроками, которых еще не видел,— с противными, неинтересными, грубыми игроками, которые мне ни капли не нравились. Встречаться с ними мне никакого удовольствия не доставляло — в жизни они были такими же противными, неинтересными и грубыми, как на поле,— но я хотел оттянуть тот момент, когда все футболисты кончатся. Потом футболисты кончились. Я снова обратился к Маргарет.
— Я повидал всех футболистов,— сказал я.
— Боюсь, я и в футболе мало что смыслю.
— И сны мне не снятся,— добавил я жалобным голосом.
— Зачем они вам нужны,— ответила она.— *Зачем* они вам нужны?

Я чувствовал, что она как бы проверяет меня, хочет выяснить, насколько я серьезен. Может быть, все это действительно нечто большее, чем трудности привыкания?
— По-моему, я заслужил объяснение,— сказал я — признаюсь, что это вышло у меня чересчур торжественно.
— Спрашивайте что вам угодно.— Она откинулась на спинку своего рабочего стула.
— Понимаете, я хочу во всем разобраться.
— Похвальное желание.— Она говорила со мной как бы немножко свысока, что ли.

Я решил начать с главного:
— Скажите, это ведь Рай, так?

— О да.

— А как же воскресенья?

— Не понимаю вас.

— По воскресеньям,— объяснил я,— если не ошибаюсь, потому что я здесь не очень-то аккуратно слежу за днями, я играю в гольф, хожу по магазинам, обедаю, занимаюсь сексом и прекрасно себя чувствую.

— Разве это не... замечательно?

— Я не хочу показаться неблагодарным,— осторожно сказал я,— но где же Бог?

— Бог. Вам что, Бог нужен? Вы этого хотите?

— А что, разве важно, хочу я или нет?

— Только это и важно. Значит, вам нужен Бог?

— Честно говоря, я думал совсем по-другому. Честно говоря, я думал, что или он есть, или его нет. И хотел узнать, как оно на самом деле. Я не думал, что это от меня как-нибудь зависит.

— Разумеется, зависит.

— Ох.

— Рай в наши дни демократичен,— сказала она. Потом добавила: — По крайней мере, если вы этого хотите.

— То есть как это — демократичен?

— Мы больше не навязываем Рай людям,— сказала она.— Мы прислушиваемся к их нуждам. Если они его хотят, они его получают; а нет, так нет. И к тому же получают именно такой Рай, какой хотят.

— А какого обычно хотят?

— Ну, обычно хотят продолжения жизни, так можно сказать. Только... лучше, сами понимаете.

— Секс, гольф, шоппинг, обед, встречи со знаменитыми людьми и прекрасное самочувствие? — спросил я, как бы защищаясь.

— Всякое бывает. Но если откровенно, я не сказала бы, что разница так уж велика.

— Не то что в старые времена.

— Ах, старые времена,— она улыбнулась.— Я-то их, конечно, не застала, но вы правы, тогда Рай представлялся людям чем-то гораздо более изысканным.

— А как насчет Ада? — спросил я.

— Что насчет Ада?

— Ну, есть он, Ад?

— О нет,— ответила она.— Это была всего-навсего необходимая пропаганда.

— Вот я и засомневался. После встречи с Гитлером.

— С ним многие встречаются. Он тут вроде... туристской достопримечательности, что ли. Ну и как он вам?

— Вообще-то я с ним не говорил,— твердо сказал я.— Он не из тех, кому я подал бы руку. Я только посмотрел на него из-за кустов.

— Да-да. Такой способ предпочитают очень многие люди.

— Вот я и подумал, если он здесь, стало быть, Ада нету.

— Разумный вывод.

— Просто ради любопытства,— сказал я,— а чем он тут занимается? — Я представил себе, как он каждый день ходит на Олимпийские игры 1936 года в Берлине, смотрит, как Джесси Оуэнс падает, а немцы выигрывают все призы, а потом идет есть кислую капусту, слушать Вагнера и развлекаться с пышной блондинкой чисто арийских кровей.

— К сожалению, у нас не принято разглашать чужие секреты.

— Извините.— Это было правильно. Если подумать, я тоже не согласился бы, чтобы все узнали, как я провожу время.

— Так, значит, нет вовсе никакого Ада?

— Есть то, что мы *называем* Адом. Но это больше похоже на парк аттракционов. Ну, знаете — скелеты, которые выскакивают у вас перед носом, ветки в лицо, безвредные бомбы, в общем, всякие такие вещи. Только чтобы вызвать у посетителей приятный испуг.

— То есть испуг обязательно должен быть приятным,— заметил я.

— Ну да. В наше время люди хотят именно этого.

— А вы знаете, какой был Рай в старые времена?

— Старый Рай? Да, мы знаем о Старом Рае. У нас есть архивы.

— Что с ним произошло?

— Он, можно сказать, закрылся. Люди его больше не хотели. Он стал им не нужен.

— Но у меня были знакомые — правда, мало,— которые ходили в церковь, крестили своих детей, не употребляли грубых слов. С ними-то как же?

— Есть у нас и такие. Их тоже обслуживают. Они молятся и благодарят Бога, примерно как вы играете в гольф и занимаетесь сексом. Им, кажется, неплохо, они получили то, что хотели. Мы построили для них несколько очень симпатичных церквей.

— Выходит, для них Бог существует? — спросил я.

— Ну конечно.

— А для меня, значит, нет?

— Похоже, что нет. Если только вы не захотите изменить свои представления о Рае. Тут я вам не помощница. Но могу посоветовать, куда обратиться.

— По-моему, пока у меня и так есть над чем подумать.

— Прекрасно. Тогда до следующего раза.

Той ночью я спал плохо. Моя голова не была занята сексом, хотя все они старались как могли. Не желудок ли в этом виноват? Наверное, я переел осетрины? Ну вот, пожалуйста — я снова начал тревожиться за свое здоровье.

Наутро я пошел играть в гольф и закончил круг за 67 ударов. Мой мальчик Северьяно вел себя так, словно это моя лучшая партия, как будто не знал, что я могу сделать на 20 ударов меньше. После этого я навел необходимые справки и отправился к единственному облачку на горизонте. Как я и ожидал, Ад оказался никуда не годным; гроза над автомобильной стоянкой удалась им лучше всего. Там были безработные актеры, которые протыкали других безработных актеров длинными вилами и окунали их в бочонки с надписью: «Кипящее масло». Фальшивые звери с пристегнутыми клювами клевали трупы из пористой резины. Я видел Гитлера, который ехал на Призрачном Поезде, держа под мышкой Mädchen с косичками. Еще там были летучие мыши, и скрипящие крышки гроба, и запах гнилых половиц. Так, значит, вот чего хотят люди?

— Расскажите мне про Старый Рай,— попросил я Маргарет на следующей неделе.

— Он в основном соответствовал вашим описаниям. Я имею в виду сам принцип Рая: вы получаете то, чего хотите, то, чего от него ждете. Я знаю, что некоторые думают иначе: будто бы в Раю человек должен получать по заслугам, но такого никогда не бывало. Нам приходится их разочаровывать.

— И что, они огорчаются?

— Как правило, нет. Людям больше нравится получать то, чего они хотят, а не то, чего они заслуживают. Хотя кое-кто из них проявлял недовольство тем, что другие не были примерно наказаны. Видимо, в их представление о Рае входило и то, что остальные должны попасть в Ад. Не очень-то это по-христиански.

— А они... становились бесплотными? Превращались в чистый дух и всякое такое?

— Да, разумеется. Они же этого хотели. Во всяком случае, в определенные эпохи. Мода на развоплощение — вещь очень нестойкая. Сейчас, например, очень многие предпочитают сохранять свое собственное тело и свою индивидуальность. Хотя и это, скорее всего, чисто временное явление.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил я. Она меня удивила. Я думал,

что Маргарет, как и Бригитта, служит всего-навсего источником информации. Однако она явно имела свое мнение о происходящем и не скрывала этого.

— Просто иногда кажется забавным, что люди так цепляются за свое тело. Бывают, конечно, просьбы о незначительных операциях. Но это выглядит так, словно от идеального представления о себе их отделяет только неправильный нос, или морщинки на лице, или горсть силикона.

— И что же случилось со Старым Раем?

— Он еще немного продержался после того, как открыли новый. Но спрос на него постоянно падал. Новый Рай нравился людям больше. Что ж, ничего удивительного. Мы ведь смотрим далеко вперед.

— А что случилось с обитателями Старого Рая?

Маргарет пожала плечами с самодовольным видом, точно глава планового отдела какой-нибудь корпорации, чьи прогнозы оправдались с точностью до последнего десятичного знака.

— Вымерли.

— То есть как это? Вы хотите сказать, что закрыли Старый Рай, и поэтому они вымерли?

— Нет-нет, что вы, наоборот. У нас тут другие законы. По конституции Старый Рай должен функционировать до тех пор, пока он нужен его обитателям.

— А кто-нибудь из его обитателей еще жив?

— По-моему, да, но их очень мало.

— Можно мне встретиться хотя бы с одним?

— К сожалению, они никого не принимают. Раньше принимали. Но люди из Нового Рая обычно вели себя как в увеселительном парке с уродцами, показывали пальцем и задавали глупые вопросы. Поэтому обитатели Старого Рая отказались встречаться с ними. Стали говорить только друг с другом. Потом начали вымирать. Теперь их уже совсем немного. Мы им, конечно, ведем учет.

— А они бесплотные?

— Кто да, а кто и нет. Зависит от секты. Тем, кто бесплотен, разумеется, нетрудно избегать встреч с обитателями Нового Рая.

Ну что ж, какой-то резон в этом был. Резон был во всем, кроме самого главного.

— А что вы имели в виду, когда сказали, что другие вымерли?

— Каждому предоставлена возможность умереть, если он захочет.

— А я и не знал.

— Вот видите, тут есть свои маленькие сюрпризы. Неужели вы действительно хотели бы знать все наперед?

— А как они умирают? Накладывают на себя руки? Или вы их убиваете?

Маргарет была заметно шокирована такими грубыми предположениями.

— Боже мой, нет. Я же сказала: у нас демократия. Хотите умереть — умирайте. Просто надо хотеть этого достаточно долго, и тогда оно происходит само собой. Смерть больше не является делом случая или горькой неизбежностью, как было в первый раз. Воля человека для нас закон, вы ведь и сами это заметили.

Я не был уверен, что правильно все понял. Мне надо было пойти и переварить услышанное.

— Скажите,— спросил я,— а эти мои переживания насчет гольфа и прочего — они как, и у других тоже бывают?

— В общем-то да. Люди часто просят у нас, например, плохой погоды или каких-нибудь неприятностей. Они скучают по неприятностям. Некоторые просят боли.

— Боли?

— Ну да. Вот вы, скажем, как-то жаловались, что у вас не бывает такой усталости, от которой — по вашему же выражению — помереть хочется. Ваши слова показались мне любопытными. Люди просят боли,

и не так уж редко. Кое-кто даже настаивает на операции. Не на косметической, а на серьезной.

— И вы соглашаетесь?

— Только если они упорствуют. Сначала мы пробуем убедить их, что желание оперироваться на самом деле обусловлено чем-то другим. Обычно нам это удается.

— А сколько людей используют возможность умереть?

Она посмотрела на меня спокойно, точно призывая не волноваться.

— Да все сто процентов, конечно. Через много тысячелетий, разумеется, если считать по-старому. Но раньше или позже эту возможность использует каждый.

— Так, стало быть, тут все как в первый раз? В конце концов обязательно умираешь?

— Да, но не забывайте, что качество жизни здесь значительно выше. Люди умирают не прежде, чем сами решат расстаться с жизнью. Во второй раз это гораздо более приемлемо, чем в первый, потому что совершается добровольно.— Она помедлила, затем добавила: — Как я уже говорила, мы прислушиваемся к нуждам людей.

Я ее не винил. Не в моих это привычках. Я просто хотел разобраться, как у них тут все устроено.

— Выходит... что даже верующие люди, которые попали сюда затем, чтобы вечно славить Бога... выходит, что через несколько лет, или веков, или тысячелетий они тоже сдают позиции?

— Вы правы. Я говорила вам, что у нас еще есть обитатели Старого Рая, но их число постоянно сокращается.

— А кто начинает просить смерти раньше всех?

— Мне кажется, «просить» — не то слово. Не просить, а хотеть. Ошибок тут не бывает. Если вы достаточно сильно этого хотите, вы умираете — вот главное правило.

— Ага.

— Ну да. А насчет вашего вопроса — боюсь, что раньше всех начинают желать смерти люди, немного похожие на вас. Те, кто хочет заполнить вечность сексом, пивом, наркотиками, гоночными автомобилями и так далее. Сначала они не могут поверить в свое везение, а через несколько столетий не могут поверить в свое невезение. Начинают понимать, что такие уж они люди. Слишком стремятся быть самими собой. Тысячелетие за тысячелетием — и все самими собой. Вот они-то обычно и умирают скорее прочих.

— Я никогда не принимаю наркотиков,— твердо сказал я. Она меня крепко обидела.— И автомобилей у меня всего семь. По здешним меркам это не так уж много. И езжу я, между прочим, довольно тихо.

— Конечно, конечно. Я просто имела в виду общий характер развлечений, понимаете.

— А кто держится дольше всех?

— Что ж, отдельные обитатели Старого Рая оказались весьма твердыми орешками. Молитва помогала им коротать век за веком. А сейчас... да вот юристы, например. Они любят разбирать свои старые дела, а потом чужие. Это может тянуться до бесконечности. Фигурально выражаясь,— быстро добавила она.— И ученые — те тоже крепкий народ. Сидят и читают все книги, какие только есть на свете. И еще обожают спорить о них. Некоторые из этих споров,— она подняла глаза к небу,— длятся тысячелетиями. Похоже, что споры о книгах помогают их участникам сохранять молодость.

— А как насчет тех, кто пишет книги?

— Они не дотягивают и до половины того срока, какой выпадает на долю спорщиков. И художники с композиторами тоже. Они как-то чувствуют, когда их лучшее произведение уже создано, а потом потихоньку угасают.

Казалось бы, все это должно было испортить мне настроение, но я ничего подобного не замечал.

— Разве это не должно меня угнетать?

— Нет, конечно. Вы же здесь для того, чтобы наслаждаться. Вы получили, что хотели.

— Вроде бы так. Может, я просто не могу привыкнуть к мысли, что когда-нибудь тоже захочу умереть.

— Всему свое время,— сказала она деловито, но дружелюбно.— Всему свое время.

— Кстати, последний вопрос,— я видел, как она играет своими карандашами, раскладывает их в ряд,— а вы-то, собственно, кто такие?

— Мы? Вообще-то мы очень похожи на вас. Мы могли бы быть вами. А может, мы и есть вы.

— Если получится, я еще вернусь,— сказал я.

Несколько следующих веков — я говорю ориентировочно, потому что бросил считать время по-старому,— ушли у меня на серьезные занятия гольфом. Наконец я добился стабильного результата в 18 ударов, и восторги моего мальчика стали обыденным явлением. Тогда я сменил гольф на теннис. Довольно скоро я побил все знаменитые ракетки мира на глине, траве, бетоне, дереве, ковре — на любых покрытиях по их выбору. Я оставил теннис. Я сыграл за «Лестер-Сити» в финале Кубка и получил медаль лучшего игрока (мой третий гол, забитый с двенадцати ярдов мощным ударом головой, решил судьбу матча). Я нокаутировал Роки Марчиано в четвертом раунде на ринге в Мэдисон-сквер-гарден (последние раунд-другой я немножко поиздевался над ним), снизил рекорд марафона до 28 минут, стал чемпионом мира по метанию стрелок; результат, который я показал во встрече с крикетистами Австралии на стадионе «Лордс» (мои 750 перебежек за один тур надолго останутся рекордом), будет превзойден еще не скоро. Через некоторое время мне наскучили и Олимпийские золотые медали. Я оставил спорт.

После этого я серьезно увлекся шоппингом. Я съел больше разных тварей, чем их плавало на Ноевом ковчеге. Перепробовал все марки пива в мире, не считая изобретенных лично мной, стал знатоком вин и наслаждался самыми редчайшими их сортами; они кончились слишком быстро. Знаменитостей, с которыми я встречался, не перечесть. Я занимался сексом с огромным количеством партнеров и огромным количеством способов, но существует всего-навсего столько-то партнеров и столько-то способов. Между прочим, не поймите меня неправильно: каждый день приносил мне массу удовольствия. Просто я теперь знал, что делаю. Я искал выхода.

Я решил комбинировать развлечения и начал заниматься сексом со знаменитостями (я не скажу вам, с кем именно,— они просили меня держать это в секрете). Одно время я даже читал книги. Я помнил слова Маргарет и пробовал — всего пару столетий, не больше — спорить об этих книгах с другими людьми, которые тоже их читали. Но такая жизнь показалась мне довольно скучной, во всяком случае, по сравнению с самой жизнью, и продлевать ее явно не стоило. Пытался я и войти в круг тех людей, которые пели и молились в церквах, но понял, что мне это не по нутру. Однако прежде, чем отправиться на свой последний (я знал это) разговор с Маргарет, я должен был перебрать все что можно. Она выглядела почти так же, как несколько тысячелетий назад, когда мы увиделись впервые; правда, я и сам мало изменился.

— У меня есть идея,— сказал я. Что ж, за такой срок грех ничего не придумать, верно? — Послушайте, если в Раю можно получить все что хочешь, тогда я хочу никогда не уставать от вечности! — Довольный собой, я откинулся в кресле. К моему удивлению, она кивнула, почти ободряюще.

— Если угодно, попробуйте,— сказала она.— Я выпишу вам бумагу о переводе в такое состояние.

— Но?..— спросил я, зная, что есть и *но*.

— Я выпишу вам бумагу,— повторила она.— Это пустая формальность.

— Сначала скажите мне про *но*.— Я не собирался грубить ей. Но, с другой стороны, не хотел и маяться несколько тысячелетий, если она может сэкономить мне это время.

— Такие попытки уже были,— сказала Маргарет сочувственным тоном, словно ей по-настоящему жаль было меня огорчать.

— И что же не вышло? В чем тут *но?*

— Видите ли, здесь имеется логическое противоречие. Вы не можете стать кем-то иным, не прекратив быть тем, кто вы есть. А этого еще никому вынести не удавалось. Во всяком случае, пока,— добавила она, как бы подразумевая, что я могу оказаться первым, кто решит эту проблему.— Какой-то из моих прежних собеседников — очевидно, он, как и вы, увлекался спортом,— сказал, что одно дело быть бегуном, и совсем другое — вечным двигателем. Рано или поздно вам снова захочется бежать. Согласны?

Я кивнул.

— И все, кто это пробовал, попросились назад?

— Да.

— А после они все использовали возможность умереть?

— Ну да. И скорее раньше, чем позже. Кажется, кое-кто из них еще жив. Я могу попросить их переговорить с вами.

— Мне достаточно вашего слова. Я знал, что тут должна быть какая-то неувязка.

— Простите.

— Нет-нет, не извиняйтесь.— На здешний сервис я никак не мог пожаловаться. Все были вежливы со мной с самого начала. Я сделал глубокий вдох.— Мне кажется,— снова заговорил я,— что Рай — это прекрасная идея, даже, может быть, безупречная идея, но она не для нас. Не так мы устроены.

— У нас не принято влиять на чужие выводы,— сказала она.— Но я вас вполне понимаю.

— Тогда зачем это все? Зачем нам Рай? Зачем нам эти мечты о Рае? — Похоже было, что ей не очень хочется отвечать, возможно, для нее это значило превысить свои полномочия; но я уперся.— Намекните хоть, что вы об этом думаете?

— Может быть, вам это нужно,— предположила она.— Может быть, вы не прожили бы без такой мечты. Стыдиться тут нечего. По-моему, это вполне нормально. Правда, если бы вы знали о Рае заранее, вы, наверно, не очень стремились бы сюда.

— Ну, это еще вопрос.— Ведь все было действительно очень здорово: шоппинг, гольф, секс, встречи со знаменитыми людьми, и ни болезней, ни смерти.

— Всегда получать то, что хочешь, или никогда не получать того, чего хочешь,— в конце концов, разница не так уж и велика.

На следующий день, решив тряхнуть стариной, я еще раз сыграл в гольф. Партия прошла безупречно: восемнадцать лунок, восемнадцать ударов. Мое умение осталось при мне. Потом я съел завтрак на ленч и завтрак на обед. Посмотрел видеозапись финала Кубка, в котором «Лестер-Сити» победила 5:4, хотя с учетом прошлых событий эта запись была уже не совсем та. Выпил чашечку горячего шоколада с Бригиттой, которая любезно заглянула навестить меня; позднее занялся сексом, правда, только с одной женщиной. После чего вздохнул и перекатился на другой бок, зная, что завтра утром наступит время принять решение.

Мне снилось, что я проснулся. Это самый старый сон, и я только что видел его опять.

Примечание автора

В главе третьей нашли отражение характер судопроизводства и действительные случаи, описанные в книге Э. А. Эванса «Уголовное пресле-

дование и смертная казнь животных» (1906). Первая часть главы пятой заимствует факты и язык из перевода «Отчета о путешествии в Сенегал» Савиньи и Корреара, вышедшего в Лондоне в 1818 г.; вторая часть опирается на образцовый труд Лоренца Эйтнера «Жерико: жизнь и творчество» (Orbis, 1982). Факты, приведенные в третьей части главы седьмой, почерпнуты из «Путешествия проклятых» Гордона Томаса и Макса Моргана-Уиттса (Hodder, 1974). Я благодарен Ребекке Джон за большую помощь в моих изысканиях; Аните Брукнер и Говарду Ходжкину за консультации по истории искусств; Рику Чайлзу и Джею Макинерни за корректировку языка моих американских персонажей; доктору Джеки Дэвис за пояснения, касающиеся хирургии; Алану Хауарду, Галену Строусону и Редмонду О'Ханлону; а также Гермионе Ли.

Дж. Б.

■

Хотя в издательских анонсах произведение Джулиана Барнса называлось романом, нужно отдавать себе отчет в том, что это полная условность. Как бы широко ни понимались возможности романа и сколь бы подвижными ни выглядели его рамки, «История мира в 10 1/2 главах» все равно в них не уместится. Есть совокупность черт, образующая роман, и хотя любую из них можно толковать как необязательную, тем не менее, лишившись их всех, роман перестает быть самим собой. Он становится просто высказыванием, предположительно обладающим признаками художественности.

С книгой Барнса примерно это и происходит. Но сразу же необходимое уточнение: в том, что она факт искусства, сомневаться невозможно. Не должны обманывать ни фрагментарность, которая кому-то покажется бессвязностью, ни разностилье, ни сугубо иллюстративный характер некоторых глав. Все это сделано с намерением, а вовсе не в результате неумелости.

Традиционные представления о том, что такое проза, повествование Барнса корректирует очень существенно. Но не переставая быть повествованием, литературой — только совсем особого рода.

Какой именно?

Чтобы это понять, приходится не во всем полагаться на пояснения самого автора. Во всяком случае, предложенное им определение жанра лишь вносит дополнительную путаницу. История? Эта старая, почтенная повествовательная форма вызывает в памяти великие имена. Но ведь, строго говоря, никакого отношения к ней произведение Барнса не имеет.

Салтыковская «История одного города» или, допустим, «История Нью-Йорка», сочиненная американским романтиком Вашингтоном Ирвингом, представляли собой разновидность сатирического обозрения. За персонажами-масками легко распознавались реальные прототипы, а всеохватывающая гротескная метафора создавала образ эпохи — резко негативный в одних случаях, нескрываемо ироничный в других. Такие книги пишутся и сегодня. Стараниями Вяч. Пьецуха хроника города Глупова продолжена в новые и новейшие времена.

Но у английского прозаика все по-другому. Барнс не старается реконструировать ту или иную эпоху, пусть средствами сатиры. Он свободно перемещается во времени от вселенского Потопа до наших дней, а если уж говорить о сатире, она у него менее всего конкретизирована применительно к каким-то историческим обстоятельствам, социальным установлениям, общественной психологии, системам ценностей и т. п. Барнса интересуют не эти реальности, его интересует природа стойких представлений, согласно которым сама история выглядит по-своему логичной, разумно объяснимой последовательностью событий: не только взаимосвязанных, а вдобавок обозначающих поступательное движение, некий целенаправленный процесс.

Ничего, кроме скепсиса, подобные представления у Барнса вызвать не могут. Отчасти и этим объяснима вызывающая расфокусированность предложенной им композиции, когда едва наметившийся стройный ритм рассказа тут же перебивается непредвиденным, подчеркнуто произвольным скачком авторской мысли. Воспринимающим историю как прогресс определенных идей

или последовательное развитие определенных коллизий Барнс противополагает собственное видение и прошлого, и современности: идет ли речь о мифологических временах или об эпохе электронных коммуникаций, перед нами все тот же абсурдный коллаж, где властвует чистая произвольность соединения несочетаемых вещей и лишь нелогичные ситуации имеют свойство повторяться раз за разом.

Говорить об оригинальности такого понимания истории едва ли приходится. На Западе оно давно укоренилось, нашло многочисленные отзвуки и в философии, и в искусстве. Однако, если иметь в виду не столько исходную идею, сколько характер ее литературного воплощения, версия, предложенная Барнсом, не похожа ни на чью другую.

Ненумерованная полуглава, где сведены воедино размышления Барнса об истории, могла бы сделаться просто одиннадцатой частью его «истории мира». Не произошло этого, вероятно, не из-за магии круглых цифр, а по той причине, что такое дополнение, в сущности, не очень и требовалось: оно лишь проясняет, доводя до тезисности, мысль, которой в книге Барнса предопределено все художественное решение.

Он считает ненадежными привычно выстраиваемые цепочки из причин и следствий, из битв, переворотов, великих деяний, будто бы исчерпывающих собой историю, из осознанных устремлений, замыслов, преодолений, будто бы направляющих существование личности. Но красноречивее авторских деклараций обо всем этом говорит сама организация повествования. Тут доминирует мотив случайности, нелогичности, даже нелепости, из-за которых, однако, рушатся судьбы и резко меняется весь порядок вещей в мире. Суть в том, что подобные изломы — истории ли, частного бытия — видятся случайностью и нелепостью лишь тем, кто не понимает истинной драматургии жизни. У Барнса совсем другой взгляд на диалектику случайного и закономерного.

Безумие героини, для которой роковым событием стала чернобыльская катастрофа, не имевшая никакого внешнего касательства к ее будням,— в романе Барнса ход типичный и вполне оправданный, хотя он был бы невозможен в иной системе художественных связей.

Та система, которую принял для себя Барнс, прежде всего и основывается на признании кажущихся частностей, малозначительных происшествий и периферийных факторов потенциально самыми важными, на отказе от признанных критериев существенного и несущественного, на новом понимании соотношений между индивидуальным и типовым, неповторимым и всеобщим. Словом, на перекодировке смысловых значений, которой посвятил себя постмодернизм, в лице Джулиана Барнса нашедший одного из самых последовательных и — в творческом отношении — самых значительных своих приверженцев.

Эту «Историю мира» и надо читать, конечно, не как роман, не как историю, а как постмодернистский текст, который, собственно, на фоне традиционных форм повествования всегда выглядит либо пародированием, либо импровизацией, так как главной целью всякий раз оказывается ниспровержение укоренившихся оппозиций типа «чистые — нечистые», «праведники — грешники», «значительное — эфемерное», «долговечное — преходящее» и т. д. Аранжировка, сопровождающаяся новым акцентированием очень знакомых мотивов — хотя бы той же библейской истории Потопа или вошедшего в хрестоматии рассказа о злоключениях «Медузы»,— для таких целей незаменима. А для того чтобы она оказалась творчески эффективной, чаще всего необходим еще и элемент травестии, неотделимый от искусства постмодернизма.

У Барнса и новое осмысление классических сюжетов, и травестия, опровергающая кажущуюся аксиоматичность утвердившихся истолкований, постоянно на виду, имитирует ли он — и до чего виртуозно! — диспуты средневековых схоластов или воссоздает почти невероятную историю, случившуюся на киносъемках псевдоисторического боевика. Однако интерес книги Барнса состоит не только в том, что, выхватывая из тьмы веков несколько эпизодов и произвольно их соединяя, писатель действительно создает своего рода трагикомическую летопись истории. И не в том лишь, что он так решительно отказывается от претензий на объективность, считая, что правда о минувшем невозможна,— есть только версии, которые всегда тенденциозны, а значит, недостоверны.

Подобные летописи создавались и до Барнса. Шесть лет назад известный американский прозаик Джозеф Хеллер опубликовал роман с характерным для этого писателя поддразнивающим заглавием «Подумать только!». И, выводя на сцену то Сократа, то Рембрандта, то богатых коллекционеров, которых угораздило в 1915 году очутиться на борту «Лузитании», вскоре потопленной немцами,

создал забавный пастиш, который всех непредубежденных заставит задуматься, вправду ли бесспорны утверждения, что человек, может быть, и слеп, а вот история — нет.

Хеллер тоже доверялся пародии и импровизации, тоже стилизовал колорит почти легендарных эпох. Но преобладающая тональность у него, по сравнению с Барнсом, другая — бурлеск. Барнс предпочитает ироничную медитацию. Иногда она становится философической, и тут юмора уже не чувствуется — ни в ненумерованной полуглаве, ни на страницах, посвященных знаменитой картине Теодора Жерико.

Эти страницы представляют собой что-то наподобие эстетического трактата, толкующего о вечной проблеме истины в искусстве, как она понимается постмодернизмом. И вот здесь все та же диалектика несущественного и основного приобретает ключевое значение. Зрителю, знающему реальный ход событий, покажется, что Жерико счел несущественным происходившее на плоту истребление ослабевших, чтобы сохранить воду и пищу для способных бороться со стихией, и даже позабыл о каннибализме, сопровождавшем трагическое плаванье. По крайней мере, все это не было для Жерико достаточно существенным, чтобы создать сюжет прославленного полотна, и по первому впечатлению картина проникнута ложной героикой, тогда как подобал бы трагизм, так как происходит катастрофа человеческого духа. Но если приглядеться, оценив неподчеркнутые, мелкие особенности композиции, окажется, что как раз катастрофа на этом холсте и запечатлена, только не просто кораблекрушение, а экзистенциальная драма из тех, какие дано воплотить лишь великому искусству.

Понятно, что такая интерпретация романтического шедевра произвольна, так как представляет собой его переосмысление через призму постмодернистских верований. Однако о самом Барнсе весь этот разбор говорит очень выразительно. Жерико, по его понятиям, сделал все, чтобы избежать политических коннотаций, банальной надрывности, примитивной символики, и это ему во многом удалось, но как бы вопреки собственным установкам, заставлявшим в любом сюжете отделять главное от второстепенного, причем это делалось в согласии с расхожими представлениями эпохи. Постмодернистский художник избавляет себя от таких сложностей, попросту отказываясь проводить сами разделения подобного толка. А если все же по необходимости их делая, то как раз под знаком предпочтения всего второстепенного, незначительного, частного.

Теперь понятнее становится причудливое построение «Истории мира в 10 ½ главах». По существу, Барнс в этой книге занят прежде всего опровержением бытующих критериев художественного единства, за которыми скрывается все та же неприемлемая для него, как для всех постмодернистов, иерархичность восприятия действительности, будто бы интересной и важной лишь в каких-то строго отсортированных своих проявлениях и вовсе не увлекательной во всех остальных. Не признавая самого этого подхода, Барнс, естественно, не признает и созидаемого на такой основе художественного единства. И там, где ждешь некой однородности — хотя бы это была, как у Хеллера, однородность пародии и бурлеска,— он предлагает смешение всего и вся, делая это осознанно, можно даже сказать, принципиально.

Стилизация, травестия, дегероизирующая мифология, эстетический трактат, репортаж в форме писем и телеграмм, откровенная беллетристика и столь же откровенная эссеистика, сменяющие друг друга абсолютно несхожие протагонисты, чехарда эпох, мозаика пейзажей — весь этот коллаж, где единство создается разве что мотивом плаванья, проходящим через многие главы, у Барнса подчинен законам сцепления, имеющим очень мало общего с тем, что по сей день именовалось литературой.

Трудно ожидать, что эксперимент, предпринятый английским прозаиком, увлечет, тем более — убедит всех. Но экспериментальная литература никогда и не рассчитана на немедленное признание. Одно можно сказать с уверенностью: такие книги, как «История мира в 10 1/2 главах», необходимы как стимул, если не как свершение,— стимул для того, чтобы не прекращались поиски нового зрения, в котором всегда нуждается искусство.

А. ЗВЕРЕВ

МИХАИЛ СУХОТИН

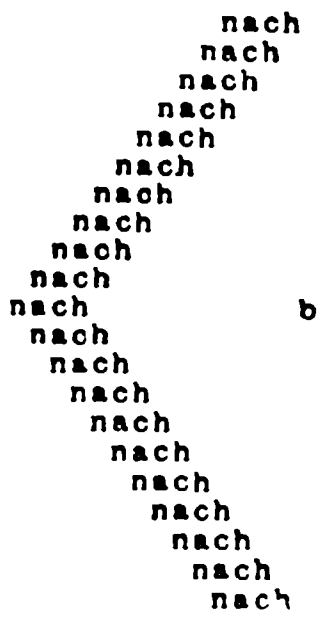
О КОНКРЕТНОЙ ПОЭЗИИ

Можно ли так писать, чтобы это не только в комментариях не нуждалось, но и к переводу не обязывало? Во всяком случае, к специальной языковой подготовке, истолкованию.

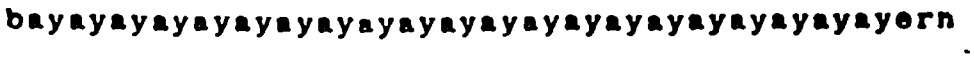
Как видно, да, можно, но только там, где мы не с языком, не со знаком имеем дело, а с самой поэтической речью, где сам интонационно-ритмический строй, динамика взаимного расположения слов могут удивить и спровоцировать узнавание, причем не только в локально-языковом контексте. Вероятно, это область речевой более, чем изобразительной, поэзии (коль скоро речь идет вообще о работе со словом), находящаяся на границе каких бы то ни было языков.

Сам термин «конкретная поэзия» связан с «Железобетонными «поэмами» Василия Каменского (по-английски concrete — «бетон»). Но Каменский в своем футуристическом издании 1916 года сделал только один из первых шагов в этом направлении. Впоследствии оно было усвоено самыми разными культурами и развивалось в Европе, в Латинской Америке, в Японии, в России.

Возьмем несколько наиболее типичных и, в общем, близких друг к другу работ: «Reise» Яндля, «Nurkontur» Гомрингера *, «Нирвана» Барского. В последней работе слово редуцируется до своей графики, до четырехлучевого восьмиугольника в центре работы, своей формой напоминающей мандалу, оно замирает в нем, буквально в него перевоплощаясь, причем перевоплощение это мыслится как в ту, так и в другую сторону: фигура составлена из слов, динамически расположенных в виде древней индийской свастики. В результате мы имеем нечто подобное иероглифу (может быть, даже из древних «изобразительных» алфавит-

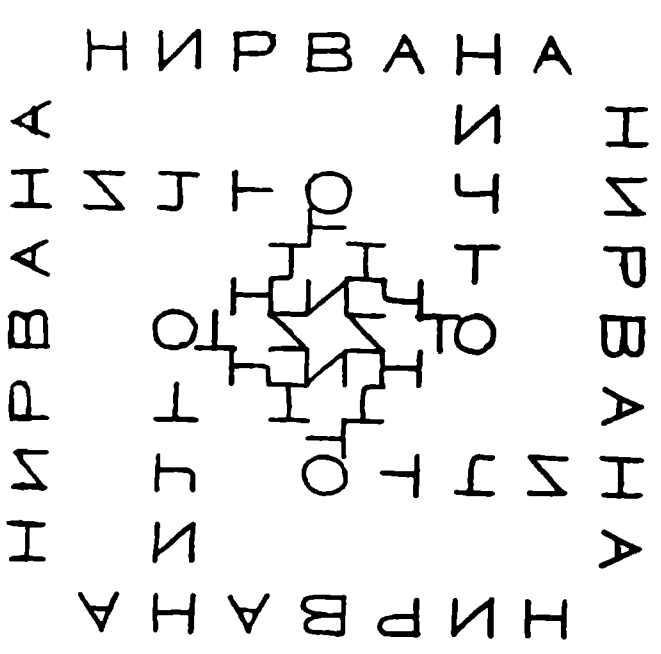


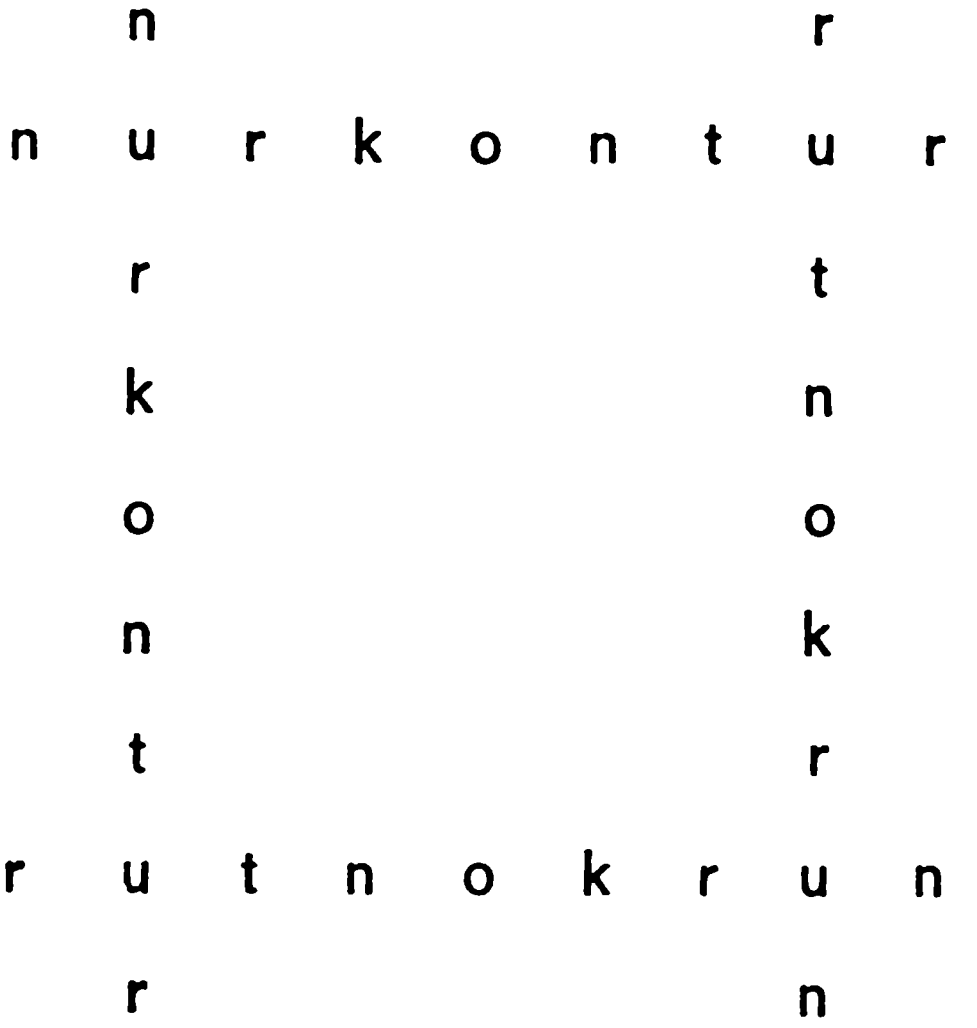
Эрнст Яндль. «Поездка»



Ойген Гомрингер
«Только контур»

Вилен Барский.
«Нирвана»





---

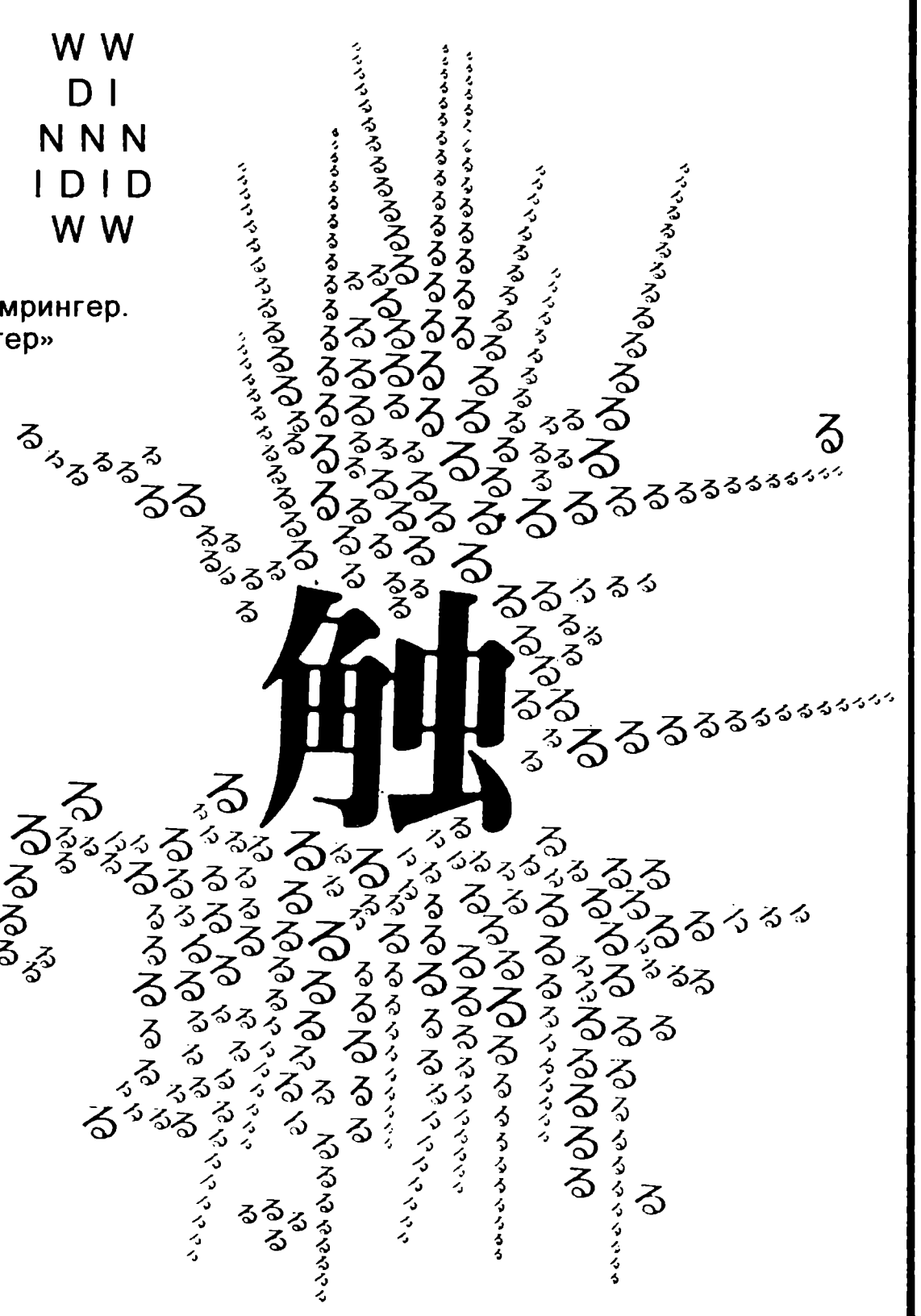
* См. также: Ойген Гомрингер, Франц Мон, Герхард Рюм, Тимм Ульрих «Конкретные стихи» («ИЛ» № 4, 1993 г.)

ов, состоявших еще не из абстрагированных знаков, а из конкретных примитивных рисунков-смыслов): составной знак с плотным, сгущенным семантическим наполнением, всей своей графикой выражающий смыслы, восходящие к его главной идее. Текст буквально «говорит» графикой. Но чем больше он говорит, тем слово немеет в нем все больше и больше.

Конкретная и визуальная поэзия может быть подобна иероглифу, но это все же и не иероглифика в собственном смысле слова. Ведь мы тут имеем дело с авангардным искусством, а восточная каллиграфия традиционна. Например, японская конкретная поэзия. По-видимому, она вообще не совсем то, что мы вкладываем в это понятие. Часто это элементарные манипуляции с иероглифами или просто иероглифы в определенном художественном сочетании, зримо изображающие свое значение. Почти все эти работы как бы не имеют масштаба, что обычно и для классической танка, и, скажем, для «живописи цветов и птиц».

Первое, что бросается в глаза и отличает их от существенно более близкой нам, предположим, немецкой конкретной поэзии (наглядная разница — два «ветра», японский и немецкий) —

Рёдзиро Яманака.
«Ветер»



Ойген Гомрингер.
«Ветер»

Сэйити Ниикуни.
«Касаться»

это их очевидная, сама собой разумеющаяся красота (так и хочется сказать — «красивость»). Японским конкретистам и не нужна как будто никакая выразительность, у них и так уже все выражено изначально вот в этих самых знаках.

А у Гомрингера в 40—50-е годы еще и так было:

schweigen	schweigen	schweigen
schweigen	schweigen	schweigen
schweigen		schweigen
schweigen	schweigen	schweigen
schweigen	schweigen	schweigen

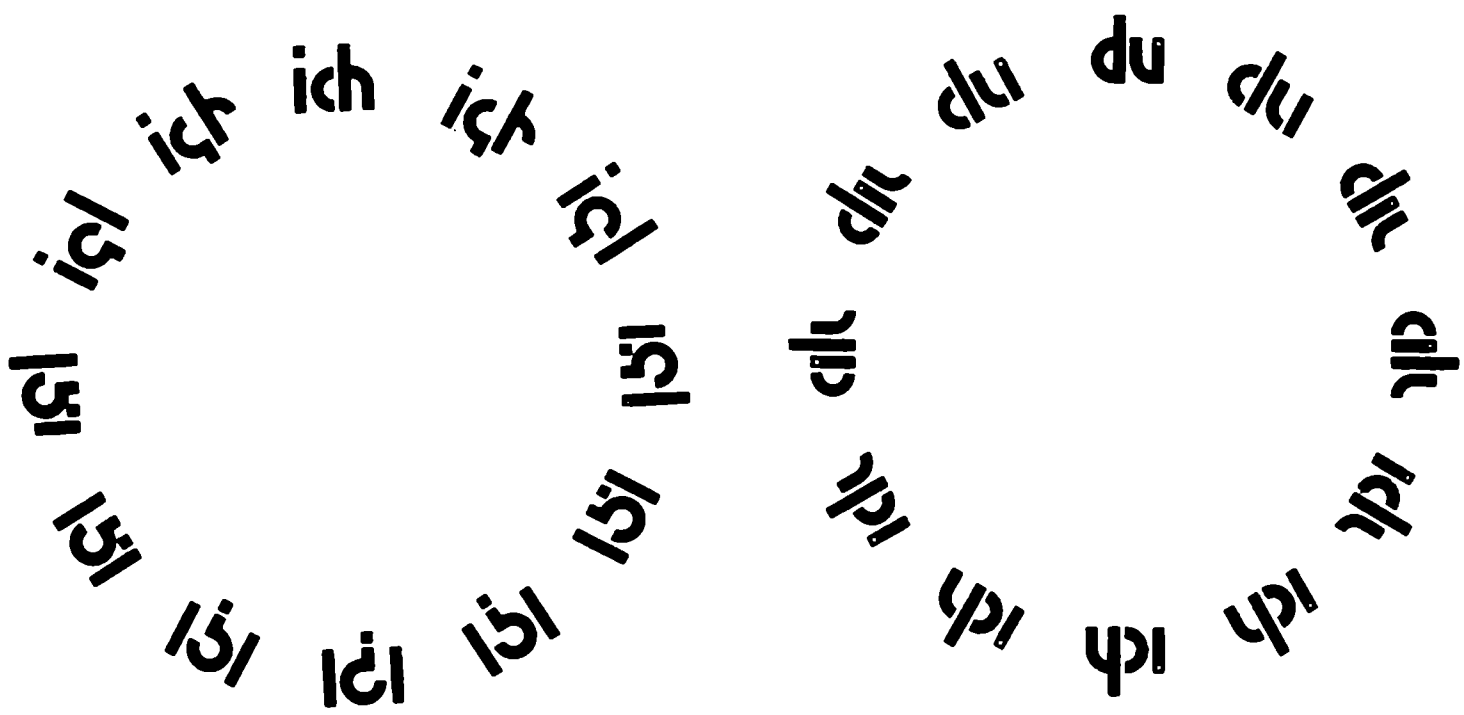
(Так ли трудно, и не зная немецкого, догадаться, что значит Schweigen, в котором оставлено пустое окно? «Молчание», конечно.)

Казалось бы, тоже предельно скупо, чего уж проще, но все же вот того самого ощущения японской, не найденной даже, но именно врожденной красоты нет. Остается совсем другое впечатление: проверки на состоятельность, честность, выживаемость (замечательно, что, при всей своей графике, текст подразумевает и возможность чтения вслух). И для нас это к лучшему, потому что с этого белого окна, выделенного плотным набором одного и того же «молчания», и начался в свое время новый круг: разговор об искусстве, выявивший самую жизненную функцию языка — речевую.

Сам Гомрингер в лекциях по искусству показывал слайды своих визуальных текстов параллельно со слайдами работ Макса Билля, также тяготевшими к минималистским формам. Они были почти идентичны. Ряд простейших элементов речи, а рядом — последовательность лаконичных визуальных форм. Что это был за способ говорения? Им была, видимо, послевоенная недоверчивость к любому виду идеологизированной художественности и вообще очень радикальное хозяйничанье — пересмотр того, что еще осталось в искусстве тех лет недискредитированным. Так сложилась немецкая группа конкретистов «47» (по году возникновения).

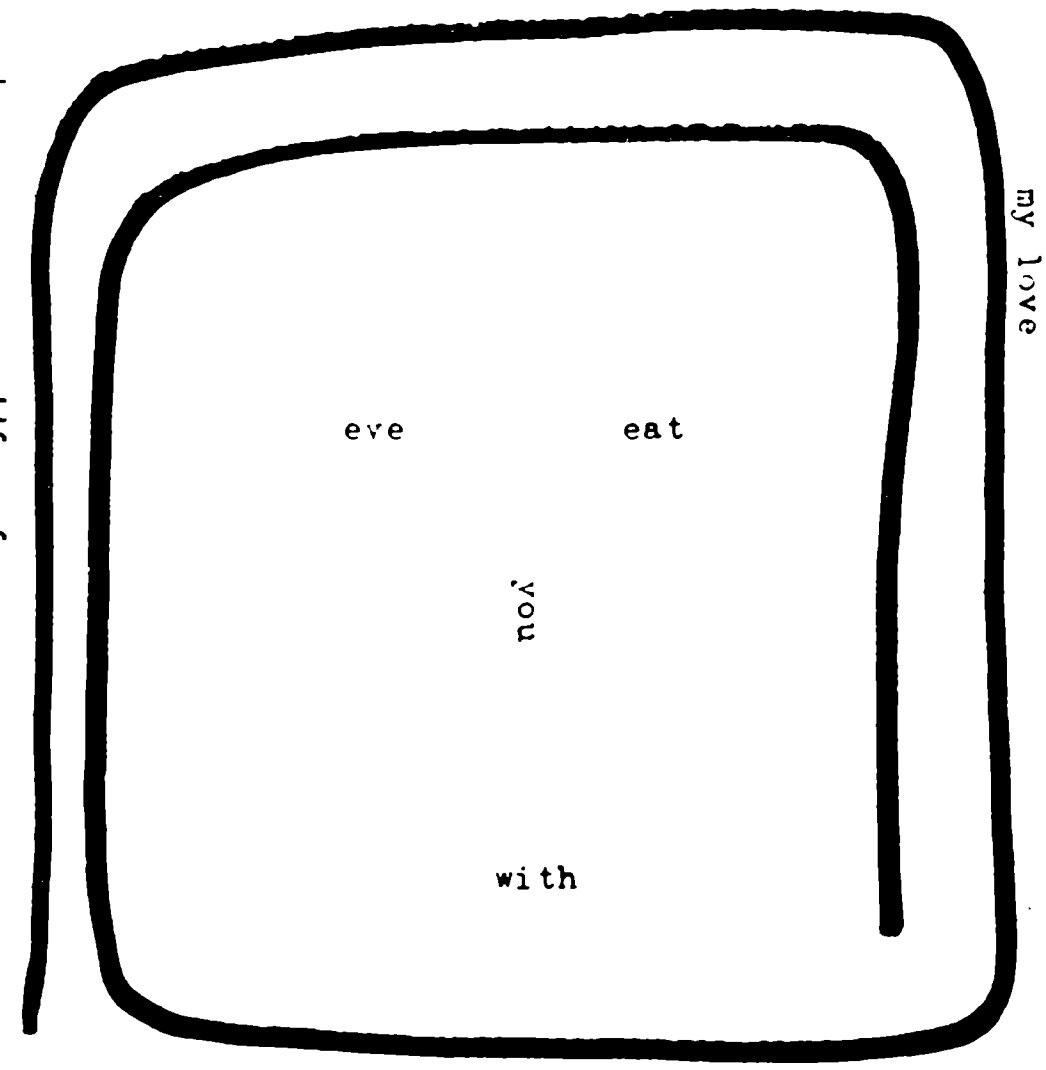
У нас тот же процесс и на тех же основаниях начался в конце 50-х, так что к началу 60-х в Лианозово уже писали то, что потом и здесь стали называть конкретной поэзией просто по аналогии с тем, как это называлось на Западе.

Мне меньше всего хотелось бы здесь отстаивать девственность наименований. Поэзия «конкретная» или «визуальная» — это, в конце концов, «смотря как посмотреть». Хотелось лишь указать на разницу двух тенденций в искусстве, на этом участке проявляющуюся, может быть, как нигде остро. Одна — живущая своим отношением к иероглифу, как слову, немеющему в красоте цельного графического знака, другая — ко все более и более полноценной выразительности речи, то есть к слову, не только организующему графическое пространство, но и звучащему.



Ф. Блок. «Ich — Du»

Андре Валиас.
Без названия



Ясуо Фудзитоми. «Женщина, которую я видел в японском банке»

ВИКТОР ХАЛИПОВ

ПОСТМОДЕРНИЗМ В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В современном литературоведении достаточно четко определились два противостоящих лагеря, кардинально расходящихся друг с другом в своих оценках, суждениях, прогнозах при рассмотрении круга проблем, так или иначе связанных с явлением постмодернизма.

Представители одного из них воспринимают последний как литературное направление, принципиально отличающееся ото всех, бывших до него, как вообще нечто гораздо большее, чем просто одно из направлений литературы и искусства,— некий сверхэтап развития мировой культуры. Эта точка зрения проистекает, на мой взгляд, из своеобразного «постмодернистского герметизма», проявляющегося в слишком обособленном, изолированном изучении направления, его оценке в соответствии с внутрипостмодернистскими же критериями [1], крайне редком оперировании непреходящими общекультурными ценностными понятиями.

Позиция же оппонентов определяется либо изначальным неприятием всего необычного, вызывающего, нетрадиционного, либо убежденностью в общем крайнем упадке современной литературы (со всеми вытекающими отсюда пренебрежительно-снисходительными оценками конкретных ее проявлений) относительно уровня классики.

В своей статье я попытаюсь уйти от крайностей приведенных выше точек зрения, вообще вывести исследование за рамки оппозиции «принятие — неприятие» явления в принципиально иную плоскость путем рассмотрения постмодернизма в широком диахроническом контексте культурного процесса европейской цивилизации как последнего, на сегодняшний день, звена в цепи последовательно сменявших друг друга на протяжении веков идейно-эстетических направлений. В упрощенно-обобщающем виде такая цепь выглядит следующим образом:

...— Архаика — Греческая классика — Эллинизм — Греко-римская классика — Упадок классики позднего Рима — Искусство «темных веков» — Готика — Возрождение — Барокко — Классицизм — Романтизм [2] — Реализм — Модернизм — Постмодернизм — ...

Подобная последовательность, где в одном ряду стоят столь, на первый взгляд, казалось бы, малосопоставимые вещи, как Готика и Реализм, Романтизм и Греко-римская классика, может показаться несколько надуманной, не имеющей единого основания для выделения входящих в этот ряд элементов. Поэтому оговорюсь сразу, что в качестве такового основания мной избраны наиболее общие, характернейшие особенности художественного видения мира, присущие той или иной эпохе, независимо от конкретных видов (вида) искусства, их выражавших. В одну эпоху творческий потенциал народов реализуется преимущественно через скульптуру и архитектуру, в другую — через живопись, в третью — через музыку и литературу, и т. д., в то время как прочие виды искусства на какой-то срок оказываются на периферии культурного процесса, не влияя существенно на его ход [3]. Представляется оправданным выделение отличительных черт таких «господствующих» видов искусства как отличительных черт

---

[1] Вплоть до крайнего проявления этой тенденции: постмодернистское — удачное, живое, движущее литературу вперед; реалистическое, романтическое и т. п. — анахронизм, эпигонство, тупик.

[2] Сентиментализм и романтизм рассматриваются как две стадии развития единого направления, подобно декадансу и авангарду, в совокупности составляющим модернизм. Термин «романтизм», соответственно, применяется здесь в несколько более широком, чем это обычно принято, значении.

[3] Более того, представляется возможным даже проследить в этой области некоторые закономерности. Так, например, еще В. Гюго писал, что изобретение книгопечатания убило архитектуру,— намечая тем самым определенную обратно пропорциональную связь между искусством камня и искусством слова.

культуры эпохи вообще. Если вычленить наиболее существенные признаки каждого направления, то «культурная цепочка» примет следующий вид:

Архаика:

крайняя стилизованность скульптуры, синкретизм искусств, философии, религии; колебания в пропорциях; праздничность, яркость раскраски.

Греческая классика:

гармонический художественный идеал; «реализм» скульптуры; рациональное планирование построек; целостность; ясность; пропорциональность; приоритет полисного (общественного) перед личным.

Эллинизм:

отсутствие цельности; сложное, противоречивое, неоднозначное отношение к миру; стремление эстетически освоить частную жизнь человека; развитие интимной садово-парковой скульптуры.

Греко-римская классика:

попытки теоретического оформления эстетических канонов; строгость, сдержанность; рациональный подход к процессу творчества; пропорциональность, соразмерность; дидактизм, господство общественно-государственных идеалов.

Упадок классики позднего Рима:

смещение пропорций; развитие формалистических школ; культурно-религиозный и жанрово-видовой эклектизм; тяготение к камерности, малым формам; шаткость общественных идеалов, тяготение искусств к частному, личному.

Искусство «темных веков»:

аскетизм, сухость, сдержанность; дидактизм; предельная идеологическая регламентированность; тяготение к утилитарности; негативное отношение к личностному творческому началу.

Готика:

орнаментальность, вычурность, утонченность; стремление к синтезу архитектуры, лепки, скульптуры, живописи; вытеснение рационального расчета свободным полетом творческой мысли, интуицией.

Возрождение:

обращение к античности; вера в разум; оптимизм; ясность; общественно-воспитательная функция искусства, непререкаемый авторитет произведений искусства, признанных образцовыми, подражание им.

Барокко:

экспрессивность; пышность; динамизм; театральность; принцип «совмещения несовместимого»; тяготение к сложному метафоризму, гиперболам; культивирование аллегорики и эмблематики; сенсуализм; развитие оперы, балета как отражение общей тенденции к синтезу искусств; идея непостоянства мира в сочетании с гедонизмом.

Классицизм:

обращение к античности, признание ее канонов, пропорций, эстетики образцовыми; рационализм; закрепленность форм; строгая иерархия жанров; тенденция к типизации; взгляд на процесс творчества как на сознательный, логически организованный процесс; дидактизм.

Романтизм:

противопоставление «подражанию природе» творческой активности художника; отрицание нормативности, рациональной регламентированности; обновление художественных форм; многозначность, ассоциативность, сгущенная метафоричность; разомкнутость родов и жанров; взаимопроникновение искусств; синтез искусства, философии, религии; демонстративная условность формы; пессимизм, неверие в прогресс; искусство как высшая реальность.

Реализм:

объективность; типизация; рассмотрение действительности в развитии; взгляд на искусство как на средство познания действительности; воспитательная функция искусства.

Модернизм:

пессимизм, идея абсурдности мира; приоритет личного перед общественным; художественная реальность обладает минимальными связями с объективной действительностью; ассоциативность; активнейший поиск новых форм выражения; синтез различных видов искусства; отрицание обязательств искусства по отношению к обществу и к истории.

Даже взгляд неискушенного в культуроведческих тонкостях человека легко заметит в приведенной цепи достаточно регулярно реализующиеся закономерности: неуклонное повторение, периодическое возрождение на протяжении веков некоторых существенных признаков культуры, поразительная схожесть эстетических критериев литературы и искусства определенных эпох и т. п. Упорядочить эти закономерности, привести их в единую, непротиворечивую, логически стройную систему, даже отчасти объяснить их природу помогает концепция двух типов культуры и двух начал бытия, разрабатывавшаяся Ф. Шлегелем, Ф. В. Й. Шеллингом и окончательно оформленная Ф. Ницше в его работе «Происхождение трагедии из духа музыки». Согласно данной теории, оппозиция «аполлоновское» («светлое», рациональное) — «дионисийское» («темное», иррациональное, хаотическое, страстное) позволяет описать весь спектр проявлений человеческой культуры и жизни вообще. Попробуем классифицировать в соответствии с концепцией Ф. Шлегеля — Ф. В. Й. Шеллинга — Ф. Ницше элементы приведенной выше «культурной цепочки» [1]. Проанализировав сущность выделенных ранее признаков, получаем:

Представленная схема наглядно иллюстрирует предлагаемую концепцию развития художественно-эстетической мысли Европы и стран, воспринявших ее культуру, демонстрирует «зигзагообразность» протекания этого процесса, упорядоченность чередования в ходе его «светлого» и «темного» начал.

Дадим теперь более расширенную характеристику последних путем «суммирования», сведения воедино признаков, отнесенных соответственно к каждому из направлений:

«аполлоновское» («светлое»)	«дионисийское» («темное»)
рациональность	иррациональность
упорядоченность	хаотичность
аналитичность	страстность

[1] Поскольку в каждом без исключения из рассматриваемых здесь таких крайне сложных, неоднозначных и противоречивых явлений, как культура целой эпохи, безусловно, в различных соотношениях присутствуют оба выделенных начала, возможно говорить лишь о преобладании, но ни в коей мере не о безраздельном господстве «аполлоновского» или «дионисийского» на том или ином этапе развития искусства (исходя из чего и будут создаваться дальнейшие построения).

гармоничность	противоречивость
объективность	субъективность
приоритет общественного	приоритет личного
пропорциональность	смещение пропорций
целостность	фрагментарность
планирование	интуиция
аскетизм	гедонизм
монументальность	камерность
строгость	вычурность
уравновешенность	динамизм
логичность	ассоциативность
оптимизм	пессимизм
вера в прогресс	идея абсурдности мира
бесспорность авторитета образцов	шаткость авторитета образцов
тенденция к теоретическому оформлению и закреплению эстетических канонов	тенденция к преодолению канонов, активный поиск новых форм
дидактизм, приоритет общественно-восп. функции	слабость дидактических тенденций, признание первоценности формы
тенденция к типизации	—
«подражание природе»	фантазия
ясность	аллегоричность, метафоричность, эмблематичность
тяготение к идеологизированности	тяготение к аполитичности
искусство как средство познания	самоценность искусства
—	взаимопроникновение различных видов искусства, стремление к их синтезу

Вот в самом общем виде та система культурологических координат, в которой далее я уже непосредственно буду рассматривать явление постмодернизма. Из отмеченной закономерности упорядоченного чередования «аполлоновского» и «дионисийского» начал как господствующих в определенные эпохи однозначно следует, что на смену «темному» модернизму пришел «светлый» постмодернизм. «Стыкуется» ли подобное чисто теоретическое утверждение с реальными признаками этого направления? Среди последних главными обычно считаются:

использование произведений литературного наследия предшествующих эпох в качестве «строительного материала» для создания (и цитирование как наиболее распространенное его проявление);

переосмысление элементов культуры прошлого (и пародирование, иронизирование как более частная форма реализации этого явления);

многоуровневая организация текста;

прием игры.

Первый из признаков достаточно четко вписывается в систему «аполлоновского» начала, продолжая (естественно, уже в измененном, модернизированном виде) возрожденческую, если так можно выразиться, традицию «светлых» течений. Так, обращение греко-римской классики к достижениям классики греческой сыграло решающую роль в формировании первой; ценности обоих этих направлений легли в основу Ренессанса, в сочетании с собственными открытиями последнего своеобразно преломились в классицизме; все они, вместе взятые, «вы́носили» в своих недрах реализм (не случайно ведь исследователи считают возможным говорить о своего рода реализме работ Фидия (греческая классика), произведений Шекспира (Возрождение), пьес Мольера (классицизм), и в постмодернизме некоторые литературоведы видят некий «истинный реализм», «сверхреализм», куда более полно, правдиво, многогранно отражающий мир, ощущения,

ход мыслей современного человека, чем собственно реализм в традиционном понимании термина). Несколько выпадает из этого ряда такое использованное мной «светлое» звено последовательности, как искусство «темных веков» (парадоксально иногда сочетаются слова), что объясняется общим крайним упадком искусства в этот период. Тенденция все же находит себе выход, отражаясь на развитии религии, почти полностью взявшей в то время на себя функции культуры в целом. Краеугольным камнем и апологетики, и систематики, и, в особенности, схоластики становится обращение к каноническим книгам, трудам «отцов церкви». Деятельность теологов, проповедников фактически сводилась к подбору необходимых цитат на определенную тему и толкованию, осмыслению и переосмыслению их, причем объем цитируемого текста часто намного превышал объем комментария к нему. Подобное же манипулирование выдержками из чужих произведений — уже отмеченный ранее характернейший момент постмодернистской поэтики.

Вышеизложенное подтверждает наше предположение, что постмодернизм развивается преимущественно в русле «аполлоновского» начала. «Аполлоновские» направления создаются, большей частью, на основе обобщения и творческой переработки художественного наследия, образно говоря,— обращены в прошлое, в отличие от «дионисийских» направлений, в большей мере сконцентрированных на самостоятельном поиске нового, нетрадиционного,— обращенных в будущее.

Перейдем теперь ко второму из выделенных признаков постмодернизма — переосмыслению, природа которого, на наш взгляд, тесно связана с вышеописанной тенденцией «светлых» направлений и во многом даже проистекает из нее. Поясню свою мысль. Ни один из заимствованных каким-либо из направлений элементов культуры прошлого не мог полностью, в неизменном виде вписаться в систему ценностей эпохи, удаленной от времени его создания на десятки или даже сотни лет. Однако не признать, отвергнуть его, даже в случае очевидного несоответствия господствующим в обществе представлениям, было невозможно в силу «авторитета» элемента как части образца, канона. Выходом из периодически имевших место подобных затруднительных ситуаций как раз и служил прием переосмысления, осуществлявший своеобразную «подтасовку фактов», в результате чего сохраненная в неизменном виде внешняя оболочка элемента незаметно начинала вмещать в себя уже несколько скорректированное, а иногда даже прямо противоположное изначальному значение [1]. В направлениях же с превалированием «дионисийского» начала прием переосмысления практически неизвестен. Предельно обобщая, можно сказать, что «аполлоновское» есть преобладание содержания над формой, «дионисийское» — формы над содержанием, а означенный прием, будучи обращен исключительно к сущности, не затрагивает оболочки. Пародирование как частный случай переосмысления также предполагает, во-первых, «обращение в прошлое» (наличие уже созданного ранее произведения искусства, которое избирается объектом пародии), а во-вторых,— манипуляцию содержанием такого произведения с целью создания комического эффекта, причем достоинство пародии определяется степенью достоверности воспроизведения формальных признаков оригинала.

Рассмотрим оставшиеся признаки постмодернизма — прием игры и многоуровневую организацию текста. Сущность их обоих (как, большей частью, и переосмысления) — в логически обдуманной, изначально спланированной организации материала, рациональном расчете последовательно предпринимаемых ходов, аналитичной детерминированности, неслучайности каждого употребляемого элемента. Систематические «обманы» читателя, зрителя, равно как и зашифровывание, «упрятывание» целых смысловых пластов, отнести к интуитивным импровизациям «дионисийства» было бы просто абсурдным. К тому же художник, создавая подобные построения, ориентируется в первую очередь на то, какую реакцию вызовут они у читателя, как будут воздействовать на него, что является еще одним важнейшим обобщенным признаком «светлого» начала, в то

[1] Ф. Ницше в работе «К генеалогии морали» отмечает, что такое, например, имеющее сугубо отрицательную оценочную маркированность понятие, как лицемерие, в эпоху греческой классики, напротив, однозначно воспринималось как сугубо положительная черта наделенного им человека, показатель его ума, смекалки, выдержки; в то же время такое, с нашей точки зрения, хорошее, светлое явление, как надежда, трактовалось как недостаток, порок, признак слабости, пассивности, беспомощности.

время как «темное» стремится, главным образом, к хаотичному субъективному самовыражению, сравнительно мало заботясь о своей понятности, легковоспринимаемости для читателя, зрителя, слушателя.

Осуществленное исследование позволяет с достаточной степенью уверенности утверждать, что постмодернизм есть господствующее направление художественного творчества наших дней со сравнительно четко выраженным преобладанием «аполлоновского» начала, в силу этого продолжающее на современном этапе (естественно, в специфическом, своеобразном виде) «аполлоновскую» — «классико-реалистическую» традицию и, таким образом, в достаточной степени отмежевавшееся от своего ближайшего соседа по хронологической цепочке — модернизма (близость с которым — иллюзия, основывающаяся лишь на схожести некоторых частных внешних признаков обоих направлений). Это — не некий принципиально отличающийся от всех бывших до него сверхэтап развития искусства и не его предсмертная агония, а очередное, последнее, на сегодняшний день, звено в цепи закономерно сменяющих друг друга на протяжении истории направлений культуры. Оговорюсь по поводу использованного мной определения «господствующее». Могут возникнуть возражения: мол, современное художественное творчество достаточно широко представлено и произведениями, выполненными в русле реализма, модернизма, романтизма и, возможно, других. Да, это так. Всегда при зарождении, становлении новых направлений какое-то время (иногда даже и весьма длительное) параллельно продолжают существовать, постепенно вытесняясь, и старые. Однако никому же, например, не придет в голову оспаривать господство реализма в русской литературе 30—40-х годов XIX века на том основании, что в этот период все еще создавались отдельные классицистские произведения, не говоря уж об активнейшей творческой деятельности романтиков.

И в заключение рискну сделать несколько прогнозов относительно перспектив развития постмодернизма. Начальный период его существования ознаменовался процессом постепенного отмежевания от близких в формальном отношении модернистских школ, формирования оригинальной идейно-эстетической системы (что, например, наглядно демонстрирует творчество классика направления — английского драматурга Т. Стоппарда, проделавшего, по словам исследователя Ю. Фридштейна, путь от «новомодного» Беккета — к «старомодному Чехову» [1],— иными словами, переход от «темного» начала к «светлому», ошибочно принятый критиком за возврат к реализму). И если сейчас можно говорить о таких уже упоминавшихся характерных чертах постмодернизма, как переосмысление, многоуровневая организация текста, прием игры, построение произведений из элементов культуры прошлого, и таких его особенностях, как рациональность, упорядоченность, аналитичность, логичность, планирование, приоритет содержания над формой, то, вероятно, в будущем можно ожидать дальнейшего усиления в нем «классико-реалистических» тенденций [2]: объективности, гармоничности, пропорциональности, стремления к теоретическому оформлению и закреплению эстетических канонов, дальнейшей борьбы с остатками модернистских «излишеств», появления дидактизма. И совершенно невозможно предположить, как скажутся на развитии направления такие кажущиеся нам правомерными противопоставления сверхпризнаков «аполлоновского» и «дионисийского» начал, как «макрокосм — микрокосм», «акцептор — донор», «мужское — женское»... Станет ли постмодернизм воплощением того равновесия, взаимодополнения, гармонического сочетания «темного» и «светлого» начал, которое, по мысли Ф. Ницше, было бы идеальным? Или им сможет стать то еще не существующее направление «дионисийского» толка, которое придет на смену господствующему сейчас постмодернизму? И то, и другое маловероятно. Скорее всего, такой идеал, как и любой идеал вообще,— теоретически мыслимая абстракция, своего рода ориентир, вряд ли в принципе осуществимый.

---

[1] *Ю. Фридштейн.* Том Стоппард: от парадоксов — к исповедальности. «Совр. драматургия», 1991, № 3. С. 65.

[2] Возможно, это выльется в прогнозируемое некоторыми исследователями слияние постмодернизма и реализма в некое единое целое. Подобный «ренессанс» последнего, с нашей точки зрения,— вполне допустимое явление.

АЛЕКСАНДР ЯКИМОВИЧ

О ЛУЧАХ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ДРУГИХ СВЕТОВЫХ ЯВЛЕНИЯХ

Культурная парадигма авангарда и постмодерна

Они стали сводить счеты с папашей Разумом и матушкой Моралью. Откровеннее всех был Ницше — кумир авангардистов Германии, Франции, Испании, Италии, да и России, при всех оговорках, тоже. Христианское сострадание есть «добродетель уличных женщин», а истина — «род общеполезной фальсификации». Что делали бы без Ницше младшие — Лорка, Бунюэль, де Кирико, Андре Бретон? Им пришлось бы его выдумать. Да что там Андре Бретон. Проникновенный, человечный (какие там есть еще эпитеты?) А. П. Чехов пишет «Дом с мезонином». Главный герой — никакой не авангардист, однако же человек искусства. То есть не чиновник, не учитель, не лекарь, и это существенно. Имеет он дело с добрыми и хорошими, ужасно человеколюбивыми интеллигентами — и не выдерживает: взрывается и так поносит гуманизм, просвещение, сострадание и добро, что просто странно. Что это с ним?

Что такое было со Львом Шестовым, одним из лучших знатоков Ницше и тогдашней философии? Где почтение к Разумному, Доброму, Вечному? Логика, закон причинности, кантовский «категорический императив» — все под корень.

Российский философ хорошей немецкой закваски, С. Франк озадаченно констатировал: да ведь если подумать, то девяносто девять процентов всего зла на планете совершается-то во имя Добра и Справедливости. Этот парадокс сам по себе не нов, но в XX веке он сделал новую — блестящую — карьеру. Позднее, в 30-е годы, его полюбил Олдос Хаксли, большой знаток и виртуоз философских парадоксов и абсурдов. Да кто, собственно, среди нас злодей? Разве бравые парни Гитлера и Сталина — злодеи? Плохого они не хотят. Цель у них высокая. У них насчет средств достижения цели как-то не очень, а цель — совершенный, разумный и справедливый «новый порядок». Чем плохо-то? Видимо, надо сознаваться. Стремление к Разумному и Доброму тоже есть орудие мирового зла.

Нечего и сомневаться в том, что среди читающей публики Запада и Востока и сейчас немало таких, кто умеет пылко и красноречиво опровергать гадостные измышления Ницше и Шестова, Хаксли и Фрейда и всякие иные. Но давайте повременим. Пускай они не правы. Нам надо понять — почему они пожелали впасть в эту странную ересь. Шестов писал, что философии следовало бы сделаться хотя бы немного сумасшедшей. Как так, для чего? Чем не устраивал его светлый Разум? Что стряслось с Джойсом, Кафкой, Сальвадором Дали? Искусство- и литературоведы хотели бы верить, что имеют на этот счет весомые соображения.

Соображения о развитии стиля: от символизма к экспрессионизму, сюрреализму и так далее. В конце этой цепочки возникает пресловутый постмодернизм. То есть процесс шел по пути естественной логики развития: от объективного к субъективному, от мимезиса к чему-то иному. А там и «смерть автора», по Барту, и полистилистика, и интертекстуальность, и приехали. Все хорошо получается, кроме одной мелочи. Авангард и постмодерн воевали с логикой, со здравым смыслом, с философским законом причинности (правильно они это делали или нет — другой вопрос). Ученая братия, однако же, при своем полном респекте к прославленным новаторам и их потомкам привычно загоняет их в клетку логической последовательности, причинности и «закона маятника». Это равносильно изучению, скажем, христианской культуры Средневековья с позиций атеизма, чем любили заниматься разного рода просветители.

Что-то сдвинулось в основах культуры, в основах самочувствия художника, и сдвиг был самый что ни на есть фундаментальный. Прикладывать к этому

сдвигу нашу старую добрую лесенку стилей — это почти то же самое, что пытаться приспособить стремянку — эту незаменимую в домашнем хозяйстве вещь — к средних размеров тектоническому разлому земной коры.

Итальянский художник Маринетти взахлеб писал о прелестях войны, а Маяковский оставил потомкам знаменитую строчку «Я люблю смотреть, как умирают дети». Заклеймить их легко, но вот все-таки ради чего они такие вещи говорили? Мейерхольд мечтал о театре революционного насилия, но нечего кивать на то, что он был пламенный большевик. Небольшевик Антонен Арто буквально в те же самые годы — в середине 20-х — начинает придумывать свой «театр жестокости». Одно название чего стоит. Надо заставить зрителей кричать — говорил Арто, признанный с тех пор основоположником нового театра XX века. Основоположник нового киноискусства Луис Бунюэль снимал (по сценарию Сальвадора Дали) живой человеческий глаз, рассекаемый бритвой, и муравьев, которые копошатся на продырявленной, но живой ладони. Это «Андалузский пес». В «Золотом веке» тоже отличный набор нокаутирующих кадров.

Не будем сейчас перечислять ключевые и острые моменты, аспекты, мотивы у Джойса, Кафки, Хармса и Платонова. Они не вызывают у меня острого желания думать о различиях, скажем, экспрессионистской и сюрреалистической стилистик или дать определение абсурдного как приема искусства. Это все, конечно, можно делать и будет сделано (а иначе для чего же университеты выдают дипломы?). Есть острая необходимость думать о мироощущении людей, которые стали делать новое искусство XX века. Ведь должен был случиться большой тектонический сдвиг в индивидуальной и социальной психике людей, чтобы это новое искусство приобрело всеобщность и даже стало символом XX века.

Имеем мы литературу Милана Кундеры, Умберто Эко, Патрика Зюскинда, Петера Хандке и фильмы Лилианы Кавани, Фасбиндера, Гринуэя. Их безумства, зверства и мерзости достойно продолжают путь, намеченный основоположниками. Это так — если говорить с позиций классической эстетики Разумного, Доброго, Вечного. А главное — очень странно все. Идет хорошая жизнь: как игрушки, аккуратные и приятные города, умные люди, правильные слова. А какое высшее общество! Вкус, тонкость, образованность — полубоги! Внутри же творится что-то немыслимое, загадочное, никакими каузальными связями не объяснимое. Душат и топят, сношаются и стреляют, и все как-то немыслимо, нелогично, безумно. Зачем? Что с ними стряслось? Прелестные уроды, цивилизованные дикари, гуманные убийцы и жертвы, обожающие своих палачей, честные предатели и все прочие... Это все оттого, что модернизм претворился в постмодернизм? Или есть еще что-то важное — то, что обычно упускается из виду в профессионально-ведческих разговорах?

Психологи (например, Лефебр) исследуют феномен «всякой-любой» психики, то есть как бы хаотического поведения, в котором отсутствует стержень, ядро. Положим, Маяковский «любил смотреть, как умирают дети» (хотя скорее всего на себя клеветал, но это пусть). А сегодня перед нами такая стадия, когда герою скорее всего «все равно». Дети, не дети, умирают или не умирают — это для него не оппозиции, не материал для упорядоченной картины мира.

В нашем распоряжении — пышный букет исторических обстоятельств и факторов жизни человека в XX столетии, которые как-то связаны с тем поразительным «новым человеком», хомо новус, коего мы и наблюдаем в современном искусстве. Развился он, очевидно, из того самого «человека неописуемого», которого увидел еще Ницше. Что его сделало таким? Да что угодно: реальность рыночной экономики, массовые коммуникации, которые стирают критерии и насаждают вседозволенность и великое «все едино». Психологи стали заниматься суперсовременным протагонистом эпохи электронных чудес, стали исследовать психику мастера-программиста. Выяснилось, что он странный человек: он мало интересуется логикой и моральными категориями типа «добро — зло». Вот о том и речь. То ли новые боги, то ли звери вырастают перед экранами компьютеров.

С полным основанием читатель может сказать, что это, в конце концов, уже скучно и нелепо — бранить компьютер. Согласен. Бранить-то можно что угодно.

Фашистов и коммунистов. Демократии, которые сами себя охотно секут, а с фашистами и коммунистами осторожничают. Мировые войны. Сверхпотребление и недопотребление, атеизм и религиозный фундаментализм и прочее. Тут просто необъятный простор. Психолог укажет на одно, социолог на другое, политолог на третье, экономист на четвертое и так далее. В добрый путь — иными словами, до серьезных результатов тут никогда не добраться. Вопрос: что породило постмодернизм? Ответ: бери что угодно, не ошибешься. Пол Файерабенд полагает, что главная заповедь человека постмодернистской эпохи — anything goes, то есть «все годится».

Такие повороты в культуре европейского — и находящегося в орбите европейского — человечества не случаются ни за несколько дней, ни за несколько лет. Еще в начале XX века большой знаток и почитатель Ницше Роберт Музиль продолжил антропологическую догадку своего кумира, когда написал, что теперь определение человека должно быть примерно таким: существо, которое способно и заняться каннибализмом, и написать «Критику чистого разума». Вот он стал какой, человек,— всевозможный, неописуемый. Гениальный каннибал, добродетельный скот, прекраснейший из уродов. Нехорошо так говорить? Никто и не утверждает, что хорошо...

Философия и теория культуры в конце XX века много себе ломают голову над подобными вещами. Вот вам общество и человек, которые почему-то не желают упорядочивать мир — признавать в нем центр, ось смыслов и разумно устроенную систему свойств и признаков. Хорошо и плохо, красиво и отвратительно, правда и неправда — их различение стало вроде бы необязательным. Теряется способность различения, das Unterscheidungsvermögen — утверждает известный мыслитель Вольфганг Вельш. Еще куда более известный Жак Деррида полагает, что критериев для различения у нас нет — не потому, что они куда-то подевались, а потому, что их вообще никогда не было и в принципе не может быть. Мир культуры — это мир знаков, а что стоит за ними, то есть какие такие «реальности»,— нам в принципе не дано знать. Тезис вообще-то не нов, но, прокаленный в огне структурализма, он выглядит прочнее и острее, чем традиционный агностицизм.

Произошла смена парадигмы. Ее осуществили не постмодернисты, не Лиотар, не Делез, не Файерабенд; они подхватили и дополнили те догадки, которые расцвели пышным цветом уже у Ницше, Шестова, Ясперса. Сартр утверждал, что человек есть «существо без сущности» — это вариант той самой мысли, которая витала в книгах Музиля, Джойса, даже Томаса Манна. До появления авангардизма культура придерживалась упорядоченных моделей мира, то есть предлагался тот или иной «абсолютный центр смысла». В средневековом христианстве он был один, у гуманистов Возрождения — другой. У Декарта и Маркса были разные «центры смысла», но их модели мира были достаточно строго центрированы. Вокруг «центра» группировались ценности в виде бинарных оппозиций. Престол небесный и преисподняя, знание и незнание, труд и капитал и многое другое складывались в те семантические дифференциалы, без которых, как казалось, картина мира не может существовать.

Удивительная и опасная особенность авангардной культуры состоит именно в том, что само упорядоченное моделирование картины мира стало в ней нежелательным. Правда, были и попытки «нового упорядочения», новых смысловых иерархий (в конструктивизме, в абстракционизме). Однако же радикальный авангард (Пикассо, Марселя Дюшана, Джойса и т. п.) стремился скорее к новому моделированию, к хаотическим и неупорядоченным моделям, к «существу без сущности», к «все годится». В философских набросках Даниила Хармса есть мысль о том, что новый человек мыслит не так, как прежний, а «текуче». Это очень емкое определение, оно приложимо не только к Джойсу, но и к постмодерну. Кстати сказать, герои сегодняшнего дня — уже упоминавшиеся суперпрограммисты с их особым «демиургическим» сознанием, в котором нет места для моральных оппозиций и прочих «нормальных» вещей,— тоже оттуда. Программист — это современный Джойс, современный Бунюэль, личность с «текучим» сознанием, где не закреплены «устои».

* * *

Культура авангардизма на Западе научилась тому, что стало впоследствии прерогативой постмодерна. Научилась употреблять «деконструкцию» (демонтаж «смыслового центра» и бинарных оппозиций) в качестве своего рода конструкции. Иными словами, освоила парадоксальное искусство строить дом, в котором крыша — ураган, а пол — землетрясение. Искусство устраиваться в адских провалах и зияниях с неким как бы комфортом. Нормальный деловой подход к дьявольщине.

Бергсон думал о методе познания, который сливался бы с предметом познания — характерное разрушение разумной оппозиции. Ясперс размышлял о познании, как о «парении» (das Schweben) духа над реальностью без прочной связи с нею. Ортега-и-Гассет предлагал воздерживаться от абсолютных истин (демонтаж центра). В разумных понятиях Декарта или Канта все это — совершеннейшая бессмыслица. Но в этом безумии есть своя система. Новое мышление деловито обживало хаос и бездну, научалось мыслить немыслимое. Откуда такой подход?

Подход этот вызывает в памяти Робинзона Крузо. Раз уж довелось угодить черт знает куда, в преисподнюю, где не с кем перемолвиться разумным человеческим словом и вокруг лишь дичь, глушь и природный хаос,— то надо осваиваться, то есть отчасти приспосабливаться к хаосу (надевать звериные шкуры), и по мере сил встраивать туда свой маленький уголок порядка и разумности. Превратить хаос в космос, преисподнюю в рай цивилизации Робинзон не может, но устроиться и прижиться — может.

Обживание хаоса, разумно-абсурдная робинзонова работа — это все импульсы Просвещения. Мы в XX веке имели дело с «плодами Просвещения», с его стратегией, доведенной до самых радикальных крайностей. Воинствующую критику и демистификацию сомнительных истин не так уж трудно довести до того, что они обратятся против исходных позиций самого Просвещения, то есть против культа разума и естественной морали. Культура XX века подобна лазерному лучу, который так распалился, что уже сжигает свой собственный генератор. Но все равно продолжает генерироваться. Из чего?

Распоясавшаяся машина стала самостоятельной и не слушается тормозов. Независимый человеческий дух сбросил всякую узду. Появляется маркиз де Сад — еще один кумир авангардистов XX века. Они своего видели издалека. Почему, собственно, какие-либо ценности должны иметь привилегию и быть изъяты из беспощадного луча «про-свещения»? Если патриархальное общество, монархия, религия и прочие нелепости попадают в прицел, то с какой стати щадить здравый смысл и добродетель, науку и прочие святыни? Начавшийся таким образом процесс вышел в XX веке на новую спираль, и постмодерн — лишь участок этой спирали, лишь часть кривой.

За сотню лет до постмодерна Фридрих Ницше писал, что настоящий мыслитель — это не тот, кто «как все», а тот, вокруг которого все грохочет, качается, разверзаются бездны и происходит что-то такое, от чего становится не по себе, unheimlich. В этом хаосе — добавим мы от себя,— в этом неупорядоченном мире теперь и приходится обитать. И приходится исследовать — что именно и как именно качается, разверзается и прочее. Такие условия. На необитаемом острове надо хотя бы отчасти приспосабливаться к «дикой» жизни, а в аду хочешь не хочешь следует в меру осатанеть. Таковы условия игры. В эту игру на Западе играют виртуозно. Уметь со смыслом «одичать», со смыслом «осатанеть» и обживаться в безднах и провалах, где нормальному человеку должно быть не по себе,— вот о чем идет речь. То есть о Хайдеггере, Витгенштейне, Кафке, Джойсе и так далее.

Своим же странным, рассеянно-ироническим, изящно-кошмарным и так далее искусством постмодерн вносит лишь дополнительный акцент в этот сверхпросветительский культ Человека, этого безграничного автономного Духа, который «все может» — не в том смысле, что он может исправить мироздание и усовершенствовать себя (этого он сделать не в состоянии), а в том смысле, что он способен самого себя приносить в жертву до бесконечности. Он светит за счет самосжигания, самоаннигиляции, за счет перманентного Большого Взрыва, этот

каннибал с его «Критикой чистого разума» и прочими удивительными вещами и способностями.

И в основе авангардизма начала XX века, и в основе постмодерна его конца лежит, так сказать, сверхмиф западной культуры — идея всесильного и, в сущности, сверхъестественного Духа, который властвует над миром, умея его отрицать и «про-свещать» самым немилосердным образом, и умея столь же немилосердно отрицать себя самого, жертвовать собой, и тем самым окончательно подтверждать свою абсолютность и свою власть. Вопрос о том, в какой мере этот сверхмиф несет на себе отпечаток христианской парадигмы (спасение мира и человека через жертву, через отказ Спасителя от себя самого — отказ, удостоверяющий его абсолютную власть) — этот вопрос, сам по себе вовсе не праздный, здесь лучше не затрагивать.

Отсюда, по-видимому, следует, что авангардизм и постмодерн принадлежат вдвоем к одной и той же большой стадиальной общности. Разговоры о том, что «авангардизм умер» или «должен умереть», что его принципы опрокинуты (или должны быть опрокинуты) и на этом месте должно появиться нечто новое (одни скажут — постмодерн, другие скажут что-то иное),— это не то что недоразумение, а скорее «честное заблуждение» детей, которые не хотят видеть своей внутренней близости к отцу, своего сходства с ним. Они желают видеть себя «совершенно другими», диаметрально противоположными. Но со стороны видно, что фамильное сходство имеется.

А что с Россией? Свой прославленный авангардизм она утратила. Он не пропал даром: куда ни глянь в современном искусстве, его отголоски и уроки заметны так же хорошо, как уроки Достоевского и Толстого. Но это у других. У нас же — десятилетия утопии, оплодотворившей почву для самого отчаянного цинизма, и в итоге — самоощущение глубокой культурной периферии, которая хочет быть похожей на метрополию. Я утрирую, но что же делать.

Метрополия авангарда и постмодерна, страна двух столиц — Нью-Йорка и Парижа — поклоняется «человеку, который может все». Разумеется, все лишь в определенном смысле: он не может справиться с голодом и болезнями, с войнами и прочими бедами. Но он все равно всесильный господин Вселенной — потому что он *сильнее себя самого*. Он готов сделаться палачом самого себя, своего духа и тела. Он с готовностью погружается в безумное неразличение смыслов (жизнь и смерть, добро и зло). Посредством этого духовного мазохизма он себя утверждает. Я могу такие вещи, которые никто не может: и вот это, и это, и даже *это*... И делает *это*, от чего становится очень не по себе, кровь стынет в жилах, почва качается под ногами. Видали? Ощутили? Это сделал «человек, который может все», который *сильнее себя самого*.

Прежде его именовали, допустим, Пикассо, Бунюэль, Кафка. Теперь это Умберто Эко, Петер Хандке, Фасбиндер, Гринуэй или еще как-нибудь. Что там у них постмодерн, а что не постмодерн? Господи, какая проблема.

Паскаль писал три века назад, что наивысшее свидетельство величия человеческого разума — это его сомнение в себе. Наш старший современник Теодор Адорно любил повторять как будто ту же самую мысль: дело человеческого разума — подвергать сомнению все на свете, в том числе — и даже в особенности — себя самого. Не будем сейчас углубляться в различия интонаций: Паскаль и Адорно произносили как бы одно и то же, но очень все-таки по-разному. Преемственность, однако же, налицо. Вот, в самом деле, «отцы и дети». Вот, в самом деле, фамильный западноевропейский культ автономного Разума, которому нет и не может быть преград и ограничений, которому всё нипочем, даже он сам. В этом смысле и можно утверждать, что некий постмодернист с его многозначительно-безумными, рафинированно-омерзительными экзерсисами и странными намеками, которые что-то означают или не означают ничего (что в данной системе одно и то же), принадлежит к тому же семейству, что Теодор Адорно, Фридрих Ницше и Паскаль. Что тут остается делать периферии, если не затаить дыхание, не аплодировать, не отдать свое сердце навеки? Разве можно устоять перед этой безмерной неудовлетворенностью духа, перед бесстрашием саморефлексии и демистификации, перед культурой Запада? Другой такой нет на планете.

Другой такой нет, но вот *другие* все-таки есть. Россия, по всей видимости,

обладает одной из этих других культур. Причем она ближе всех других культур (например, восточных) стоит к западноевропейской парадигме, поскольку, вероятно, общие христианские корни что-то значат, да и общение тоже. Российские мыслители XX века замечали, что мысль и искусство России, как бы они ни «вестернизировались» в те или иные моменты своей истории, наделены какой-то глубоко отличной от «западности» спецификой, а именно эсхатологичностью. Ну никак не получалось у русских писателей и художников уверовать до конца в автономный и всесильный человеческий Дух, который готов себя же опровергнуть ради собственного самовозвеличения. Причем склонность к демистификации, к разоблачению и «про-свещению» идей и вещей была как раз в России очень сильна, и ее нигилисты, анархисты, авангардисты не раз удивляли мир. Но только они поклонялись не горделивому парадоксу Паскаля и Адорно, а чему-то иному. Обязательно верили в некую «сверхидею», в абсолютную ценность, которую невозможно и непозволительно компрометировать.

А реальная жизнь что: ее можно отбросить, растоптать, пародировать. Разумное, Вечное, Доброе и все их эманации в человеческой жизни — семья, государство, законы, философии и прочее — суть не что иное, как «дьяволов водевиль», по выражению одного весьма радикально настроенного персонажа у Достоевского. Но это совсем не то, что было у Ницше, Витгенштейна, Сартра, Адорно. Совсем не то, что у Пикассо, Бунюэля, Джойса. В культуре России радикальное отрицание скорее служит обоснованием Абсолюта, находящегося вне человеческих понятий и возможностей.

Наверное, художники России — тоже авангардисты и тоже постмодернисты, но они какие-то другие авангардисты и постмодернисты. Западная культура как будто хочет сказать, что высших и окончательных истин человеческому существу не дано познать, но зато оно, существо, способно срывать личины истин и ценностей с чего угодно и в том числе даже надругаться над собой — доказывая тем самым свою неограниченность, свою иррациональную Свободу. Культура России выговаривает что-то другое в конечном итоге.

В «западных» фильмах Андрея Тарковского, снятых в Швеции и Италии с западными актерами, речь идет о том, как человек расстается с «нормальной» жизнью, с разумом и упорядоченной картиной мира, уходит в мир за пределами норм и понятий людей. И эта игра стоит свеч — не потому, что тут автономный, безгранично свободный человек утверждает себя, а потому, что там, за барьером понятий и норм, начинается царство Света и Смысла, который уже никак не связан с нашими метаниями, отрицаниями, самоуничтожениями.

Вера Тарковского в Свет и Смысл по ту сторону отрицания, безумия и хаоса — это «русская болезнь», а не западный синдром. Что правильно и что неправильно, что лучше и что хуже — предоставим решать каждому для себя.

В последнем десятилетии XX века западное искусство занимается проблемой идентичности смыслов — занимается в том смысле, что не оставляет от этой идентичности камня на камне. Например, есть оппозиция «невинность — порок» (частный случай великого морального противостояния «доброго» и «злого»). Майк Келли берет милые, невинные пушистые детские игрушки — зайчиков, лисичек — и составляет из них чудовищные подобия мужских половых органов. Вы говорили о свете и тьме? Невинное дитя? Полюбуйтесь. Синди Шерман выставляет рафинированные по цвету и композиции эстетские фотографии, изображающие гниющие отбросы и всякую мерзость. Прекрасную мерзость.

Художники из Москвы и Петербурга (даже когда они остаются у себя, а не переселяются в Париж или Нью-Йорк) тоже стараются научиться этой свободе, этому освобождению от иллюзий, этой критике «нормальных» понятий. Есть, как полагается, концептуализм, есть группа «Медицинская герменевтика», есть «некрореалисты». Но соревноваться с западными художниками на их территории, то есть в рамках их, западной парадигмы, у художников России плохо получается. Как правило, шедевры «независимого искусства» выглядят слабыми и бледными сравнительно с творчеством художников Запада. Говорят, что во всем виноваты соцреализм и долгое существование в подполье, которое, мол, делает анемичными. Вероятно, это верно, но это не всё. У художников России еще и отличные от западных (пока еще отличные) культурные гены. Они сами обычно этого не понимают, они хотят быть «как все» в метрополии. Но они — не потомки де

Сада, Ницше и Адорно, а духовные отпрыски Кириллова, Ивана Карамазова и чевенгурских мечтателей. С этим трудно что-либо поделать. Они хотят конструировать — как их западные собратья — машины для разрушения иллюзий, для уничтожения идентичности, для «деконструкции», но получаются в конечном итоге какие-то другие вещи, связанные скорее с мистической мечтой об Истине, о Свете.

Но разве не любят художники России писать «забавные кошмары» и всякие двусмысленные картины? Один из любимых мотивов Олега Целкова (очень значительного, хотя и недооцененного художника) — добродушно ухмыляющаяся маска с гвоздем, вбитым ей в лоб. Да и кто из живописцев и «антиживописцев» не деформирует, не искажает, не культивирует бессмыслицу, странность, нелепость? И все-таки с потомками де Сада и Ницше их не спутаешь. То замечаешь там интерес к мистическому свету и чуть ли не сакральному лику. То слышишь ноту трагической потрясенности таинственными драмами бытия. Им никак не удается дозреть до настоящей западной кондиции, то есть до стопроцентной готовности бесстрашно «демистифицировать» какие угодно драмы, лики и мистерии. Жизнь и смерть? Святое и грешное? Дурное и доброе? Правда и ложь? Российские художники с энтузиазмом неофитов бросаются демонстрировать, что все эти вещи безнадежно спутаны и теперь уже нам безразличны. Это делают Илья Кабаков и Наталья Нестерова, Венедикт Ерофеев и Владимир Сорокин. Но они говорят вовсе не о том, что «человек может все» и «сильнее себя самого». Им тоже нужна неупорядоченная, бесцентровая модель реальности, но только совсем для особенных целей.

Они говорят скорее о человеке, который не может ничего, который потерпел сокрушительное поражение. Его ценности обанкротились. Та гордость и восхищение своей свободой, своим неукротимым духом, который не боится себя же самого отрицать,— та гордость и то восхищение, которые свойственны западной культурной парадигме,— в искусстве и литературе России не заметны. Там речь совсем о другом.

В 1991 году Илья Кабаков сделал в Берлине ставшую уже знаменитой выставку под названием «Жизнь мух». То была концептуальная экспозиция: предметы, надписи и прочее. Смысловым центром всего этого визуально-текстового-философского шоу была муха. Было принято за аксиому, что муха — самое совершенное существо во вселенной, что она — венец всего живущего. Все, что происходит в мире,— ради нее. Великие мыслители всех времен и народов говорят свои мудрые слова о ней и ради нее.

Смысл этого своеобразного зрелища ясен. А не посмотреть ли нам отстраненно на самих себя? То есть гуманизм, антропоцентризм и прочее в том же роде. Человеческий разум, человеческая мораль, человеческие ценности... А что, если — мушиные?

Подобного рода «циничные» допущения — непременная принадлежность западной цивилизации, с ее просвещением, авангардизмом и постмодерном. Но экспозиция Кабакова в Берлине была не об этом. Она была *о надежде* и *о свете*. Мухоцентрическое мироздание Кабакова было воздушно, невесомо и прозрачно. Там все время речь шла о полете. Есть существа, которые парят, играют в воздухе. Правда, они не брезгуют и помойками. Но это — парящая цивилизация. Знал ли Кабаков о том, что признаком подлинного духа Ясперс считал «парение», das Schweben? Знал ли он о безумных «мысленных экспериментах» близкого к Ясперсу, но гораздо более радикального Шестова?

О Шестове и Достоевском здесь приходится вспомнить. «Подпольный человек» мечтал о том, чтобы «разумное, доброе, вечное» смахнуть и «по своей глупой воле пожить». По какой воле? Воля Малевича, Шестова, Платонова — совсем не воля Пикассо и Джойса. Литература и искусство России с каким-то заслуживающим специального интереса упорством воспроизводят «сон смешного человека». Скажем, философский сон того же Кабакова о величии и достоинстве мушиного племени. То есть видение о том, как человеческая культура провалилась, человек — ничто, но есть, оказывается, нечто такое в мире, что и воплощает в себе Истину, Свет, Абсолют. Наивно? Никто ведь и не говорит, что это не наивно...

Книга Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» — своего рода дневник

путешествия. Московский пария, философический перекати-поле, алкоголик-Диоген едет в захолустный городишко, чтобы повидать женщину своей мечты. Она, собственно, не более чем подмосковная шлюха, но это неважно. Он держит путь в рай. Он охотно говорит о разных разностях — о женщинах, о политике, о русском народе, об Асуанской плотине. Но больше всего и вдохновеннее всего он говорит о выпивке и о культуре. Собственно говоря, он делает своеобразные наброски к алкоголической истории мировой культуры. Он подходит к своему делу вполне фундаментально — он ведь и философ, и богослов даже. Он создает целое учение о существовании Бога, исходя из такого, казалось бы, малозначащего факта, как существование пьяной икоты. Это, так сказать, насмешливый поклон в сторону Канта и всех тех, кто занимался онтологическим доказательством.

Он проводит целое психологическое исследование личности Гёте и обнаруживает у того латентный алкоголизм, не выраженный в действии. Перед нами — опять «подпольный человек» из России, который никакому Ницше, никакому постмодернисту не уступит в поношении святынь и устоев цивилизованного человечества.

А для чего? Ради мечты. И вовсе не ради неопросветительского обожествления безгранично кощунственного и непочтительного Духа. Любоваться своим умением одурачить Канта и посмеяться над Гёте (то есть одурачить *себя*, посмеяться над *собой*) он явно не собирается. Для него это — начало мистического ритуала. Он, как «смешной человек», отворачивается от разума и морали, чтобы увидеть сон о Высшей Истине, стоящей неизмеримо выше наших понятий. А от мира он уходит. Кант, контролеры и собутыльники, Октябрьская революция (он и ее инсценирует) и все прочее — только истоптанные грязными ногами дорожки, по которым можно разбежаться и прыгнуть.

Мистик из подмосковной электрички мечтает о вратах Рая, а поэтому совершает обряд очищения. Он срывает с себя «слишком человеческое». Гениальный Гёте, заговорщик Ленин с его учением о революции и прочие благодетели и светочи человечества, его мыслители, поэты, властители дум — все к чертовой матери, без разбору. У врат Рая разницы между всеми ними мало. Высшая реальность бесконечно превосходит наши чувства и мысли, понятия и ценности. И он дружелюбно беседует с ангелами в тамбуре — разумеется о выпивке, о чем же еще.

Западный авангардизм и постмодерн начинают с «не верю». Я (Джойс, Бунюэль, Арто и т. д.) не верю в истины разума и морали, в науку, в христианские заповеди и прочие вещи. Это неверие Я умею систематически и бесстрашно развернуть в боевые порядки. Я умею идти до конца. Я умею выстроить целое здание из своих актов разрушения. Я способен на все. Себя самого не жалею. Это значит, что таким особенным образом Я обоготворяю свое Я. Что может быть сильнее этого «Я», которое сильнее себя самого?

Если попытаться составить, так сказать, кредо новой культуры России, то оно будет начинаться со слова «верю». Я (Иван Карамазов, «смешной человек», Шестов, Малевич, Венедикт Ерофеев и т. д.) верю в то, что можно достигнуть иного, высшего, преображенного состояния. Для этого надо разоблачить, высмеять и разрушить ложь реальной действительности: самодержавие, родительский авторитет, классическую оперу, лицемерную церковность, капитализм, ЦК КПСС, умные философии с их хитроумными подстановками, правильные стихи о любви и патриотизме и т. д.

Здесь не имеет самостоятельного смысла это самое непокорное «Я», которое разрушает, поносит, кощунствует, неистовствует. Оно очищает путь, оно должно быть потом преодолено. У врат Рая никто не говорит «Я».

Было бы глупостью говорить, что в России надо держаться за российскую парадигму, а на Западе — за западную. Каждый как-нибудь сам сообразит, за что ему держаться. Но только выбирать дорогу лучше сознательно, то есть зная о том, какова она. Нам даны исторически две близкие друг другу и не один раз пересекающиеся дороги, которые, однако же, ведут не в одном направлении. Не худо отдавать себе отчет в том, где мы находимся, куда хотим и какими возможностями реально располагаем.

Я ЕГО ЗНАЛ ЛИЧНО

Столь часто поминаемый в нынешней критической, культурологической и философской литературе (да и просто во всевозможных разговорах по всевозможным поводам) термин «постмодернизм» вряд ли может быть определен однозначно, поскольку столь различны не только его толкования, но и степень охваченности им различных сфер культурной деятельности, точнее — степень стилевой его выявленности в них. Если пытаться найти ему аналог в истории европейской культуры, то вряд ли это будет какой-либо большой стиль, но скорее — доминирующий культурный менталитет типа рационализма XVIII века.

Наиболее четко и интенсивно постмодернизм явлен в изобразительном искусстве, представленный на страницах журнала работами нескольких художников из числа звезд первой величины этого направления. Есть тенденция акцентировать черты отличия местного, нашего постмодернизма от ихнего, западного. Естественно, как всегда и во всем (учитывая специфику нашего недавнего прошлого, в пределах которого наш постмодернизм и возник), различия есть. Но сходство как в художнической стратегии, так и способах пользования языками и материалами столь значительно, что позволило нашим художникам этого направления включиться в большой мировой художественный процесс и быть вполне адекватно понятыми впервые после времен авангарда начала века.

Наследуя героическому авангарду 10—20-х годов, с его тотальными амбициями, страстью захвата все новых и новых территорий для искусства, решительностью и уверенностью в разрешении проблемы личного высказывания, постмодернизм явил трагедийность проблематичности личного высказывания. Даже в самых интимных сферах человеческого проявления он обнаруживает культурную детерминированность нашего поведения. В искусстве это выявляется в тотальной аллюзивности и цитатности, насыщенности шоковыми приемами (именно в силу понимания их «языковости» постмодернизм так легко обращается к эпатирующим темам и приемам), ироничности и прохладной отрешенности, что в единичных проявлениях вполне может быть свидетельством и совсем иных культурно-эстетических установок.

Ныне, описывая постмодернизм (особенно с позиции предыдущего культурного сознания), стараются подчеркнуть его как бы разрушительность, безысходность подобного способа бытования в культуре и описания ее. Кстати, подобное достаточно часто воспроизводилось в истории культуры, когда новый стиль или направление, непонимаемые из пределов предыдущего культурного сознания, вызывая раздражение, описываются в терминах нравственно-этической несостоятельности.

В период же становления и в апогее своего развития и торжества постмодернизм буквально очаровал всех освободительной мощью самых сокровенных глубин человеческой психики, сознания и поведения, выявлением бацилл тоталитаризма любого языка и его владения человеком, а также и почти детски-игровой свежестью манипулирования этими монстрами.

И в заключение надо заметить, что идеи, артикулированные постмодернизмом, являясь новой модификацией вечных проблем бытия (что есть «Я» в мире идей, слов и вещей), настолько мощны, что даже на его излете критики постмодернизма пока не могут противопоставить ему что-либо равнозначное.

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРИГОВ

Западная литература: взгляд изнутри

ЛЕВ НАВРОЗОВ

ЭМИЛЬ ЧОРАН: ПОСЛЕДНИЙ ИНАКОМЫСЛЯЩИЙ?

В 1937 году выпускник бухарестского Института литературы (тема его дипломной работы: Анри Бергсон) был послан в Париж, где его ожидало продолжение блестяще начатой карьеры. А именно: он должен был защитить докторскую диссертацию (это ему ничего не стоило) и стать профессором философии. Обеспеченное и регулярно повышаемое жалованье и прекрасное бесплатное медицинское обслуживание. Жена мила, ребятки милы. Кстати, во многих странах Запада дети профессора имеют право на бесплатное высшее образование, сами становясь, таким образом, профессорами. Вместо этого блеска Эмиль Чора́н, или как его часто называют вне Румынии Снора́н, или Сьо́ран, ибо так читается его имя (Cioran), нерумынами, поселился на чердаке на левом берегу Сены и обрек себя на бедность в течение всей жизни, зарабатывая поденной низкооплачиваемой работой вроде читки присылаемых в редакцию рукописей, в 99 случаях из 100 грамофанских. «Я не зарабатываю. Я перебиваюсь. А большего мне не надо»,— говорил он. Не без гордости он пишет: «Для того, чтобы так искалечить себе жизнь, нужна традиция.» Какая традиция? Когда я объясняю ее приехавшим из России на Запад в последние 20 лет, они не понимают. Зная, что на поэзию на Западе жить нельзя, российский поэт становится профессором поэзии на жалованьи и живет на него припеваючи вплоть до прекрасной пенсии. Что же лучше?

Но вообразите профессором поэзии Блока. От одного лишь предчувствия, что он будет «достоянием доцента», Блок в исступлении: «Зарыться бы в свежем бурьяне, Забыться бы сном навсегда, Молчите, проклятые книги, Я вас не писал никогда!» Такова была традиция. Нынешнему российскому поэту, который на Западе стремится, прежде всего стать, доцентом, а затем профессором, открывает счет в банке, покупает себе дом в рассрочку и выгодно помещает деньги в ценные бумаги, этой традиции не понять.

В своем «Черном монахе» Чехов не пишет, в какой гуманитарной области подвизался профессор Коврин. Это не имеет значения. Но ясно, что он — посредственность, а значительно в нем лишь одно: его психическая болезнь, благодаря которой он верил, что он Шекспир, Будда, Магомет, не имеющий никакого отношения к его ничтожному профессорству, и когда он умирал, «...черный монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения.» Сам Чехов был признанный гений, но и его нельзя никак вообразить в виде профессора-гуманитария. Шекспир, Будда, Магомет, уж конечно, не были профессорами. Профессорство в гуманитарных областях и гений считались несовместимыми. Такова была традиция, в силу которой Чоран «искалечил себе жизнь».

Чоран приехал в Париж поведать человечеству истину, которая ведома лишь ему одному. Он был ближе к Коврину, когда тот лежал в луже собственной крови, а «черный монах шептал ему, что он гений», чем к профессору Коврину, излагающему «вялым, скучным, тяжелым языком обыкновенные, и притом чужие мысли.» Теперь Чорану 82 года. Его последнюю книгу я купил за бесценок по каталогу книг, которые не продаются. В 1989 году энциклопедия «Grand Larousse universel» посвятила ему всего 6 строчек (а известному не всем специалистам по французской литературе писателю XVII века Жану Бальзаку — 9, не считая портрета Жана). Вот она — награда за жизнь добровольных лишений и унижений «человека без определенных занятий», даже не доцента. «Я — непрофессиональное существо»,— определил он себя в мире, где любая чепуха становится специальностью, профессией, должностью, чином, званием, наукой или техникой,-ве́дением или -ло́гией. Здорово он «искалечил себе жизнь». Но такова была традиция. И я ее понимаю, ибо, приехав на Запад, и я мог бы состряпать сотню докторских диссертаций, но не состряпал ни одной.

Вся литература для Чорана — лишь суетное чтиво. Он упоминает Толстого не как романиста, а как человека, разочаровавшегося в жизни (и в литературе) и угнетаемого страхом смерти. Но еще меньше желал Чоран быть философом в ныне общепринятом смысле. Если современный философ — это профессор-специалист, ученый, излагающий специальным ученым языком некую философию для специалистов по этой философии, то Чоран никакого отношения к философии не желал иметь и не имеет. Кто же он? Мыслитель? Такого занятия на Западе официально больше не существует. Нельзя в официальных бумагах написать в графе «занятие»: «мыслитель». Это то же самое, что написать: «чувствователь» или «переживатель». Что значит мы-

слитель? Философ — вот это да. Это аспирант, доцент или профессор философии: работник образования, ученый, полезный член общества.

Существовали времена в истории цивилизаций, когда мыслители были не нужны, ибо человечество нашло истину столь очевидную, что всякие мысли на этот счет были просто излишними. Такова была истина в Европе начала тысячелетия: жизнь на этой земле лишь тяжкое, но временное испытание, чтобы определить, достоин ли живущий вечного блаженства в раю или вечных мук в аду, и чем больше страданий в этой жизни и чем раньше естественная смерть, тем больше вероятность попасть в рай. Столь же самоочевидна истина на Западе в конце тысячелетия: нет ничего, кроме жизни на этой земле, а цель ее, осуществляемая с помощью науки и техники,— здоровье, долголетие, отсутствие страдания и максимум богатства, удовольствий и развлечений; причем, в конце концов, наука осуществит и бессмертие, и уже сейчас больной неизлечимой болезнью может быть заморожен впредь до открытия средства против его болезни, хотя стоит это все еще дорого. Собственно говоря, истина в сталинской России или в маоистском Китае мало отличалась от этой истины на Западе конца тысячелетия. То есть эта истина Запада становится всемирной аксиоматической истиной человечества, а местные ее толкования отличаются друг от друга не более, чем ереси в Европе в начале тысячелетия.

Чоран приехал в Париж в 1937 году сказать, что эта всеобщая аксиома человечества — заблуждение, хотя ведомо это лишь ему одному. Какая же тут профессия? Разве может быть профессия, представленная одним человеком в мире? Как же тут быть профессором, читая лекции? Ведь образование — часть этого заблуждения, согласно Чорану. Да, место ему только на парижском чердаке.

Мировая слава так и не пришла к нему на парижский чердак. Конечно, он мог бы заявить, что презирает славу. Но не таков Чоран. Он утверждает, что писатель или мыслитель пишет ради славы.

Однако и слава, согласно Чорану,— тщета, как и вся жизнь. Подобную мысль выразил до него Лев Шестов (безусловно, его предшественник), описывая размышления молодого и никому еще не известного Толстого о том, что вот, допустим, он, Толстой, будет знаменит — ну, как Шекспир или, может быть даже, как Гомер. И что же тогда? Тогда он будет страдать от того, что шестнадцатилетняя красавица не влюбится без памяти в него, беззубого старика.

Чоран написал «На вершинах отчаяния» еще в Румынии, когда ему было 22 года. В Париже он издал свою первую книгу «Краткий очерк разложения» лишь в 1949 году. Но эти годы во Франции были для него столь же бесценными, как и для Шопена. В Румынии первая книга на славянском была напечатана в 1508 году, а на латыни в 1570 (румынский язык вышел из местной латыни). Какое скрещение славяно-византийской и римской культур! Отец Чорана был священником греческой православной церкви. Но французская культура была мировой: в XVIII и XIX веках дворянство материковой Европы от Бискайского залива до Урала говорило по-французски иногда лучше, чем на своем родном языке. Накануне второй мировой войны Париж был все еще культурной столицей мира. «Краткий очерк разложения» написан Чораном уже по-французски, на языке Монтеня, Паскаля и Валери, и Мориак сказал, что мало кто владеет французским языком так, как он. Все книги Чорана (кроме одной, изданной в Монако) издавало одно издательство (Gallimard), и, возможно, только во Франции, с ее Камю, Сартром и Мориаком, Чоран мог приступить к публикации своих книг. В США первая его книга на французском языке была издана в переводе на английский только в 1967 году — то есть понадобилось 18 лет печатать его во Франции, чтобы в США наконец начали издавать его тоже.

Эта книга, как было сказано, называется «Краткий очерк разложения» («Précis de decomposition»). Жизнь можно рассматривать как созидание, рост, синтез. А можно — как разложение, распад, смерть. Бессмертие, которого алчет человечество? Но зачем оно? Человечеству и так некуда девать время, и оно убивает его: каждый стремится зарабатывать больше денег, чем он может потратить, как можно больше денег, все деньги в мире, да и тратя те деньги, что у него есть, на то, что ему не нужно, и лишь потому, что «все» их тратят на то, что им не нужно. Что произошло бы, если бы уделом человечества была праздность даже в течение краткой смертной жизни? Его существование превратилось бы в «воскресный полдень», когда «уголовная хроника — единственное развлечение, половые откровения — единственное откровение, а истошный крик (Чоран имеет в виду рок-музыку.— *Л. Н.*) — единственное выражение нежности». В случае же бессмертия этот воскресный полдень стал бы вечным.

Тот, кто никогда не думал о самоубийстве,— не человек. Только человек индивидуально кончает жизнь самоубийством. Если бы не инстинкт самосохранения, каждый бы кончал самоубийством в возрасте пяти лет. «Мудрецы древности, кончавшие с собой в знак доказательства своей зрелости, создали искусство самоубийства, которое в новой истории было забыто».

Когда я рецензировал книгу Розанова в переводе на английский язык моих двух друзей, Роберта Пена и Никиты Романова (потомка царской семьи), я упомянул Чорана, ибо Чоран известен по крайней мере узкому кругу американской литературно-интеллектуальной элиты, а Розанов известен на Западе даже не всем специалистам по русской литературе XX века. Но Розанов и Чоран — противоположности. Привязанность к жизни (воля к жизни, любовь к жизни) зависит часто от того, насколько индивид отождествляет себя с родом и, следовательно, с полом как средством продолжения рода. Розанов был очень привязан к роду, полу, жизни. Для Чорана пол — это чуждая сила, которая грубо обманывает индивида ради продолжения рода, самому индивиду не нужного. Кроме нескольких ледяных презрительных замечаний, пола в книгах Чорана не существует. Я не знаю у него ни одного упоминания девочки, девушки или женщины, детей, отцовства или материнства, друга, родственника.

Не знаю я и упоминания ни одного великого произведения искусства. Ибо любое

великое произведение искусства — это жизнь, даже если речь идет о реквиеме, или похоронном марше, или трагедии. А жизнь — это обман, видимость, покрывало. Что же за покрывалом? Шопенгауэр: мировая воля. Но Чоран считает шопенгауэровскую волю лишь еще одним словом.

Само название книг Чорана говорит о направлении его «немыслимых мыслей». В 1956 году он издал «Искушение жить». Христианство говорило об искушениях. Согласно Чорану, искушение — сама жизнь, а цивилизация XX века — это цивилизация всеобщего искушения жизнью, ибо согласно господствующей истине ничего кроме жизни на этой земле нет и быть не может, и каждый должен стремиться жить, жить, жить, урвать от жизни все, что можно, и жить вечно, пока что замораживая себя в случае неизлечимой болезни.

Я помню инакомыслящих в сталинской и послесталинской России, включая себя. Какими чудовищами мы казались правоверным и благомыслящим. С другой стороны, я помню, как инакомыслящего спросили, согласен ли он с моим инакомыслием, и он ответил, что это не важно, а важно, что мое инакомыслие подрывает общепринятую веру больше, чем инакомыслие кого-либо другого. В «Искушении жить» Чоран пишет: «Все то добродетель, что побуждает нас плыть против общего течения нашей цивилизации, компрометировать и саботировать ее прогресс». Я не согласен с Чораном во многом и, быть может, в самой основе. Но он — мыслитель (чувствователь, переживатель?), то есть инакомыслящий (инакочувствующий, инакопереживающий), и я собираю его книги, тем более что они продаются за бесценок.

Я никогда не вступал с Чораном в спор, ибо если его книги продаются за бесценок, то кому нужен спор с Чораном? Мне не известен ни один опубликованный спор кого-либо с ним. Главным толкователем Чорана в США является Сузан Сонтаг. Когда в «Йейльском литературном журнале» появилась моя «Рецензия на «Нью-Йоркский журнал книжных рецензий», Сонтаг обрушилась на меня с яростью тигрицы. Ведь я затронул интересы определенных лиц, ныне живущих, включая и ее интересы. Чоран же не упоминает никого из ныне живущих. Он живет в тысячелетиях. Из его книг не ясно, существовали ли когда-нибудь Сталин или Гитлер, не говоря уж о Чаушеску. Он упоминает Толстого, ибо его жизнь представляется ему столь же общечеловеческой, как жизнь царя Соломона три тысячи лет назад. В молодости — женщины, а в старости — все суета сует. Зачем же спорить с Чораном? Для американцев вроде Сузан Сонтаг его книги — безобидная игра ума, не задевающая ничьи интересы, кроме разве что царя Соломона и Толстого, которых нет среди живущих.

В 1964 году Чоран издал книгу, название которой я бы перевел: «Падение в пропасть времени» («La chute dans le temps»). Время представляется (например, в Европе этого тысячелетия) как горизонтальное продвижение путника в пространстве от пункта отправления к пункту назначения, то есть к цели. Путник продвигается, а время течет мимо него как река («река времени»). «Продвижение» по-латыни «прогресс». Человечество продвигается, прогрессирует к лучшему, к цели, и, таким образом, время работает на него. Согласно Лейбницу, человечество продвигается к оптимуму, то есть наилучшему возможному состоянию в этом лучшем из всех возможных миров. Высмеивая Лейбница, Вольтер образовал от слова «оптимум» сатирическое слово «оптимизм», но это слово стало употребляться не как насмешка, а как похвала. Однако «оптимизм» в Европе начался не с Лейбница, а с христианства, которое Чоран, сын священника, считает заблуждением, ибо именно христианство внушило Европе мысль об «оптимуме», который его ожидает. Бог почему-то избрал землю и человека для особых с ним отношений, хотя земля — это лишь пылинка в мироздании. Так человек стал считать себя богоподобным и созданным для «оптимума». Жизнь превратилась в продвижение к «оптимуму» — к раю, к коммунизму (то есть всеобщему богатству), к личному богатству, к бессмертию, к торжеству науки и техники. А человек стал «оптимистом», стремящимся урвать у жизни все, что можно, и верящим, что впереди — «оптимум», даже если он распят на кресте.

Образ Чорана: человек и человечество не продвигаются к цели, оптимуму, пункту прибытия, а падают в пропасть времени. Русские тут могут вспомнить «Жизнь человека» Леонида Андреева, но Чоран предлагает более четкий декартовский образ: «Я падаю в пропасть времени — значит, я существую». Дно же пропасти — не оптимум, а смерть. Чоран находит «Смерть Ивана Ильича» приукрашенной, непоследовательной, написанной ради самоутешения.

В течение всего второго тысячелетия, вплоть до начала XX века включительно, европеец считался образованным, если он знал античность. Чоран образован в этом смысле: он живет среди мыслителей античности и мудрецов Востока. Древние считали, что золотой век позади нас, если он вообще был, и нет никаких оснований думать, что будущее не будет содержать столько же зла, сколько содержит настоящее. Греческая трагедия не кончается вознесением на небо или торжеством наших над врагами. А буддизм проповедует нирвану, уход от жизни, от «ваны».

В «Злом демиурге» Чоран возвращается к теме самоубийства, но в ином, личном ключе. Он называет самоубийство нирваной с помощью физического усилия. «Как утешительно думать, что ты собираешься покончить с собой. Никакая мысль не может успокоить больше: и как только она возникает, легко дышится. Сама мысль о самоубийстве несет почти такое же освобождение, как самоубийство».

Чоран спрашивает себя: «Почему я не покончу с собой?» Он мог это сделать в пять лет и в двадцать два года. Инстинкт самосохранения? Но это — научный термин, а Чоран желает быть и вне современных наук. Он отвечает себе: «Если бы я точно знал, почему я не покончу с собой, то мне не надо было бы больше задавать себе вопросов, ибо на все был бы ответ».

Чоран шел к утесу на острове в Средиземном море, чтобы броситься вниз (ускорить падение в пропасть времени). Вдруг залаяла собака, потом она увязалась за ним. Искушение жить. Он жив.

■

❖ У КНИЖНОЙ ВИТРИНЫ

АНИТА БРУКНЕР

Семейный роман

Anita Brookner. A Family Romance. «Cape»

Как большинство героинь англичанки Аниты Брукнер (см. «ИЛ», 1993, № 4), Джейн из «Семейного романа» не ищет приключений, ее вполне устраивает тихая, размеренная жизнь. Одинокая и работящая, она не сорит деньгами и не заводит обременительных знакомств, чего не скажешь про ее тетку Долли, любительницу острых ощущений и развлечений. Именно ее кипучая деятельность в этой области составляет сюжет романа. Больше никаких событий не происходит. Тетка-стрекоза и племянница-муравей живут бок о бок, не принимая интересы и образ жизни друг друга. Однако их взаимная неприязнь и непонимание создают между ними связь, более прочную, чем дружба или любовь. В очередной раз А. Брукнер возвращается к теме женского одиночества и пытается доказать, что сформированный в детстве характер потом уже не изменишь, с чем многие читатели могут не согласиться.

ДЖОН БЭНВИЛЛ

Духи

John Banville. Ghosts. «Secker/ Warburg»

Джон Бэнвилл — один из крупнейших современных писателей Ирландии; его романы «Березняк», «Доктор Коперник», «Кеплер», «Письмо Ньютона» имели успех у читателей и критики. «Духи» подтверждают его репутацию «интеллектуального» романиста, широко использующего исторические, литературные, театральные и прочие аллюзии (Дж. Бэнвилл даже снабжает свои тексты собственными комментариями и сносками). Волею случая к берегу некоего ирландского островка прибивает небольшое прогулочное судно. Это мелкое кораблекрушение обходится без трагических последствий — живы и здоровы все пассажиры. Они представляют собой пеструю смесь: фотограф-репортер София, бездарный пожилой актер Кроук, проходимец Феликс, его последняя «жертва» — жадная, глуповатая Флора, несколько разновозрастных детей. Своим внезапным появлением все они нарушили покой обитателей острова — искусствоведа, профессора Крёйцнера и его помощника Лихта. Пока соскучившийся по компании Лихт общается с «робинзонами», Крёйцнер с тревогой узнает в одном из прибывших старого знакомого — сидевшему в тюрьме Феликсу известно темное прошлое профессора, который был приговорен к пожизненному заключению за кражу картин и убийство служанки.

ЭННИО ДЕ КОНЧИНИ

Истина: настоящий роман о мафии

Ennio De Concini. La veritá: il vero romanzo della mafia. «Sugar Co»

Эннио Де Кончини — весьма заметная фигура в современном литературно-кинематографическом мире Италии. В бытность свою главным редактором журнала «Фьера леттерариа» («Литературная выставка») — одного из наиболее значимых культурных обозрений послевоенной поры — он тесно сотрудничал и дружил с такими мастерами, как Дж. Унгаретти, П. П. Пазолини, А. Моравиа, К. Э. Гадда... Кроме того, он — автор около двухсот сценариев кино- и телефильмов, в том числе известного во многих странах телесериала «Спрут». Актуальной для Италии теме мафии посвящен и дебют Э. Де Кончини в жанре романа.

Книга родилась спонтанно: некий хорошо информированный источник подробно рассказал писателю о многих «истинных» сторонах мафии. В романе эта ситуация творчески переработана: следователь расспрашивает раскаявшегося мафиози, симулирующего сумасшествие. Некоторые персонажи узнаваемы, некоторые названы по именам и фамилиям — тут и Джулио Андреотти, и судья Карневале, и «крестные отцы». И над всеми — плотная завеса большой тайны...

РОЗА МОНТЕРО

Прекрасная и мрачная

Rosa Montero. Bella y oscura. «Seix Barral»

Испанская журналистка и писательница Роза Монтеро в своем новом романе, ставшем бестселлером, затрагивает классическую тему

мировой литературы: переход подростка из детства во взрослую жизнь. Главную героиню зовут Баба (что в русской транскрипции звучит каламбуром); ее семья — она живет с ворчливой старой бабушкой — обитает в пансионе, в мрачном, населенном всякими темными личностями пригороде (в романе он называется Предместье). Реальный мир, мир взрослых, полон грубости и горечи оттого, что взрослые не признают волшебства, тайны и даже боятся их. И девочка не хочет взрослеть, не хочет стать похожей на окружающих. Она создает свой, выдуманный, мир, где происходят чудеса, где благородный герой (принц или идеальный отец) побеждает шайку пиратов и разбойников.

Существующая как бы в двух измерениях — в невеселой действительности и в волшебном «зазеркалье» — Баба постепенно входит во взрослую жизнь, «такую прекрасную и такую мрачную».

ИВ НАВАРР

Золотой песок

Ives Navarre. Poudre d'or. «Flammarion»

Лауреат Гонкуровской премии 1980 года французский писатель Ив Наварр посвятил свой роман художникам и артистам. Образно говоря, именно они, люди искусства, всю жизнь промывают ил и грязь, дабы извлечь немного «золотого песка» — те драгоценные крупицы чувств, желаний, радостей, которые есть у каждого из нас.

Главный герой книги — сын провинциального колбасника, старый актер Роже Покен. Не одно десятилетие он провел на сцене, но теперь у него остались только воспоминания о тех веселых, счастливых годах.

Чтобы хоть как-то заработать на жизнь, сильно сдавший, потрепанный и скитающийся старик начинает преподавать единственное, чем он еще владеет,— актерское мастерство, точнее, сценическую речь. Декламация, риторика, дикция — всем этим премудростям к нему приходят обучаться самые разные и при этом в чем-то схожие между собой люди: политик, стремящийся с помощью краснобайства завоевать сердца «простых людей» (и голоса избирателей); промышленник, разражающийся потоками слов, дабы «слегка развеяться»; баронесса, желающая украсить светские приемы в своем салоне ладно скроенными стихами; глухонемые юноши и девушки, до утрированности тщательно выговаривающие каждое слово, ибо их все-таки никто не понимает... Всех их (как и нас с вами, утверждает Ив Наварр) объединяет одно: стремление найти того, кто мог бы выслушать своего ближнего.

ВИКРАМ СЕТ

Подходящий юноша

Vikram Seth. A Suitable Boy. «Phoenix»

Молодой индийский автор Викрам Сет уже пробовал силы в поэзии и эссеистике (фрагменты его романа в стихах «Золотые ворота» опубликованы в «ИЛ» 1993, № 9). Его первый роман вызвал большой резонанс не только в силу своей монументальности (около 1400 страниц!), которая вывела его в разряд супергигантов среди англоязычных произведений этого жанра. В романе предпринята попытка дать максимально широкую панораму жизни современной Индии.

Действие происходит в Брахмпуре, вымышленной столице несуществующего штата Пурва-Прадеш, в начале 1950-х годов. Крупнейшее демократическое государство мира готовится к первым в его молодой истории всеобщим выборам. Пока страна выбирает подходящее будущее, состоятельная госпожа Рупа Мехра, выдав замуж старшую дочь, ищет мужа («подходящего юношу») для своей младшей — девятнадцатилетней студентки Латы. Впрочем, девушка и сама присматривает женихов; в итоге претендентов оказывается трое. Не слишком образованный, но работящий и симпатичный Хареш влюблен в Лату, которая сильно увлечена другим — Кабиром. Социальное и религиозное неравенство (Хареш небогат, а Кабир — мусульманин) препятствуют браку. Третий жених — выпускник Оксфорда литератор Амит сочиняет большой роман об Индии; этот персонаж во многом автобиографичен. Еще один главный герой, помимо Латы, ее дальний родственник Маан — красавец, ловелас и вечный студент. Его приключения и поиски своего места в жизни составляют важную сюжетную линию.

КОЛМ ТОЙБИН

Ярко пылающий вереск

Colm Tóibín. The Heather Blazing. «Picador»

Ирландский журналист и литератор Колм Тойбин избрал в качестве главного героя своего второго романа весьма противоречивую фигуру. Член Верховного суда Ирландской республики Имон Редмонд определяет, по каким законам жить его стране сегодня. При этом он придерживается традиционных взглядов на общество, институт семьи и прочие ключевые моменты. Между тем консервативную позицию Редмонда публично осуждают и критикуют его взрослые дети: сын Донал — правозащитник и дочь Ниамх — социолог. Она одна растит ребенка — незаконнорожденного, по понятиям старшего поколения.

Образ Редмонда воплощает национальный ирландский характер, в котором верность семье и церкви причудливо сочетается с быстро меняющимися современными представлениями и идеалами. В нем по-прежнему жива память о неудавшемся восстании 1798 года: еще мальчиком Редмонд слышал от своего деда старинную балладу об одном из тогдашних героев, который, собирая земляков на борьбу, поджег луг, и ярко пылающий вереск увидели все. История для Редмонда — это не столько полное романтики прошлое, сколько важная сторона его собственной жизни. И когда в детстве, в 40-е и 50-е годы, он вместе с отцом разыскивает в графстве Уэксфорд материалы и экспонаты для местного краеведческого музея; и когда годы спустя разрабатывает законопроект об отмене

смертной казни в Ирландии; и когда решает семейные проблемы, как в капле воды отражающие общенациональные,— во всех этих случаях Редмонд ощущает себя частицей своего народа.

ФРЕДЕРИК ТРИСТАН

Последний человек

Frédérick Tristan. Le dernier des hommes. «Laffont»

Акакий Башмактин — так зовут главного героя нового романа французского писателя, лауреата Гонкуровской премии Фредерика Тристана. Секретарь подотдела 23 отдела 15 Государственного управления по планированию графиков работы в легкой промышленности — этим бюрократическим набором слов обозначается скромная должность Акакия. События разворачиваются в стране, напоминающей одновременно Советский Союз и царскую Россию.

Акакий отправляется поездом в столицу, но в пути ему становится дурно, и он делает вынужденную остановку в городке Сминске. Тут начинаются его злоключения: дурнота не оставляет его, и мир вокруг теряет привычные реальные очертания. Акакий попадает на какую-то немыслимую свадьбу, где скрипач зовет его «Ивановым», а собака крадет у него ботинок. Теперь прихрамывает не только сам Акакий, но и его представления о жизни.

К финалу свадебного застолья у потерявшего оба ботинка и вконец измученного Башмактина остается единственная опора: Бошбая, жена городского главы — полковника с тремя орденами Ленина. Она пользуется мужем как прикрытием, чтобы развернуть сеть подпольной торговли. Двойная мораль этой «деятельницы» в миниатюре воплощает ту гигантскую ложь, которая царит в загнивающей империи. Когда Акакий, узнавший от Бошбаи много лишнего, принимается почти бессознательно все выбалтывать, его помещают в «государственный санаторий для лиц с нарушениями политических и гражданских мозговых центров». Башмактин, так и не избавившийся от тошноты, теряется в бесконечных коридорах «лечебного учреждения».

ЛУКА ГОЛЬДОНИ, ЭНЦО СЕРМАЗИ

Бенито против Муссолини

Luca Goldoni, Enzo Sermasi. Benito contro Mussolini. «Rizzoli»

О Бенито Муссолини написаны целые тома исторических исследований, личных воспоминаний и сухих документальных отчетов. Новая книга Л. Гольдони и Э. Сермази, сразу же ставшая бестселлером, не подходит ни под одно из этих определений. Не стремясь переиначивать Историю, авторы дают скорее литературный живой портрет своего «героя». Направленность книги заявлена в самом ее названии: как в едином существе могли уживаться человек (Бенито) и диктатор (Муссолини).

Перед читателем разворачивается вся жизнь будущего «дуче». Сын учительницы и любившего выпить кузнеца; мальчик, которого постоянно наказывали в духовном учебном заведении; молодой эмигрант, скрывающийся в Швейцарии от военной службы; юноша, подозревающий у себя сифилис и думающий о смерти; преподаватель французского языка — все это Бенито. Когда же он становится тем Муссолини, который ввергнет Италию в ад? Возможно, когда в молодости увлекается идеями Маркса и присоединяется к социалистическому движению; возможно, когда переходит с крайне левых позиций на прямо противоположные им. Отчасти по собственной воле, отчасти усилиями окружения и ярых сторонников, малевавших на стенах лозунги типа «Муссолини всегда прав», Бенито превращается в диктатора.

❖ АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

РОМЕН ГАРИ (ROMAIN GARY, наст. имя РОМАН КАСЕВ; 1914—1980) — французский писатель русского происхождения, дипломат. Юридическое образование получил во Франции. В 1938 году окончил летное училище, служил во французской эскадрилье в составе Британских ВВС, во время второй мировой войны участвовал в освобождении Франции от фашистской оккупации. С 1945 г.— на дипломатической службе. Автор романов: «Европейское воспитание» («Éducation europiéenne»; премия Критики, 1945), «Корни неба» («Les Racines du ciel»; Гонкуровская премия, 1956), «Обещание на рассвете» (рус. пер. см. в «ИЛ», 1993, № 2), «Глотатели звезд» («Les mangeurs d'étoiles», 1966), «Ночь будет спокойной» («La nuit sera calme», 1974); под псевдонимом ЭМИЛЬ АЖАР — «Жизнь впереди» («La vie devant soi»; Гонкуровская премия, 1975; рус. пер. в Библиотеке «ИЛ», 1988) и «Печаль царя Соломона» («L'angoisse du roi Salemon», 1979). Роман «Жизнь и смерть Эмиля Ажара» («Vie et mort d'Émile Ajar») опубликован посмертно в 1981 г.
По произведениям Р. Гари поставлено девять фильмов, в том числе «Обещание на рассвете».
Роман «Воздушные змеи» вышел во Франции в 1980 году («Les cerfs-volants». Paris, Gallimard, 1980).

ДЖУЛИАН БАРНС (JULIAN BARNES; род. в 1946 г.) — английский писатель. Окончил Оксфордский университет, живет в Лондоне. Автор романов «Метроленд» («Metroland», 1980), «До того, как мы встретились» («Before She Met Me», 1982), «Попугай Флобера» («Flaubert's Parrot», 1985), «Глядя на солнце» («Staring at the Sun», 1986), «Дикобраз» («The Porcupine», 1992).
Роман «История мира в 10½ главах» вышел в Англии в 1989 году («A History of the World in 10½ Chapters». London, Jonathan Cape, 1989).

ХАЛИПОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ (род. в 1970 г.) — филолог, окончил в 1993 году Минский университет, специализируется по зарубежной литературе. Статья «Постмодернизм в системе мировой культуры» — одна из его первых публикаций.

ЯКИМОВИЧ АЛЕКСАНДР КЛАВДИАНОВИЧ (род. в 1947 г.) — культуролог, кандидат искусствоведения. Автор книг «Шарден и французское просвещение» (1980), «Диего Веласкес и культура Испании» (1990), «Дебюты молодых художников восьмидесятых годов» (1991) и статей, публиковавшихся в периодике, в том числе в «ИЛ».

■ Переводчики

ШТОФФ ЕВГЕНИЯ АРТУРОВНА — переводчик с французского и английского языков. В ее переводах издавались: книга французского писателя и философа Пьера Адо «Плотин, или Простота взгляда», второй том трилогии английского писателя Эда Макбэйна «Истребитель полицейских», роман Роберта Столмэна «Пленник», рассказы французских писателей.

БАБКОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ (род. в 1961 г.) — переводчик с английского. В его переводах публиковались отрывки из романа Т. Вулфа «О времени и о реке», повесть О. Хаксли «Гений и богиня» («ИЛ», 1991, № 5), роман О. Хаксли «Через много лет» («ИЛ», 1993, № 4), рассказы В. Найпола, Р. Шекли, Т. Вулфа и др. Лауреат премии «ИЛ» (1991).

ГАРАДЖА АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ (род. в 1961 г.) — переводчик с английского, французского и немецкого языков, специалист по современной французской философии. В его переводах выходили труды Деррида, Делёза, Фрейда, Юнга и др.